

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

110

НОВЫЙ МИР

1997

110

---

1997



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10(870)

Октябрь, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

## СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Другая вода, стихи	3
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Б. Б. и др., роман	11
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Ангел цирковой, стихи	79
ЯН ГОЛЬЦМАН — Островок уцелевшего бора, рассказы	83
ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ — Монастырские этюды	95
АННА САЕД-ШАХ — По лестнице своей, стихи	117
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Крохотки	119

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Ю. КАГРАМАНОВ — Мировой Юг бросает вызов	121
--	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЛЕОНИД СИТКО — Дубровлаг при Хрущеве	142
--------------------------------------	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Мастер глазами ГПУ. За кулисами жизни Михаила Булгакова	167
--	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Из Евгения Замятина. «Литературная коллекция»	186
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*По ходу текста*

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Поэт — правительству	202
---	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Татьяна Касаткина. Дар уединения	207
Алена Злобина. Перед судом	213
Елена Невзглядова. «В блаженном краю, прозаическом и стихотворном»	219
Олег Мороз. Взывающий к разуму и совести	223
Юрий Кублановский. «Русское мировоззрение» и свобода	228

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЮРИЙ КОЛКЕР — Обманувшийся и обманутый	234
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — Нечто ничто, или Снова о постмодернизме	237

### ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЮРИЙ АЗАРОВ, ТАТЬЯНА ДАВЫДОВА — О Замятине, термодинамике и энтропии	242
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	245
Периодика (составитель Андрей Василевский)	247
SUMMARY	256

---

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

\*

## ДРУГАЯ ВОДА

### Зимний солнцеворот

Я больше чем тороватый исход лета,  
когда сад ломится от щедрот,  
но день убывает, и оттого на душе грустно,  
люблю зимний солнцеворот:  
яблони черны, в снегу — и все же сердце освобождается  
от какого-то тягостного, гнетущего чувства.  
Светлое время по тютельке начинает прирастать,  
хоть тьма еще густа и далеко до тепла вешнего.  
Но уже что-то забрезжило, — так сквозь мрачный ельник  
обнадеживающе белеет береста  
или в той же чашобе спасительные  
угадываются вешки.  
Меня и за колючей проволокой радовала, грела  
эта пора —  
солнечного подъема в гору.  
Я не верил в приход добра,  
а все-таки торопил переломную пору.  
Всякий раз обманывался в своих думах, чаяниях,  
плошал в расчетах...  
И вот спустя годы зимними долгими ночами  
я по-прежнему себя тешу приближением  
солнцеворота.

### Женская тайна

На общественном транспорте ездили бесплатно  
пассажиры, достигшие пенсионных лет.  
Наторелые кондукторы по лицу, по патлам  
определяли возраст и не докучали требованием  
предъявить удостоверение  
или взять билет.  
Эта женщина перебивалась на жалкое пособие,  
но следила за собой и выглядела намного  
моложе,  
и ее не обходили, как стариков и старух  
к привилегиям причастных.  
Она не оправдывалась книжечкой  
с тисненой кожей —  
платила последние гроши  
и была счастлива.



### Зависть

Бывало, в бегах — без сухарей и курева —  
я блукал по тайге, как зверь,

пугаясь человеческого жилища.

И завидовал шалашам смолокуров,  
сбирающих стекающую по стволам живицу.

Быт неприхотливых трудяг ничем не отличался

от житухи за колючей проволокой:

те же гнутые ложки, мятые миски, баки.

И вкалывали они среди комарья

как проклятые...

Но их не искали собаки.

И потом, в кабаках, уже нажравшись  
и не зарясь

ни на задницы баб, ни на разносолы,

что состряпали наторелые повара,

я испытывал неублажаемую зависть  
к добытчикам таежного янтаря.

### Осенью

Поздняя осень. Холодно, сухо.

Ветер рвет полы плаща,  
срывает шляпу.

На нити расходятся огни,  
видимые сквозь голые сучья;  
то налетает, то уносится  
знакомый шлягер.

Я люблю такую погоду.

Стынь, бездождье.

Хруст продавливающегося ледка  
под ногами.

Я чувствую себя моложе  
бодрящими вечерами.

Правда,

всплывают годы,  
проведенные на синюшной каше,  
этапы, трюмы.

Но зато какая радость:  
продрогнув в забытой колонне  
до мурашек,

толкнуться в спасительную рюмочную!

### Незабытое

Я люблю поезда,  
как лучшие свои строки.

Многое ушло из души —  
растерял, раздал.

Но осталась тяга дороги.

Пацаном еще под вагонами,

на крышах

я катил в края с хлебосольной славой.

А сколько раз, в лесу заблудившись,

выбирался на спасительный стук  
составов.  
 ...Я прихожу на вокзал потолкаться,  
 прошлым пожить.  
 И хоть никуда не еду,  
 поглядываю на часы для порядка.  
 И радостно вздрагиваю .  
 и вместе со всеми начинаю спешить,  
 когда объявляют посадку.

### След на планете

Мы на новой делянке —  
 шуримся от снега, солнечного света.  
 Нас вытолкнули из темных телятников  
 как поселенцев на девственную планету.  
 Шумно стуча крыльями, выпорхнул из-под ног  
тетерев;  
 ошалелый, закружил над потревоженным распадком.  
 Мы пришли в страну, не знающую  
 ни капканов, ни петель,  
 с топорами, пилами и лагерным распорядком.  
 А вскоре трактора пробили волоки,  
 затрещали костры с пугающим по ночам  
заревом...  
 ...Мы уходили, оставив после себя вышки,  
колючую проволоку.  
 И гари, гари...

### Воспоминание

Смотрю на нынешних кондукторов:  
 робеют, заискивают.  
 Подходят неуверенно не только к парню  
с бицепсами надутыми,  
 но и к пассажиру с залысинами.  
 И я вспоминаю бабцов со звонкими сумками  
 в переполненных трамваях моей молодости.  
 Они сдирали последнее с безбилетных  
субчиков,  
 как шкуру морозный полоз —  
 шарф, шапчонку,  
 а заартачился — по шее хрясть!  
 И материли по-черному:  
 чуяли ретивые — за спиной власть.

\* \*  
 \*

*Ларисе Антоновой.*

На улицах малых городов, как языческие идолы,  
 обложенные булыжником, раньше стояли  
чугунные колонки.  
 Нажатием ручки из них можно было выдавить  
хрустальную струю воды.



Вода билась о камни звонко,  
 как сосульки, низвергающиеся с высоты.  
 В летнюю пору подле таких колонок  
 собиралась изрядная очередь — жара.  
 И бабы, не снимая с плеч коромысла, потчевали  
 жаждущих из ведра.  
 Я тебя встретил не на танцах, вальсирующей  
 среди колонн,  
 не в библиотеке, изучающей чьи-то труды, —  
 на уличной колонке.  
 И ты мне дала воды.  
 День был знойный;  
 я пил жадно, как наевшийся соли,  
 как вышедший из комы.  
 В цинковой емкости покачивалось солнце  
 и лицо незнакомки...  
 ...Недавно я побывал в местах нашей недолгой любви;  
 та колонка уцелела,  
 хотя новостройки пришли и сюда.  
 Я припал к чугунному истукану, как к источнику  
 целебному.  
 Другая! Другая вода!..

### Напарник

В пропахшем клеем цехе  
 на жарком прессе,  
 где сушат истекающий водою шпон,  
 я работал в паре с тяжеловесом<sup>1</sup> —  
 многодумным, замкнутым мужиком.  
 Выносливый, как скрипучее дерево,  
 нутром настроившись на трудные дни,  
 он рожей и костью выдавал деревню,  
 вкалывающую за трудодни.  
 Я знал о нем мало:  
 воевал, в танке горел.  
 Молчун, он скупно ругался матом,  
 когда пресс вставал  
 и мы куковали без дел.  
 Про кожу, ему пересаженную  
 с чужого бедра,  
 видя, как в бане я пялюсь на его ожоги  
 сдуру,  
 угрюмо замечал:  
 — Нет худа без добра,  
 теперь хоть дрожу не за свою шкуру. —  
 Было в нем что-то надежное, прочное,  
 даже в том, как он ладил самокрутку,  
 раскладывал свои хлеба.  
 И я уверовал: его не сломают ни карцеры,  
 ни одиночки.  
 И чуточку поверил в себя.

<sup>1</sup> Тяжеловес — заключенный, осужденный на длительный срок.





Поставил закорючку на бланке  
и глухо сказал:  
— В расчете!..

Утром нашли его синим  
на веревке  
в загаженном туалете.  
В страхе опера пригласили,  
начались допросы свидетелей...

А завтра умер Сталин.  
1972.

### На перегоне

Мчащиеся в разных направлениях скорые поезда  
на минуту останавливаются одновременно на каком-то перегоне.  
Из окна вагона я разглядываю пассажиров встречного,  
с любопытством глаза пуча.  
Толкуют, пьют муть перегонную,  
ничем не отличаясь от моих попутчиков.  
Я тикаю из того края, куда они торопятся с надеждами, чаяниями.  
И в свою очередь качу — и тоже с огоньком внутренним, —  
откуда эти люди ломаются в отчаянье  
с нехитрой житейской утварью.  
Чего ищем мы: новую крышу? Счастье?  
Где больше платят и лучше кормят?..  
Но вот поезда наши дернулись.  
Окна вагонов мелькают чаще, чаще...  
Что это была за платформа?..

### Старые вещи

В тяжелые минуты перебираю  
старые вещи —  
спасительное средство.  
Они как торчащие в сугробах вешки  
на обратном пути к детству.  
Вот пуговицы от материного пальто,  
их теребили ее пальцы;  
шерстяных ниток недовязанный моток;  
спицы, пальцы.  
Пузырек из-под какой-то ароматической жидкости,  
даже кусок стеариновой свечки...  
Бесцельно ворошу пожитки,  
точно греюсь у доброй печки.

### Последнее слово

В эту квартиру меня пригласили определить  
стоимость картины, доставшейся от недавно умершей бабки,  
узнав через знакомых, что я чуточку смыслю  
в данном деле и не такой уж большой плут.

Хозяева выглядели жалко, как повергнутый на лопатки,  
которого все еще бьют.

Во многих комнатах-клетушках царил погром,  
как после дотошного обыска;  
по голому полу бегали босые ребятишки

мал мала меньше;

один из них — с непосильной головой-глобусом, —  
чтобы устоять, хватался за платье

испитой, тщедушной женщины.

Пахло мочой, залежавшимся покойником, —  
видно, преставившуюся старушку было не на что увезти в морг.  
Мне жаловались на холодную батарею под подоконником,  
нехватку пальтишек, сапог.

И вдруг среди неслыханной нужды, тарарама,  
как дверцу в счастливую страну,  
я увидел роскошную золоченую раму.

И, не имея личного интереса,  
почему-то с замиранием сердца

подошел к заветному полотну.

Но чуда не случилось —

то оказалась репродукция со значительной

дорисовкой маслом,

одетая в неплохой багет.

За моей спиной собралась вся семья — томилась  
притаив дыханье: что скажет мастер.

Похоже, даже мальчуган-уродец, цеплявшийся  
за материнские одежды,

выжидал ответ...

...Я ношусь по городу как сумасшедший  
и отыскиваю богача-толстосума —  
из тех, кто нынче посещает храмы,

соблюдает пост.

Он вполне сознательно выкладывает

несметную сумму.

И великодушно выкупает у этих обездоленных

их пустяковый холст.

...Мои мечтанья длились мгновенье.

И я вернулся в зал суда,

где мне предоставлено последнее слово:  
покаяться или во спасенье солгать?

И я не нашел ничего нового:

— Вещь дорогая, но покупателя в наше время

трудно на нее отыскать.

## Надежда

Грабители, насильники, убийцы,  
воры, наркоманы, проститутки,  
взяточники, казнокрады, вымогатели,  
альфонсы, сутенеры, педерасты,  
завистники, мошенники, доносчики,  
эгоисты, льстецы, лицемеры.  
Города, опасные по ночам для их жителей;



отхожие места, особенно на рынках и вокзалах,  
пахнувшие застоявшейся мочой;  
переполненные тюрьмы и лагеря  
с неистребимыми в них вшами;  
религиозный фанатизм и национальная вражда,  
ненависть, злоба, отчаяние.  
Политиков и уголовников сплотка;  
локальные войны, вой жерл.  
И над всем этим  
единственная жизнеутверждающая нота —  
летающий в далеком космосе «Вояджер».

...20 августа 1977 года с мыса Канаверал  
был запущен космический аппарат «Вояджер-2».  
...В 296036 году «Вояджер-2» достигнет  
окрестностей Сириуса.



---

---

## АНАТОЛИЙ НАЙМАН



### Б. Б. И ДР.

*Роман*

#### Часть I

**(М**еня зовут Александр Германцев, это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда». Я был близок, если не сказать — принадлежал, к тому кругу молодых ленинградских поэтов, который он описывает. Я довольно рано и решительно отошел от этого круга и поддерживал отношения — все более отдаленные — с одним Найманом. В тот раз я предоставил в его распоряжение собственную версию происходившего, и он использовал ее — достаточно корректно — в своем «романе». Сейчас он уговорил меня рассказать о Б. Б., объясняя это тем, что фигура его общеинтересна, что мы знали его одинаково близко, но что между ними двумя связь не прервалась до сих пор, и это, начни он писать о нем, будет его сковывать. Однажды поддавшись, ты уже не можешь устоять в другой раз: он заставил меня согласиться.

Его я зато заставил согласиться на магнитофон: никогда не любил писать длинные вещи, а за последние лет двадцать разучился и письма простейшие сочинять. Так что наговорил на пленку, что и как хотел, а он перевел это на бумагу. То, что получилось, так же не похоже на то, что я говорил, как мы с Найманом. Я так не умею: слова те же, но я так не хочу и, честно говоря, не люблю. То есть и сам не хотел бы так писать, и не очень люблю, как это делается вместо меня. Потому и не пишу, что не знаю, как хотел бы это делать, чтобы любить. Знаю только, что не так, не сяк и не этак. Он и для «Поэзии и неправды» всю мою часть, хотя и по моим дневникам, под себя переписал. И как тогда я дал согласие на публикацию только при условии, что под его именем, так и сейчас. Все, что здесь написано, — правда, под каждой страницей готов *подписаться* — так, как подписывался в свое время под протоколом допроса. Короче говоря, я этого не писал.)

Какого-нибудь человека объяснить можно единственным словом: скажем, благородный; или, наоборот, дрянной. Другой требует целой фразы, третий — абзаца. На четвертого надо потратить рассказ, как на священника Сергия Касатского; на пятого — роман, как на Родиона Раскольников. На Б. Б. должен уйти том, и обязательно неоконченный, как у Музиля. Потому что Б. Б. — человек, тоже не зависящий от свойств, только не человек *без* свойств, а человек *из* свойств: из заемных качеств, каковы он, не ориентируясь и даже не понимая, как можно ориентироваться на собственные реакции, которые могут в один и тот же момент быть какими угодно, вплоть до прямо противоположных, одна другую отрицающих, всю жизнь брал напрокат у других — естественно, не спрашиваясь. Доброту, заботливость, внимательность, иногда услужливость — и даже дурные: зависть, неприязнь, безжалостность. Он как будто приглядывался, как в слу-



чае, подобном его, поступают окружающие, и имитировал их поведение. С годами многие модели вошли в память, он стал пользоваться уже приобретенным опытом, хотя и не всегда впадал.

О таком человеке лучше писать не любя, а я его не то чтобы люблю, но бывало, что любил, бывает, что и сейчас люблю, и, во всяком случае, не не люблю. Слыша про него от кого-то, я беспокоюсь о нем, жалею, ссорюсь с теми, кто его не любит, — а его не любят почти все. Такой человек, механически регулирующий выбор и силу свойств, неуязвим, как некий абсолютный танк, и трудно вообразить, чтобы кто-то любил — и более того, не не любил — танк, особенно такой.

На чем-то окончить разговор о нем, а стало быть, и книгу невозможно — как о погоде. У того, чего нет и что поэтому заполняется то одним, то другим и всем на свете: облаком кучевым, перистым, зноем, моросью, инеем, цветущим лугом, листопадом, градусом выше, двумя ниже, у скна, в лесу, на Невском проспекте, зонтиком, купальником, шубой, кряхтением «о-хо-хо», кашлем, барометром... — по определению, нет конца, потому что нет и начала. Кроме того, Б. Б. еще жив и, как дерево прибавляя годовые круги, пуская из середины ствола побеги и сбрасывая сухие ветки, не может быть описан раз навсегда, как кубометры дров или платяной шкаф.

Б. Б. никогда не пуст, более того, он никогда не заполняется произвольно тем, что оказывается под рукой, чем попало. Я недавно в течение недели трижды слышал одну женщину, редактрису толстого журнала. Она выступала с эстрады, а я сидел в зале; давала телевизионное интервью в перерыве футбольного матча, который я смотрел; и, наконец, столкнувшись в компании, просто со мной разговаривала. Все три раза ее тело ограничивало ровно тот объем интеллектуально-психологического сквозняка, которым в данную минуту тянуло через помещение, где она оказалась. Но она была из породы элиотовских «полых людей», а Б. Б. — из тех, кто сам этот сквозняк создает. Однако, повторяю, ближе к той черте, у которой вызванное его поступком или словами свойство должно было бы достичь полноты, он терялся, оглядывался и, будучи, например, по природе настойчивым, заимствовал чью-то чужую, апробированную настойчивость, чувствуя, что его собственная может быть и непомерной и проявляться в диапазоне от настырности до тиранства. И, увы, проявлялась.

Два «Б» — это инициалы не то его имени-отчества, не то имени-фамилии. Борис, Бенедикт, Богдан, Бруно, даже Боб, даже Боян годятся для подстановки. Я предпочел бы дубль: Борис Борисов, а еще лучше — Борис Борисович, потому что его отец был из таких, что считают рождение сына компонентой исключительно собственной судьбы, причем событием во славу ее, и дают сыну свое имя, как кораблю или улице.

Б. Б. моложе меня на восемь-девять лет. Говорю так не потому, что не знаю, насколько именно, а потому, что умный его отец записал его в загсе месяцем позже против подлинной даты рождения — чтобы впоследствии, через восемнадцать лет, выиграть год призывного возраста. Шла война, и в ее неразберихе назвать декабрь январем большого труда не составляло. Надо ли говорить, что при такой ранней предусмотрительности Б. Б. уже годам к десяти имел справки, освобождающие его от призыва в армию по причине сотрясения мозга, хрипов в легких, астигматизма и проч., так что украденный месяц оказался в колоде пятым тузом. Родители об обмане ему рассказали — но на всякий случай только в двадцать восемь лет, когда по закону кончается срок воинской повинности для мирного времени. Б. Б. раз навсегда лишился дня рождения: ни по-старому уже праздновать было нельзя, ни начинать по-новому. Все вместе поставило его в положение, с одной стороны, мальчика из еврейской семьи, где страх попасть в армию воспитывался столетиями и на каком-то витке совпадал со страхом

Судного Дня; а с другой — дамы, родившейся в прошлом веке и словчившей во время революционной смуты лет на пять помолодеть.

Семья была не еврейская, а которая скрывает, что она еврейская. Б. Б. родился полукровкой: отец, уверенный, что знает жизнь настолько глубоко и детально, чтобы распоряжаться судьбой сына посредством присвоения ему собственного имени и чужого возраста, был, как мы уже догадались, еврей, мать русская. Отец делал тягучую советскую карьеру, при которой еврейство было изнурительным гандикапом. Но делал он ее, тайне имея в виду приумножение славы еврейского народа, поэтому чем громче звучал его коммунистический голос с трибуны, тем громче раздаваться внутри себя позволял он голосу крови. О том, какие обстоятельства и как сделали Б. Б. своим в кругу тех самых неопределенно старых дам, поговорим, когда придет время.

Я увидел Б. Б., когда ему было, наверное, лет пятнадцать: в случайной компании познакомился с его сестрой, моей ровесницей, и она пригласила меня к себе домой. Я пришел в огромную роскошную петербургскую квартиру, петербургскую в насквозь и нервно советском, безостановочно и рьяно демонстрирующем свою советскость Ленинграде. Об этой квартире в старинном барочном особняке на Фонтанке, в двух домах от Невского, так же как о даче в Рошине, построенной отцом на деньги со Сталинской премии, я уже слышал рассказы от приятелей, побывавших там: описание антиквариата и редкостности, но главное — богатства, — описание восторженное и потому невыразительное, и всегда с насмешкой, неоправданно призываемой, только чтобы снизить ускользавшее от слов сильное впечатление. Войдя, я понял и разделил и эти чувства, и принципиальную невозможность убедительно их выразить.

Не в том было дело, что все семьи, какие знал я и мои приятели, жили, как правило, в коммуналках, редко — в одно-, двухкомнатных квартирах новостроек, а тут был целый этаж, *бельэтаж*, зеркальные окна, лепные потолки, люстры, наборный паркет, павловская мебель, севрские вазы, хрусталь, бронза, тяжелое столовое серебро. Не меньшее, чем внушительность этой пышной красоты, впечатление производила отчужденность ее от хозяев: все было чье-то, занятое, свезенное; не жилье и не музей. Узкая специальность отца был Карамзин и карамзинисты, но, конечно, с выходом на Пушкина, на Пушкина. Вернее, в 20-х, когда начинал, он и начал с Пушкина — какой такой еще Карамзин мог прийти на ум пламенеющему комсомольцу? Но, оглядевшись и сообразив, в какую сторону оно пойдет дальше и как не только он кому-то, а и ему кто-то должен будет стать подошвой на нос и глаз, чтобы продемонстрировать остальным оторванную от пушкинского фрака фалду, вовремя отдрейфовал к невредным сентименталистам, не отпуская, впрочем, далеко от себя и *нашего первого поэта*. Тем самым заявил себя как *ученый* и как *знаток*, а не просто карьерист *из новых*. Другими словами, помимо «вульгарной социологии», как стали называть комсомольский метод литературоведения недобитки *из бывших*, он отдал дань и знакомству с эпохой, с ее культурой, не только интеллектуально-духовной, но и с материальной. Образцами последней были набиты тогдашние комиссионные магазины, куда их за копейки отдавали все те же недобитки, чтобы купить себе несколько картофелин и вязанку дровишек. И теперь я глядел на мраморную головку княжны, потерявшей имя, и малахитовые часы из гостиной, забывшей, почему ее так называли, и понимал невразумительность рассказов об этой коллекции как минимум дважды опозоренных чулел.

Сестру Б. Б. звали ни больше ни меньше ни Береника — по наводке, надо полагать, не Иосифа Флавия, а Фейхтвангера. Легко себе представить, как, должно быть, разочаровало отца то, что первенец — женского пола. (Грузинский анекдот. Из окна роддома жена кричит мужу, что все в порядке, родила. «Мальчик?» — «Нет». — «А кто?!») Все-таки он делает

усилие и называет дочь не только в честь иудейской принцессы, едва не ставшей римской императрицей, но и как-то сопрягая с собственным именем — возможно, подлинным еврейским, каким-нибудь Барух, данным секретно во избежание сглаза, которое, будучи переозвучено на русский, может быть, произносилось бы как-нибудь как Берендей. Береника Берендеевна, а? Представлялась она, однако, и в обиходе звалась исключительно Никой.

Проводя меня мимо открытой двери в одну из комнат, она ткнула пальцем в сторону сидевшего там существа, в первую секунду показавшегося мне изможденным, а возможно, и больным, а возможно, и калекой, и представила его: «Мой брат Б. Б.». Я хочу сказать, что она именно так и произнесла — «бэбэ». Тот — как будто ждал — немедленно отложил тетрадь не то альбом, в который, держа на коленях, писал, вскочил, подошел ко мне очень близко, неприлично близко, худой, костлявый, с компрессом на шее, но никакой не инвалид, поводил глазами и губами, словно что-то обдумывая, и сказал: «Вы на машине?» Это было все равно что спросить: «Вы на слоне?» — из всех знакомых машина тогда была у одного Мироши Павлова, так Мироша Павлов — особь статья: четыре водорода равно одному гелию плюс ноль целых двадцать девять тысячных, умноженных на скорость света в квадрате. Но я ответил просто: «Нет». — «А от нас не на такси поедете?» — «Едва ли». — «А вы поезжайте на такси — хотите, я закажу? И меня подвезете. Вы куда от нас?» «Занятный юноша», — сказал я Нике, и Б. Б. так же внезапно вернулся на место и стал быстро писать.

Через некоторое время нас позвали пить чай. К столу вышел отец в черной ермолке, какие носили академики, — их так и фотографировали для газет, как шахтеров в касках. Считалось, что ермолка греет кровь в мозге, который у академиков, понятное дело, постоянно и напряженно работает и потому теряет много энергии. Шапочка на голове отца означала, что хотя он пока только профессор, но ум его трудится в силу академического. Через равные промежутки времени он шутил, но смешно, а словно из снисхождения к окружающим — так сказать, одарял их шуткой. «От огурцов может случиться насморк», — в этом роде. Жена и Ника аккурратно смеялись, Б. Б. скатывал между пальцев хлебный мякиш и ни на кого и ни на какое слово не обращал внимания. По некоторым интонациям и оговоркам я почувствовал, что главные надежды в семье — на него, а Ника — хорошо, если защитит докторскую диссертацию.

Когда я уже уходил и у двери прощался с Никой, Б. Б. стремительно появился — словно бы ворвался — в прихожей с тяжелым портфелем в руке, в фетровой шляпе с полями, и вокруг шеи вязаный шерстяной шарф (дело было летом, правда, вечерело). Мы вместе вышли, у ворот стояло такси. «Я вызвал для вас, — сказал он. — Завезите меня, пожалуйста...» — и назвал адрес. Я рывкнул в ярости: «С какой стати?» — и зашагал прочь. «Уверен, вам на такси будет удобнее», — сказал он вслед. Я не обернулся. «Тогда хотя бы дайте рубль, я не взял с собой кошелек». Я сделал еще несколько шагов, потом подумал, с чего мне так звереть-то, полез в карман, там была только трешка. «Только трешка», — показал я ему. «Ну ладно», — извиняя меня, сказал он, подошел и взял ее из моих пальцев. Сел в машину и уехал. А я глядел завороженно.

Лучшее время в Ленинграде — белые ночи, как говорили тогда наши профессиональные соблазнительницы иногородним девушкам. Я шел пешком на Петроградскую сторону и рассуждал об увиденном. Собственно говоря, рассуждений было немного, а точнее, одно, а именно: «Ну и семейка!» — но иногда из него, как из змеи в засаде, выбрасывался быстрый язычок комментариев. Я подумал, например, что если сейчас отцу Б. Б. предположительно нравятся хватка сына, то еще немного, совсем немного, — и ему первому придется несладко. Б. Б. не будет различать, под кого вызывать такси и на чью трешку. Отец знал, как надо сыну жить, чтобы взять

от жизни максимум. Сын знал — на уровне прежде всего инстинктивным, — что должен делать всякий попадающий в сферу его интересов, в частности и само собой разумеется — отец, чтобы он, Б. Б., жил, получая от жизни максимум. Разница между ними была, как между Троцким и Сталиным.

Много, почти сорок, лет спустя летним московским вечером мне позвонил и пригласил в гости мой приятель Лев, с которым мы свели знакомство все те же сорок лет назад, когда он вместе с Найманом и Вольфом проводил июль в Серебряном Бору, снимая там дощатую халупу. Тогда перед ним открывалось манящее будущее с получением от жизни по максимуму, со стремительной карьерой, с долгими командировками на вожделенный Запад. Потом много чего случилось неожиданного, и прежде всего слишком пристально стал он вглядываться в жизнь на предмет исследования, что в ней правда и что, стало быть, неправда, и получил пять лет лагерей. Выпущен был, однако, спасибо Горбачеву, до срока и немедленно стал бороться за права человека. И вот позвонил мне и сказал, что есть у него свежая редиска и холодная водка, а еще и малосольный лосось и что так он за сегодня наболел, что мутит его и от прав человека, и от сидения ради них у компьютера, и чтобы я приезжал без отговорок.

Мы еще к столу не успели выйти, только поболтали первые десять минут, когда в дверь позвонили и вкатились две женщины и мужчина в состоянии крайнего возбуждения и тревоги. Одна женщина, с широко раскрытыми, когда их не зашторивали траурные ресницы, голубыми глазами, оказалась кандидатом в депутаты тогдашнего Верховного Совета, другая, поистертей наждачком советских будней, — ее доверенным лицом, мужчина — ее законным мужем. «Все пропало! — воскликнула первая с порога. — Они узнали, что он еврей!» Даже я понял: голубоглазая — за реформы, выборы на носу, в штабе противников пронюхали, что ее муж — еврей. А с мужем-евреем трудно набрать голоса. Лев потух — не оттого, что тем казалось трагедией, а оттого, что вместо редиски и семги под водку — такая бодяга. Жена Льва поманила меня за собой, мы вышли на кухню, налили по рюмке, хрустнули овощем, заели рыбкой. И тут в дверь позвонили опять.

Вошел православный священник, стал расстегивать плащ. И еще звонок. Соседка: «Лева, у вас нет счетчика Гейгера? А то сегодня на Калужской выброс был радиоактивный». — «Счетчика Гейгера нет». — «А то днем выброс случился на Калужской...» — и не может взгляда оторвать от подрысника, который был подобран, а сейчас у нее на глазах разворачивается, и человек из мужского как бы превращается в женского. «А у вас, — это мне, — нет Гейгера?» — «Не захватил». — «Тогда я пойду. — И уже с площадки: — Боюсь, не дошло бы до нас». Батюшка проходит прямоком на кухню, выпиваем за знакомство. Наконец появляется Лев и обнадуженная им троица. Не такие они идиоты — если поглядеть после третьей-то. Кандидат в депутаты ресничками хлоп-хлоп, и доверенное лицо, в общем, интеллигентное, а муж, мой непосредственный сосед, тот так вообще экономист.

Экономист говорит мне: «Как вам нравится Рыжков — развалил экономику!» Я ему: «Да что вы, мы к нему, он к нам уже привыкли». — «Но экономика! Если не отпустить цены, страна рухнет в пропасть!» — «Зато мы его уже знаем». Экономист начинает злиться, но еще сдерживается: «Вы, кажется, поэт. Какое вам дело до рыночных отношений, не так ли?» — «Как это — какое мне дело? Я очень даже за рыночность, но на Рыжкова вы зря. Тут, я догадываюсь, что-то личное, не так ли? А лицо у него, вы взгляните, не хамское. Вы взгляните», — и показываю ему, как надо вглядываться. Экономист отчеканивает: «Страна должна немедленно переходить на рыночные отношения. Цены — отпустить! Рубль — в свободном падении! Добавочная стоимость, — что-то неразборчивое вроде:

*буль-буль-буль!* — Налоговая политика — *буль-буль-буль!* А таких, как вы, поэтов, правильно Платон сказал, держать где подальше!» И смех смехом, а я увидел перед собой Троицкого, Льва Давыдыча.

Это было цельное, без единой щербинки, ветхозаветное первосвященническое знание того, как мне жить. Как жить всем — народу и в частности мне. И единственное, что меня с ним примиряло, больше того, вызывало к нему сочувствие, — это что и на него был Сталин. Не надо систем, тем более — объяснений, тем более — нюансов: рэзать! Бери такси, тебе говорят! Ладно, не хочешь — давай трешку. И тут не до *папи*, не до *сестре*: вот мы в этой точке, а нам надо в ту — прикладываем линейку и по прямой, через папу, сестру и кого там еще придется!.. В этот момент Лев поднял стопку и патетически провозгласил: «А я предлагаю выпить именно за этого поэта, который два раза в месяц писал в зону моему соседу по бараку». И экономисту, троцкистскому отродью, некуда деваться — выпивает. А в зону я писал Б. Б. ...

Мироша Павлов меня на своей машине время от времени катал. Мы с ним дружили, что в ранней молодости означает, в общем и целом, не не дружили. Мы с ним дружили, но однажды он и Илья Авербах целый вечер провели в разговоре с отцом нашей общей знакомой, известным юристом, советуясь с ним, как следует организовать убийство, к примеру, Толи Наймана, чтобы совсем не оставить улики. Ну, не всерьез, конечно, только к примеру, интерес был чисто академический, и в ранней молодости «убить» — это прежде всего и главным образом один из глаголов первого спряжения. И в то время, глядя в полные театрального осуждения злоумышленников глаза нашей общей знакомой, доносившей мне на них, я думал, во-первых, о том, как Найман, когда узнает, начнет воображать о своей особе, которую, мол, из-за ее бросающейся в глаза неординарности каждому лестно избрать хоть в жертву, хоть в жреца — словом, *избрать*; а во-вторых, о том, какие дурацкие вещи интересны Мироше и Илюхе — дурацкие, потому что *не* дурацкие были интересны *мне* и этих, ихних, среди них не было.

Однако, когда года через два-три Наймана с Авербахом зачислили в слушатели Высших сценарных курсов и, расселяя по двое в общежитии, предложили объединяться в пары по личной склонности, и для Наймана, как он мне рассказывал, само собой разумелось, что они, к тому времени тесно приятельствовавшие уже несколько лет, есть пара необсуждаемая, о чем он Авербаху мимоходом просто чирикнул, а тот побагровел и с ошеломившей Наймана чуть ли не свирепостью выговорил, что давно собирался, да случая не было, сказать ему, что их понятия почти обо всем не только не близки, но прямо антагонистичны, что он, Найман, ни жизнью, ни творчеством не заслужил права судить о жизни и творчестве других высокока и насмешливо, не сообразуясь с общепризнанными их достоинствами, и что лучше он будет жить в одной комнате с незаметным Кокой Ватутиным из Брянска, чем с человеком, сплошь и рядом вызывающим в нем сильнейшую неприязнь, — из памяти вдруг выскочил тот отвлеченный, «к примеру», план о не оставляющем следов покушении на него, такого, как ему представлялось, безобидного и милого. Но мысль побуксовала, побуксовала и, состава преступления в юридически детективной забаве не найдя, вернулась к слову «дурацкая». Ни тот, ни другой никогда о том яростном авербаховском объяснении не вспоминали и продолжали приятельствовать. Кока Ватутин из Брянска вскоре был не то помечен, не то даже разоблачен как платный осведомитель, специально засланный на курсы, — так что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Мироша Павлов с Авербахом *дружбанил*, но и с Найманом, и со мной — тоже. Он вообще всю жизнь партизан дружбы. Мироша Павлов был физик-ядерщик. Он и сейчас физик-ядерщик, с репутацией высокой,



под Нобелевскую премию, но тогда на таких, как он, лежала печать принадлежности к закрытому клубу, причастности к мировым секретам, а сейчас мир не знает, как бы деликатней покончить со всеми этими низведенными на землю солнечными плазмами, которые никак не желают гореть, хотя за сорок лет в топку брошено сухой бумаги с изображением Кремля и Джорджа Вашингтона достаточно, чтобы разжечь льды и базальты Антарктиды и Гренландии. Мироша Павлов — человек дружбы, но в не меньшей степени человек чести, и за дружбу с антисоветским поэтом Левой Друскиным стал невъездным на добрых десять лет, из которых в первые три, хотите верьте, хотите нет, невъездным даже в Москву — в Москву из Ленинграда! А машину ему, когда он еще только учился на физика-ядерщика, подарила мама, которая была деканом, доцентом, а также одним из первых номеров во всенародной борьбе за мир.

На этой машине марки «Москвич-407», специально сконструированной для нескоростной езды, они с Найманом отправились в Рощино, имея в виду без предупреждения явиться к Нике, а если честно, то в их дом. За месяц до того мы с Мирошей Павловым так и поступили, но вышел афронт. Тогда мы приехали в Рощино на электричке, повалялись на пляже, выкупались, и на нас напал зверский голод, ну невыносимый. День будний, ларьки закрыты, мы в привокзальную столовку — санитарный день. А давай к Нике, уж куска хлеба не пожалеют, а может, и обедом накормят. Давай-то давай, но не так все просто: дело в том, что Мироша был в Нику влюблен и намеревался сделать предложение. Точнее, один раз уже делал и был попрошен потерпеть. Так что пожрать ли мы с ним на рысях тогда шли или опять увидеть милый образ, с определенностью сказать было трудно. Оказалось, только второе. В калитку нас не пустили: сперва мама, Ника и Б. Б., а потом и профессор в шапочке вышли к забору и так минут пятнадцать с нами радушно разговаривали. Время от времени с их стороны на забор, задыхаясь, бросалась кавказская овчарка, еще прежде спущенная с цепи и обратно быть посаженной забытая. Наконец мы наболтались, нашутились, отсмеялись, душевно простились, были приглашены приходить еще, спрошены несовершеннолетним Б. Б., не на машине ли мы, и в голодном, доходящем до помрачения ума иступлении поплелись на шоссе, на автобус. В двух остановках электрички была дача Мейлахов, могли бы еще сунуться туда, тамошние «дети» тоже были нам не чужие, но это если бы сразу, сперва. Автобус пришел через полчаса, мы сели на свободные места и потихоньку, потихоньку стали говорить друг другу, где, что и как мы в Ленинграде поедим. Приедем, выйдем на Манежной, а на Толмачева как раз столовая, там щи суточные немислимые; или на Малой Садовой кафе в подвальчике, там пирожки с луком тают, звучит банально, но тают, тают во рту; а на Большой Садовой ресторан рядом с «Молодежным», там эти, ромштексы; а кстати сказать, и в «Молодежном» буфет с бутербродами с сыром двух сортов свежайшими, а заодно можно и кино посмотреть; это если не дотянем до «Севера», а уж в «Севере»... На остановке в Солнечном в автобус вошла тетка с корзиной и стала рядом с нами. Из корзины пахло укропом, несло укропом прямо как... И тут я увидел у нее в кармане плаща яблоко и глазами показал Мироше, и он моментально стал тянуться к нему, наклоняться и уже рукой полез, но автобус тряхнуло, рука в тетку ткнулась, она посмотрела и отодвинулась.

И теперь Павлов с Найманом ехали все повторить — чтобы переломить судьбу и стереть то унижение. Они были в пиджаках и галстуках, два привлекательных молодых человека с большим будущим, ученый и поэт. На всякий случай в багажнике у них лежал пакет с хлебом, сосисками и огурцами. И по яблоку.

Их пустили. Бесконечно долго ловили и привязывали пса, потом открыли калитку. Они просидели сперва в гестинной, потом на открытой тер-

расе два часа — из самых, как клялся потом Найман, томительных в его жизни. Профессор рассказал краткую биографию Ипполита Богдановича, включив в нее несколько вольностей, идеологических например, о его верноподданничестве, которое профессор чуть ли не одобрял. Мама сказала, что болен их сосед, известный критик, — сказала, как Найман подумал, к месту, потому что критик был известен прежде всего верноподданничеством. Б. Б. вдруг спросил с нелогичным воодушевлением: «Смертельно?» — «Ах, окстись, просто что-то с суставами». — «С суставами может быть смертельно, — не отступил он. — Есть такая болезнь, кальциевая смерть». — «Типун тебе на язык», — сказала мама и рассмеялась — как неосознанной шутке не по годам развитого мальчика. Им дали по чашке чая с печеньем. Мироша изредка бросал взгляды на Нику, которая безмятежно смотрела в сад. Когда они поднялись, Б. Б. сказал, что доедет с ними до Сестрорецка. Он пытался сесть на переднее, то есть на Наймана, место, тому пришлось его спихнуть, коленкой. Он был в фетровой шляпе, с тяжелым портфелем и еще одной сумкой, в которую мама положила свитер и термос.

Высадив его — разумеется, свернув для этого с шоссе и довезя до дома, дорогу к которому он им, путаясь, показал, — они остановились на окраине Сестрорецка и перекусили. Никого не винули, ничего даже не обсуждали, поели и поехали дальше. Шоссе ремонтировалось, обгон был запрещен до самого Лисьего Носа. Вскоре они уперлись в «Победу», которая шла со скоростью тридцать километров в час. Вот кто у них вызвал негодование, презрение, ненависть, вот кто их, оказывается, по-настоящему унизил, испортил их такую приятную поездку, весь их день! Ты смотри, а! Тащится, паралитик, пенсионер, полковник в отставке, как сопля из носу! Ты посмотри, это же антиезда, это же он нарочно, издевается над нами! А знаешь, Толя, когда участок кончится, я выеду на обгон, и, как поравняемся, ты ему скажи, кто он! Я ему, Мироша, скажу, ты только поравняйся! Потому что считалось тогда, что Найман жутко остроумный, язык как бритва, срезет любого, вот, например... — и дальше какая-нибудь история вроде тех, которые Довлатов про этого самого Наймана рассказывал по прошествии лет в «Соло на ундервуде». И за Лисьим Носом выезжают они на обгон, Найман с азартом спускает свое стекло — и видит в метре от себя удивительно, по его словам, спокойное, благородное, умное лицо мужчины лет пятидесяти, который бросает на него серьезный вежливый взгляд и снова переводит глаза на дорогу. Найман, на секунду споткнувшись, говорит ему с мгновенно выдохшейся, а главное, ни из чего не следующей страстью: «Д-дур-рак!» — быстро поднимает стекло, успевает схватить еще один его точно такой же взгляд, и они проезжают мимо. Едут молча, не смотря друг на друга. Потом Мироша говорит: «Если ты, Толя, не против, я расскажу знакомым, как ты его остроумно срезал, ладно?» Так что я слышал эту историю от обоих.

Через много лет мне пришло в голову, что не подходили они им — ни Мироха Павлов, ни Толя. Конъюнктурно, Павлов был, конечно, хороший жених: русский, физик, пловец кролем, мать — декан и у властей на хорошем счету. Но в исторической перспективе, в великой исторической перспективе, где есть принцесса Береника и Лион Фейхтвангер, там нет даже Вестмюллера, дважды олимпийского чемпиона, больше известного как Тарзан, там из физиков есть только Эйнштейн, а уже Планка надо высвечивать сильным прожектором, там нет ни этих кратковременных, хорошо, если на одно столетие, властей, ни тем более тех, кто у них на каком-то счету, а главное, там русские — племя, которое не упоминается в Библии даже среди гергесеев и аммонитян, которому всего-то лет девятьсот — тысяча от роду. Хватит, отдано идее ассимиляции больше, чем следовало, много больше, чтобы не сказать — всё: по молодости, по ошибке, теперь дети — полукровки, да к тому же по матери, то есть вообще не евреи, надо исправлять, если только это исправимо... Что же касается Наймана, то он,

если дурака не валять, выглядел для профессора обыкновенным шаромыжником, хоть при галстукке, хоть без: пишешь стихи — так, не сочти за труд, будь, куда ни шло, Евтушенко или Ахмадулина. Притом еще и опасный — с этой забубенно-безмозглой позицией непринадлежности к торжествующему режиму. Так что приваживать, пуская в дом, кого ни попадя — это спускать планку до дворовых соревнований с уровня всесоюзных, на которые допущены хозяин дома, критик, заболевший суставами, писатель Герман и физик Понтекорво с семьями.

Словом, Павлов Мироша был забракован как *не наш*, потому что *гой*, пусть и стоящий, а Найман — как *не наш*, потому что и никчемный, и *не советский*, пусть и еврей. Одна идея сидела в мозгу хозяина дома, один образ стоял перед глазами: он, полный уже годами, но сильный еще, точь-в-точь проданный в Египет патриарх, дождавшийся детей до третьего рода, спускается по лестнице со второго этажа дачи на первый, а внизу толпятся внуки и правнуки, лица подняты ему навстречу и на каждом сияние радости. Время, однако, советское, соответственно и формы выражения восторга: что-то вроде кликов «спасибо товарищу дедушке за наше счастливое детство!» — и он с трибуны Мавзолея помавает рукой наподобие *того*, главного родоначальника. Пусть не в фуражке, а в ермолке, зато и род, им произведенный и оставляемый, дотянет, переправившись через коммунизм или как там еще будет зваться этот вавилон, до прихода *мессии*. И тогда скажет ему Адонай-господь: «Молодец, ты хороший еврей. Хотя ты женился на русской и женился на партии большевиков, хотя одна твоя жена — Агарь, а другая — Далила, можешь взойти на лоно Авраамово. Благодарю».

Дальше — семнадцатилетие Б. Б., еще, так сказать, по старому стилю, в январе. День рождения, на котором не присутствуют ни папа, ни мама и нет ни одного ровесника, а только приятели сестры Ники вроде вашего покорного слуги, да Мироши Павлова, сестрой уже почти уволенного по причине другого избранника, тут же сидящего, да Наймана, да Ильи Авербаха, да Рейна Евгения с молодыми женами, да Бродского Иосифа, о котором особый разговор, ибо он за этим столом и вообще в этой квартире — на особом месте. Домработница и бывшая няня Б. Б. Феня вносит и выносит блюда то веджвудского, то кузнецовского фарфора, сияют люстры, горит камин, в хрустале пенится искрометная влага и прячется скромная водка. Флюиды низменного хулиганства, низкопробного нигилизма люмпенов, нацеленных на великое поприще материальных и поругание интеллектуально-духовных ценностей здравомыслящего человечества, понизывают воздух. Пятна соуса и вина вспыхивают на белоснежной скатерти, все громче хохот, следующий за звоном разбиваемого бокала, упавшей на пол тарелки. Безнаказанность возбуждает. Феня появляется с огромной супницей, из которой идет пар, — взрыв бессмысленного восторга! Это *кокши*, крабы, запеченные в больших морских раковинах, *спесалитэ-дэ-ля-мэзон*. Эй, Б. Б., ну-ка какого-нибудь этакого вина! Небось у отца где-то заныкано! И Никин жених, змеясь мефистофельской улыбкой, утвердительно: «Небось заныкано». И Ника, налегая на его плечо: «Давай, давай, *бэбэ*, сам знаешь где». Б. Б. входит с вином — испанская малага 1935 года. Не из погребов ли товарища Франко?! Да-да, товарищ Франко и товарищ Муссолини, славных вин они попили в 1935 году! И Лорка. Лорка, правда, своего недóпил, жаль. Паунд зато дóпил и за себя, и за него. Минус годы вынужденной абстиненции. А без строгости нельзя, вот Салазар... Да-да, Салазар, не забудьте товарища Салазара. И не забудьте товарища малагу, разлейте его по товарищам бокалам. Б. Б., а что еще там есть у товарища папы? Ну, есть арманьяк 1930-го тоже какого-то года. Так немедленно привести сюда товарища арманьяка — мы его приговорим за сотрудничество с камрадом Петеном! А теперь чаю, чаю в обе бутылки, и обратно в папашин сундук.

(Как переменялась за сто — полтора года лет литературная фактура книги, ее ценности! Цвет волос — кому он нужен? Рост, вес, хотя бы и Ильи Обломова, — неинтересен, усатенькая губка княгини Лизы — кого это *колышет*? А знаменитый изгибчик Грушеньки, наоборот, затаскан потому только, что да-да, у них, у таких, у *всех* изгибчик. Тошнотворное школьное «представительство»: Печорин — представитель «лишних людей», Чичиков — нарождающейся буржуазии, Лопахин — народившейся. «Представительство» возобладало над «личностностью»: тип съел личность. Нам интересно то, *чего* они представители, раз они, даже в функции всего лишь представителей, оказались достаточно интересны. Изгибчик — представительный, губка — нет. Герой книги — не личность, а сюжет, история, в которую личность попала как представитель среды, в которой такие истории происходят. Так ведь это потому, что и на улице так: из какой вы страны? из какой семьи? профессия? партийность? Ага, понятно. А что вы там за *личность*, ни времени нет узнавать, ни сил. Да и что вы такая за *личность* особенная, чтобы отличиться от себя как *представителя*? Ну добавим в опросный листок еще десяток-другой пунктов — и разойдется ваша личность без осадка, как таблетка растворимого аспирина. Которые ваши особенности двигают сюжет и поддерживают наш интерес к нему, те и нужны, а остальные держите при себе, чтобы смотреться в зеркало... Итак, выглядел в это время Б. Б. не столько болезненным, сколько остерегающимся заболеть; тощим, но вполне возможно, чтобы не таскать лишний вес; «слабосильным», как тогда говорили, но аккурат в ту меру, чтобы доносить (если Феня не помогала) полупудовые сумки до такси; без мышц, но с намечающейся жилистостью. Он был вял, и если что-то ронял, а ронял часто, то другой успевал поднять быстрее, чем он. Он продолжал сжимать между большим и указательным пальцами хлебный мякиш, переводил глаза на того, кто в данную минуту говорил, и время от времени что-то писал в тетрадке, лежавшей возле него на мраморном столике.)

Несколько мощных магнитов стали нагнетать и натягивать тогда электрическое поле вокруг Б. Б., и неизвестно, который был сильнее какого. Университет, куда он, естественно, на филологию поступил; накопление самых разнообразных знаний, иногда смахивающее на коллекционирование; тяга, всегда немножко через край, к присутствию, если не участию, во всем и везде происходящем; компания сестры — вот эти самые *мы* со стихами на кончике языка, самовлюбленные и ни в чьем участии не нуждающиеся; наконец, Бродский — и как часть *нас*, и совершенно отдельно.

К университетской жизни студенческой оставался Б. Б. равнодушен не столько из-за претящей вкусу дешевки стиля, коммунального, общепринятого, всегда одного и того же, сколько из-за ее одинаковой доступности для всех, отсутствия исключительности. Возможно, в этом проявлялось и сокрушительное его себялюбие, и снобизм, но решающим было то элементарное соображение, что если доступно — значит, не лучшее, а получать имеет смысл только лучшее, это аксиома. В доступности была единственная привлекательность: не требовалось усилий. Иначе говоря, доступность не лучших вещей наилучшим образом обеспечивала сохранение сил для получения вещей лучших, тоже аксиома. Он этим пользовался: легкой, не осознающей себя доступностью дружб и любовей, которые он без усилий поворачивал так, чтобы они проявлялись в нужном ему направлении.

С девицами, склонными к чувствам или, наоборот, к однообразным проделкам без чувств, он сходил по мере надобности, с демонстративной невовлеченностью в событие или, точнее, демонстративно не замечая, что это — событие, и платил им красотой антуража в квартире окнами на Фонтанку, в двух шагах от Невского. Он даже приобрел репутацию — не

ходока, разумеется, о, отнюдь не ходока, но — чуть ли не холодного развратника, во всяком случае, малого, который готов *положить глаз*, что именно больше всего и ценилось у филологинь.

Приятели все были из увлеченных безделием и *балдежом*, и попросить их что-то куда-то подвезти, его, а еще лучше — кого-то из них же, с кем он условился, подождать, встретить, что-то взять, подержать покуда у себя, а он потом заберет, а еще лучше, когда он скажет, «захватить с собой»; получить для него в библиотеке книгу, не говоря уже о достать записи лекций по жалкому диамату, по политэкономии бессмысленной, чтобы их перед экзаменом ему, а еще лучше — им для него, переписать, — было естественно, а еще лучше — само собой разумелось, а еще и того лучше — было его им услугой, поскольку придавало их жизни хоть какое-то содержание. Не надо думать, что он только примитивно доил людей: он включал их в работу друг для друга, так сказать, создавал для них рабочие места. Если кому-то нужно было оставить дома на полдня ребенка, он находил, кому с ним посидеть; если кому-то требовалось лекарство, он знал, кому позвонить, чтобы тот это лекарство купил и по нужному адресу доставил. С такой отзывчивости, согласитесь, не зазорно и комиссионные получить, но не ради комиссионных он это делал, а именно что из одной отзывчивости. Он видел, что люди именно так отзываются на заботы других, и копировал их поведение. Не его вина, что какой-то витамин этой отзывчивости при копировании вымывался и она неожиданно начинала отдавать изжогой, временами ядовитой.

Он наблюдал людей, не выделяя их в особую категорию элементов мира. Встреча с новым человеком не отличалась от встречи с новым парком, или внезапным дождем, или очередной книжкой. Он замечал, что отношения между другими людьми, например в нашей компании, бывают другими, чем у него с его студенческими приятелями, но объяснял это все тем же: на одном прилавке товар подешевле, качеством похуже, на другом — дороже, подобртней. Он не обязательно хватал первое попавшееся, рылся, старался выбрать что поярче, покрасивее: иностранку для любви, иностранца для дружбы. Какая-нибудь иностранка даже и клевала, но, увы, не на конкретно Б. Б. с его, как он верил, своеобразием, и даже, увы-увы, не на вообще «русского», ибо прилагающийся набор пленительных экзотических атрибутов: пьянство, страсть бескрайняя до рукоприкладства и нежное сердце, исполненное яростного страдания, — был, как мы знаем, не про него, — а на потенциального жениха, ровно такого же, как где-нибудь у нее в Гренобле или Упсале, с приличным приданым и хорошими перспективами на научную карьеру. Для иностранцев же мужского пола и тех из женского, которые о замужестве вплотную не думали, он был просто русской версией среднеарифметического западного студента, благополучного, поглощающего науки, знающего, чего он добивается, — от которого, то есть от заранее известного общения с которым, они сознательно и уехали в *другую* Россию.

Зато знаний усвоить в университете, он понимал, можно было сколько хочешь, и первоклассных. С первых же дней он стал ходить на все маломальски интересные семинары старших курсов. В годы еще отроческие он был обучен французскому языку и английскому: несчастные сестра и брат, окончившие Эколь Нормаль и Кембридж, в начале 30-х уехавшие от филистерского капитализма Европы и приехавшие в готический коммунизм Ленинграда, арестованные в 1937-м и попавшие в горстку напоказ прощенных в 1939-м, впускали его, по возможности незаметно, в крохотную нищую каморку в коммунальной квартире и, приглушив голоса, чтобы соседям не пришло в голову, что это уроки, по очереди занимались с ним (отец умел скупать за бесценок не только канделябры и вазы). В университете он записался, само собой, на немецкий, но также и на иврит, фарси и старопровансальский. От фарси пришлось отказаться, потому что на се-



минаре по ивриту он попросил одну девушку из Баку учить его турецкому, а это было, как сказал стажировавшийся тогда в его группе рабочий парень из Ливерпуля, *ту мач*. (Честно говоря, Б. Б. был немного разочарован, потому что первоначально принял ее за армянку и стал договариваться об уроках армянского и староармянского, *гранара*, — что ливерпудец, узнав, оценил как *ту ту мач*.) Старопровансальский тоже был сменен — на старогалисийский, потому что провансалистику уже оккупировал Миша Мейлах, который учился курсом старше и с которым тягаться, решил Б. Б., когда они встретились и коротко поговорили, выходило себе дороже. Ладно, язык соседний, а где кончаются провансальские трубадуры и начинаются испанские — надо еще разобраться.

Достоевский — вот в кого он впился клещом и уж насосался властью. Достоевский тогда более или менее был под негласным запретом, но с Б. Б., искренне убежденным, что нет такого правила, из которого *для него* не может быть сделано исключения, особенно когда запрет не имеет формальной юридической силы, то есть юридическую силу имеет разрешение, а к тому же и сыном *такого* отца, профессора, кстати сказать, этого самого университета, все устроилось как бы само собой. Заметим, что и хождение на все прочие семинары старших курсов было разрешено *в порядке исключения*, ибо на это запрет был уже официальный. До поры до времени, по крайней мере на протяжении университетских лет, в том числе и аспирантских, затруднительно было бы сказать с определенностью, что приносило победный результат всем его предприятиям: неодолимость его собственного неброского, но и неослабного напора или осененность репутацией отца, — это при том, что почти все его знакомства, в том числе и с нашей компанией, демонстрировали, что он — яблочко, падающее далеко от яблони.

Достоевского он как раз взял, в первую очередь, под нашим влиянием, а конкретно — скорей всего под влиянием Бродского. Мы тогда были в пике упоения не только характерами, скандалами, «невыносимостью» всех этих романов, мучительное чтение и перечитывание которых больше было похоже на катастрофу, в которую собственной волей попадаешь и чудом выскакиваешь, но и авторским стилем, самой грамматикой, словечками. Мы возбуждали друг друга выученными наизусть абзацами, и Бродский в монологе о «благоухающих старцах» и что «до шестидесяти доживу, до семидесяти, до восьмидесяти доживу — постойте, дайте дух перевести!» — был чемпион. От Достоевского круги расходились в 1870-е и 60-е годы, и даже в 50-е, совсем мало освоенные, так что первую курсовую работу Б. Б. написал вовсе про Тютчева, про Федор Иваныча, а не Федор Михалыча, как принято было тогда говорить вместо «Достоевский».

По силе притягательности и воздействия на нас соперничал с Достоевским в то время только Мандельштам, хотя качество преданности тому и другому было разное. С человеком, не чувствующим «Федор Михалыча», как ты, можно было и прервать отношения; «Осип Эмильича» ни обсуждать, ни тем более по его поводу ссориться не было ни малейшего желания — за него готов был хоть и сам сесть. Вернее: почему тебе не сесть, если он сел и там сгинул? Б. Б. взялся и за Мандельштама. Правда, уже помимо университета. Как раз в эту пору Гена (все его звали Генка, но не пренебрежительно, а скорее как Янко) Шмаков устроил что-то вроде домашнего семинара, и именно по Мандельштаму.

Шмаков был помоложе нас, постарше Б. Б. — «потерянное поколение», как сказала сорокапятилетняя дама по фамилии Стайн двадцатилетнему джентльмену по фамилии Хемингуэй, когда тот не мог починить ее сломавшегося автомобиля. Он прочитывал минимум три книги из каждых десяти сколько-нибудь стоящих, ежедневно выходивших в мире на главных языках. Он был набит знаниями, а еще больше сведениями. Выводов не делал, зато замечаний — уйму. Это ему, когда он собрался эмигриро-

вать, директор библиотеки Академии наук, в которой он служил, сказал знаменитую триаду. Директор был лицо номенклатурное, член партии, но вот принял такого сомнительного типа на работу, и какое-то дуновение нормальных человеческих отношений между ними с тех пор витало. Генка пришел предупредить его, что подает бумаги на отъезд. Тот поглядел за окно, побарабанил пальцами по столу, сказал: «Да, эта страна не для вас». Помолчал и прибавил: «И не для меня». Еще помолчал и еще прибавил: «И ни для кого».

Генка обожал иностранцев: они были ему необходимы, чтобы рассказать им, какие в их странах появились последние издания. Для них-то, кучки тогдашних университетских стажеров, он и открыл семинар. Б. Б. с ним дружил и на первом занятии сидел почти упиравшись в него коленями. Итальянка Анна, по прихоти своего венецианского профессора-коммуниста занимавшаяся Бабелем, заметила, что, возможно, «аравийское месиво, крошево» в «Стихах о неизвестном солдате» имеет в виду также и муссолиниевскую аннексию Абиссинии; а «свою голову ем под огнем» — образ Бертрана де Борна, несущего, как фонарь, по восьмому кругу Ада собственную голову, потому что в следующем по времени стихотворении Мандельштам написал, «чтобы в уши, в глаза и в глазницы флорентийская была тоска». Шмаков посмотрел на нее с восторгом, погладил по темно-русским волосам и сказал: «Золотая головка». После семинара Б. Б. подошел к ней и пригласил в ресторан.

Оказалось, в «Асторию»: крахмальные скатерти, хрусталь, свечи. Хорошее грузинское вино, хороший бифштекс, жюльен из грибов. Б. Б. заставил ее повторить все, что она уже сказала, про Абиссинию и про Бертрана, спросил, нет ли еще каких-то соображений и наблюдений. Их не было — он настойчиво предложил ей подумать, два раза. Что она так ничего и не прибавила, его видимым образом не разочаровало, но на этом он свою партию закончил. Если она что-то потом говорила, он иногда поддакивал, кратко отвечал, но сам ничего сверх сказанного в начале не произносил. Ничегошеньки. Это было все, из-за чего он ее пригласил: Шмаков назвал ее «золотой головкой», он воспринял его слова почти буквально — от *золотой головки* можно было ожидать дальнейшей интеллектуальной продукции. Не получилось, ну что ж. Перед десертом он еще раз попросил ее напрячься, не придет ли что на ум. Она сказала: «Может быть, то, что Бертран де Борн тоже Б. Б., нет? И Бабель, в конце концов, тоже. А?» Он серьезно ответил: «Мне это в голову не приходило».

Вскоре он осмотрелся в поисках кого-то поосновательнее. Мандельштамоведов было трое на весь мир: Ахматова, Харджиев и, естественно, Надежда Яковлевна. С нее надо было начинать, с нее Б. Б. и начал. И тут случился конфуз: он был ею немедленно и без обсуждений отставлен — именно как сын *такого* отца. Напрасно он, а потом и их общие знакомые убеждали ее насчет яблока и яблони — она отвечала, что фамилия Мандельштам с фамилией Б. Б. может быть соединена только в контексте жертвы и гонителя, а ни в коем случае не поэта и преданного интерпретатора: дорожки врозь, и игрушки врозь. «Вы мне еще внуков Алешки Толстого подсуньте!»

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Б. Б. попросил Наймана представить его Ахматовой как начинающего исследователя творчества Мандельштама. Услышав имя, она усмехнулась, потом, переключив регистр усмешки, произнесла: «Сын за отца не ответчик» (знаменитая сталинская формула, якомы регулирующая террор), — и разрешила приходить. Дело было в Комарове, летом, она жила в литфондовском домике, Б. Б. — на уже упомянутой даче в Рошине. Два слова о даче. Отец, за которого сын не ответчик, был на вершок умнее умных и участок под дачу взял не на главной аллее, за близость к которой все попавшие в вожделенный список застройщиков, интригуя, боролись, а, наоборот, согласился на

наиболее отдаленный от нее, метрах в пятидесяти, на краю оврага. Эти пятьдесят метров он заранее исследовал, убедился, что песок, то есть луж не будет, но перебитый корнями сосен, то есть достаточно твердый, чтобы подъезжать к дому на машине. Соседей тем самым он получил всего одних плюс немереный овраг, часть спуска в который оборудовал под помойку, и никакого шума от проезжающих автомобилей, никакого беглого света фар ночью по потолку. От этого-то дома, с собственной котельной, с солярием, с французскими окнами в сад и толстыми каменными стенами, и приехал на велосипеде Б. Б., держа в руке огромный букет бискайских лилий, нарезанных у себя в цветнике.

Он приезжал еще один раз, уже с розами. При первой встрече Найман присутствовал: как почти все ахматовские посетители, Б. Б. паниковал перед визитом, правда по-своему — заставив Наймана дать слово, что он не оставит его одного. Другие знакомые тоже просили не бросать их, но физически произносить клятву вынудил только он. Это *сейчас* те, кто вспоминают свою встречу или две с Ахматовой, спокойно пишут «мы говорили о том-то и том-то», а *тогда* «говорить» с ней люди начинали раза с пятого — если до пятого раза доходило. Разговор как процесс ее не интересовал нисколько, а молчать она могла как угодно долго. На Наймана рассчитывали как на человека, который уже умеет с ней разговаривать и через которого легче будет в этот разговор войти. Но в случае с Б. Б. такой механизм не действовал, просто не запускался.

Когда он звонил тебе по телефону, все, на что он тратил силы, была фраза: «Это Б. Б.», — произносимая даже с некоторой энергией. И — молчание. Прошло лет десять, прежде чем я научился отвечать: «Добрый день», — и тоже умолкать, и держать у уха трубку минуту, две, пока он не согласится себя отягчить вопросом: «Как поживаете?» — и на незамедлительное: «Хорошо», — подумав, выжмет: «Может быть, увидимся?» И если ты с ним через три раза на четвертый «виделся», то и тут было то же самое: фразы-междометия из русско-русского разговорника, предлагающие тебе в промежутках между ними потрудиться.

Так что, протянув лилии и сказав «спасибо» в ответ на «садитесь», он сел на стул и стал наблюдать за разговором с ней Наймана, вовсе не помышляя в него входить. Найман сказал ей об интересе Б. Б. к Мандельштаму, и когда она спросила у него, был ли он уже у Надежды Яковлевны, он дал Найману знак, ну, в общем, глазами и подбородком поощрил его, разрешил, благословил, объяснить ситуацию. И тот, представьте себе, объяснял. Думаю, что, если бы он нашел в себе силы не разжать губ, Б. Б. в конце концов свои бы разжал, но тогда Найман, так же как и я, еще так не умел. По этому сценарию встреча шла и дальше, Ахматова иногда обращалась к нему, и Найман за него отвечал. Причем какое-то волнение мучило его глаза на тот миг, пока раздавался ее вопрос, но едва он «включал» Наймана, в них разливалось полное спокойствие. Впрочем, она сразу разобралась, что к чему, и, отделившись несколькими ожидаемыми фразами о Мандельштаме, заговорила об университете, о составе преподавателей, отдельно о Жирмунском, с которым регулярно виделась, о Струве-египтологе, с которым недавно просила Наймана повидаться по ее делу, об Алексее-англисте, у которого на даче только что встречалась с Фростом. Но все это уже напрямую с Найманом — хорошо, если Б. Б. произнес в общей сложности три законченных предложения.

«Заходите еще», сказанное ею на прощание, он принял за буквальное приглашение и опять на Наймана надел: дескать, у нас *втроем* так славно получалось, давайте еще раз; правда, давайте! То есть как это — «не давайте»? Какие у вас причины и основания отказываться?! Но Найман стал груб и не сдался. Б. Б. потом говорил, что вторая встреча вышла очень интересная, очень много было сказано интересного, про кошку, например, и

еще про купца Семипалова... Но Найман и кошку, и купца уже проходил, так что просто кивал ему головой: здорово, здорово.

Зато с Харджиевым дело как-то сразу завязалось и распустилось пышным цветом. Б. Б. у него в Москве побывал, был оценен и даже обласкан. Харджиев, бирюк, мизантроп, подозрительный, — раскрыл Б. Б. объятия! Уникальный случай, невероятный, но я слышал это от самого Харджиева: «уровень знаний», «потенциал», «научная хватка» и еще, с особенным удовольствием, — «холодный, почти ледяной». Не понимая, я спросил: «Кул, что ли?» — но он повторил: «Почти ледяной, в филологии пользительнейшее качество». Теперь Б. Б. звонил ему из Ленинграда чуть не каждый день — и тот ему тоже позванивал. Раскрыть свой архив, мандельштамовскую часть, он не отказывался, но от Мандельштама отговаривал. Убеждал, что на Мандельштама вот-вот все бросятся, и толкучка будет непременно с этакой светской отрыжкой, а между тем есть обэриуты, никто ими толком не занимался, и материалов полно, и люди еще живы. «И до русского авангарда рукой подать», — показывал он рукой себе за спину на стену, где висело несколько Малевичей.

Так что начались обэриуты. Не Заболоцкий, уже взрыхленный официальной критикой, и не Олейников, уже расходящийся на юмористические декламации, а нетронутые, по существу же и неприкасаемые, Хармс и великий Введенский. И «материалов», то есть попросту стихов и прозы, написанных их рукою или перепечатанных на машинке их подругами, в самом деле оказалось полно, и люди, близкие им, еще были живы. Они сами уже нет, а какие-то старухи, милые им, когда были молодыми и веселыми, еще мыкались по свету. Что-то через их не то функцию, не то миссию выживать уже укоренилось в миропорядке долговременное, чтобы не сказать — постоянное, что даже укрепляло его. Их длинная, разреженная, терпеливая очередь вползала в комиссионные магазины с черного хода, неся кто мраморное и фарфоровое барахло, кто английские и французские вокабулы, кто вот эти мятые неаппетитные рукописи, а с парадного входил то отец Б. Б., то Б. Б. сам и великодушно спасал их — кого от голодного обморока, кого от полного забвения. У них, бесчисленных, и у этих, считанных, была нужда друг в друге, и стало быть, никаких нет оснований ни оплакивать одних, ни возмущаться другими. Но, выходит, и не так уж несправедлива была, отказывая Б. Б., Надежда Яковлевна, которую раз навсегда поставили в эту очередь, но дали немного лишних сил и времени посопротивляться и обойти стороной прилавок сдачи вещей на комиссию. Для нее и яблоня, и яблоко, как бы далеко оно ни откатилось, находились с той стороны, со стороны парадной двери и зеркальных витрин.

И, наконец, были — *мы*. Ничего мы как поэты не стоили, никакой цены не имели. Но что-то нами и с нами творилось, заинтересовывающее посторонних, и стишки наши не совсем как прежние звучали, а даже если бы и не творилось и не звучали, все равно ничего лучшего-то не наблюдалось, верно? К тому же был он филолог и знал уже, что главное — не поэт, а архив, не творчество, а история. Не искусство, в общем, а культура. Он приглядывался к нам. Он был амбициозен без предела, куда амбициознее нас, но, как во всем остальном, не чувствовал, какая мера будет хороша, и поэтому составлял элементарную пропорцию: если *они* — единица, а я пока что, положим, четыре пятых от *них*, и если *их* амбиции — положим, стать Вяземским, или Ходасевичем, или, на худой конец, Павлом Антокольским, то мой пусть будет пока что — Павлом Анненковым, Шкловским, на худой конец, Макогоненко. Он наши стишки в папки складывал, письма нумеровал, это все так, но лишь во вторую очередь как архивариус и коллекционер, а в первую — как младший компаньон, который сам, положим, не спяет, не склепает, мотор не запустит, но зато лучше знает место, цену и спрос на спянное, склепанное, запущенное.

Он нас любил, вернее, он нас и любил тоже. Однажды мой дружок из битников и анархистов сказал мне про своего дружка из битников и анархистов, что тот женился на битнице и анархистке, и я поинтересовался, по любви или как. «Да нет, он ее любит, — ответил мой друг. — Он ее любит, как может любить битник и анархист». Б. Б. любил нас, как может любить «холодный, почти ледяной». Это было самое трудное для него, неудобопостигаемое, потому что тут образца, по определению, не может быть. То так, то наоборот: и ласкает — любит, и ссорится, и мучает, и унижается — все любит. И все это надо одно другим быстро сменять, в одной последовательности, в другой. И не ошибиться с дозировкой ни на грамм, с температурой ни на градус, потому что как-то это мгновенно предметом любви улавливается — и пиши пропало. По-видимому, он решил плюнуть на то, в чем ему заведомо не разобраться, и сосредоточиться на исполнимом — оказывать внимание.

Ему было трудно, и нам не легче. Никому его внимание было не нужно, обмениваться ему с нами было нечем. Всегда оставалось в запасе посмеивание над ним — от подтрунивания, питаемого равномерной иронией, до укулов обидных, — но долго ли можно на этом продержаться? Если встречались с ним в компании, то его присутствие добродушно принимали, самого его не принимая в расчет. Если один на один, то твои вопросы к нему довольно быстро глохли, натываясь на ожидаемые, высушенные до необходимого соответствия твоим словам и грамматического минимума ответы; начинался твой монолог, который его тем больше устраивал, чем больше ты речи отдавался, и который, собственно говоря, он и считал, несколько не сомневаясь, вашим общением. Но и тут стоило быть начеку, так как едва заметными междометиями он норовил направить твою речь в наиболее интересующее его русло: например, что сказала Ахматовой Раневская про Чуковскую или Бобышев о последнем стихотворении Бродского и что при этом я думаю о Бобышеве, так что когда ты с ним прощался, то вскоре ощущал во рту неприятный вкус, который быстро распространялся в грудь и живот, и ты не мог себе объяснить, зачем говорил то-то и то-то. И зачем так много. Он дарил книжку или галстук, приглашал в филармонию, на выставку, и все это было хорошего качества — книжка, концерт, но от всего сразу не раздумывая хотелось отказаться, и не затем, чтобы не чувствовать себя обязанным — таким *пустякам* в самоупоении молодости не придаешь значения, — а потому, что и выставка была не в выставку, если смотреть ее надлежало непременно с ним и непременно как-то ему ее комментировать, и книжка не в книжку, если знал, что он вот-вот позвонит и спросит, ну как она тебе.

Он нас любил, и он у нас учился тому, в чем и как это выражается. Он и вообще нам подражал, в стиле поведения, больше, чем кому бы то ни было, а из нас больше всех Бродскому — совсем уже некритически, зеркально. Таня Литвинова сразу после возвращения того из ссылки, зная, что он нуждается в заработке, послала ему в Ленинград ирландскую пьесу, которую московское издательство предложило ей перевести. С месяц от него не было ни звука, а потом позвонил Б. Б., известил, что приехал в Москву, что звонит по поручению Бродского, что придет сегодня «между пятью и семью». Пришел, едва поздоровался, развалился в кресле, сказал, что Бродский на такую ерунду времени тратить не собирается, но что он, Б. Б., пожалуй, взялся бы это «перевалить». Таня (между прочим, лет ей было сорок пять и для Б. Б. звали ее Татьяна Максимовна) видела, что это он таким образом копирует «самого», *переводила* фальшивое хамство Б. Б. в натуральное — и потому невинное — оригинала, и визит хоть ее и злил, но сильнее все-таки забавлял.

Однако Бродскому выпало и нечто большее и особенное: в него Б. Б. влюбился. Конечно, в определенном, а честнее и смелее сказать — в самом существенном смысле Б. Б. был одушевленный чертеж человека, но я



не доказательством того, что он чертеж, занимаюсь и такого договора, чтобы подо все его поступки подводить психологическое объяснение, не заключал. Что-то, стало быть, накатило — сначала, наверное, через *ratio*, то бишь через мозги, а потом и через жилы — и всю вегетативно-сосудистую систему в конце концов отравило. Я ничего, ничего совершенно не понимаю про гомосексуальную любовь, но, может быть, оттого, что у Бродского был подбородок сильный, а у Б. Б. не очень, все и произошло. Он вел себя нелепо, глупо, себе во вред, то есть так, как и ведут себя все влюбленные. Бродский был с ним груб, жесток, в глаза и за глаза говорил невыносимо оскорбительные вещи: а не стукач ли он, что везде непонятно зачем «трется», а не «гомосек» ли, а если нет, то «не играет ли в карманный бильярд». Потом, когда совесть угрызала, давал ему свои стихи — перепечатать, передать кому-то, просто дарил. Так что свой, «патентованный *бэбэшный*», навар тот с него имел, но терпел неизмеримо, невыносимо больше. Однако терпел, глядел на него по-собачьи, иногда улыбался болезненно, но чаще молчал и терпел. И Бродский его терпел, приходилось терпеть.

«Глядел по-собачьи», «невыносимо оскорбительные вещи» сносил... Про живого, да еще близко знакомого тобой человека неприятно так говорить, нехорошо. Про мертвого — тем более; а ведь будет и мертвым. Что ж он, вовсе не испытывал самоуважения, элементарной гордости, что позволял себя так унижать? Или, напротив, до такой степени смирялся? Или, наоборот, так был высокомерен, что на унижение плевал? Конечно, его несчастные запутанные отношения с миром чувств давали какую-то анестезию, притупляли боль от обид. Когда нет четкого представления, не говоря уже — уверенности, *твое* это твое свойство или прижитое от прохожего молодца, иначе сказать: какое оно на самом-то деле, — то чувство этого качества тем паче под вопросом, тем паче нереально. Но ведь шел он на то, чтобы терпеть — от *нас*, улыбался болезненно — *Бродскому*, а мы-то были в то время полнейшие *никто* и *ничто*. И «навар», который он, как я походя в него пальнул, с нас получал, вид наvara имел для него одного. И даже если он делал так с прицелом на будущее, то это был только доморощенный прицел, а никак не провидение змеиным взглядом пифии, и ни из чего не следовало, что это будущее принесет навар, который и другими будет признан за таковой.

Уже в недавние годы я слышал от старых знакомых, правда преимущественно от дам, что, например, Бродский еще тогда — или уже тогда, не знаю, как сказать лучше, — был красавец, «самый красивый из всех встреченных мною в жизни мужчин». Защита — или обвинение, не знаю, как лучше сказать, — располагает другими свидетельствами. Да Горбовский — я имею в виду физическую красоту — был рядом с ним, как Есенин рядом с Ремизовым! Да Нина Королева была признаннее Рейна больше, чем Бальмонт Крученыха! Да что любой из лито Горного института перспективнее нас, вместе взятых, было оттиснуто на сколах древнейших тектонических пород! Да сам умнейший и честнейший Глеб Семенов опер нас из этого перспективного лито после первого нашего туда визита! И правильно сделал — потому что мы были тогда хуже, чем *никто* и *ничто*: у нас не было перспектив, абсолютно не было. А ведь были еще и еще ярусы достижений, признания и успешной будущности, ведь у горного лито билеты были лишь в средние ряды амфитеатра, а впереди была и Москва фрондирующая и устоявшаяся, и преимущества принадлежать к тем и этим были самоочевидны. Однако же «влеченье, род недуга» Б. Б. испытывал почему-то как раз к нашим сиятельным нулям и минус-единицам.

Бродский, который шпынял, а то и пинал Б. Б., тогда был еще посто-янно краснеющий, неуверенный в себе, страдающий от обид молодой че-

ловец, юноша, мягкий, готовый на услугу, открытый нежности, дружбе, — а никакой не авторитет. Никакой не железный исполнитель якобы намеченной им железной программы, никакой не первый поэт, к которому, как сейчас пишут, «до Нобелевской премии оставалось двадцать пять лет». Он мог экспромтом сочинить, неуклюже рифмуя, «Prix Nobel? Oui, ma belle», но он сочинял гораздо лучшие, по большей части каламбурные, экспромты вроде «padam, padam, padam — padam документы в ОВИР» или «охота к перемене nest» и множество других, и все только потому, что они в нем клочкотали точно так же, как короткие горловые смешки, которыми он непроизвольно сопровождал свои бесконечные импровизации. Его мысли о премии были точно такие же, как у многих прочих, как у нашего общего приятеля, который сочинил «не пронесите Нобеля мимо мово шнобеля», но премии не получил. И про ОВИР — Голду Меир он напевал, как Найман «девы, девы, девы — в Венгрии за форинты, в Болгарии за левы», не пересечение границы планируя, а исключительно ради созвучий и модной на ту минуту темы. Целью его и всех наших стихов были сами стихи, и только они, — я думаю, этим мы и отличались в первую очередь и по самому существу от всех попадавших в амфитеатр, тем более допущенных на сцену. И кто его знает, не именно ли поэтому обдуманно и необдуманно тянулся к нам Б. Б.? Именно для того, чтобы откатиться от яблони, несущей кубические, чтобы компактнее их укладывать, яблочки, как можно дальше.

Другим его выбором, который также не подгоняется под схему прямолинейных объяснений, хотя на первый взгляд и преследует выгоду, была не столько даже связь, сколько привязанность, опять-таки односторонняя, к Готе Степанову. Это за глаза или если ты с ним дружил — Готя, а такто — Георгий Владимирович. Степанов был из «испанцев», из тех молоденьких советских добровольцев, которые воевали в испанской войне против Франко. Какие они были добровольцы, он рассказывал без нажима и между прочим. Он вообще так рассказывал — не пуская в ход свое всегда готовое сверкнуть очаровательное остроумие, оставляя его для беседы. Он рассказывал, как после последнего инструктажа, пятого или десятого по счету, энкавэдэшник сказал: «Всё. Завтра в двенадцать на Белорусском вокзале, — и уже вслед их удаляющимся спинам добавил как нечто неважное, чисто формальное, даже забавное: — Если у кого за последние дни случилось изменение против анкетных данных, можно подойти ко мне». И тогда молодой человек по фамилии Римский-Корсаков вернулся к столу и сказал, что на прошлой неделе у них, «у папы с мамой», в гостях был его дядя, о котором они до той поры ничего не знали, приехавший из Парижа с делегацией по приглашению наркома просвещения. Степанов описал, как тот стоял у стола, высокий, худой, длиннорукий, длинношей, «паристократически», как он выразился, нескладный, совсем мальчишка. В голосе у Степанова появилась, когда он это говорил, нежность и боль, и он неожиданно стал на него похож — тоже длинный, с той же грацией, разве что не тощий, а сухой, обросший необходимым набором взрослых мускулов. Энкавэдэшник улыбнулся и ответил, что это не изменение, а изменение — это если бы вы женились или, например, забеременели. Все рассмеялись, а он повторил: «Значит, к двенадцати. До завтра, товарищ Римский-Корсаков». И после этого Степанов — и никто, кто мог бы об этом Римском-Корсакове знать, — никогда нигде его больше не видел и ничего о нем не слышал.

В начале войны с немцами, в звании лейтенанта, Степанов был ранен, взят в плен и с четырьмя пулями в разных частях тела брошен, как куча других раненых, на открытую железнодорожную платформу, отправляющуюся в, если не ошибаюсь, Эстонию. Дело было зимой, в стужу, это наилучшим, а врачи говорят — единственно возможным, способом спасло его

от смерти. Наскоро прооперированный, с не извлеченной из локтя пулей и осколками кости, он попал в лагерь, бежал, снова воевал, после войны доучивался в Ленинграде у Шишмарева на романской филологии, начал аспирантуру, но тут пристальнее занялись поворотами его ратной судьбы и сослали в Ташкент. Когда Сталин умер, вернули.

На войне он вступил в партию, это, естественно, способствовало его карьере. К тому времени, как Б. Б. приступил к галисийским трубадурам, Степанов был член-корреспондент академии, и именно как испанист. Так что Б. Б. была самая к нему дорога — он по ней и раскатился. Степанов принял его вежливо, приветливо. Но сразу заметил, что пока, то есть на первом курсе, когда Б. Б. еще не вошел в предмет, или, как говорят мадридцы, в предмете — *ni oreja, ni hociso*, «ни орэха, ни хошико», что есть калька с латыни *nihil auris, nihil oris*, «нихил аурис, нихил орис», — как бы поточнее перевести? ибо буквально-то это значит: ни уха ни рыла, — он, Степанов, к сожалению, не располагает той стороной оружейных возможностей романских, а конкретнее, старогалисийских штудий, которая на этом этапе могла бы принести Б. Б. хоть какую-то пользу. Б. Б. попробовал взять его на свой безотказный прием, на глещевидный захват необсуждаемой повелительности своих желаний и газовую атаку беспредметности доводов в их защиту, жестко замямлил: «Я уверен, что нам обоим будет...» — но Степанов, попадавший в окружение под Любанью, просто снял левую руку с локтя раненой правой, которую поддерживал, поднял указательный палец на уровень носа и, улыбаясь, поводит им влево-вправо. Поднялся, протянул, насколько возможно, правую для прощания и проговорил: «До встречи через минимум три года». У Б. Б. оставались секунды на последнюю реплику, он был в растерянности, сделал, лишь бы отдалить поражение, глупый — а какие тут могут быть неглупые? — ход: «Я могу подвести вас до университета, меня ждет внизу машина отца». — «Благодарю, но и я могу подвести вас, меня ждет служебная». Мат.

Степанов был не нужен Б. Б., ему был нужен Жирмунский. И Б. Б. Жирмунского имел, с самого начала университета, сперва как отца знакомого и коллегу, знавшего его с детства, а вскоре и заставив обратить на себя внимание серьезностью академических намерений и целеустремленностью. Забегая вперед, скажу, что Жирмунский готов был пойти в его научные руководители, если бы Б. Б. выбрал темой диссертации своих трубадуров. Он не выбрал, так что, как видите, и практически Степанов был ему ни к чему. Безусловно, тут ко всему еще срабатывал глотательный инстинкт: почему не иметь Степанова, если можно? Но в том-то и дело, что на стезе, посланной под ноги Б. Б., Степанов был более отрицательной, чем положительной, величиной. От него если и могла зависеть карьера, то должностная, которая Б. Б. была абсолютно чужда, а не академическая, которую единственно он преследовал и для которой Жирмунского хватало за глаза и за уши. Приближение же к Степанову могло даже бросить тень на его репутацию в среде *честных*, политически *чистых* филологов. А несмотря на то что честные и незапятнанные на посты, которых они заслуживали, не допускались и вообще содержались под определенным идеологическим прессом, определенный террор порядочности — как часть общеинтеллектуального террора их среды — был академической реальностью.

Например, не-члены партии несли свое не-членство как знамя и относились к нему, как один мой знакомый, православный татарин, к католицизму. «У нас, — любил он в подпитии сказать, — слава Богу, крест. Крест, слава Богу, а не *крыш*, прости, Господи». Матлингвист Тополянский, мой приятель, выказывал мне неодобрение и неприятие моей дружбы с Ренатой Ц., вступившей в партию «из карьерных соображений». А я ее знал со школы, хрупкую, изящную, с нежным, не в пример Тополянскому, голоском, она служила в Институте археологии, бредила раскопками в Монголии, и все ее карьерные планы сводились к тому, чтобы полу-

чить разрешение туда раз в год ездить, и не переменным условием этого был партийный билет. Лучше бы, конечно, как Тополянский, удержаться, лучше, как он, недополучить, но ведь слабость — и за это остракизм? За такую награду, как Монголия? Что такое наша крошечная коммунистическая партия, мы знаем, однако ведь и ваша беспартийность — как-то она «по-партийному сурова», товарищи. Да и не ходи тогда, если ты *чистый*, к *члену* КПСС Степанову с просьбами вполне личными. А то прекрасно шли и, просимое получив, фыркали по поводу недостаточной строгости и глубины его книги о Лорке и статей о Сервантесе: «Ну что вы хотите, интернациональная бригада, над всей Испанией безоблачное небо». И еще более презрительно по поводу его административных успехов: «Что и говорить, партия — наш рулевой». И Степанов, прекрасно об этом зная, тем не менее всегда старался выполнить их просьбы как можно удовлетворительнее.

Что он об этом знал, он рассказывал Найману, с которым дружил и который его любил. «А вам ничего от меня не нужно?» — спрашивал он в конце какой-нибудь очередной истории, подливая ему и себе сливовицы из хрустального графинчика. Однажды Найману стало нужно, он позвонил, объяснил, что хорошо бы иметь отзыв Степанова на его перевод «Фламенки», иначе издание отодвигают на год. Тот сказал: «Умоляю, напишите сами, я завтра подпишу». Назавтра Найман привез более или менее нейтральный фрагмент своего уже готового послесловия к книжке, протянул Степанову и предупредил: «Я только не уверен — «отзыв о» или «отзыв на»?» И тот с мгновенно вспыхнувшим азартом, как Тристрам Шенди учителю, спросившему, разве не мог отвести жеребца на случку не он, а Обадия, ответил: «*Отзыв — о. Донос — на*».

Б. Б. в покое Степанова не оставлял как до истечения назначенных трех лет, так и после. Смешно сказать, но во время их встреч, достаточно редких, ибо палец, покачивавшийся возле носа влево и вправо, всегда был у Степанова наготове, и сближения, которого необъяснимо хотел бы Б. Б., не получалось, они занимались исключительно текстами галисийцев, с которыми Б. Б. к нему приходил: разбирали темные места, искали для комментария непосредственных реалий. Степанов бывал в Ла-Корунье и Байоне, не говоря о Сантьяго-де-Компостела. После одного из таких уроков с Б. Б. он сказал Найману, что уже готов был рассказать Б. Б. одну личную историю, но тот в аккурат в этот момент не удержался и попросил чего-то — участия в старокаталонском спецсеминаре, права на бесплатное получение португальских филологических книг, — чего ему и не нужно было, а просто потому что можно было попросить, и Степанов, вежливо отказав, предпочел за рамки сугубо научных тем так и не выходить. А история была такая, что недавно он летал в Испанию по личному приглашению президента тамошней Академии наук и несколько дней гостил у него на гасиенде. Однажды утром они сидели на балконе, пили кофе, тот показал ему на узкую долину вдоль реки между недалних гор и произнес: «Красиво, правда?» Степанов подтвердил. «Помните? — сказал тот. — Ваша рота лежала на том берегу, а наша — на этом. Какие молодые мы были! И славные». Это к вопросу о непосредственных реалиях.

Б. Б. в разговорах с академическими либералами их пренебрежительную оценку научной значимости Степанова непременно оспаривал, настаивал на специфичности его знаний и филологического чутья и уникальности его самого как ученого, а именно, как фигуры в ученом, преимущественно книжном, мире. Однажды он даже повторил *мо* Наймана: «Степанов знает цену книг о книгах, цену книг о жизни и цену жизни без книг, а именно, на ледяной товарной платформе с четырьмя пулями в себе, — что и отличает его от всех академиков». Любви к Б. Б. это ни в коем случае не прибавляло, неприязни — с избытком.

В 70-е годы творческая компонента интеллектуально-культурной жизни ушла в тень, на передний план вышла исследовательская. Литературу, живопись и музыку продолжали писать по инерции, иногда восхитительно писали, например «Москву — Петушки», но определяющим сделалось писание *об* искусстве: обнаруживали общие принципы, методы и механизмы в его разных, «далековатых» и вполне далеких одно от другого, произведениях, приводили их к более или менее общим знаменателям. Первенство перешло от *сочинителей* к *университетским*, от знаний эмпирических к книжным. Юноши нашего поколения бросались на жизнь как на что-то наконец, после доброй четверти века недоступности, открытое для непосредственного узнавания, полнокровного участия, навязывания себя. Образование сколько-нибудь систематическое, по естественной ограниченности человеческих возможностей, по недостатку сил и желания, упускалось; своим умом доходили до того, про что можно было бы узнать из учебника, интуицией — до элементарных знаний. Самолично добытые, они были дороже заемных, как самодельный гвоздь дороже магазинного. Сплошь и рядом откровение сводилось к тому, что два, умноженное на два, равно четырем, зато это было твое два и твое четыре, а что результат подтверждается таблицей умножения, значило в первую очередь, что и все другие результаты верны.

Поколению Б. Б. бросаться уже было особенно не на что: эка невидаль жизнь без Сталина, при Хрущеве — Брежневе, — да особенно и некому. Поэты и художники следующего за нашим десятилетия мотались более или менее неприкаянные и что-то дополнительное к стихам и картинам доказывали. Их сверстники, как следует отучившиеся в университетах, *понимали* в их деле не меньше, а больше их и высокомерно их третировали. Университетские кумекали по-гречески и по-латыни, им было все равно, чьи *тексты* перед ними: Тютчева или Тюткина, их товарища, — у них были одни критерии для обоих, и бедняге приходилось играть по их правилам и настаивать, что его стихи *экзистенциальней* тютчевских. И правда, экзистенциальностью они день ото дня все больше обходили Тютчева — и параллельно скукой — самого Тюткина «раннего». И складывал бедняга их в циклы, перепечатывал в четырех экземплярах, брошюровал и оставлял незаметно за зеркалом в прихожей у многоумных своих бывших однокурсников.

Честно-то говоря, и у этих, как говорила когда-то прислуга Ольги Судейкиной, «первоученных» в душах пело ретивое: им было не все равно то, что они вышли на такой уровень постижения культуры, на котором все равно, чьи перед тобой стихи; им было не все равно, что они могут все равно что, стихи или квитанцию из металлоремонта, называть текстом; они чуть-чуть нервничали оттого, что у них столько знаний, оттого, что они понимают греческий, не говоря уже — старогалисийский; а больше всего возбуждало их, что они первое поколение филологов «такого ранга» после великих Бахтина, Шкловского и Томашевского, — типичный комплекс «интеллигентов» в первом поколении.

Б. Б. каким-то боком примкнул к Тименчику и Осповату, другим каким-то — к Левинтону и Мейлаху. (Забавно, что к четверем из пяти перечисленных имен надо прибавлять «младший»: у одного Тименчика отец был просто ремесленник, у остальных — филологи, «старшие». Помните: «Будет, так же как и отец, содержать трактир», — Бобчинский про трехнедельного младенца говорит.) Не ими их подход к продукту искусства был открыт, «всегда», хочется сказать, имел место, а в 20-е годы так и громче, и ярче ихнего себя объявил, но в их время он назвался структурализмом, с претензией то есть на универсальность. С непосвященными — да нет, и между собой, пожалуй, тоже — разговор о своей причастности новой науке они вели с тонкой улыбкой, намекающей на эзотеричность *всего дела*, этакое интеллектуальное *cosa nostra*, и в профанное пространство обык-



новенной жизни выпускали лишь несколько сакральных слов вроде *кярику* и *семиотикэ*, которые притягательными пузырьками скользили по поверхности, указывая на существование тайного бездонного водоема. Кярику был городок в Эстонии, куда они из двух столиц съезжались летом на семинары «по знаковым системам», в результате чего зимой выходили их статьи в сборниках под названием «Семиотикэ», напечатанным греческими буквами.

Времяпрепровождение было славное, да и время неплохое, особенно поначалу, — сужу об этом в основном по их рассказам. Потому что статьи, за редчайшим исключением, были написаны кошмарным языком, и если судить по ним, то в Сочи в каком-то смысле было лучше. Язык они объясняли двумя причинами: величественно — тем, что это наука, такая же специальная и точная, как, скажем, математика, и не требуется же от математиков, чтобы они писали эссе; и жалобно-мужественно — условиями цензурными, при которых написанное таким образом более проходимо. Дескать, была бы свобода, писали бы так, что дух бы захватывало. Это, однако, не подтвердилось, когда свобода пришла и они написали воспоминания и объяснения, «былое и думы», так сказать, уже по-человечески. У Лотмана, у Гаспарова Бориса, еще у нескольких как тогда статьи были захватывающие, так и сейчас получилось, а другие многие вроде нашего Б. Б. привлекательнее выглядели, все-таки когда выражались стилем σπινθηροειδής, «бессмысленным и беспощадным». Некоторые из них, как оказалось, сами пробовали силы в сочинении художественной прозы и стихов: образцы сейчас опубликованы и похожи на бумажный рубль, частью разрезанный на ломтики, частью обваленный в яйце и зажаренный и так поданный к столу в качестве фунта колбасы, который на него можно было бы купить.

Не то чтобы их было много, но их присутствие стало проступать по всей филологической, на глазах превращавшейся в культурологическую, территории, как влага на лугу после дождей или на ковре, залитом соседями с верхнего этажа, — в том месте, куда в данную минуту ступала твоя нога. Это было следствием замысла, безусловно грандиозного, одного из тех, которые замахиваются на самое главное, на «общую теорию поля». Наиболее одаренные и знающие открыли много замечательных вещей, что они, родись раньше или позже, сделали бы и не будучи структуралистами. Разумеется, методы нового искусства породили методику нового понимания его, и то, что Ахматова, к примеру, писала так, как она писала, вызвало к жизни то, что о ней *так* написали Тименчик, Топоров и Цивьян. Но параллельно с филологической работой, наглядно существенной и плодотворной, шла игра в бисер, в конечном итоге бесплодная и неадекватно разочаровывающая, хотя в самом своем процессе веселая, увлекательная, пленяющая необязательностью и остротой и как таковая претензий не вызывающая, — если бы занятые ею не выдавали и ее за серьезную, общезначимую и нелегкую *работу*.

Структуралистами становились *все*, надо не надо, хочешь не хочешь, можешь не можешь, и это приводило к тому, что ключи, подобранные к Ахматовой или к Мандельштаму, совали, как отмычки, в замочные скважины ничего такого не ожидающих Пастернака и Цветаевой. Однажды за многолюдным дачным столом заплелся, побежал летний разговор о «Докторе Живаго», и молодой филолог по имени Коля после достаточного помалкивания доложил с умеряемой ради компании безапелляционностью, что Лара — это, конечно, Марина, понимай — Ивановна. И когда зашумело, зататакало вокруг, что с какой стати Марина, если Зина, и куда Ольгу девать, он, погуляв желваками и порозовев, брякнул: «Вы все любители, а я семиотик-профессионал!» А когда жена Наймана однажды в подобной компании, на сей раз чеканившей звенящие сталью максимы о На-

бокове, заикнулась, что были в это время писатели и получше... — («Например, кто?!» Например, Томас Манн...), — то молоденький филолог по имени Федя отказался захватить с собой перчатки, которые забыла у Найманов его мать, и объяснил это кратко, взорвав грамматику возмущением: «Которые Набокова... которые Томаса Манна... нет, нет и нет!»

И конечно, как за всяким предприятием, претендующим создать структуру, параллельную созданной актом творения, и уразуметь как систему то, что принципиально должно выходить за рамки всех систем, а именно, как «полагались основания земли» и каковы «уставы неба», проступал на заднике и этой оперы остроухий силуэт и поскребывали из-за кулис коготки ее *главного* режиссера. «Ради красного словца не пожалеть родного отца — это и есть филология», — шармировал одним из своих афоризмов веселый Осповат. Ну, во-первых, возвед на высокую гору, показывали нам все царства вселенной во мгновение времени и обещали власть над ними и славу их. Маяковский сопрягался с фараоном египетским и оба они с корейскими гностиками. Одно было равно другому, и всё всему, и все достигалось щелчком пальцев. Пчела у Овидия и в песне «Пчела, пчела, кругом пчела» на слова поэта Ванича и в инструкции по устройству пасек на приусадебном участке была одна и та же. Слова сбивались в мелкодисперсный майонез, он же — автомобильная смазка, он же — крем для загара. Вкус, естественно, отменялся. Разница в установках политических, эстетических, моральных, естественно, тоже: было бы слово, а *текст* найдется.

Не поразительно, что автор известной финской монографии о воровстве попался на краже в универмаге, а швейцарец, писавший книги о де Саде и Мазохе, скупал все, какие мог найти, порнофильмы. Если по-академически бесстрастно и безмятежно сопоставлять в одной статье колонны, возводившиеся архитектором Шпеером в Третьем рейхе, и колонны, обрушенные Самсоном, то незаметно и сам, как говорил один мой друг, уже не ориентируешься, где — своя жена, а где — продавщица из часового магазина, и те, кто статью читают, тоже перестают ориентироваться. Смешение — великое дело, могущественное: главное, чтобы — царства, чтобы — все, чтобы — разом и непременно чтобы — с высокой горы, откуда все выглядит одинаково бледно, одинаково убедительно-неубедительно, одинаково достижимо-недостижимо — что власть, что слава.

Что до жен и продавщиц, то нареканий на личную нравственность новых интеллектуалов в партком не поступало. Однако захватить после смерти чей-то архив или библиотеку, залезть в дневники и письма покойников, «артиста и его окружения», хоть уже истлевших, хоть еще теплых, считалось не просто нормой, а даже с отсветом высшего служения — потому что «в хорошие руки» и «хорошими руками». Если Михаил Булгаков, сидя на корточках у печки, выдирал из тетради листы промежуточного варианта «Мастера и Маргариты» и бросал их в огонь, то булгаковед, дыша учащенной и счастливее, чем обычно, как хищник, учуявший кровь, набрасывался на рваные клочки корешков и по нескольким застрявшим на них буквам *реконструировал текст*. Что, может быть, так не надо или, того пуще, нельзя, и в голову никому не пришло бы обсуждать, настолько это было само собой разумеющимся. Того размаха и разгула, который появился вскоре, в пору, названную постмодернистской, тогда еще не было, постельное белье вроде не перетряхивали, инцестов не вскрывали, не объявляли, кто истинно верующий, а кто спрехвала, но семя посеяли и почву взрыхлили.

И как косвенное следствие, которое все такие грандиозные антрепризы производит независимо от желания или нежелания участников, повысилась ощутимо общая энтропия творческой мысли, наклонился мыслящий тростник еще на градус к земле и депрессии. Как ни крути, а походила эта семиотика структуральная, этот семиотический структурализм, на

похороны искусства, и музыкой несло заунывной, и тоской потягивало замогильной. И то, что именно такие *мастера культуры* вышли на авансцену, отодвинув неученых, но каких-никаких богемных, горячих, бесшабашных и обольстительных поэтов нашего десятилетия, выглядело как замена актерской труппы союзом театральных критиков и, если угодно, безумного Хрущева обстоятельным Брежневым. Поэты — пока они поэты, — что замечательные, что так себе, существуют вне какого бы то ни было, кем бы то ни было принятого списка, и все остальные люди волей-неволей с этим соглашаются, зная при этом, что сами в какие-то списки входят. А если властители умов — *ученые*, то есть отличающиеся от всех лишь величиной, но не качеством знания, лишь манерой, но не качеством поведения, то, значит, в общем списке — *все*, пусть одни под первыми номерами, а другие под сотыми: ведь вполне возможно с течением времени местами и поменяться, свободное дело. А так как бесчувственный ровный тон, каким они описывали выбранных ими для своих статей поэтов, выдавал неувловимое их над поэтами превосходство, то выходило, что и поэты — такие же, как все, а *их, новых ученых*, так даже чуточку и хуже.

По самой установке, в профессиональном плане они тоже были люди из свойств, из свойств тех, о ком они писали и делали доклады, так что Б. Б. пришлось очень даже в масть. Не упустим к тому же из виду, что если запрет на вкус и различение этических и прочих позиций еще как-то оговаривался, то запрет на эмоции стоял за скобками, и тут оказаться «холодным, почти ледяным» было — Харджиев знал, что говорил! — пользительнейшим качеством. И все-таки в первый ряд Б. Б. так никогда и не попал. Когда действуешь, соразмеряя проявление какого-то собственного свойства с проявлением его у других людей, то есть так или иначе его ограничивая по их меркам, то группа свойств центростремительных, замыкающихся на тебе самом, таких, как самолюбие или самоотверженность, естественно, выпадает из регулирования, и самоограничение — первое из них. Достоевский, испанские трубадуры, обэриуты, турецкий язык. Да еще и Ахматова, потому что не упускать же *Ахматову*, если видел ее лично. Да так ли, сяк ли и то, что вот-вот будет называться «ленинградская *что-то*»: «сироты», «купол», «аввакумовцы» — то есть каких-нибудь Димы, Жени, Оси и Толи поэзия. И все это через семиотическую призму и в структуралистской обертке, обращение с которыми тоже надо освоить, мозги и время потратить... Пространство культурное было покрыто максимальное, окраины уже начинали выходить из-под контроля, а значит, и оттягивали сосредоточенность и силы от метрополии.

Впрочем, что центр, а что периферия, он и сам не мог бы сказать. Повод, почему сейчас выбрана именно эта тема, как правило, включал в себя необязательное понуждение извне. Даг Хаммаршельд, генеральный секретарь ООН, а в «гражданской», так сказать, жизни — выдающийся лингвист, упомянул в одном из интервью, которых у него, наверное, брали десятки, но до России дошло почему-то это, урезанное до полстолбца в «Литгазете», что он только что написал статью «Мандельштам и Шекспир». Б. Б. позвонил с этим Харджиеву. Тот сказал, что у Надежды Яковлевны он видел оксфордский однотомник Шекспира, с пометами на полях, про которые она говорит, что это «Осины». Харджиев в то время был с ней еще в самых милых отношениях, и Б. Б. надел на него, чтобы он взял книгу ни словом не упомянув о Б. Б., а как бы для себя. Одновременно он надел и на бельгийского филолога, который в это время приехал в Ленинград с группой ошалелых от благополучия и страха перед нашими ракетами борцов за мир, о чем с соответствующим пафосом сообщили газеты. Б. Б. вызвонил его еще раньше, на всякий случай, а тут случай и подвернулся. Б. Б. убедил его, что Хаммаршельду в высшей степени необходимы здешние архивные материалы, и взял с бельгийца слово, что он

отправит тому телеграмму — «прошу задержать публикацию статьи мандельштаме зпт прислать текст тчк уникальную находку отправляю течение недели бб».

Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт, Харджиев забирает оксфордского Шекспира, проводник «Красной стрелы» заезжает к Харджиеву и привозит книгу в Ленинград, Хаммаршельд приостанавливает публикацию статьи в Мутоне и высылает статью Б. Б. Тот новой телеграммой благодарит, но с отправкой «уникальной находки» уже не торопится, поскольку «теперь это стало не так актуально». Он выбирает из книги все пометы, довольно рутинно их комментирует и вставляет в разные места хаммаршельдовской статьи по методу «эти наши (то есть уже *наши с Дагом*) тезисы подтверждаются и тем, что Мандельштам подчеркнул в «Тимоне Афинском» такое-то место». К первой такой вставке он делает, правда, сноску, мелким шрифтом: дескать, принадлежность помет Мандельштаму весьма, весьма вероятна, но не доказана окончательно. Новый, скомбинированный текст перепечатывается на пишущей машинке с двумя клавиатурами, латинской и русской, а также и под двумя теперь фамилиями и переправляется *Дагу* — что значит, что к хороводу под флейту Б. Б. уже танцующих присоединились еще знаменитая Зинаида Викентьевна, у которой у одной в Ленинграде была такая машинка и заказы расписаны на полгода вперед, и еще американский дипломат, «пожелавший остаться неизвестным», ибо пересылки этакого рода считались «несанкционированными» и беспощадно карались властью.

Нет на свете и не может быть такой научной и ненаучной статьи, которая соответствовала бы масштабу проделанной Б. Б. работы. Да плевать, в конце концов, толково он что-то там прокомментировал или нет, прибавил что-нибудь к соображениям Хаммаршельда или, наоборот, уплошил их и даже мандельштамовские то были пометы или какой-нибудь бедной английской гувернантки вроде обучавшей юного Б. Б., — если буквально из ничего он создал такое *всё*. Хаммаршельд, который улаживал тогда очередной палестинский конфликт, находит время поблагодарить. От Б. Б. следует указание как можно скорее отдать статью в «Russian Literature». Генеральный секретарь повинуется, но тут неопознанная зенитная установка сбивает его самолет, и статья появляется в ближайшем номере журнала с траурной рамкой вокруг его фамилии — и с коротким послесловием Б. Б., скорбящем о потере близкого друга и сотрудника... С такими *причудливыми* выводами из научно-исследовательской деятельности в первый ряд *научно-исследователей* не выходят. Не говоря о том, что научно-исследователи, да и никто из состоящих в какой-нибудь корпорации такого не прощают.

Самоограничение не копируется и не имитируется, как нельзя скопировать строчку или имитировать почерк, которым она пишется, если в ту же секунду, как она появляется на классной доске из-под правой руки пишущего, левая рука ее стирает. Но число классов и число досок, на которых текст или хотя бы его ошметки, появившись, остаются достаточно долго, до следующего дня, а то и на несколько дней, практически безгранично, а стало быть, безграничны и возможности усвоения. Б. Б. принимал участие — почти исключительно созерцательное: в премьерах, вернисажах, закрытых просмотрах, днях рождения, свадьбах, в геологических и археологических экспедициях, путешествиях по горам, по пустыням, по океанам, в вызывании духов, шаманстве, медитациях, в Пасхе православной и католической, в Йомкипуре, в ботанике, минералогии, энтомологии... Упомяни в разговоре с ним, при нем о каком-нибудь неизвестном ему предприятии, новой затее, о чем-то приезде, виду не подаст, что обратил внимание, но, прощаясь, обязательно шелестнет: «Как, вы сказали, фамилия этого, который приезжает? И кто, вот вы говорили, это дело-то затевает?» И уже через неделю обедает у него приехавший, и ты тоже на

этот обед приглашен, и Б. Б., оказывается, уже участвует в предприятии осуществляющемся. И непонятно, почему и гостя видеть не хочешь, и о предприятии думаешь с тоской.

Несколько раз он ездил с Арием Древиным на Памир и Тянь-Шань. О, Арий Древин, о, о! Как во всякое удавочное время, мистика, которая почему-то — а в общем, и понятно почему, но сейчас неохота на эту тему сворачивать — всегда валит с Востока, была из нормальной жизни откачана, частью в близлежащую Европу, частью по сибирским лагерям, частью выпущена вместе с кровью на тот свет. Но в тонких сквознячках, которыми с ее руин все-таки потягивало, сохраняла неслабеющую интенсивность. Для Рерихов так власти никогда и не нашли четкого статуса: художества и патриотизм благосклонно приветствовались, но последователей сажали. Через Андрея Белого можно было пролезть к каким-то перво- или хотя бы второисточникам. Гурджиев и Успенский бродили то в виде ветхих брошюр со слепым шрифтом, то в английских изданиях на твердой бумаге. «Книгу мертвых» можно было запросто увидеть на книжной полке у родной тетушки рядом с энциклопедией Гранат. О Блаватской старшие говорили как на все еще актуальную тему.

Арий вышел из ученичества рано, годам к двадцати пяти. Что-то он понял, что стояло за набором упражнений и подручной магией, что-то не отдельное от его складывавшейся в советских условиях, в коммунальной квартире, Военно-Механическом институте, поденном труде и так далее, жизни. Что-то о тайном знании, получаемом контрабандно, о карте, на которой обозначены пределы запретной зоны, и о цене, которую платишь, выходя за них. В горы он отправлялся из того простого и ясного убеждения, что дух, которого он ищет, естественно найти в идеальной удаленности от человеческого дыхания, в максимальной приближенности к небу, начинающемуся с первого шага вверх по склону, и, наконец, в атмосфере, хранящей флюиды тех, кто отправлялся сюда за тем же самым. Он делал это ежегодно, и года три подряд Б. Б. к нему присоединялся. Возвращаясь, Арий, когда упоминал о нем, неловко вертел головой и беспомощно усмехался, беспомощно в том смысле, что не может выразить, что было не так. «Станный... Все вроде делает как надо. Ничего не боится, не жалуется, рюкзаки таскает, мерзнет, не жрет, когда нечего, кровь носом и из ушей идет... Но как-то он на себя произвольно силу оттягивает, туго у меня при нем получается. И, главное, не пойму, зачем ему все это». А Б. Б. говорил: «Замечательно мы в этом году с Арием съездили». Попросишь рассказать — э, ме, ну, вообще, горы, снег, краски *непередаваемые*... и обычное навеки умолкание.

Однако ведь ехать вот так, *вдвоем, в горы* можно только с *очень* близким человеком, а не с таким, про которого потом растерянно себе объясняешь: «Какой-то он прилипчивый». В таком случае, что же это было?

Он путешествовал по Северному морскому пути, а обратно — по КВЖД и впоследствии, ради тайги и тундры, по БАМу, ведущему в никуда. И по Великому Шелковому пути, насколько это было возможно в пределах СССР. (О Кавказе я уже не говорю.) Генрих Штейнберг в те дни начинал свою карьеру бесстрашного вулканолога, поселился на Камчатке и по очереди приглашал в гости всех своих ленинградских друзей-приятелей, которые все необъяснимым образом оказывались поэтами-писателями. «Все у меня побывали, — удовлетворенно начинал он и перечислял по имени и фамилии, — Женька Рейн, Глеб Горбовский, Андрюха Битов, вот только тебя не было. И Бродского». До Бродского дело дошло, когда его уже в первый раз дернули в КГБ — по делу Уманского и Шахматова. Выпустили, но три дня все-таки продержали, поэтому когда он подал паспорт на визу в пограничную зону, то, само собой, получил отказ. Через год — то же самое, и тогда Штейнберг с ним и с Б. Б. договорился, что приглашение прийдет на имя Б. Б., а уж там у себя на Камчатке, где пограничники все его

кореша, встретит у трапа, и никаких проблем. Не знаю, надо ли сочинять какую-нибудь специальную риторическую конструкцию, чтобы наиболее эффектно подать то, как стоит Генка, ждет на аэродроме самолет, немного все-таки нервничает, вот самолет приземляется, подают трап, и на него первым выходит — Б. Б. И никакого, разумеется, Бродского.

Если в начале лета он ехал в Среднюю Азию, то в конце — в Крым, и наоборот. Кажется, Крым ему действительно нравился, то есть он позволял себе ориентироваться на собственное чувство без оглядки на других. Правда, и в Крыму он собирал камни, по полкило, по килограмму весом, которые придавали его поездке отличие от просто привлекательного курортного предприятия. Он прочел нужные книги по минералогии, он видел коллекции камней, более или менее случайно собранных, у одного философа, двух математиков, одного поэта и двух писателей, которые все импонировали ему и выбранному им кругу независимостью образа жизни и мысли, а точнее, незаинтересованностью в том, что кто бы то ни было думает об их жизни и мысли. Тем самым он, делая то же, становился как бы седьмым в этом эксклюзивном списке. И он делал это опять-таки и по той очевидной причине, что прибавлял к пляжу, прогулкам, фруктам, получаемым всеми, еще и камни, то есть получал больше. И бабочек. И цветы. Но гербарии и коробки с бабочками весили немного, а от камней обрывались руки и кишки, поэтому до Симферополя ими занимался таксист, таскавший, хотя и матерясь, неподъемные чемоданы и рюкзаки отсюда и туда, откуда и куда указывал Б. Б., а в Ленинграде его встречал в аэропорту Рудик, шофер отца. Рудик знал, что он старого барина слуга, а молодого — раб, и ненавидел его, но слабее, чем желал сохранить место слуги.

Отправляясь в Крым, Б. Б. заранее высылал письма трем-пяти старушкам, жившим в городах на пути его следования, главным образом вдовам, или бывшим подругам, или наследницам — опоязовцев, обэриутов, испанистов, Любомудров первой трети прошлого века, евразийцев нынешнего. И все они приходили на вокзал точно к прибытию поезда и приносили то, что он просил: рукописи, фотографии, книжки, рисунки, картинки, ветхие личные вещи.

Не спрашивайте, в каком году это было, потому что это было и в том самом году, и через десять лет. И в тот, например, год, когда Бродского сослали в деревню Норинскую Архангельской области, тоже было так. Б. Б. проложил туда путь одним из первых, и на сей раз это была не увеселительная, не полезная прогулка. Бродского туда сослали не для того, чтобы его там навещали, что-то привозили и отвозили и поддерживали его связь с миром: ссылка была задумана в первую очередь ради разрыва этой связи. Приезжавших к нему ставили на дурной учет, дополнительный к тому дурному счету, на котором каждый из них, правда, уже был. И ничего хорошего, совершенно ничего впереди не светило, а, наоборот, светили ссыльному пять первых, и неизвестно сколько всего, лет — и такая же закоченевшая, застуживающая насмерть деревня любому из навещающих. Пожалуй, единственное, что можно было найти сомнительного в этом поступке, — это что его совершали, не спрашивая *несчастливого*, доставит ли ему счастье визит. Пушкин, на звон бубенцов сбегавший в мороз в короткой ночной рубашке с крыльца, — верх восторга и трогательности, но хорошо, что прикатил милый Пушин, поскольку деваться-то хозяину все равно было некуда.

Найман в первый раз поехал в Норинскую осенью, во второй — получилось в феврале. Б. Б. вызвался сопровождать. Набралось два тяжелейших рюкзака с продуктами и еще три больших сумки книг и разных разностей, одному было не увезти, Найман согласился. В Коношу они приехали ранним утром. Мела метель, он оставил Б. Б. в пустом зальчике ожидания с вещами и пошел в темноту рыскать в поисках попутки. Жизни не было нигде никакой, метавшийся на столбе фонарь и безумевший в его свете

снег делали, по его словам, неподвижность, огромность и неприступность бесконечных сараев и складов самодовлеющей, не подлежащей нарушению. Почти ослепший, он вернулся на вокзал. На скамейке возле кучи их багажа сидела кутаная-перекутаная в платки и ватники баба и на голос плакала. Он спросил, где Б. Б., она показала на дверь начальника станции и объяснила, что ее он оставил стеречь вещи и она боится. Вещи, ее, стеречь, оставил, боится... Найман постучал и открыл дверь. Начальник озверело крутил ручку телефона и потом орал в трубку, чтобы почтовая машина, прежде чем ехать по деревням, завернула на станцию. Б. Б. сидел, размотав шарф, в казенного вида кресле сбоку от стола и пил из стакана с подстаканником горячий чай. С кончика носа свисала сопля. Он сделал начальнику знак, тот метнулся в угол и налил из кипевшего на электроплитке чайника второй стакан, для Наймана. Найман стал благодарить, начальник извиняться. В это время ему позвонили, и он стал отвечать кому-то властно, хамски, обрывисто — как подобает начальнику большого железнодорожного узла. Через полчаса подъехал грузовик с почтой. Все вещи погрузили в кузов, Найману показалось, что и начальник, и почтарь хотели бы посадить в кабину их обоих, а чтобы почтарь каким-то образом правил снаружи, не мешая им. Найман сказал, что предпочитает залезть наверх, — на нем были валенки, три свитера, стеганое пальто и непробиваемый тулуп. Б. Б. изобразил руками и лицом неубедительное театральное несогласие, но сразу влез в кабину, и начальник захлопнул за ним дверь. Баба жалась на крыльце, как аллегория человеческого недостойнства.

Ехать было долго, тридцать километров, может быть, часа три. Бродский выбежал или не выбежал, не важно, но, во всяком случае, не в рубашке. Когда вещи были втащены в дом, он выхватил из пачки писем одно, залпом прочитал, повернулся к Б. Б. и быстро сказал: «Прекрасно, я сейчас напишу ответ, а вы его отвезете. Машина будет возвращаться в три. Как раз к поезду». Б. Б. упал на колени. Они забормотали — Найман: «Это шутка, шутка. Нет, нет, нельзя, нельзя», — а Бродский: «Кажется, и правда так нельзя, хотя это отнюдь не шутка». «Вы будете спать на полу, — сказал он Б. Б. через минуту, — кроватей только две: для нас с А. Г., как вы догадываетесь». — «Я взял с собой альпийский спальник итальянского пограничника», — ответил тот. «Без пограничника?» — сказали они, в общем, хором.

По ночам спальный мешок примерзал к полу, если днем в этом месте случайно была пролита вода. Один раз примерзли даже волосы Б. Б. Все десять или сколько там было дней он в разговоре не участвовал, только отвечал на вопросы, когда они его спрашивали. Однажды, когда ночная вьюга за окном выла особенно оперно, Бродский и Найман стали друг другу изображать, как Б. Б. будет защищать диссертацию, а они к этому времени совсем сойдут с круга, превратятся в бомжей и отчасти выживут из ума и на морозе на Университетской набережной будут ждать, когда их позовут внутрь схавать последиссертационный бутерброд, и они, узнавая в лицо какого-нибудь профессора Эткинда или доцента Игоря Смирнова, которых знали раньше, по жизни молодой, будут друг друга толкать незаметно и приговаривать вполголоса: «Ты! Я его знал».

Можно было бы даже сказать, что они прожили эти две февральские недели дружно — если бы в мире бывала на таких основаниях *дружба*. За чем он на жизнь в таких условиях согласился, до сих пор ума не приложу.

Ника вышла замуж, за того самого, который на дне рождения Б. Б. «змеился мефистофельской улыбкой». Он был постарше нас, преподавал историю живописи в Академии художеств. Его звали Фридрих, он много знал и обладал железным умом. У него не было друзей, если не считать двух «злых мальчиков» — молодых людей, в то время безусловно предан-



ных ему, представлявших собой среднеарифметическое между учениками, единомышленниками и последователями (чего, могли сформулировать только они, но тогда они всё больше молчали). Они были возраста Б. Б., один сочинял стихи, второй тоже, но пошел в структуралисты; сейчас оба пишут статьи на универсальные темы.

Полированная сталь Фридрихова ума была того сорта, который идет на пластины пресса, пластины самой сложной конфигурации и лекальной кривизны, но не годится для рапир и сабель. Его замечания были предельно точны, логика безукоризненна, умозаключения неоспоримы. Они покрывали собой весь мир, включая всю деятельность, материальную, интеллектуальную и психическую, человека, и все, что они покрывали, мгновенно, в самый момент произнесения, затвердевало узором, иногда изумительно тонким и прекрасным — и совершенно и навсегда безжизненным и от этого сразу же тебе ненужным. Больше того — угнетающим до отчаяния. Требовалось физическое действие: гимнастический поворот головы, специальный вдох, — чтобы стряхнуть томящее душу оцепенение и дать выход инстинктивно распирающему ее протесту, выход, как правило, дурацкий и крайне неубедительный, вроде того, что я вот сейчас крикну да тебя брякну да обмякну, тогда будешь знать. И тотчас делалось весело, и веселее, чем до разговора, потому что весь-то весь он мир покрывал, однако по краям и в трещинках какие-то примятые стеблишки пробивались, и они-то, оказывается, одни только и были нужны и нескучны. К чести Фридриха следует сказать, что он и сам не против был крикнуть и обмякнуть, а именно норовил после рюмки пятой-шестой вступить в ноуменальный контакт с сидящими рядом дамочками, то есть лез им под юбку. Рюмок же было сколько угодно, потому что он гнал первоклассный самогон двойной очистки, причем предан был этому делу истово и медитативно: мог часами стоять и глядеть, как падают с конца холодильной трубки капли в коническую колбу. Он презирал Никиного отца, любил Нику. Она была в него постоянно влюблена. Через год у них родился сын.

У отца — профессора, тайного сиониста, орденосца и т. д. и проч. — началась адская жизнь. У матери — тоже, но по-другому. Оба хотели, чтобы дочка, зять и внук, главное внук, — помните: дедушка спускается с лестницы, внуки снизу плещут руками — как можно больше времени проводили с ними в Рощине, на даче. Ника была не против, и Фридрих был не против, но Фридрих — на своих, Фридриховых, условиях. На условиях абсолютной автономии: то есть хочет он с родителями разговаривать, будем разговаривать, не хочет — «здрасьте» и давайте помолчим. Хуже того: объявил о своем праве выходить к семейному обеду в любое время и вообще не выходить, а выходя, мог разговаривать исключительно с Никой или с Никой и тещей и не отвечать на обращенные прямо к нему вопросы тещи. Мог, опять же, разговаривая с ним, вдруг сказать: «А вы что, профессор карамзинских наук, на этот счет думаете?» — причем как при своих только, так и в присутствии гостей.

Еще при знакомстве, в первую их встречу, он объявил родителям, что он христианин, протестант, не практикующий, но готовый защищать позиции своей веры всем арсеналом имеющихся в его распоряжении средств и исключительно до победного конца: Отец расценил это тогда как браваду сознающего свое низшее по отношению к семейству и кругу, в которые он входит, положение и потому комплексующего и пытающегося таким приемом преодолеть комплекс человека. Когда же впоследствии зять стал свой арсенал понемногу разворачивать, а именно согласился на уговоры Фени, слезные и секретные, разрешить ей младенца крестить в православной церкви, и не секретно, а, напротив, пригласил на крестины и профессора с профессоршей, оказалось, что тестю противопоставить ему просто нечего. В спорах исторических, о христианской церкви как вдохновительнице погромов и вообще антисемитизма, младший легко побеждал, приво-

дя, с одной стороны, факты юдофобии еще в Египте и Вавилоне, с другой — почитания христианством иудаизма как родителя, с третьей — защиты церковью евреев от погромщиков, с четвертой — еврейской агрессивности к христианству, начавшейся непосредственно с Христа, и так далее. Беда старшего отягощалась еще тем, что еврей он был, как мы знаем, сокровенный, еврейство как бы прятал от эсэсовцев в подвале, откуда мог только скрестись да пошептывать, а никак не метать громы и молнии во весь голос и сверк.

Матери, умной, миролюбивой и по натуре скорее нежной, разве что немного испорченной супружеством, принявшей позицию и принципы мужа как данность, и, пожалуй, даже раболепно, было все равно, кто прав. Она жила мужем и готова была броситься на каждого, кто на его правоту посягал, но жила также и дочерью, а теперь, стало быть, и ее мужем и равным образом бросилась бы на любого их противника — в итоге она металась между тем и другим, стараясь не допустить открытых скандалов, которые все-таки случались, после чего Фридрих и Ника брали младенца и на такси, которое она же вызвала, уезжали в город, в собственную, причем во Фридрихову, квартиру. Младенца она тоже уже обожала. Не так, как самого, больше всех обожаемого, втайне боготворимого ею Б. Б., и даже не близко к тому, но достаточно пылко.

Между прочим, однажды Фридрих обсуждал то, во что и как надо верить, со мной. Он стоял на вере как равновесии между тем, насколько Бог может дать Себя человеку, и тем, насколько человек хочет уступить себя Богу. (Фейербах, беспомощно начал я...) Бог — Его существо и сила — хотя и абсолютен, но в каждом случае и каждый миг зависит от веры в Него человека. Конечно, акт творения и все такое — по плечу только Богу, это не обсуждается, однако, сотворив, Бог поставил Себя в положение, равное с положением человека, они друг без друга уже не существуют. (Да Фома Аквинат, пытался вставить я, тоскуя...) Разумеется, Бог может человека уничтожить, а человек Бога — нет, но представить себе такого Бога-без-человека мы и не согласны, и не в состоянии, а если как-то и представляем, то как все равно что: пустое небо, эфир, материю. Значит, если Бог и человек — такие и отношения между Богом и человеком — такие, то верить можно, что ходя в церковь — и тем самым, например, одаряя веру доброй и преданной Фени разрешением крестить ребенка, — что не ходя. Не ходя — лучше, потому что трезвей... Я на это все-таки сказал, что и ходя не очень-то веришь, а уж если дома сидеть... Но он повторил: трезвей и мужественней. (В процессе производства всех этих выкладок звучали, само собой, имена — не безумно убедительные, а какие-то вроде Тиллиха — Тиллих было главным — и почему-то Тейяра де Шардена и разных других представителей европейского племени.)

Они пригласили — не совсем уже понятно, какие *они*: старшие или Фридрих с Никой, — в гости Наймана. Сошлись на нем, видимо, как на оптимально удовлетворяющем — а точнее, не удовлетворяющем — требованиям обеих семейных партий. Пригласили как друга младших, но торжественно, на рождественский обед. Пригласили еще математика, друга старших, матеиного сотрудника, тоже, естественно, профессора, он очень интересовался литературой. Найман, стало быть, должен был эту литературу олицетворять: Ахматова, Леопарди, то-се. Да к тому же он тогда начал переводить для Мейлаха трубадуров — старопровансальских, но можно было с ним обсудить и галисийских, на которых уже накладывал руку Б. Б. Словом, если не касаться стихов, ни его собственных, ни всех прочих *непечатающихся*, то вполне он годился.

Началось все чинно: вилка, как любил говорить Найман, в левой руке, нож в правой. Фридрих, правда, как вышел к столу с ухмылочкой своей тоненькой, так с ней и сидел. Увы, стихов коснулись очень быстро. Математик жарко заговорил про «Новый мир», какой все-таки смелый журнал,

какие они там все рискованные, как им трудно. Отец сказал, что очень интересный отдел литературоведческий, что они его попросили дать что-нибудь и он хочет послать им свою, много лет вынашиваемую, статью «Ошибки Достоевского» и что задержка сейчас за Б. Б. — тут он на Б. Б. лукаво посмотрел, — потому что Б. Б. очень интересные нашел материалы, письма еще не опубликованные и вообще много нового, и они вдвоем решили написать совместную статью, собственно, может получиться и книга, но для начала статья — хотя напечатают ли? — статья, и концептуально, и стилистически не укладывающаяся в официальные рамки, а «Новый мир» — это ведь цензура на цензуре. Тут Фридрих ухмыльнулся исключительно подло. Б. Б. мял большим и указательным пальцами хлеб и в разговор не вмешивался. Мать сказала, что они на работе зачитывают каждый номер «Нового мира» буквально до дыр.

«А вы, — обратился математик к Найману, — ничего туда не даете? Я имею в виду...» — и улыбнулся расположенно, призывая его самого сказать, что он, математик, имел в виду, что Найман мог бы туда дать. «Да вроде нечего», — сказал Найман весело и посмотрел на Нику, Фридриха и Б. Б. за подтверждением: мол, не припомните ли чего, что я упускаю из виду. «Стихи не хотите?» — спросил старый добродушный математик доброжелательно. Ответил оживший неожиданно Б. Б.: «Там стихов не печатают». — «То есть как?» И все трое старших беспокоило сказали несколько раз друг другу: «То есть как? Как это не печатают!» — «А так, что то, что там печатают, — объяснила Ника в их семейной безразлично-пренебрежительной манере, — все какое-то зажеванное. Что талантливое, что бездарное — все зажеванное. Бумага, что ли, такая». — «И вы так думаете?» — спросил математик растерянно у Наймана. «Шрифт, — сказал Найман убежденно. — Я думаю, шрифт». — «Но это же честные стихи, — сказал, обретая уверенность, математик с ударением. — Честные поэты! Вот в девятом номере Луконин, Наровчатов — в одиннадцатом...» И Фридрих наконец пальнул лениво: «А в двенадцатом номере — горничная пришла, а там удушенник и пепельницу украли».

«А, — закричал отец, — вы видите, вы видите! Вот их позиция! Тотальный нигилизм, ничего святого! — Он повернулся к Найману: — Я теперь понимаю, откуда это у моего сына! Это вы так на него влияете, что он «Новый мир» не читает!» Найман быстро сказал: «Вообще-то я на него влияю, чтоб он «Знамя» не читал». — «Да не разговаривай ты с ними, — сказал Фридрих. — Мы же, видишь, с ними не разговариваем». — «Это уж, Фридрих, слишком, — мягко заметила мать, — честное слово». И, переводя разговор на другую тему, опять вспомнила того их соседа, известного критика, у которого когда-то болели суставы, и Б. Б. тогда сказал, что это может быть смертельно; на сей раз у него случился инфаркт, и смысл ее замечания заключался, по-видимому, в том, что нехорошо доводить заслуженных пожилых людей до инфаркта. «Отчего инфаркт?» — спросил математик траурно. И Б. Б. ответил подчеркнуто доверительно: «От невежества». — «Сынок!» — воскликнула мать. «Не, — сказал Фридрих, уже самому себе, — мы с ними не разговариваем». Б. Б. растянул губы, глазами и бровями изобразил одновременно изумление и одобрение и произнес с удовольствием: «Отцы и дети, как говорил Достоевский». Он как-то совершенствовался, Б. Б.

В нем стала появляться уверенность. Уверенность была в нем и раньше, и можно даже сказать, что превосходящая любую мыслимую, но она была особого сорта. Он был уверен, потому что не знал, как можно быть неуверенным, не понимал, что это такое. Теперь он что-то усвоил, лучше сказать — освоил механизм уверенности у других, это высвободило силы, прежде скованные сосредоточенным процессом освоения, а по ходу процесса — постоянной регулировкой того, что он принимал за уверенность,

и это освободило часть душевного пространства, превратив ее в естественную для души полость привычного и привычки. Или, если хотите, он почувствовал под ногами почву менее зыбкую. Новая уверенность, та, что была неотличима от других, проявлялась в довольно привлекательных формах, хотя и воспринятых тоже у кого-то, но совершенно так, как это вообще бывает, когда подражают тому, что нравится. Точнее всего она выражалась часто повторяемым *да ла-анно*, нараспев, расслабленно, с демонстративной нешалантностью: да ладно, чего там, плевать.

И в это же время он, похоже, влюбился: в девушку, с желанием жениться, но и с флиртом, с ухаживанием, со всем, что полагается. «Похоже» — потому что все-таки не так, как люди влюбляются: ища встречи, поступаясь привычками, отказываясь от желаний. Б. Б., скорее, включил влюбленность в число прочих существенных составляющих жизни: аспирантуры, библиотеки, филармонии, визитов, путешествий. Тем не менее вот, влюбился. Еще раньше что-то подобное пришло ему в голову, или где там был центр его чувств, по поводу жены Рейна, Гали, но исключительно, небывало платоническое, поскольку совсем уже математическое. Ей тогда было лет двадцать пять, ему шестнадцать, семнадцатый, и интерес он для нее представлял весьма отдаленный и чисто человеческий. Он перед нею и перед Рейном и перед их браком благоговел, так все складывалось — лучше не бывает. Он преподносил ей цветы, приглашал, естественно, на вернисажи и балет — и безмолвно, скажем, взирал, что, впрочем, он делал бы и без специальной установки на влюбленность и обожание. Так продолжалось несколько лет и никем всерьез не воспринималось, включая его самого, который знал, что ему еще предстоит понять и обучиться, что значит воспринимать всерьез. Однако он встретился с Рейном один на один и подробно расспросил его, при каких обстоятельствах он с Галей познакомился, где конкретно, из какой она семьи, что у нее был за круг друзей и круг чтения, нет ли младшей сестры или подруги и так далее, с тем, чтобы, пояснил он, все такое же отыскал или воспроизведя, такую же встретит, но еще не замужем за Рейном.

Влюбился он — вдруг. Помните девушку-азербайджанку на семинаре по ивриту, которую он попросил учить его турецкому? Год они занимались ивритом, занимались турецким — и хоть бы что, а потом — как это вообще-то бывает, особенно в студенческое время: трещься бок о бок, привык, как к мебели в аудитории, и вдруг как будто фокусируются глаза — неожиданно взъерзало в нем что-то.

Алла. Имя, данное хитро: русское для русских и от Аллаха для своих. Но это — изгибистость родителей, каких-то там бакинских тоже докторов наук по физике-химии, а сама она была тот самый платино-ирридиевый стержень из французской Палаты мер и весов, который не удлиняется и не укорачивается, и не складывается, и вообще ни на что не годится, кроме как быть метром. Внешне она больше походила на хлыст, на хлыстик, тоненькая, прямая, чуть покачивающаяся при ходьбе, быстро-медленная. Быстрая — когда внутренняя пружина в ней распрямлялась или даже только готова была распрямиться, и медленная — когда пружина взводилась кем-то или ею самой, сидящей подобрав ноги в кресле, рассеянно ищущей сигарету, или долго, в несколько приемов — шляпка, шарф, плащ, сапожки, перчатки, все это отдельно, — собирающейся уходить.

Роман продолжался лет пять. Я их иногда встречал на улице, она недалеко от меня снимала квартиру. Позже я с ней подружился, несколько раз она по-соседски «забегала» ко мне, тогда Б. Б. уже был ей невыносим, и она говорила о нем с ровной сильной неприязнью. Я, например, извинялся за беспорядок в комнате, она говорила: главное, не быть как Б. Б., он ставит чашку с молоком на подоконник, молоко проливается, и он не вытирает, потому что, объясняет он, зачем, само высохнет, то и то белое; и вдобавок что-нибудь про Малевича, то есть к мерзости высыхания молока

еще и мерзость пошлости. Я возражал, что все-таки забавно, нет? Она отвечала: это если он не делает вам два раза в день предложение. И передергивала плечами — как от брезгливости или от холода. Феня, рубашку, говорит он, входя в квартиру, проходя по коридору в свою комнату и на ходу расстегивая и сбрасывая на пол рубашку, которая на нем; Феня, пуговицу, это если оторвалась пуговица, — и тоже сбрасывая на стул и не останавливаясь, потому что он каждую минуту спешит в какое-то другое место. А вернее, в какую-то другую минуту, — она усмехается и опять передергивает плечами. Она говорила о нем охотно и всегда вот так.

Б. Б. давал понять, особенно Гале, к тому времени уже не Рейн, что роман был настоящий, со всеми степенями близости, включая последнюю. По тому, с какой несоответственной яростью в разговорах с той же Галей или со мной Алла давала понять, что, слава Богу, хоть *до этого* у них не дошло, склоняюсь к тому, что правда на его стороне. Он ездил в Баку знакомиться с родителями, в статусе жениха. Провел там месяц, из которого три недели — в путешествии по Каспийскому морю. Главным образом «в песках под Красноводском», как он потом много раз повторял, в поисках следов Велимира Хлебникова. В песках нельзя найти следов, согласитесь, говорила мне Алла спокойно, но опять с брезгливой и одновременно больной улыбкой. Особенно через пятьдесят лет, согласитесь. Пока он путешествовал, она оставалась дома, родители недоумевали, что все это значит: визит по виду торжественный, и всего три дня в начале, три дня в конце вместе. За эти шесть дней он еще свел знакомство со старушками, знавшими Вячеслава Иванова, и старичком, знавшим, но не помнившим его. Старушки, как уже повелось, отдали Б. Б. записки, дневниковые и с конспектами лекций Иванова, и письма, не его самого (какие были его самого, они, по его знаку, в тридцать каком-то году со специальной оказией переправили ему в Рим), а их собственные друг к другу о нем. Набралось с целую картонную коробку из-под румынского зеленого горошка, которую он и привез с собой в Ленинград. Бесценный документ эпохи, похлопывая по коробке, приговаривал он в своей новой уверенной иронической манере.

Велимира он не привез ничего, хотя утверждал, что встречал «в песках под Красноводском» *аксакалов*, которые пели ему про не то одного, не то двух древних странников, появившихся из России и удалившихся в сторону Персии. (Б. Б. говорил, безо всякого нажима, что он и сам заходил на территорию Ирана и мог бы доехать хоть до Тегерана, а хоть и до Багдада, с его-то английским, но не был готов и все-таки поостерегся, лучше в следующий раз, — я ему верю.) Однако приходили ли странники, когда певцы были детьми или во времена Афанасия Никитина, толком они сказать не могли. Б. Б. их песни записал, по-тюркски, как он, не распротраняясь о том, что это был за тюркский, говорил, но с русским переводом, сделанным на месте. Записи лежали в папках поверх камней и песка, на которые могла ступать нога Хлебникова и которыми были набиты два ящика, предназначенные для перевозки фруктов. Фруктов было еще два ящика, и трехлитровая фляга черной икры — дары родителей Аллы. Но на обратном пути он остановился на два дня в Минеральных Водах — туда молодым человеком несколько раз навещался Гурджиев, и у Б. Б. был адрес одной его ученицы, — так что икра протухла, а фрукты порядочно подгнили. Ученица начала было с ним разговаривать и вдруг забеспокоилась, замолчала, вскрикнула и упала без чувств. Ему пришлось вызывать «скорую» и сопровождать ее в больницу, где выяснилось, что у нее отнялась речь. В Ленинграде Рудик, свирепо кричтя, доволоч до дома камни, протекшие фрукты, короб с Вячеславом Великолепным — и от крыльца ученицы Гурджиева деревянную ступеньку, про которую уже нельзя было выяснить, ступал ли на нее учитель.

Когда Алла наконец порвала с ним и он понял, что это в самом деле разрыв, и окончательный, и больше никак не удастся перевести это в план

*да ла-анно*, как он делал на протяжении почти всего романа и она ничего не могла противопоставить, так что он стал уверен, что ничего и нельзя противопоставить, это нанесло ему сокрушительный удар. Не настолько сокрушительный, чтобы изменить его образ жизни, занятий, повадок, не говоря уже — мыслей, но такой, чтобы почувствовать боль и заплакать непосредственно после «и чтобы ноги вашей здесь не было, и никаких ни-когда нигде со мной разговоров, и ни шуток, ни цветов, ни подарков, которые я буду выбрасывать в мусоропровод не глядя, только здрастье и до свиданья», произнесенного на пороге, когда он, позвонив по телефону и эти же слова услышав, приехал и позвонил в дверь ее квартиры, а за спиной у нее все это время стоял мужчина, и она захлопнула дверь ему в лицо. Мужчина был ни больше ни меньше как я. Когда она ему все это сказала по телефону, а он на это опять ответил как-то забавно, все в том же стиле *да ла-анно*, и сказал, что сейчас приедет, она позвонила мне и попросила как можно скорее прийти. Я пришел и только тогда узнал зачем, и так как было видно, в каком она состоянии, не мог отказаться.

Ему было больно, потому что это был удар в солнечное сплетение, или где там у него находился центр чувств, и удар по самолюбию, потому что как это так он не получил, не завоевал, не добился того, чего добивался, и удар по системе, которая обеспечивала его новую, как он считал, уверенность. Это случилось весной, а в начале осени, вернувшись с очередных гор и морей, он сделал предложение датчанке, проходившей в университетской аспирантуре стажировку. Обдумав, она его приняла и переехала жить в их роскошную квартиру на Фонтанке, в двух домах от Невского. Недели через две он сказал, что у них начинается ремонт, и предложил вернуться в общежитие. Следующие несколько дней они не виделись, а потом он встретил ее в коридоре университета, отвел к окну и объяснил, что за те две недели понял, что они слишком разные люди, чтобы стать мужем и женой, и что в Дании, где, она предполагала, они будут жить, у него нет никаких интересов, ни общекультурных, ни бытовых, ни академических. Датчанка приехала к Алле и три дня пролежала у нее на диване, потом улетела в Париж.

## Часть II

Алла потом сказала: вы знаете, Германцев, а ведь Б. Б. на этой несчастной ибсеновской Норе женился сразу после крещения, он в Эчмиадзине крестился, специально в Ереван ездил. (Она всегда звала меня только Германцев, несколько раз попробовала — Александр, но это звучало совсем уже выпендренно и искусственно: все-таки был в ней, при всей ее душевной цельности, маленький эстетский излом, этакий петербургско-декадентский, — следствие, я думаю, разрыва с грубым бакинским прошлым и его отторжения.) Б. Б. предпочел бы креститься прямо в Гефсимании, на худой конец, на Афоне, но за недоступностью смирился и спустился до Эчмиадзина. Допустил армян до себя, не погнушался, что монофизиты. Вы обратили внимание, Германцев? — сейчас все крестятся, вы понимаете, он оказался не первый, а один из, так он через Эчмиадзин — и теперь опять единственный.

А вы обратили внимание, Германцев, что на этот раз — я имею в виду его женитьбу — он впервые не опередил процесс, а опоздал? Все эти годы, что он меня обхаживал и за мной ухаживал и, как ему казалось, крутил роман, у русских в иностранцами был самый брачный период. Ему из-за меня пришлось его пропустить, а когда хватился, эта струна уже стала провисать, буквально за месяц-два до последнего между нами объяснения, на котором вы так любезно согласились присутствовать. Он выглядел просто немодно, правда?

Она заметила перемену очень точно. Брак с иностранцами из авантюры и частной антрепризы вдруг и незаметно превратился в ремесло. Образовались два-три центра, первоначально вполне кустарные, у кого-то на дому, собиравшие вокруг себя русских и иностранных невест и женихов со взаимными интересами. Через несколько лет они приняли вид не рекламирующих себя фирм по поставке нашим гражданам брачующихся кандидатов, к тому времени, увы, по большей части из стран «третьего мира». То же, между прочим, случилось и с фарцовкой: романтика первых десятилетий ушла, сменилась деловитостью и организацией и, наконец, превратилась в обычное торговое монопольное ведомство наподобие Промкооперации, но с более частой поножовщиной. Б. Б., в самом деле, этот момент пропустил, но зато опередил тенденцию, которая пришла вместе с новым этапом женитьб-замужеств, а именно — более частых отказов, а то и вульгарных обманов типа поматросил-и-бросил. Замечу, что и в те годы, в годы, когда женитьба на иностранке была единственным способом попасть за границу и событием очень редким, такие отказы случались немногим реже, чем сам брак. Но и самые отъявленные, так сказать, совратители не укладывались в полмесяца, и тут, Алла это упустила из виду, Б. Б. опять был из первых.

К тому же она намеренно не учитывала в этих разговорах, а я, естественно, ее не поправлял, что Б. Б. сделал это еще и напоказ, в первую очередь чтобы ей отомстить. Плюс — это уже только моя версия — из-за сближения с отцом Павлом. Отец Павел был нашего, то есть моего, возраста, был с ранней молодости наш товарищ и всю жизнь звался Пашей. Мы все его любили, и по крайней мере в двух вещах он был безусловно лучше нас — в выпивке и шутках. Он пил часто и легко, а шутил всегда, главным образом каламбурил, и каждая десятая шутка была смешная, но и от всех несмешных становилось весело. Это у него был мгновенный телефонный разговор с Венедиктом Ерофеевым, автором «Москва — Петушки», когда тот, пьяный, позвонил Б. Б., а трубку взял Паша, а Ерофеев думал, что Б. Б., и без вступления проговорил: «Мне сказали, у вас есть все стихи обэриутов, я хочу их издать», — на что Паша ответил: «Сперва и-сдай и-бутылки». Он был из артистической семьи, мать — балерина, отец — конферансье, который не без гордости упоминал, что состоял в дружеской переписке с Гаркави и Смирновым-Сокольским, звездами эстрады, и Паша, окончив университет, стал зарабатывать на жизнь сочинением цирковых и эстрадных реприз.

С годами выяснилось, что он обладает замечательной практической сметкой: знает, где какие за бесценок купить книги, старинную мебель и у кого ее задешево отреставрировать, где кооперативную квартиру, чтобы и дом был кирпичный, и недалеко от центра, и по цене умеренной, и когда деньги лучше снять со сберкнижки и вложить, например, в сервиз кузнецовского фарфора, и многое другое. При этом с молодости жило в нем религиозное чувство, а с годами стала проявляться и набожность. Соединение таких, на первый взгляд несовместимых, сторон натуры Достоевский наблюдал в «мертвом доме» у еврея Исаия Фомича. Словом, он крестился, как многие тогда. Когда ты крестишься взрослым, то есть проделываешь путь от ноль- или даже минус-веры до веры, требующей от тебя такого решительного, такого единственного поступка, то крещение, само собой разумеется, не конец пути, а трамплин, принимающий накопленную движением к вере инерцию и выстреливающий тобою дальше, дальше. Не редкостью было, что крестившиеся шли потом в священники, — а по тем временам в практическом плане это значило добровольно войти в пространство постоянного и неослабного давления, преследований, неприятностей. Пашино чутье предостерегло его от такого шага, хотя намерение было.

Его рукоположили через несколько лет, когда другие уже определились кто как сельский батюшка, кто как городской «интеллигентный»,



если не *интеллигентский*. Оказалось, что власть жать жмет, но жить можно. Он стал священником, однако с опозданием: уже и приходы сколько-то привлекательные — а его привлекала жизнь в деревне, но чтобы и недалеко от города, — были все распределены, и прихожане попривыкли к этим новокрещеным послеуниверситетским: поп как поп, чего-то, видать, не получилось в нормальной-то жизни, раз в попы пошел, да и пьет небось. Ему достался храм, до которого поездом, автобусом и на телеге добираться от Ленинграда было восемь часов; через три года дали поближе, часах в четырех, но оба полуразрушенные, верующих хорошо если десятка три на Пасху. Он все сносил с достоинством, без жалоб, с прежним юмором.

В это именно время они с Б. Б. сошлись. Б. Б. в высшей степени оценил то, какой он дока в практической жизни; отец же Павел его *обращал*. Пик их близости пришелся на решение Б. Б. креститься в Эчмиадзине и жениться на датчанке. И то, и другое повергло отца Павла в сильнейшую растерянность: крещение — да, брак — да, но почему в *монофизитскую ересь* и почему через *прелюбодеяние*? Влияние отца Павла Б. Б. воспринял, но претворив в своем духе. Они как бы обменялись: Б. Б. уступил ему часть себя под религию и компенсировал уступку, перенея его практичность, ибо иностранка и выезд с ней за границу и возможность двойного гражданства — практично, правда? Автоматически, как часть практичности отца Павла, он усвоил и осмотрительность, которая в жизни сплошь и рядом означает запаздывание — в тот самый раз распространившееся и на Б. Б.

Тут уместно рассказать про охоту за тулупом. В это время появились дубленки: в малом количестве их привозили из-за границы, в большем — покупали в валютном магазине «Березка» и с рук у фарцовщиков. Они стали знаком принадлежности к особой публике, выделенности из толпы, но они были также удобны — теплые и легкие. Они стоили довольно дорого, и по совокупности причин отец Павел решил достать тулуп. Тулупы тоже появлялись на улице, поначалу, однако, считанные, они были такими хиппи по отношению к буржуазкам-дубленкам. Овчинные тулупы, тяжелые, жаркие и пахнувшие чистым хлебом, выдавались как профессиональная форма одежды гаишникам и пожарникам. На эту тропу и вышел с самодельным капканом отец Павел.

В райцентре, через который он проезжал по пути на приход и иногда останавливался на ночь в Доме крестьянина, он свел знакомство с пожилой прихожанкой храма уже райцентровского и стал останавливаться у нее. Ее сын служил в милиции, но именно что в милиции, а не в ГАИ, и права на тулуп не имел. Был у него, однако, дружок из ГАИ, и тот пообещал за двадцать пять рублей достать списанный тулуп. «Это так говорится, что списанный, а он как новый», — объяснял нам отец Павел. Между тем тулупы становились все более популярны, чтобы не сказать — модны, их партиями завозили в магазины рабочей одежды, где их можно было купить по пятьдесят или у перекупщиков по шестьдесят рублей. По-видимому, пронюхали про это и милиционер с гаишником, потому что дело решительно застопорилось, наступила весна, прошло лето, осень, милиционерова мать утешала довольно нагло: «Обещанного три года ждут».

Отец Павел жил в двухэтажном флигеле во дворе дома на Моховой, в пяти минутах ходьбы от родителей, в комнате, доставшейся ему после смерти бабушки. Однажды ночью флигель загорелся — от самогонной установки одного из соседей. Отец Павел спросонья схватил самое драгоценное, что у него было: икону, Библию и молитвослов — потому что все остальное держал от греха подальше у отца с матерью, — а также шкатулку с письмами Гаркави и Смирнова-Сокольского, которые по неведомой причине держал, наоборот, у себя, накинул на рубашку пальтишко и выбежал в черную морозную ночь. Он разбудил родителей, с шутками и в ли-

цах рассказал про пожар, выпил чашку чаю и вернулся досматривать. Домишко успел весь выгореть и стоял теперь в ледяных сталактитах вылитой на него воды, пожарники сворачивали шланг, а жильцы толпились над кучками вынесенных из дома вещей, и все, включая детей и включая самогонщика, были в роскошных белых тулупах. По инструкции, если пожар случался зимой, погорельцы бесплатно снабжались тулупами. Отец Павел бросился к брандмайору, стал объяснять, как он выскочил из горящего дома, упоминал Смирнова-Сокольского и живущих рядом папу с мамой, но тот грубо его прервал, сказав, что уже встречал таких жучков, желающих разжиться на дармовщинку, и отказался дальше разговаривать.

И с повестью у отца Павла вышло то же. В долгие дни и вечера, проведенные в церковном домишке, он написал повесть. О крестьянине, которого жизнь топтала и топтала, а тот только встряхивался и продолжал жить, и никогда не жаловался, и даже отшучивался. Автор давал прочесть ее близким, беря с них слово, что они никому о ней не заикнутся. Он отверг предложение напечатать ее за границей не только тогда, когда это было действительно опасно, но еще некоторое время приглядывался и в начале перестройки, когда уже дома стали печатать всякое такое. Наконец решился, однако к этому времени издательства уже были прямо-таки забиты разоблачительной литературой, и только благодаря той же энергии, с какой добывал тулуп, он пристроил ее в провинциальный журнал, где она немедленно потонула, и никогда никто, ни он сам больше о ней не слышал.

И так далее и тому подобное в том же духе. Уже все кому не лень пнули сергианство и забыли о нем, и тогда он стал его обличать. Уже кто хотел, доказал, что Лермонтов — христианский поэт, а кто не хотел — что антихристов, а другие — что поэту вообще не обязательно быть христианским и слава Богу, что Лермонтов такой, какой есть, и тут отец Павел навалился на него, как говорится, на новенького за «Демона» и непозволительный тон «Юнкерской молитвы» и что он картежник, обманщик, развратник, бузотер и чуть ли не лошадиный барышник, — и поспел этот разнос в аккурат к лермонтовскому юбилею. Б. Б. довольно быстро это его качество раскусил, примерил, отверг — и вернулся к ритму, куда органичнее — чтобы не сказать, единственно — отвечавшему его натуре: опережающему.

Пришло время сказать, что по натуре Б. Б. был человек авантюрный. Чем дальше, тем сильнее это в нем проявлялось, пока не стало господствующей чертой характера. На первый взгляд, такая определенность расходится с портретом человека *из* свойств, проявляются которые сперва неуверенно, расплывчато, а сразу затем затвердевают, то бишь омертвевают и опять-таки не являются реальными. Но авантюренность — это тоже изобретательность и деятельность на пробу, без осознания того, чем ты на самом деле распоряжаешься. Авантюра, по самому своему понятию, беспочвенна, она пролетает *над* почвой, *над* действительностью, опускаясь на нее вынужденно и потому с нежеланием и всегда по касательной, правда уж используя эти свои пируэты с максимальной для себя прибылью, выбирая для приземления самые выгодные точки.

Оговорюсь, что такое государство, как *советское социалистическое*, в сфере реального публичного существования своих граждан только и оставляло им что авантюрные возможности. Общественная жизнь походила больше всего на автомобиль, который везут на платформе по железной дороге. Можешь, если нравится, его завести, опустить боковое стекло, долить масло, при дожде включить «дворники», можешь даже перебрать узел-другой в моторе — но приедешь в любом случае со скоростью товарняка с Москвы-Сортировочной в Ленинград-Депо. Частная жизнь, если она была действительно частной: чтение книг на диване, прогулки с кем-то вдвоем, переезд семьей на дачу, сезонный бронхит, — скорее могла

стать общественной, чем членство в партии, заседание в комиссии, городской субботник. Неучастие в общих мероприятиях обращало на себя внимание общества даже больше, чем участие. Притом неучастие было привлекательно и как идея, и как практика, более подлинно, более честно, более сосредоточено на личном, на душе, на *главном*. О, сколько из-за этого *главного* было пропущено столь же необходимого душе и психике и всему организму *неглавного*! И все внутренние силы, не примененные в каких-нибудь пусть дурацких, но невредных Английских клубах, обществах «Зеленая лампа», митингах на площади и выборах в Верховный Совет, бросались на область жизни, естественно, публичную, на проезд в трамвае, на службу в чертежном бюро, на стояние в очереди. В какую авантюру превращалась трамвайная поездка: переполненный подойдет вагон, или достаточно свободный, или даже с незанятым сиденьем? Если с незанятым, то первый ты войдешь внутрь, а если переполненный, то втиснешься ли в двери? Рискнуть вообще не платить, или хотя бы опустить вместо алтына копейку, или все-таки заплатить? А на службе — наврать, что завтра с утра поедешь в «головное предприятие», назавтра же в полдень позвонить в «головное» и наврать, что приезжал, но «мне сказали, что все на совещании», и тем временем принести домой из универсама три рюкзака по двадцать банок болгарской кукурузы. А очередь занять одновременно в бакалею, в рыбный и в кассу и следить, как в вестерне, как на сафари, какая с какой скоростью движется, успех или провал, — то есть рисковать, рисковать, рисковать!

Зато такое государство, как *советское социалистическое*, сплетшее сеть столь противоестественных законов и исходившее в этом плетении из столь противоестественных критериев, предоставляло гражданину баснословно привлекательное поприще для всевозможного рода деятельности, которую в любой *нормальной* правовой системе называют злоупотреблениями. И по мелочам граждане самые обыкновенные на этом руки грели. Но использовать настоящие шансы решались лишь одиночки; большинство же, а интеллигенция — так почти целиком, категорически не желало и от поприща держалось подальше, потому что боялось, ибо знало, что судит это государство человека не по закону, пусть и самому противоестественному, а, как предлагает у Островского Градобоев, *по совести*.

Начать с того, что рубль стоил в газете «Известия» — а только там он раз в месяц этого и стоил — полтора доллара, а на черном рынке двадцать центов. Нет, начать все-таки с того, что рубля было девятнадцать разновидностей, от обычного, составлявшего одну сотую средней зарплаты и обменивавшегося на фунт дрянной колбасы, до мифического «золотого», который якобы и тянул на эти полтора доллара. А вместе с тем хлебниковско-крученохо-бурлюковский «Садок судей», первое издание, стоил в букинистическом магазине — если каждый день заходить и наконец нарваться — сто рублей, а в Нью-Йорке какая-нибудь богатая библиотека или коллекционер за него давали шесть тысяч долларов. Малевичевско-розановская «Взорваль» — сто рублей, а в Лондоне — три тысячи фунтов. «Фантастический кабачок» Софьи Мельниковой, тифлисское издание, — сто рублей, а в Иерусалим ушло два экземпляра, и каждый за пять тысяч долларов. И так далее. «И так далее» значит, что мандельштамовский «Камень» и кузминскую «Форель» все еще можно было ухватить в Ленинграде за двадцатку, а попадая за границу, они шли по триста — четыреста долларов. Если, конечно, в хорошем состоянии книжечки. И никого не надо убивать, ничего воровать, трать сто — и получай на них, по курсу черного рынка, по действительному, иначе говоря, курсу, двадцать пять тысяч рублей. Единственно, что участие в черном рынке было противозаконным, но не в большей степени, чем когда ты совал продавцу лишнюю десятку за зимнюю шапку — по той простой причине, что торговали ими исключительно из-под прилавка. И риск был не большой.

Конечно, появлялись сопутствующие расходы. Экземпляр-другой еще можно было отправить с оказией, с каким-нибудь стажером аспирантом, со случайным туристом, который привез тебе привет и свитер от знакомых из Парижа. Но контрагенту за границей, которого, между прочим, чтобы найти, еще тоже приходилось решать головоломку, ты автоматически платил комиссионные, и такие, какие он назначал, так что практичнее было завести кого-то постоянного или постоянных, кого-то из посольства, из школы при посольстве, из культурной миссии, кто регулярно ездил туда и обратно. Эти тоже брали свой процент, зато могли поторговаться с покупщиком и сбить его процент. И, наконец, чтобы отлавливать не экземпляр-другой, а все, попадающие в букинистическую лавку, а также имеющиеся у них на примете по частным библиотекам, надо было платить букинисту, хотя и много меньше, чем тем. Так или иначе, прибыль была несусветная, в сто, в двести раз больше затрат.

Еще выше доход приносили почтовые марки, Б. Б. сунулся и туда, но там действовала и всем распоряжалась давно налаженная, внутри официального общества филателистов сложившаяся сеть продавцов-покупателей-перекупщиков, которая хотя функционировала до тех пор главным образом внутри страны, однако и за границей имела ждавших своего часа и предоставлявших верные каналы клиентов. К тому же все марки всего мира были сведены в каталоги и имели фиксированную цену, так что вся авантюра сводилась к заурядной контрабанде. Очень выгодным делом была торговля иконами, и десятка два Б. Б. удалось переправить, но икона — штука громоздкая, обращающая на себя внимание, а к тому же поставляли их профессиональные мародеры, которые грабили не только брошенные, а и действующие церкви, а заодно и старушек по деревням, и контакты с ними не только претили вкусу Б. Б., но представляли и прямую угрозу. Да и посещение церкви, какое ни редкое и пусть даже достаточно формальное, бывало на мгновения испорчено возникавшей в воображении картины налета на этот именно храм поставщиков возглавляемого им, Б. Б., предприятия. Куда удобнее и приятнее были музыкальные инструменты.

Скрипки итальянской школы XVIII века, которые дома можно было купить за две-три тысячи рублей, за границей стоили двадцать тысяч долларов. Инструменты не уникальные, не музейные аматы и гварнери, а следующие за ними, например руджиери, купленные в Москве — Ленинграде за пять тысяч, продавались на Западе за сорок тысяч долларов, купленные за десять шли от пятидесяти и выше. Западная цена восьмисотрублевого смычка была около пяти тысяч долларов. Привар на каждую скрипку составлял десятки тысяч долларов, сотни тысяч рублей. И вывезти их из страны вовлеченный в дело иностранец мог элементарно: ввезти из-за границы, купив в магазине ширпотреб, самый дешевый инструмент, какую-нибудь колоду, объяснить на таможене, что всю жизнь музицируешь, объявить как руджиери или еще как-нибудь, потому что для таможенников тогда это было внове и они верили на слово, и через месяц уехать с тем, который получишь от Б. Б.

Зарубежные гастроли театров давали уникальные возможности вывоза-ввоза. С реквизитом можно было отправить что угодно: икону, которая должна висеть в красном углу пьесы «Гроза», все выпуски «Гиперборея» — стоять на полке в «Днях Турбиных», скрипку — для брата Андрея в «Трех сестрах», ружье, которое должно выстрелить в последнем акте у Чехова; и просто контрабасы, флейты, геликоны, барабаны — с оркестром, жемчужные ожерелья, деревянную резьбу, портсигары с финифтью — среди муляжей. Б. Б. свел знакомство с актерами, постановщиками, художниками, часто ходил на спектакли, заодно сделался театралом.

Он ушел в дело с головой, вел таинственную жизнь, исчезал на неделю, поселял у себя в комнате неизвестно кого, сваливал в угол коробки с

книжонками и брошюрками, которые выглядели макулатурой, мешки с тяжелыми досками, потрепанные футляры для скрипок, один раз принес старинное ружье, несколько раз — сабли и кинжалы, один раз — виолончель. Чем активнее он этим занимался, тем более усиленные меры принимал, чтобы слух о его деятельности не дошел до нас, до меня, до нас, я бы сказал, до всех, кого он когда-то приглашал на дни рождения и с кем взбирался на Памир или уходил в Кызылкум. Он не мог бы нам этих своих занятий объяснить, потому что хотя риск и решение частных задач возбуждали его и доставляли радостное вдохновение, но все вместе все-таки служило одной цели — большему и большему накоплению денег. В этом тоже был азарт, но не достаточный, чтобы этого перед нами не стесняться. Слухи, разумеется, доходили, особенно усердно их поставляла Алле ее общая с Б. Б. подруга, которую он тогда сделал своей конфиденткой. Она называла его деятельность «тамань».

Что именно деньги были главным его интересом, подтверждалось тем, что он не брезговал и продажей приходивших с Запада запрещенных книг. Незабвенные десятилетия! Книги поставлялись через эмигрантские организации, и все, что про них говорила официальная пропаганда: контрреволюционные, антисоветские, филиалы разведывательных управлений, — все было чистой правдой. Некоторые возникли сразу после Гражданской войны, другие — после Второй мировой, и что у либерально-евразийских, что у национально-черносотенных на знаменах было написано: «Свобода России!» Свобода подготавливалась, вдохновлялась и, как хотелось думать членам организаций, осуществлялась радиопередачами и книгами. Насчет радио есть сомнения, а книги этой цели добивались триумфально и празднично. Не распропагандированием и контрпропагандой, на что у тех, кто посылал, был расчет, а прямыми поставками непосредственно свободы — как фактом пересылки, так и содержанием: свободы читать то, что хочешь. Шестов, Федотов, Бердяев; Набоков, Ходасевич; Поплавский, Гайто Газданов; Мандельштам, Пастернак, Цветаева; «Воздушные пути», «Новый журнал», «Грани», «Вестник РСХД». А потом и Солженицын, и Бродский наш Иосиф, и твои собственные тут стихота, там эссеи. Всякого бездарно-ядовитого, хоть про большевиков, хоть про внутренние эмигрантские склоки, приходило достаточно, но и Орвелл безупречный, и сам Джеймс Иваныч Джойс. А собрания Гумилева и Мандельштама в светло-сером и зеленом, как полвека назад, мягком картоне, Ахматовой и Хлебникова в небеленой и песочной рогожке, каждое в двух-трех-четырёх томах! Чем не библиотека! Да тот же Вячеслав Иванов, да те же Гиппиус с Мережковским — чем плохо? Оба Жоржа — Адамович и Иванов. Да все истории философии и философии истории. И все это за так, за то, что ты соглашаешься эти дары принять.

Потому что, конечно, при упомянутой умопомрачительной свободе, когда за окном лютует КГБ, на книжные полки обрушивается Георгий Марков и по телевизору бушуют семнадцать серий Иванова «Вечный зов», а ты лежишь на диване, в изголовье лампа под зеленым стеклянным абажуром, читаешь и откладываешь книжку в сторону и смотришь в потолок, и нет, не годится тебе Сергей Булгаков, и берешь с полки Бахтина о Достоевском или самого Достоевского, изданных в Москве, хотя в ней КГБ, и Марков, и «Вечный зов», а потом, нет, достану-ка Ремизова, нет, Павла Флоренского, изданных там, где экзистенциализм в цвету, и благоухает «Хиросима, любовь моя», и журчат «Гран Бульвар», — при таком баловстве присутствовало и некоторое количество, скажем так, несвободы. Изрядное, если честно, количество. Несвобода принимала уродливые формы: книжки надо было припрятывать даже в собственной квартире — от водопроводчика, от врача, просто от гостей, чтобы не сболтнули, «ГУЛАГ» надо было засовывать внутрь двойной балконной двери, скрепляющейся болтами; на допросе, если тебя спрашивали, где ты читал Авторханова, о

котором распространялся под хмельком в одной компании, надо было говорить, что всего-то прочел две страницы, заглядывая через плечо человеку, читавшему «Технологию власти» в троллейбусе. Потому что и на допросы вызывали, и с обыском приходили. И сажали по статье, которую когда называли 70-й: «антисоветская деятельность», а когда — 190-й: «хранение и распространение заведомо ложных, порочащих советский строй...», а в просторечии — «антисоветская литература». Заболоцкий, например, не так даже полно, как в Москве, издан был в Мюнхене, — но в Мюнхене, понимаете?

И торговать этими книгами — при том, что, с одной стороны, три года исправительно-трудовых лагерей за Заболоцкого, а с другой — привозят их тебе на дом перепуганные или, наоборот, рвущиеся на баррикады бельгийский славист и шведская русистка, каковых книгонош при захвате с личным вышлют из страны со скандалом и никогда больше не впустят, и прощай их научная карьера, — торговать, хоть и с немалым риском для себя, продавать зубным врачам, директорам магазинов и сумасшедшим библиоманам, которые первые, случись что, тебя продадут, а если бедным и честным учихам, так еще и хуже, и всего-то получать по тридцать, по пятьдесят рублей за книжку, в дополнение к десяткам тысяч за основной бизнес, — как-то не укладывалось в негласный кодекс чести, который нам и, стало быть, ему как части этих «нас» нельзя было представить, чтобы пришло в голову нарушить.

Научная карьера делалась своим чередом, без видимых усилий. Ненадолго сблизился с его отцом зощенковед — друг и единомышленник булгаковеда, который *восстанавливал текст* сожженного промежуточного варианта «Мастера и Маргариты» по корешкам страниц, прилипшим к корешку тетради. (Легко представляем себе место, какое Булгаков нашел бы в своем романе восстановителю.) Отца Б. Б. тот выбрал в оппоненты на защиту докторской диссертации. Второго оппонента взял из либеральных, а этот призван был символизировать приверженность передовой советской филологической науке: все-таки — Зошенко, пусть и реабилитированный, но от пятна окончательно не отмытый. При таком раскладе Б. Б. показалось естественным попросить зощенковеда быть оппонентом на защите его, Б. Б., кандидатской. Как приверженца «передовой советской», однако с либеральным уклоном.

Диссертация была на тему обэриутов, что, кстати сказать, еще раз продемонстрировало, что человечество — пушечное мясо для сообразительной своей части. Хоть землетрясение лиссабонское, хоть всероссийский террор, хоть *гулагом* плати «за безумные строчки стихов», в лагерную пыль истлевай, — а мне чтобы чай пить и поглядывать на кандидатский диплом в рамке на стене. Зощенковед отзыв сочинил какой надо, однако не без строптивости — отдал поздним вечером накануне дня защиты и написанный от руки на клочках оберточной бумаги. Но на Б. Б. в то время работали две машинистки, все было готово к сроку. После защиты спрошен был оппонентом с диссертанта экземпляр отзыва, и угораздило Б. Б. ответить, что отпечатал только четыре экземпляра и все они разошлись. «Вы, надеюсь, понимаете, — с расстановкой сказал зощенковед, — что мы делаем не карьеру, а историю. Не хотите же вы сказать, что не оставили копии моего отзыва для своего архива». Апломб и усталость, свойственные человеку, знающему больше, чем ты, а если без ложной скромности, то больше, чем все, придавали его голосу напевность. (Он потом, в пору уже перестроечную, едва ельцинская харизма слотнула горбачевскую, опубликовал статью, в которой сравнивал — натурально с позиций семиотики и структурализма — речь Ельцина перед американским Конгрессом с геттисбергским обращением Авраама Линкольна. Кто там у Ельцина отвечал за культуру, на время сделал его и еще несколько таких же писателями: дес-

кать, раньше были плохие, некультурные, сервильные, *ангажированные* режимом, а сейчас хорошие, честные. Их пригласили на подмосковную виллу президента, и это признание так подействовало на неподготовленную немолодую психику зощенковеда, что он напечатал еще одну статью, на сей раз с сюжетом попроще. «Машины с мигалками и сиренами доставили нас от центра до правительственной дачи за двадцать пять минут, тогда как обычным образом эта дорога занимает около часа...» — и так далее. Он в одной компании, за границей, увидел Довлатова и — ну, как заместитель Зошенко на земле — пристал к нему, этак развязно, анфан-терриблисто, как ему казалось, *богемно*: «Довлатов, я читал, что вы остроумный — пошутите как-нибудь». Тот угрюмо: «*Как-нибудь* вам всякий пошутит; я стараюсь шутить качественно, поэтому только для своих».)

Защита прошла прекрасно, слово «любезно» порхало с одних уст на другие: «уважаемый соискатель любезно изъявил любезное согласие предоставить в наше любезное распоряжение...», кто-то из комиссии даже сказал, что диссертация тянет на докторскую. Присутствовал отец, критик, который еще раз оправился от болезни, сослуживец матери математик, писатель Герман, физик Понтекорво и жена композитора Глиера. Б. Б. выкатился с факультета на набережную с огромным букетом цветов, и многочисленная компания отправилась в ресторан «Астория» — почти точно разыграв сценку, которую Найман и Бродский для собственного развлечения выдумывали в избе, заносимой ночной февральской вьюгой.

Между тридцатью и тридцатью пятью годами Б. Б. интеллектуально-душевной своей форме подыскал адекватную физико-телесную. И та, и другая на протяжении предыдущей его жизни никак не развивались, а установились вдруг и сразу окончательно. Он выглядел всегда одним и тем же мальчиком — и в какой-то момент в такого же мальчика затвердел. Тело было сведено к минимуму: череп, костяк, несколько мышц там и сям, кожа — всё в самом необходимом количестве. Телесность обеспечивалась гимнастикой и диетой.

Гимнастика сперва была сборная, и только из восточных упражнений. Ну, йога прежде всего. На взгляд непосвященного, ноги, торчащие из-под мышек, и руки — из ягодиц, выглядели таким специальным, цирковым, средневековым уродством: ногами вместо рук, руками вместо ног или, если угодно, подмышками и ягодицами, поменявшимися на теле местами. Так же противоестественно укорачивалось, складываясь, тело — на локоть, на голень, вдвое, вчетверо. Попривыкнув, непосвященный начинал различать связь уродства внешнего с внутренностями, которые хотя сами по себе отнюдь не уродливы, но представленные вовне, лишённые природного покрова, предназначенного их скрывать, шокируют так же, как уродство, — наподобие глубоководного чудища, извлеченного на берег.

Привыкание, однако, само по себе есть посвящение, так что различал связь исковерканности тела с внутренними органами уже первично посвященный, посвященный в ту меру, в какую успел привыкнуть. Иначе говоря, тот, кто регулярно наблюдал за гимнастикой Б. Б., на ощупь проходил те первые ступени, на которые Б. Б., судя по серьезности, окутывавшей его лицо во время упражнений, и по тому, что никогда и ни с кем они им не обсуждались, становился сознательно. Итак, наблюдавший постепенно догадывался, что вывернутые мышцы, суставы и кости каким-то образом массируют, сжимают и растягивают тот или иной орган внутри, вроде того как физические нагрузки и массаж воздействуют на мускулы тех, кто занимается спортом по-западному. Со временем деформированное тело начинало выглядеть всего только функцией от внутренностей, снарядом для их тренировки, самодельным и потому неуклюжим, всего только мешком, дико скроенным вокруг заднего прохода, прямой кишки, мочевого пузыря, печени, желудка, горла. Более того, задний проход, прямая кишка, мочевой пузырь, печень, желудок, горло и прочее выходили чем дальше, тем



отчетливей на передний план, не фигурально, а вполне материально, и привыкавший уже больше видеть их, а не едва не разрывающиеся над ними от натяжения, но все еще прикрывающие их ягодичцы и подмышки. Так представлялось, повторяю, не посвященному в существо дела сознательно, не прошедшему, так сказать, инициации. Прошел ли ее Б. Б., не могу ни подтвердить, ни отрицать.

Кроме йоги привлечены были все японские методики дзюдо и дзюджитсу, про которые, правда, есть слух, что это одно и то же и только малограмотные западные транскрипции сделали из них пару, а также китайская у-шу, корейские сундэ и ссани и семь па непальского брачного танца, подсмотренных европейцами. Долгое неподвижное сидение на полу, скашивание глаз, постоянное, маленькими глотками, попивание воды и, наоборот, регулярные, по возможности засасываемые из лохани усилием сфинктера, без посторонней помощи, клизмы — это само собой разумеется. Дыхание — ноздрей, другой, обеими. Длительное, насколько можно, недыхание. Потение — в сауне, в парилке, но это от случая к случаю и с сомнениями, поскольку соседство не понимающих даже экзистенциальности, не говоря уже об эссенциальности, происходящего мужиков с венниками сводило пользу от потения к минимуму. Хожение босиком по снегу, валяние в снегу нагишом, а потом потение в жарко натопленной, с закрытыми форточками комнате — душной, то есть способствующей недыханию. Висение — на одной руке, на двух, но вывернутых в плечевых суставах; на ноге или на обеих, охваченных у щиколоток веревкой, привязанной к ламповому крюку под потолком, — с равномерным раскачиванием и медленным вращением вокруг оси.

Возможно, последнее и стало поворотным пунктом в переходе к окончательной доктрине телесности и соответствующей ей новой, раз навсегда принятой системе воспитания и ухода за телом. То ли из размышлений, постижений и просто самочувствия, то ли во избежание сопутствующих неприятных явлений, например ангин после охлаждения в снегу, или цистита после лохани, или растянутых сухожилий, а однажды и вывиха, Б. Б. пришел к убеждению, что главное, а то и единственно необходимое для организма упражнение — это продолжительное содержание (прямее было бы сказать — держание, но нет такого слова) организма в перевернутом — вверх ногами, вниз головой — положении. Органы освобождаются от неизбывного и никак иначе не снимаемого давления друг на друга, провисают в новых комбинациях, перетряхиваются, сердце качает кровь в ином техническом дизайне, мозги работают, как пятки, сосуды — кто их знает, — но так или иначе отдыхают, и проч., и проч. И все это достигается простым стоянием на голове: опусканием на четвереньки, на лоб, собиранием тела в комок, в позу эмбриона, медленным закидыванием таза и выпрямлением ног. Сперва у стенки, а после достаточной тренировки — где угодно. По окончании же, через, положим, полчаса, — медленное, очень медленное опускание ног, стояние эмбрионом на четвереньках и на лбу, сидение на корточках — и возвращение в состояние *homo erectus*, по недоразумению или недодуманности выбранное природой как основное.

Параллельно еда превратилась в питание, питание в диету. Помимо естественных для жителей России соображений о недостатке солнца и тепла появились — и вскоре стали доминировать — рассуждения об активности-пассивности микрофлоры и о хемусе. Микрофлора могла быть активной где-нибудь в Гаграх, в Сухуми в разгар лета, никогда не достаточно сухого; и пассивной — в болоте, даже дурманном, в парке Лесотехнической академии и в Рошине, даже дождливой осенью. Микрофлора могла водиться в горах, в пустыне, но эта была целительной, поскольку в горных и пустынных микродозах высасывала, абсорбировала и приводила к своему уровню вредную микрофлору организма. Имелся в виду организм Б. Б. Время от времени научные обоснования менялись: в случае неужи-

данно предложенной отцу и переданной им сыну «горящей» путевки в Пицунду, в Дом творчества писателей, в аккурат в августе, в пик активности слизи, тины, миазмов, которые экстренно объявлялись *similia similibus curantur*; в случае поноса, открывшегося после сбора грибов в «пассивных» подлесках, или подхваченной в каракумских песках ангины, абсолютно необъяснимой.

При ангине, как и при поносе, как и при простуде, мигрени, люмбаго, фурункулах, увеличении щитовидки и так далее, которые, несмотря на безупречную систему охраны здоровья, тоже, чего скрывать, случались, в ход шло лечение по доктору Залкиндю, сводившееся к оборачиванию в горячие простыни и прямому погружению в горячую, ужасно горячую, едва терпимую ванну. Мама и Феня оборачивали и погружали, а Б. Б. терпел — возможно, что и больше, чем терпел бы, покорно, как все, боля. В ванну полагалось сыпать сухую траву: череду, ромашку, лаванду, чистотел — для создания все той же *микрофлоры*. Однако делалось это и говорилось об этом не столько из веры и установки, сколько из представлений о том, как подать предмет, чтобы он выглядел не пошло, а прилично, — не о галошах и зонтах заботиться при дожде, а о наблюдении за фронтом циклона. Галошами же и зонтами была *макрофлора*.

О фауне, в общем, разговор и не заходил. Мясо, как губка, было напитано разнообразными кровавыми ядами, да и рыба немногим лучше. Фауне разрешалось существовать только ради молока — в котором, как говорила одна старуха латышка, давшая своей корове имя Мона Лиза, есть «фсякий траф, моркоф, сметан и масл». Траф и моркоф, собственно, и сделались содержанием жизни Б. Б. На автомобиле «Жигули», купленном для скорейшего сообщения между квартирой на Фонтанке и дачей в Рошине, он выезжал на Кузнечный рынок, где закупал свежие овощи, пучки травы и фрукты в количествах, избыточных даже для Моны Лизы. Все это паковалось в картонные ящики из-под натуральных соков, бутылками которых были заставлены и городская, и загородная прихожие. Соки протухали, начинали бродить, но не так быстро, как гнили и сохли плоды и растения. На рынок приходилось ездить ежедневно, но это будоражило Б. Б. до какого-то чуть ли не восторга. Посещение рынка превратилось в заветное действие, в подобие священного ритуала, и, наскоро проделав с утра необходимые академические труды, а вечер оставив для деятельности приключенчески-коммерческой, он в середине дня отправлялся на торг, возбуждался от накатывавшего похожего на банный шума, метался между рядами, нюхал, брал на язык, тер в пальцах, никогда не торговался: мед — давай мед, масло подсолнечное, только чтобы домашней выжимки, две бутылки, салат, курага, чеснок, облепиха, гранаты, базилик... В декабре, в январе, в феврале — горстями, охапками, ящиками. И в благоухающих, как сабинский огород Горация, «Жигулях» он выезжал, произвольно улыбаясь, на Невский проспект или на Приморское шоссе.

Однажды летом он навестил Наймана — в Латвии, в Апшущиемсе, Найман там из года в год снимал дачу, как раз у этой самой Моны-Лизинной хозяйки. Я у него там тоже бывал, даже несколько раз, но уж об этих Апшу, Плиени и Энгуре не мое, к счастью, а все-таки его дело отчитываться. Б. Б. приехал прямо на следующий день после того, как купил «Жигули», а к ним заодно и водительские права. Ездить он совершенно не умел, учился по ходу путешествия, которое по всем показаниям должно было закончиться катастрофой. Но вот доехал и по пути еще остановился на знаменитом чистотой и изобилием рижском рынке и сделал большую закупку того, что посторонним трудно было отказать себе в удовольствии называть «силосом», — первую на собственной машине, а не на такси, как приходилось делать до этого. Героизм предпринятой поездки оправдывал то, что она была предпринята без предупреждения и заставила Наймана помотаться по деревне в поисках комнаты для уставшего от дороги гостя.

Везде он получил отказ и на обратном пути уже соображал, как ему с семьей ужаться, чтобы подселить к себе Б. Б., но все разрешилось самым лучшим образом: за это время Б. Б. как-то так воздействовал на хозяйку, что она на неделю сдала ему крохотный домишко, оставшийся ей после сдачи главного помещения Найману, и переехала в хлев к Моне Лизе, где у нее была каморка при входе, ровно по размеру раскладушки.

Окно Наймана выходило прямо на крыльцо домишки, которое Б. Б. стал использовать как кухонный и одновременно обеденный стол. Примерно в час ночи он выносил на него свои припасы, лист фанеры и эмалированный таз и начинал резать овощи и фрукты, шинковать траву, вылушивать зерна гранатов и орехи, мешать деревянной ложкой, подливать подсолнечное масло, покряхтывать. В полвторого таз был полон, Б. Б. деликатно гасил свет, и до полтретьего Найман, лежа в постели, только слушал и воображал, что именно подцепляет звякающая ложка или вилка; царапает она дно таза, потому что уже близко к концу, или потому что масса поглощается сперва с одного края, или потому что регулярно разбрасывается по всей емкости, обеспечивая однородность; и почему так страшно клацают и скрежещут зубы и так часто и громко, иногда с воем, вырывается дыхание. Наконец питание прекращалось, но Б. Б. еще с полчаса не уходил, слышно было, как медленно поворачивается таз, как палец ездит по его поверхности, собирая масло с остатками травы, как язык и губы облизывают палец. Потом раздавались звуки, подобные бурчанию в животе, но более звучные, ясные и завершенные: целые фразы, выговариваемые утробой, благодарно заискивающий скулеж и торжествующие увертюры кишечника. Потом Б. Б. уходил внутрь, а Найман еще некоторое время — не то перед самым погружением в сон, не то сразу после — видел его прямостоящим, ждущим отрывки прожеванной пищи для вторичного проглатывания и улыбку Джоконды, блуждающую по его лицу, когда это, по-видимому, происходило.

Причина, по которой ужин был таким поздним, имела скорее всего также биофизиологическую подоплеку. Возможно, однако, что вынудил его на это и Найман, потому что в первый раз Б. Б. сел со своим тазом за стол вместе с ними, но оказалось, что по правилам не все отжеванное следовало глотать, а отсосав из неизбежно остающихся во рту сгустков грубой растительной ткани последний сок, выплевывать жом, или жмых, или жев, или как он там называется. Не на стол, разумеется, а изящно в руку и уже из руки на стол, за таз. Найман запротестовал в самых решительных выражениях, так что на завтра Б. Б. явился к столу с пачкой бумажных салфеток, которые стал подносить к губам подобно больному чахоткой и с тем же выражением лица и уже завернутое в них раскладывать вокруг таза мочало. После хамского: «Да пошли вы вон с вашей выгребной ямой!» — из-за которого с Найманом сутки не разговаривала жена, хотя он упирал на то, что не сказал «вместе», не «пошли вы вон *вместе* с вашей выгребной ямой», а, дескать, «избавьте нас *только* от вашей выгребной ямы», без нее же милости просим, — Б. Б. и съехал на крыльцо. И демонстративно, а может, и в отместку, стал чавкать и отплевываться под Наймановым окном. А может, и не демонстративно, и не в отместку, а с честным намерением дать ему заснуть и только тогда уже самому предаться чревоугодию. А может, кто его знает, ни то, ни другое, ни третье, а просто это у нас был час ночи, у Наймана, у меня, у каких-то неведомых миру латышей, а по иорданскому времени или по гангскому, по которым он, может, жил, это был час заката или рассвета, а по правилам пищу, может, и следует вкушать только на закате или на рассвете.

Со стоянием на голове вышло два забавных конфуза. Наймановский сын младенческого возраста, увидев Б. Б. стоящим вверх ногами, вниз лицом, стал вешать ему на нос, на плоскость ноздрей, разные сумочки и веревочки, и тот с руками, сомкнутыми вокруг затылка, и не имея воз-

возможности быстро опуститься пытался стряхнуть груз вытягиванием и искривлением губ и прочими гримасами, однако безуспешно. В другой раз на пляже к нему подбежали три бродячие собачонки и, убедившись в его неподвижности, по очереди на него пописали. Свидетелей не было, но он сам весело об этом рассказал.

Из Латвии он поехал в Эстонию, а именно в Тарту, пригласил Наймана, тот решил рискнуть. Машина была завалена куртками, штанами, тазами, кастрюлями, стоптанными башмаками и рукописями. Что лежало на переднем сиденье, перебросили назад, так что у заднего стекла оказался зимний шарф и шляпа с полями, а под ними второй экземпляр статьи «Обэриуты... (далее не все прочитывалось, но чуть ли не — «в борьбе за мир...») и театр абсурда» с посвящением Карлу Густаву XVIII (или VIII), королю шведскому. По пути остановились ненадолго в Меллужах, завезли банку малинового варенья наймановским друзьям, Успенским, которые снимали там дачу. Успенский был известный математик — известный и последовательный, следует сказать: его мир подчинялся строгой логике, а когда не подчинялся, то приводился к формуле, годной для подчинения. Например, экстравагантностью: каждому понятно, что носкам, если в них есть надобность, не обязательно быть одного цвета, но так как жена предлагала ему их аккуратными парами, то приходилось пары перетасовывать и, надевая один серый, один синий, простую истину наглядно доказывать. Б. Б. вышел из машины в испачканном глиной меховом ботинке с волочащимися шнурками и в сандалиии без ремешка, оба на босу ногу, и, что сильнее всего сразило математика, не ради какого бы то ни было доказательства и тем более эпатажа, а потому, что первые попались под руку. На прощание он шепнул Найману: «Вы меня знаете, я люблю внушать отвращение, но перед *этим* — преклоняюсь».

Еще раз остановились на рынке. Б. Б. купил килограмм творога и миску клубники плюс обычный «силос». Выехав из Риги, километров через тридцать, на склоне холма между редких сосен, устроили пикник. У Наймана были с собой бутерброды и термос с горячим чаем, от творога он отказался, несколько клубничин съел и — перешел на другую полянку, подальше от, как он говорил, «эксцессов хищного травоядного инстинкта». Он продремал около часа, пока Б. Б. покончил со всем провиантом. День был солнечный, дорога легкая и живописная. Каждые пять-десять минут Б. Б. отпивал несколько глотков воды из бутылки, стоявшей под правой рукой, и, допивая до дна, просил менять бутылку на следующую из батареи сложенных за его сиденьем. В тридцати километрах от Тарту он сказал, что, возможно, пришло время перекусить, и остановил машину в перелеске. Было тихо, пели птицы. Б. Б. опустил спинку сиденья, расстегнул ремень и откинулся. Минуты через две раздались звуки, подобные тем, что доносились с крыльца, но менее уверенные, поглуше. «Нет, — сказал он, выпрямился, застегнул ремень и поднял спинку, — не готов хемус». Включил мотор и тронул машину с места.

Найман, окончивший Технологический институт, осторожно насчет хемуса осведомился. Как он и ожидал, хемусом оказалась, грубо говоря, переваренная пища. Звуки должны были сигнализировать, на какой стадии процесс переваривания *всего* потребленного под соснами находится, не завершён ли, потому что если завершён, то можно приступать к следующему. Найман спросил, почему не ориентироваться, как до сих пор, на чувство голода. Потому что неточно: чувство голода сплошь и рядом появляется прежде полной готовности хемуса. По той же причине начинать пить жидкость можно только после первичной стадии, а именно — когда пищевая масса, далекая еще от состояния хемуса, *вся* уже затронута процессом, то есть не может превратиться обратно в пищу. Найман сказал, что огромная часть человечества, и он в том числе, пьет после обеда кофе, или чай, или, бывает, компот. «И очень печально», — отозвался на это Б. Б.

До Тарту они заехали на хутор к эстонскому поэту, с которым Б. Б. был коротко знаком. Поэт показал им новый пруд, вырытый колхозным экскаватором за двести рублей. У мостков росли лопухи, гигантские, японские. К мосткам степенно подплывали карпы — поэт их разводил, не для стола, однако, а как дзэн-буддист. Сидеть на берегу и созерцать тусклое посверкивание их боков — отрадно. Противный Найман поинтересовался, будут ли все-таки употреблены они в пищу, если припрет с продуктами. Тот сказал, что проводит в ихтио-, конкретно карпо-, центричной медитации часы, дни, столетия. Найман наседал: а если с голоду в голове начнет мутиться? Поэт выказал едва заметную нервозность и, передернувшись, допустил, что, ну, может быть, и да, пришлось бы расстаться с одной-другой рыбой, но не придавая этому значения. Они переночевали на хуторе и утром приехали в Тарту. В Тарту посередине города стоял «Ту-104» и жил знаменитый ученый Мазинг. Найман пошел осматривать самолет, а Б. Б. — разговаривать с профессором.

Зачем он заставил меня думать обо всем этом, вспоминать! *Он* — и Найман, и Б. Б. Подлинный смысл имеет только то, что не имеет практического смысла. До этого мы договорились вчера с Коганом, когда в три часа ночи он позвонил мне из Нью-Йорка: Юрий Коган, который когда двадцать лет назад улетал в эмиграцию и оказался на миг на последнее обозрение, уже после таможни и паспортного контроля, за стеклом на втором этаже Шереметьевского аэропорта, седой, молодой, красивый, — и все бабы из толпы провожавших — кого они там пришли провожать, а его увидели в первый раз — взвыли: «Кого отпускаем!» Позвонил и сперва стал клясться, что нашел телефонную компанию, а в ней еще специальную рождественскую программу, по которой звонки в Россию вообще ничего не стоят, три цента минута, а если говорить больше часа, то и тебе еще приплатят, так что давай говорить больше часа, не торопясь, не торопясь.

Смысл имеет только то, что не имеет практического смысла, и уменьшается в значении ровно настолько, насколько практического смысла содержит. Например, созерцание цветочных грядок, которым наслаждался Гёте. А уже затея Гейзенберга, который его наблюдение о зависимости цвета от того, кто созерцает, и даже от его настроения, и потому на свете столько цветов, сколько созерцателей, применил для строительства атомной бомбы — которое, впрочем, тормозил, как умел, — не имеет смысла ровно никакого. Или, например, стихи. Уже музыка — не то: ее *исполняют* — привлекают артистов, продают билеты, выпускают записи. Про живопись и говорить нечего — маршаны, галереи, вестибюли банков. Это вам не то что сидеть на крыльце, глядеть на забор, на канаву, поле, лес. Сидеть и глядеть, а не наоборот — использовать глядение как упражнение, а его результаты — как способ укрепить здоровье и проч. Или как вот я сейчас — как материал для воспоминания, предпринятого ради записи. С какой стати!

Юрий Коган, садовник у богатых людей в Вестчестере, штат Нью-Йорк, которые по очереди дают ему жить в пустующих привратничьих и платят столько, чтобы хватило до следующей платы, позвонил мне, Александру Германцеву, контролеру московского метро. Он говорил полтора часа, и я полтора, и всего получилось полтора. Он говорил, например, что немцы на Эйнштейна со всеми его сногшибательными открытиями не обратили и не обращали никакого внимания. Что один из них объяснял другому теории относительности и сказал: вот ты едешь в вагоне, а я стою на платформе. Для меня *ты* с поездом движешься, а для тебя *я* с перроном. Понял? Тот сказал: а билет? Но потом Планк, президент ихней академии, написал в газете, что если на земле существует храм науки, то по нему прохаживается лишь Эйнштейн, в полном одиночестве. А так как

немчура благоговееет перед авторитетами, то они его, конечно, признали, и устроили специальное университетское место, чтобы он сидел там и думал, и сделали председателем всяких обществ и комиссий, например аттестационной по защите диссертаций. И один его ученик, из самых милых и лучших, защищал диссертацию, и когда сказал: «Я кончил», — то был уверен, что сейчас все начнут его одобрять, хвалить и, возможно, превозносить, начиная с тех, кто мало чего понял, и кончая великим учителем. Однако Эйнштейн начал первый и сказал: «Я страшно виноват перед вами. Я действительно так учил, но два месяца тому назад. Тогда это было правдой, а сейчас я понял, что все наоборот». — «Но как это может быть! — вскричал тот. — Это же наука, а не, скажем, перчатки, которые можно менять по погоде». — «Это законы природы, — ответил Эйнштейн печально. — Увы, я не могу идти против них».

Кто это говорил, Юрий Коган или я, убейте меня, если помню, потому что мы говорили вместе и время было четвертый час ночи. Эйнштейн мог себе такое позволить — как Рихтер, которого выбрали в жюри и он дал премию Клиберну. Гилельс или Ойстрах не дали бы, потому что знали, что нельзя, а этот дал — раз тот лучше всех играет. А вообще, Эйнштейна нет, а есть Лермонтов. Это сказал Коган, потому что сразу после этого он сказал, что всю жизнь хотел петь арию Дон Жуана, — и мне осталось только молчать.

«Дай ру-ку мне, кра-сот-ка, мы в за-мак с тобой пай-дьом». Он это пропел великолепно — и смешно, потому что показал голосом, какой должен быть дурак певец, чтобы так пропеть. Что они все во всем мире, и кто замечательный, и кто совсем бездарный, — одинаковые: бритые здоровые мужики — ну как кагэбэшники или, там, лакеи на запятках карет. «Госкапозор — вот жалкий жрэ-эбий... мой!» Жуть? А ты попробуй написать оперу прямо на стихи Пушкина «Евгений Онегин», попробуй! Он сказал, что сколько раз ни запевал Дон Жуана — ужас. Пробовал по-итальянски, не понимая слов, — ужас. *Ла-а чэдарэм ла ма-ано; ла-а мэ-э дирэй д'уси*. Но еще ужаснее была ария Демона из оперы Рубинштейна, который вообще не понимал, где Демон и где музыка. Что он сам, что его брат с этими черными дикими волосами перед лицом. «На воздушном океане без руля и без ветрил». Опять он пропел очень профессионально и очень смешно: на воздушнэм-м-м, бэз руля-и-бэз-ветрил. Один Шаляпин умел это петь, потому что знал, каково это — на воздушном океане, на тридцать втором уровне, и каково это — без руля, на минус тридцать втором. И вот три дня назад Коган готовит к весне оранжерею одного адвоката и напевает про себя «На воздушном», а получается «Дай руку мне, красotka».

То есть Рубинштейну ничего понимать и не следовало, его дело было соединить Лермонтова с Моцартом. И тогда оказывается, что *миг свиданья, час разлуки* и есть теория относительности. Затягивает прекрасным баритоном: «Им в грядущем нет желанья, им прошедшего не жаль». Такое бывает — но в редчайших, в считанных случаях. Как у Авраама в состоянии «тардэма», когда Бог заключил с ним завет. Это по-еврейски. По-английски — это dream, а по-русски — дремота. Вот как кошка — которой ничего не надо, сидит мурлычет. Или как, прошу прощения за неприличное слово, *секс*: только то, что сейчас. Это как у Наймана в стихотворении про Музу: нет тебя — нет и меня.

Весь этот кошмар неотвязный прошлого, войны, потопа, кровища — просто не приходит на ум, будущее — не интересно вот ни на столько. Живут исключительно в настоящем, миг — живут, миг — живут. Только этот миг и живут, и потому что живут, потому и этот миг существует. А единственный язык, про который знал великий Иллич-Свитич, царство ему небесное, ну пра-семитский, до-вавилонский, — это язык поэзии. Да, да, просто поэзии, любой. Ахматовой, Данте, Лермонтова, дю Белле. Почему Мандельштам и написал, оттолкнувшись от Эйнштейна с его светом с ко-

сыми подошвами и молью нулей: «И за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как горбатого учит могила и воздушная яма влечет».

Но в Библии, конечно, это неизмеримо могущественнее — то есть вообще неизмеримо. Потому что она тем для тебя могущественнее, чем ты с ней дольше. Как греческий мальчик, который выбирал ягненка в стаде и взваливал себе на плечи. И пока превращался в юношу, тот превращался в барана. И чем крепче делались мышцы, тем крепче мозг — на уровне центров инстинктивно-интуитивных, я имею в виду. Ну, в этих самых центрах телесности. Он не штангу, не железа грудю тупую носит, а живую плоть. Переваливающуюся, дергающуюся, блеющую. И становится сильнее — и становится умнее. А если так с бараном, то ты понимаешь, насколько неизмеримо мощнее с Библией, — понимаешь?!

Вот что я хочу говорить, что вспоминать, про что думать, а не про Б. Б. ползучего, если уж вы хотите всю правду обо мне знать. Я стою на контроле в метро, вереница людей проталкивается мимо меня, каждый сует мне под нос бумажку, почему он имеет право так проходить. Я не только в бумажку ни разу не посмотрел, я в лицо редко когда заглядываю. Я смотрю на кишение. Лица взволнованные, рты оскаленные, а кишение мирное, перистальтика медленная-медленная. Я смотрю на шапки: один, войдя, снял, другой, наоборот, надел, за ним тоже напялил, опять нахлобучил, следующий сдернул, сдернул, стащил с черепа — и под мышку, снял, надел. Эпилепсия шапок, эпидемия шапкамаханья, шапкопорханья. Или шарфы. Размотал, замотал, затянул, как удавку, разодрал, будто душит. Потому что предыдущий что-то сделал. А выбор-то невелик: он так, и я так; он так, а я наоборот. Каждый хочет быть как другой или *не* как другой, а это одно и то же. Потому что, главное, никто не хочет быть собой, не знает как, не хочет знать. Не хочет знать, кто он, именно он. Это в толпе, в человечестве. А дома — как часть человечества — с той же силой, с какой не хочет этого знать, он хочет быть, как вон тот — чемпион мира, звезда экрана, нобелевский лауреат. Чем не Б. Б. — с той разницей, что бедняга Б. Б. и хотел бы быть собой, да не мог.

Шло время, и постепенно-постепенно становилось все яснее, что, не являясь собой, просто потому что *себя* как такового не было, Б. Б. отнюдь не хуже, не злее — не говоря уже, не глупее — тех, кто собой были, и, напротив, за редкими исключениями, лучше тех, кто были *самими собой*. Он был чемпион эгоизма, он свой эгоизм не скрывал, и не скрывал не так, как все, кто делает из демонстрации эгоизма более или менее чарующий спектакль: знаменитости, влиятельные и богатые люди, домашние авторитеты, чудачки, — а из опять-таки эгоистического соображения, что зачем спектакль, когда и без него не может не получиться. Эгоизм ни в чем, кроме себя, не нуждается, он нуждается в *ком-то*, но эти кто-то — его сырье, и не занимается же огонь тем, чтобы произвести впечатление на дрова, когда их сжигает. Это была коренная ошибка в рассуждениях Б. Б., точнее, упущение в его представлении о мире. Он не обладал ничем, что люди, не называя, ощущают как право на эгоизм, стало быть, действовал против общепринятых правил и, на свою беду, был совсем несколько не обаятелен. В этом смысле он мог выглядеть в глазах людей чудовищем, бессознательно они даже были заинтересованы, чтобы он так выглядел и они на фоне его непривлекательности представлялись бы себе и друг другу милее, благороднее или хотя бы приемлемее, чем без него.

Я любил с ним разговаривать, я не любил только, чтобы даты, частота и продолжительность наших встреч диктовались им. Его мнения были независимы, его наблюдения над людьми — правда, как почти у всех над их слабостями, пороками и дурацкими сторонами, — его суждения об их поступках и словах бывали пронзительно точны. Они вызывали непосредственный смех и желание видеть так же остро, как он. «Больше нет ни



элиты, ни общества, — сказал он, придя с дня рождения филолога и лингвиста, известного тем, что о нем, когда он был еще молодым человеком, с похвалой и с удовольствием говорили все: Пастернак, Ахматова, Солженицын, Бродский — и которого все, включая и остальных *всех*, называли *великим* филологом и лингвистом. — Нет больше ни избранных, ни даже званых. Там была жена Евтушенко, которая час рассказывала о своем опоясывающем лишае и показывала живот и спину. И никто не мог ее перебить, и каждый старался тему поддержать. Там была жена баритона Муслима Магомаева, которая одновременно с ней говорила о черной икре, о каспийской черной икре, о черной икре, и ни разу о красной. Там была жена нашего культурного атташе в Дели, которая после них говорила о том, как выгодно в Индии продавать бутылки из-под «Советского шампанского», потому что из их стекла индусы изготавливают фальшивые изумруды. А в промежутке именинник говорил о Леви-Строссе, о Генрихе Бёлле, о Фестском диске, шумерском алфавите и запасниках Эрмитажа. Потом все спорили, какой путь от аэродрома Орли до Бурже короче, — все, кроме тех, кто безмолвно и смущенно весь вечер улыбались».

Тон Б. Б. был ровный, информативный, речь легкая. Он тонко реагировал на встречные реплики и вообще был живой и умный, но вдруг начинал звонить по телефону, звонок за звонком, и все об устройстве свиданий — на завтра, на через день, на через месяц. Не смущался, что прервал так грубо ваш с ним разговор, не стеснялся твоего присутствия, не замечал твоего недовольства и даже как будто не слышал твоих призывов положить трубку, чтобы дать желающим прозвониться. Телефон был и на всю жизнь остался его пунктиком, он ничего не мог со своей телефономанией поделать. Много лет спустя меня пригласили в Харрогейт на один из тех невероятных симпозиумов под названием «Мир и история», или «История и искусство», или «Искусство и наука», на которых любой может выступать на любую тему. Б. Б., конечно, в нем участвовал. В один из дней за мной заехала моя бывшая жена, англичанка, и мы на машине отправились на север навестить ее родителей. В Харрогейт мы вернулись в третьем часу ночи, город был совершенно пуст, неподвижен, освещен мертвыми фонарями — и вдруг фигура Б. Б. метнулась через улицу как раз перед машиной, так что мы вынуждены были тормозить. Он не обратил на нас никакого внимания, потому что был устремлен к телефонной будке, ворвался в нее, сбросил на пол сумку с плеча, дернул молнию, выхватил записную книжку, распахнул и стал быстро и сильно нажимать кнопки. «Звонит в Голландию, — предположила моя бывшая жена, — там через неделю в Дельфте симпозиум „Наука и мир“».

Еще один парадокс, который произвела натура Б. Б., заключался в том, что он был лишен интуиции, начисто. Все, что он делал и чего добивался, он делал и добивался обостренным интеллектом. Интеллект вообще если он находится в состоянии готовности, то всегда в готовности сорваться с места. Ноги уже укреплены в колодках, вес переброшен на плечи, а они передают его, насколько возможно, кистям, а те большому и указательному пальцам, таз приподнят — интеллект готов метнуться вперед при любом щелчке, он примет за выстрел стартера простой хлопок в ладоши и, рванувшись, не сразу останавливается даже и слыша команду «фальстарт!», не сразу с ней соглашается, не желает прервать начатой стремительно и безоглядно дистанции. Интуиция же топчется где-то за его спиной, позади стартовой линии: чтобы выйти на дистанцию, ей нужен разбег, нужно время для прикидки, начинать ли ее вообще, не победить ли интеллект просто дождавшись двух его фальстартов и снятия с забега. Она не спешит, потому что в любом случае, как бы быстр и могуч он ни был, на финише она будет первой.

Б. Б. не мог что-либо предчувствовать, потому что не умел чувствовать. В общепринятом смысле слова. Он чувствовал жар и холод, физиче-

скую боль, настроение собеседника, опасность, но, как уже было сказано, не чувствовал меры. Если у него болел зуб, он не знал, достаточно ли он болит, чтобы идти к врачу. Если собеседник был к нему не расположен, он не понимал, насколько, и ждал, чтобы тот сказал: я не расположен к вам до такой степени, что не хочу больше с вами разговаривать, — а если этого не слышал, то продолжал с ним разговаривать как ни в чем не бывало и тогда, когда любой другой на его месте смотал бы удочки. А так как произнести в глаза живому человеку это трудно, то сплошь и рядом он брал в оборот людей, которые не хотели иметь с ним дела, чем доводил их нерасположенность до почти исступления. И напротив, чье-то заявление принимал как истину и приговор и мог сказать: «Вы нажили себе врага, не поздравив с днем рождения такого-то; он говорит, что никогда вам этого не простит», — хотя мы с таким-то после этого уже три раза виделись и десять раз разговаривали по телефону ровно так, как прежде. (Такое отношение к проходным репликам было, впрочем, свойственно и другим его филологическим знакомым, может быть, потому что у них любое из слов имело равный вес с остальными, а может, поколение такое выдалось. Например, Тименчик, читавший *все*, с заметным волнением сообщал Найману, что видел в издательстве ругательную внутреннюю рецензию на его перевод латышских дайн, а затем, через полгода, что в «Трудах Ленинградского университета» появилась критика его перевода старопровансальских трубадуров, каковые два факта сопоставив, он заключил не без торжественности: «Это уже похоже на крестовый поход против вас».)

Опасность Б. Б. чувствовал тоже прежде всего умом, но тем же умом нельзя сказать чтобы не чувствовал одновременно и безопасность. Поймав в Москве на улице «левую» машину, он из болтовни шофера узнал, что его брат работает шофером у директора издательства «Наука», и, наскоро расспросив, имеет ли брат на директора влияние, и услышав, разумеется, что имеет, и полюбопытствовал, не может ли он *внепланово* устроить издание его, Б. Б., монографии о галисийских трубадурах, и услышав, что запросто, и осведомившись, сколько это будет стоить, и услышав, что пятьсот, тут же эти пятьсот вынул и передал для брата вместе с номером своего телефона, по которому просил брата звонить в любое время. Заметим, что все это происходило в конце 70-х, когда царил социалистическая законность и когда пятьсот рублей стоили побольше, чем сейчас, в конце 90-х, когда царит законность пера и обреза, пятьсот долларов. Болван, скажете вы. Да, но не по разуму (потому что шансик-то все-таки был, а деньги еще заработаем), а по чутью. Авантюренность, скажете вы. Да, авантюренность — но и полное отсутствие интуиции. Брат так и не нашел времени позвонить, а машина с его братом-болтуном, с которого Б. Б. мог бы взыскать долг, с тех пор ни разу не встретила.

Года через три встретила другая машина, с четырьмя одинаковыми крепышами внутри, так что для Б. Б. осталось только узкое место между двумя, располагавшимися справа и слева на заднем сиденье. Крепыши привезли его в лес за железной дорогой по другую сторону от станции Солнечное. Стащили с него рубаху, привязали к дереву, достали набор щипчиков. Потребовали денег, «налог» с торговых операций. Искололи грудь, плечи, несколько раз прижгли автомобильной зажигалкой. «Было страшно». — «А вы?» — «Я молчал». — «И они?» — «Если вкратце, то развязали и уехали, а я сел на электричку и вернулся в город». Правда, тогда еще не принято было убивать, как сейчас. Б. Б. отнесся к нападению скорее как к случайности: кто-то навел, те попробовали, не получилось — и ни в какую не соглашался принять, что это неременное условие выбранной им деятельности. Ничего подобного, у каждой вещи своя сфера, сферы входят в связь между собой, выходят из связи, и ни из чего не следует, что у каких-то сфер больше сродства друг к другу, большая продолжительность связи. «Вот кстати», — он остановил «Жигули», в которых мы ехали

по заснеженной дороге, ведущей к их даче, и посветил фарами самосвалу, тащившемуся навстречу. Тот остановился, Б. Б. вышел, поговорил с водителем, вернулся. «Насчет мазута договоривался, для котла, — объяснил он. — Сейчас нет, но обещал после Нового года. Когда начнутся хищения в особо крупных масштабах».

Идиотская потеря пятисот рублей и нападение рэкетиров были первыми языками того потока заваренной им еще в юности, постоянно размешиваемой, интенсивно разогреваемой каши, который начинал уже бежать со всех конфорок, заливая и захватывая нужные в хозяйстве и иногда несравнимо более ценные, чем сама каша, вещи. Это происходило не от просчетов ума, а от просчетов, свойственных, если не необходимых, уму, который, рассчитывая на двух-, ну пусть трехходовую комбинацию, должен отбрасывать возникающие с каждым планируемым ходом осложнения, чтобы, не растрачивая на них лишних сил, целиком сосредоточиться на атаке. Рассчитывать же дальше трех ходов, полагал справедливо Б. Б., — не следует: игра примитивная и без твердых правил. Но даже если он отдал пятисот рублей, трезво взвесив «за» и «против» в соотношении один «за» и девять, а хотя бы и девяносто девять «против», и даже если пять сотен, при двойном делении на коэффициент покупной цены скрипки по отношению к продажной и коэффициент валютного курса реального по отношению к официальному, не такие уж великие были для него деньги, то все равно случившееся свидетельствовало о неблагоприятии много большем, чем разовая материальная потеря, большем, чем нулевая интуиция или оголтелая тяга к афере. Это был сигнал неблагоприятия, органически включенного в благополучие. Проще говоря, это был сигнал жизни — которую чем больше под себя гнешь, тем сильнее взбрыкивает, которую, в общем, не обыграешь.

С галисийскими трубадурами дело не шло не из-за на пять лет вперед составленных издательских планов, или интриг, или нехватки бумаги и типографских мощностей — это бы все можно было решить несколькими телефонными звонками какому-нибудь могущественному папиному знакомому, — а из-за самих трубадуров. Нечего, в общем, было о них писать, нечем в их поэзии, всецело зависимой от старопровансальской, заниматься, и самих их как бы и не было. Не будь провансальцев, еще сошло бы. Но на фоне той реальной могучей культуры и в сравнении с двумя десятками, а на чей вкус и больше, первоклассных поэтов среди писавших на языке «ок» все эти Жил Санчес, Альфонсо Санчес и Мартин Соарес больше походили на испанских футболистов из второразрядной команды, чем на трубадуров. Статью об Альфонсе Мудром, короле Кастилии и Леона, моментально пришиб Мейлах, ибо Альфонс хотя трубадуром был далеко не первого разбора, но шел по спискам мейлаховской, старопровансальской, епархии, и с какой стати так просто его уступать? По бедности пришлось взять дон Дениса, Альфонсова внука, но он был королем Португалии, и тут на Б. Б. взъелись уже португаловеды. Невзрачность темы намекала на невзрачность фигуры, ею занимающейся, а неуспех в одной филологической брани бросал тень на успехи в других, обэриутской и достоевской.

Да и расчет на то, что можно «в случае чего» «за содействием» позвонить издательским генералам, приятелям отца, тоже имел существенный изъян: позвонить-то можно было, но в определенном смысле уже контрабандно, мошеннически. Отношения Б. Б. с отцом к тому времени были в руинах и, ограничиваясь формальным «добрый день», не снисходили до «спокойной ночи» и даже «до свиданья». Началось с того, что Ника и Фридрих эмигрировали в Америку: объявили об этом, только когда понадобилось отцово официальное «не возражаю», заверенное у нотариуса. Тут же выяснилось, что мать об их намерении знала с самого начала, то есть — еще одно вероломство. Отец как раз *возражал*. О'кей, напиши

«возражаю», ОВИРу все равно. Он написал, в нотариальной конторе заверили. С карьерой можно было распрощаться навсегда: «возражаю», «не возражаю» — воспитал детей, предавших родину. За день до отъезда заехали, с шестилетним сыном — единственным из когда-то воображаемой им массы внуков. «Поцелуй дедушку на прощанье», — и, не оставшись ночевать, уехали; в Америку; как будто их никогда и не было; навеки.

Осталась жена, преданная, как прежде, и, как прежде, разрывавшаяся между ним и детьми: безоговорочно поддерживала, если он подписывал письмо против *сионизма*, и втайне от него переписывалась с ними. И остался Б. Б., но который вел себя, скорее, как если бы это он туда уехал и жил по тамошним правилам. Отец с ним несколько раз пытался поговорить, сперва, как обычно, безапелляционно, потом вразумляюще, наконец, ультимативно. Б. Б., если разговор происходил за обедом, доев, вставал и ни слова не говоря уходил в свою комнату, а если в его комнате, то одевался — и на улицу. Отец написал ему два письма: одиннадцать страниц и шестнадцать, — подложил их под дверь. Листки первого оказались через некоторое время под сковородкой, с которой Б. Б. ел яичницу; второе нашел на полу нераспечатанным, когда в отсутствие Б. Б. вошел в его комнату. Так что позвонить-то, повторяю, Б. Б. отцовым корешам мог, но даже в случае, если те оказались бы из числа не отвернувшихся от *отца предательницы-сионистки*, это были звонки у него за спиной, по секрету от него. То есть опять-таки преимущество содержало в себе свое отрицание: Б. Б. — сын влиятельного отца, да; однако сын, отцом более или менее ненавидимый.

Тем не менее он им звонил и даже приходил в гости. Чаще других к секретарю Союза художников, влиятельнейшему товарищу. Семьи дружили преимущественно по дамской линии — жены были знакомы, — но и мужья чувствовали друг в друге племенное родство. У секретаря хватка была, конечно, на порядок-два сильнее, чем у отца Б. Б., его имя и для любого университета и издательства значило больше. Секретарь с женой приглашали Б. Б., которого знали с младенчества, на семейный обед. Против напрашивающихся представлений о вовлеченности фигур такого социального разбора в отношения многолюдные, о толпе окружающих их льстецов, прихлебателей и просителей, секретарь с женой жили замкнуто, никому не доверяли, друзей, в общем, не имели. У них была дочь возраста Б. Б., на которой хотели жениться те, кто внушал им подозрения, а не те, кого они намечали в зятя. В конце концов сошлись на парне из Керчи, из морской семьи: отец — боцман на танкере. Дескать, и корни неиспорченные, и место свое будет знать. Спортсмен, крепкий, кровь с молоком, окончил мореходное училище, без интеллектуальных запросов, всегда чреватых неожиданными неприятностями. Вышло как по писаному: секретарь помог, направил, малый вскоре защитил диссертацию по философии, «Марксистско-ленинский подход к...», отец приезжал навещать не чаще раза в год.

Он, кстати, присутствовал за обедом, на который пригласили Б. Б. Темы застольного разговора были спокойные. Делает ли Б. Б. по утрам гимнастику? Это дочь спросила. Надо, надо, вон какой физически, как бы сказать поточнее, неубедительный. Наука наукой, но и физическое развитие должно соответствовать — это секретарь. Вообще, очень много времени, очень, уходит на поддержание формы — это жена. Она состоит в нескольких комиссиях на общественных началах — на любом заседании необходимо быть в состоянии наилучшей боевой готовности. Вместе с регулярным массажем, бассейном и специальной гимнастикой это не меньше трех-четырёх часов в день. Устаешь много, много больше, чем какая-нибудь, скажем, ткачиха, которая в середине дня сделала десятиминутную зарядку, и ей довольно... Тут домработница отозвала ее к телефону.

Жена вернулась со скорбным выражением лица, сказала, что звонил такой-то, однокашник секретаря, сказал, что у его жены рак. «Да, — проговорил печально секретарь, — у каждого человека своя беда...» Поправился: «...своя неприятность». Через пол, примерно, минуты какое-то волнение отразилось в глазах зятя. Он даже положил на стол ложку. «Как это «у каждого»? Почему «у каждого»? Не у каждого. У одного рак, у другого совсем необязательно». — «Точно, сынок», — вступился за него отец. «Один имеет неприятности, другой — ни одной. А то «у каждого». Я, например, никогда неприятностей не имел и иметь не собираюсь». Всем было видно, что он обижен подозрением тестя, будто беда и неприятность могут распространиться и на него; что он едва удерживается, чтобы не сказать: «Одну минуточку. Я когда на вашей дочери женился, мы так не договаривались. Диссертация — да, квартира там, машина, но о неприятностях слова не было сказано». «В нашей моряцкой черноморской крови, — сказал отец веско, — рака нет». Дескать, может, у кого-то есть, и если есть, то чем скорее карты на стол, тем лучше. Честнее.

На прощание секретарь пообещал Б. Б. «выяснить ситуацию» и по поводу трубадуров, и обэриутов. Жена шепнула, что если он так говорит, Б. Б. может быть спокоен: все сделает. «А как там у вас с отцом продвигается дело с Достоевским? — спросил секретарь. — «Ошибки Достоевского» готова книжка? Общественность такую книгу ждет, тема актуальная». Б. Б. ответил, что почти готова, но без его участия, он в конце концов предпочел, чтобы отец один писал. «А что ж так?» Б. Б. на миг, особенно после шепота хозяйки, показалось, что между ними всеми возникло общее понимание вещей и та редкая доверительность, которая нуждается в немедленной поддержке откровенностью, честностью, юмором, и он сказал: «Да ведь явишься на тот свет, как вот жена этого вашего однокашника, а Федор Михалыч приступит и начнет трясти: «Ну-ка, какие такие ошибки я допустил, скажи в глаза?» И выцедит по капле из отца кровь в загробную мацу». Тотчас поняв, что сморозил несусветное, стал объяснять, что все это исключительно в фигуральном и юмористическом смысле, выражающем метаописание самого Достоевского, но хозяева, невооруженным глазом было видно, перепугались как-то даже мистически. И не «выяснил ситуацию» секретарь ни с трубадурами, ни с обэриутами никогда.

И черт с ним. Потому что жизнь Б. Б. принимала нешуточный оборот и, как у всех перед крутой переменой, походила на вылетающий с трассы автомобиль, который не снижая скорости скачет по целине, а тот, кто за рулем, реактивно крутит руль и отжимает педали, инстинктом допуская, что как занесло, так и вынесет. Прощения прошу за каламбур — пришла в КГБ очередь Б. Б. Вышелачивая за год по десятку-другому содержащихся на учете, добрались до года 1983-го и перенесли его имя из плана перспективного в принятый к исполнению. И то сказать, назрело. Человека, дважды встретившегося с иностранцем, *вызывали*, а пятижды — могли и *взять*, тогда как Б. Б. звонил по домашнему телефону (!) в американское консульство (!) и на итонском английском говорил: «Приглашаю всех вновь прибывших в Ленинград стажеров и вас, господин консул, на домашний ужин, посвященный началу занятий в университете». Его антиподы, хотя бы тот же Азадовский, когда иностранцы звонили им с улицы, прерывали их на полуслове, выпаливали: «В семь вечера у Медного всадника!» — и бросали трубку. И как миленького взяли уже и Азадовского, и других подобных конспираторов, а этот, нарушая протокол, не говоря уже об этикете, вел себя, как будто не отдала жизнь за революцию тысячи, за Днепрогэс сотни тысяч и за победу над фашизмом миллионы безымянных бойцов.

Так что *активизировались* в Большом доме, *повели* Б. Б., стали непосредственно *разрабатывать*. И он активизировался. Что-то перепрыгал,

перевез от старушек к тертым молодым людям, а от них другое что-то к тем же старушкам. Издал за границей разом три статьи: «Имя назывательное в тюркских языках» (прощание с Аллой), «К постановке проблемы поэтической логики и алогичности в стихах Александра Введенского и Осипа Мандельштама» (оммаж Надежде Яковлевне) и «Соотношение европеизмов и провинциализмов в языке галисийских трубадуров» (все-таки!). Еще раз наведалься в брачную контору: там были уже только нигерийки и никарагуанки, и твердая такса установлена, и инструкция «Советы вступающим в брак с иностранцами» вручалась.

Главное же, он разогнал маховик покупки-отправки-продажи-выручки до максимальных оборотов. Он носился на уже вторых по счету «Жигулях» по Ленинграду и между Ленинградом и Москвой, и черные «Волги» носились за ним круглые сутки. Он стал говорить тихим голосом: экономил силы. Найман делал вид, что не слышит, спрашивал меня при нем: «Он еще говорит или уже замолчал?» — а самого Б. Б. пилил сварливо: «Почему это вы бережете свой голос больше, чем мой слух?» Он выпивал галлоны соков, съедал бушели фруктов, баррели овощей, спал — с повязкой на глазах и затычками в ушах — по пять-шесть часов в сутки, в восемь утра и восемь вечера, где бы ни находился, на полчаса становился на голову и звонил, звонил, звонил по телефонам. Телефоны в ответ звонили ему. Половина людей не дозванивалась, не могла пробиться, да и вообще коэффициент полезного действия не поднимался выше пятидесяти процентов, но само дело было раскручено на двести, и в целом выходило так на так. Однажды я услышал, как он зовет меня с улицы, и выглянул в окно: он наполовину высовывался из машины, извинился, что торопится, и попросил меня позвонить по такому-то номеру, просто сказать, что он едет — опаздывает, но едет. Он даже не выключил мотора. Но вдруг прибавил: «Минуточку», — перегнулся назад, порылся и вылез наружу с плоской рисованной на картоне куклой. Поднял, чтобы мне было лучше видно, потянул за веревочку, кукла подергала ручками и ножками. Он ухмыльнулся с сомнением и крикнул мне без уверенности: «За Малевича не сойдет, а? Как вы думаете? — еще раз взгляделся. — Харджиев говорит, Малевич несколько таких сделал».

Возрастала интенсивность — возрастали и потери. Как цирковой клоун, он набирал кучу мячиков, прижимал к груди, брал еще один, но сразу падал один из охапки, он наклонялся его поднять — падали два новых. Он оставлял записные книжки в телефонных будках. У него было четыре записных книжки, каждая объемом с том гослитовского Пушкина. В них были сотни телефонов и адресов, записанных от руки, и сотни вклеенных визитных карточек иностранцев. Он вынужден был часто звонить из будок — и потому что так часто находился в дороге, и из соображений хоть какой-то безопасности: оба телефона, городской и дачный, прослушивались почти открыто. На нем висело по четыре сумки с множеством отделений и кармашков, он расстегивал молнии, застегивал, что-то вытаскивал, втискивал внутрь. Естественно, что что-то и забывал: записную книжку, через месяц еще одну, но первую тем временем восстановил, через полтора месяца — еще одну. Он выехал из двора на Фонтанку, вернулся закрыть ворота, а сумку, которую держал на плече, потому что в ней были ключи от ворот, поставил на капот, на одну минуту, — и ее успели украсть.

В сумке был паспорт, водительские права. Он заявил о пропаже в милицию, в ГАИ, официально, но также и заплатил кому надо неофициально и через десять дней получил новенькие *корочки*. И тут же его обокрали на рынке: разрезали сумку, вытащили деньги и права — хоть догадался больше с собой не таскать паспорт. На этот раз он обратился непосредственно и только к уже знакомому ему *коррумпированному* инспектору, тот нахмурился, но до порицания и проповеди не опустился, а просто взял вдвое против первого раза и выдал новые документы. Еще через месяц позвони-

ли из милиции и сказали, что им принесли подброшенные первым вором паспорт и права. Б. Б. их забрал и стал жить с двумя комплектами. «Очень удобно, не нервничаешь, да и свободнее себя ведешь», — объяснял он.

Наконец его арестовали, под Москвой, в конце весны. Он поехал на дачу к дочери зооэнтомолога. Она — как отец (а также и как мать, сделавшая карьеру на средневековом тамильском синтаксисе) — уже, в свою очередь, была кандидат филологических наук, защитившись по Вуку Караджичу. Тему выбирали всей семьей: Югославия представляла собой оптимальный вариант заграницы — не безнадежно тоскливый социалистический, но и не безнадежно недоступный капиталистический. (Тогда все умные люди — все равно, порядочные или непорядочные, — сооружали свое будущее из расчета на несокрушимость и вечность советской власти.) Дочь действительно успела съездить не только на славянский симпозиум в Болгарию, что было проверкой низшего разряда, но и в Югославию, что было проверкой генеральной, по которой делалось заключение, может ли человек — в дальнейшем, когда-нибудь, в принципе — попасть за границу *настоящую*. Никаких нареканий за поведение «там» она не получила и в данный момент *оформлялась* ни больше ни меньше как в Италию. Одновременно она испытывала чувство, близкое к любви, к Б. Б. и была не прочь выйти за него замуж.

Найман, также знакомый с их семьей, говорил, что это для них Ленин придумал лозунг «Учиться, учиться и учиться!». Их бог был Академия наук, их образ жизни был членство в институте Академии наук, их досуг, и даже разврат, был книги, выпускаемые издательством Академии наук. Отец, мать и дочь думали об этом настолько одинаково, что, рассуждая на эту тему с гостями или просто в семейном кругу, могли заменять друг друга с середины любой фразы, и сумма мнений всех троих тютелька в тютельку равнялась мнению каждого. Родители отца и матери тоже были профессора-доценты, но, кажется, в областях более практических, вроде медицины или химии. Это давало право говорить об академическом миропорядке как извечном, изначально определенном, как — «и сотворил бог Академию Наук: Академию и Наук сотворил их». А это, согласитесь, давало уже и некоторые привилегии перед другими. Например, академическую поликлинику, академический продуктовый распределитель и право на дополнительную жилплощадь. Чтобы освободить время от житейских забот для интеллектуально-духовной деятельности — которая, если без экивоков, выражается на практике именно в академической.

Найман спорил: дескать, не спорю, но хотелось бы того же и для моей тещи, которую я очень люблю... — А... простите, в какой, так сказать, области ваша теща...? — А в области домашнего хозяйства... так что хотелось бы того же для нее, а также для старушек, сидящих на лавке у подъезда... Зооэнтомолог, улыбаясь улыбкой просвещенного барина, примирял при помощи юмора: «Ну, единственную хоть привилегию нам оставьте — гардероб для докторов наук в Ленинской библиотеке: не выстаивать же в очереди по часу». — «Гардероб беспрерывно, — подхватил Найман немедленно. — Я библиотек стараюсь избегать. Знаете: чтение — дело интимное. Да и библиотекари тебя ненавидят за то, что ты разрушаешь устроенный ими порядок. Но в аккурат вчера вынужден был, пошел в Ленинку. Очередь в гардероб — ваша правда — на час. А который для докторов наук — всего стоит пять человек. Ну, я дал вашему гардеробщику трешку, он меня без очереди повесил».

Б. Б. поехал к ним с благородной целью: дочь Наймана, еврейка, некомсомолка, верующая и без репетиторов, решила поступать на филфак в университет, а дочь зооэнтомолога была в приемной комиссии, и Б. Б. хотел узнать, как она может в этом случае помочь. Потому что, как говорил Найман, его дочь могут принять только из того немыслимого расчета, что если в Москву приедет, например, американский президент Рейган и



спросит: «А могли бы вы принять в университет еврейку, не-комсомолку, верующую, и без репетиторов?» — в ответ университет торжествующе бы ее и продемонстрировал. Отдельно Б. Б. хотел еще узнать, не возьмет ли дочь зощенковеда, когда поедет в Италию, небольшой пакет для его друга-хлебниковеда, несколько маленьких книжонок, собственно, даже брошюр-рок, нужных тому для диссертации, — но это во вторую очередь. Про поступление в университет дочь зощенковеда сказала, что, по ее понятиям, дочь Наймана завернут на стадии подачи документов, но если пропустят, можно будет что-то попробовать сделать, как-то похимичить.

Когда Б. Б. вышел с дачи, оказалось, что его «Жигули» заблокированы двумя «Волгами», и не успел он вникнуть в это обстоятельство, как сам оказался заблокирован командой ладных парней, отличавшихся от тех со щипчиками прямым, хотя и неуловимым, взглядом открытого, честного, хотя и жестяного, лица. То, что было дальше, описано более или менее последовательно в романе Наймана «Поэзия и неправда». Я не понимаю, а могу и сказать: понимаю, но не оправдываю, — зачем Найману понадобилось объединить мой арест с арестом Б. Б. и еще несколькими арестами: Славинского, Суперфина, Мейлаха, Азадовского. Меня арестовали через два года после Б. Б., и вовсе не так романтически, и просидел я на два года меньше его, а он действительно, когда его вели в Шереметьеве к самолету, пытался сесть в такси, чтобы убежать. И вообще, с первых же минут, отнюдь не борясь с режимом или за права человека и уж никак не будучи диссидентом, а только по все тому же невладению инструментом человеческих — в данном случае нечеловеческих — отношений, по атрофии душевных органов, адаптирующих душу к предлагаемым обстоятельствам, и как следствие по всецелому несоблюдению правил гэбэшной игры, Б. Б. задал им работу.

Начать с того, что, проведя обыски в квартире и на даче, а также по еще трем намеченным по результатам слежки адресам и наскоро тех, кто по этим адресам проживал, пугнув и испуганных допросив, КГБ получил материал не, как было запланировано, на месяцы, а на годы следствия и не на пять — десять лет срока для обвиняемого, а на хорошую сотню. И это только на первый взгляд, да и то глупца, могло показаться удачей, подвигом и доказательством того, что в Большом доме не даром хлеб едят, а было именно что провалом и доказательством худших, пусть и *клевветнических*, подозрений на «перерождение в раковую опухоль» некогда отборных чекистских тканей народного организма. Поимка такой большой рыбы вела ни в коем случае не к звездочкам на погонах и орденам, а к вопросу: «Где вы были, пока рыба росла и, выросши, жировала?» — заключающему в себе, увы, катастрофический и ответ.

Трое обысканных и допрошенных были: учительница французского, у которой Б. Б. брал уроки еще в отроческом возрасте, а сейчас прятал книги «Посева» и «ИМКА-Пресс», предназначенные на продажу; специалист по русскому авангарду, в частности публикатор и обэриутов, но и насчет купить-продать книжку, лубок, балалайку — не промах; и один из тех двух «злых мальчиков», учеников Фридриха, который не эмигрировал, а занялся сложным разменом квартир и, незадолго до того въехав в пятикомнатную на Петроградской, стал одну из комнат сдавать нуждающемуся в складе Б. Б. Учительнице было под восемьдесят, брат ее уже умер, и то ли после его смерти, то ли войдя в возраст она перестала бояться — соседней, разблагачения, ареста, жизни, всего. На большую часть вопросов следователя она отвечала грассированным *мэрд* и совершенно неожиданным *фак-ю*, по-видимому усвоенным от брата.

Авангардист, лет пятидесяти, воспитанный в лучших диссидентских традициях, поначалу вел себя, как гологрудая женщина Делакура на баррикадах, отвечал вызывающе или вызывающе молчал, готовый умереть. Но ему дали понять, что от его ареста — увы, вполне возможного из-за содей-

ствия арестованному Б. Б. — не так пострадает он лично, как отечественная наука, искусствоведение, публикации. Тогда он свою позицию в этом свете пересмотрел и рассказал про Б. Б., чего и тот уже не помнил, и сам он был уверен, что забыл.

Фридрихов ученик принадлежал к семье и до революции известной — в ту пору дворянским свободомыслием, и при советской власти — особым служивым глубокомыслеи: дед был поэтом-акмеистом, потом прозаиком-соцреалистом, отец — профессором политэкономии, а из семи детей трое пошли в писатели, один — в инструктора райкома партии по культуре, одна — в депутаты райсовета, одна — в художественные чтицы и один, а именно наш, — на телевидение, журналистом «на острые темы». Передачи его в эфир не выходили по причине, как он объяснял, *зажима*: их, как он объяснял, *клали на полку*. Если какую и не клали, то она неожиданно оказывалась такой верноподданнической, что нельзя было поверить глазам и ушам, и полегче становилось, только когда он объяснял, что он имел в виду, на что намекал, что под чем прятал и чем ради чего поступался. Но на допросе объяснял не он, а ему, в частности, что, вот, по линии квартирообмена не все в порядке: вот, старушку он сдал в приют для умственно отсталых, а обследование показало, что она ни в коей степени не ку-ку; и еще одну нашли мертвой во дворе через неделю после подписания нужной ему бумаги — это не говоря о многочисленных зафиксированных случаях подкупа или попыток подкупа им должностных лиц. И его арест бросил бы тень и на славное имя деда, лауреата Сталинских и Ленинских премий, и на всю известную в нашей стране семью, а тут и так скандал с тоже очень уважаемой семьей, отпрыск которой, ваш близкий друг, годами приносил нашей стране вред. И близкий друг *выявленного органами* Б. Б. (и преданный ученик его зятя) немедленно вывалил не только то, что знал, но и что угадывал: тайные его мысли, зреющие замыслы и психологические мотивы преступлений.

КГБ — что та группа, которая непосредственно вела дело, что ее начальство, что начальство начальства, воспринимавшее подводные вихри лишь в виде поднимающихся наверх колебаний, однако весьма чутко, — в первый же день решил весь богатейший доставшийся ему улов утопить, оставив в своем садке единственную, уже безвкусную, зато привычную бельдюгу: антисоветская пропаганда и агитация, статья семидесятая. Договорились они об этом как-то мгновенно, и не словами, а звуками почти утробными, и еще более гримасами, адекватно передающими эти звуки. Кухня развела огонь, под бельдюгу подвели сачок, стали перед тем, как вытащить, им поигрывать, но ощущая при этом легкое возбуждение, легкую взволнованность. Б. Б. внушал им бессознательное уважение: разворотом бизнеса, энергичностью, с какой его вел, бесстрашием, чтобы не сказать — безоглядностью, наконец, умом, образованностью, принадлежностью к недоступному им интеллектуальному слою жизни. Какая-никакая его и его отца заметность и как-никак скандал в столь благородном семействе пошли на обертку — достойную содержимого и безотносительно привлекательную.

Привезенный в тюрьму на Шпалерную и помещенный в камеру-одиночку, хотя и рассчитанную на двоих, Б. Б. испытывал помимо облегчения, известного всем, долго находившимся под слезкой, под давлением, то есть в изматывающем нервы *процессе*, — а теперь этот процесс пусть таким образом, но все-таки разрешился, — еще и чувство передышки, причем неизмеримо более масштабной, чем следовало из конкретного сюжета. Сюжет так или иначе двигался, Б. Б. в голову не приходило сбрасывать скорость движения: напротив, теперь, лишившись возможности распыляться, тратиться на множество побочных линий, он сконцентрировал на нем все силы. Но главное заключалось в том, что наконец-то он был сво-

боден от необходимости оглядываться на других и приноравливать свои реакции к общепринятым. Здесь общепринятыми были реакции и свойства столь же далекие от человеческих, что и его, — да нет, много дальше, чем его! Его — как соки желудком, работающим независимо от организма и потребляемой пищи, производились и поглощались в нерегулируемых и неконтролируемых количествах его *собственным*, то есть все-таки человеческим, эго, а их — *идеями*, да еще и не усвоенной, а заученной наизусть. Да и идея-то была — уничтожения: иначе говоря, если называть вещи своими словами, — *антиидея*.

Наконец он попал в силовое поле, законы которого в такой степени противоречили естественным, что самым — а лучше сказать: единственным — естественным предметом в нем оказался он. Например, справившись у следователя, как долго будет продолжаться следствие, и услышав: «От вас зависит», — он попросил доставить ему в камеру из ленинградской Публичной библиотеки, а по межбиблиотечному фонду из Ленинки и библиотеки иностранных языков книги по списку, общим счетом под сто, пишущую машинку, две пачки финской бумаги, пачку копирки, халат, теплые домашние тапки и теплый легкий плед. Ему отказали во всем, но через своих человечков пустили об этом на волю слух, и самые разные люди, начиная с того великого филолога и лингвиста, на чьем дне рождения он почувствовал разочарование в элите и обществе, рассказывали друг другу, что Б. Б. в синем шелковом халате с кистями и персидских шлепанцах с загнутыми носами коротает время за чтением Пруста в вольтеровском кресле, которое вместе с электрическим камином перевез из его кабинета на Шпалерную папин шофер.

То были декадентские дни КГБ. Кровь уже не щекотала ноздри, язык и слизистая рта потеряли вкус к мясному, конвейеры мясокомбинатов давно стояли, холодильники ГУЛАГа пустовали: три-четыре сотни политических, смешно. *Органы* объелись *сроками*, новеньких стали сбрасывать в бассейн к пираньям, вгрызавшимся в мозги и гениталии. Новеньких готовили к телевизионным и газетным раскаяниям, конечно не Бог весть как изысканно, но все же изощренней, чем сразу карцер, «столыпин», этап, барак. Карцер, «столыпин», этап, барак совались под нос как альтернатива телевизору: вот и думай. Вот и подумайте, уважаемый Б. Б., ступайте обратно в камеру и крепко подумайте. А тем временем через человечков запускался слух, что Б. Б. снимается в многосерийном фильме против диссидентов. А мы и не сомневались. А мы и всегда думали, что он — их, и вот тот мне прямо говорил, и вон этот, и, говорят, от самого Бродского многие слышали. Да вы сами посудите: столько лет открыто принимать иностранцев, неизвестно на какие деньги покупать «Жигули» и прочее и тому подобное — и чтобы не быть *их!* Так не стесняться в выражениях насчет режима при людях — это, по-вашему, не провокация? Не смешите меня.

Между тем следователь предложил Б. Б. выбрать «чистосердечное и публичное раскаяние» раз, другой — Б. Б. осведомился, каковы условия и гарантии, сказал, что взвесит, потом — что взвешивает. В общей сложности прошло уже два месяца, ему в камеру посадили паренька проверить настроения. Паренек зашептал, что он армянин, взят как валютчик, но материала для обвинения оказалось недостаточно, а скорее всего дали кому надо сколько надо, а еще скорее и то, и другое, и завтра его выпускают. Так что, если хочет, Б. Б. может передать с ним на волю письмо. Б. Б. глядел на него, разминая между пальцев оставшийся с обеда хлебный мякиш, и прикидывал, насколько ему, Б. Б., может стать хуже от такого письма, когда оно попадет к следователю. Так — семь и пять, и эдак — семь и пять, больше не дадут, а ничтожненькая вероятность, что письмо дойдет до матери, все-таки была — как с шофером, братом шофера, который во-

зил директора издательства, а всего-то полста червонцев, — и он согласился. Мелко-мелко исписал десяток блокнотных страничек: какую фразу мама должна сказать тому, какую передать этому, как ответить по телефону, если позвонят из Англии, из Штатов. Мать была единственной, кто знала о его делах столько, сколько ему нужно было, чтобы она знала: она мертвела от страха, когда он вводил ее в курс разных своих предприятий, но обожала его безгранично, еще с детства, когда он был так слаб и болен, а теперь остался у нее один, — и принимала все безоговорочно. И вообще, мать была у Б. Б. *единственной* — ни одного друга, ни одной возлюбленной. Время от времени он употреблял эти понятия, применял их к кому-то, но тоже только чтобы походить на других, тех, у кого друзья и возлюбленные были... Он отдал письмо *наседке*, тот отнес его *куму*.

С этого времени следствие покатилося рутинно, бесконечно, с нарабатанными и уже не работающими приемами, с ночными допросами и неделями без допросов, с карцерами и конфискацией передач из дому. Б. Б. воспринимал это как новые условия жизни, увы, крайне неприятные, однако отнюдь не его прежней жизнью вызванные, — или, если угодно, как условия новой игры, тупой и заведомо проигрышной, но требующей его участия. На допросах он отрицал вещи явные, но юридически недоказуемые, например, что присылаемых ему с Запада книг не читал, не давал и не продавал, а держал для растопки печей на даче. С тюремной пищей обращался очень лично, дифференцированно и деликатно: что нужно приводил в состоянии хемуса, что не нужно, не переваривая извергал, грубой — закалял сосочки пищеварительного тракта, нежной — обволакивал и смазывал его ткани. Восточной гимнастике отдавал теперь гораздо больше времени, гораздо дольше и чаще стоял на голове, и когда однажды в такой момент вошел дежурный по этажу офицер и рявкнул «встать!», он ответил не повышая голоса: «Я стою», — и потом объяснил объявившему карцер старшему офицеру, что в тюремном уставе не сказано, каким именно вставанием надо встречать посещающее камеру начальство.

Когда следователи пробовали пугнуть его разоблачением грандиозных, тянущих пожалуй что и на расстрел, спекуляций, он вину, естественно, отрицал, и можно было бы сказать: «как вся эта публика», — если бы он не отрицал так нагло. Быстро сообразив, что на суд они это не выволокут, говорил о предмете безбоязненно и вчистую отвергал юридическую правомерность относить к его деятельности само понятие вины. Да, торговля, не спекуляция, а торговля, потому что торговля это и есть купить шелк в Китае дешевле, чтобы продать в Италии дороже, и получаемая на этом прибыль более чем заслужена преодолением Великого Шелкового пути, полного тягот и смертельной опасности. Но вы нарушали монополию Министерства внешней торго... Министерство имеет монополию на продажу *товара*, а «Взорваль» и «Фантастический кабачок», вынутые мной из предназначенной на сожжение кучи в книжном складе в Тбилиси, являться таковым никак не могут.

То, что Б. Б. думал о человечестве как о собрании содействующих или противодействующих его намерениям предметов, таких, например, как альпеншток, на который удобно опираться, взбираясь в гору, но зато неудобно везти в поезде и автобусе до подножия горы, он распространил на людей из КГБ, наконец-то без оглядок и оговорок. За стенами Большого дома человек-альпеншток имел затруднительную для Б. Б. склонность не подходить по росту, по весу, по крепости, мог, скользя на ровном месте, и в лоб влечь. Да мог и привлечь интерес — резбой ручки, необычной конструкцией. Да и не альпеншток он только был, а и луг, скала, ущелье, вершина, древко флага, на нее водружаемого, и пейзаж, с нее и по мере восхождения открывающийся. Здесь же его окружал набор городошных бит, предназначенных вышибать с одного-двух ударов «ваньку-в-

окошке». Здесь мера человеческих свойств — энергичности, сочувствия, презрительности, настойчивости, всех — была не нужна: неприменительны были сами свойства. Он и обращался с этим народом, как с битами.

И проверенная десятилетиями — а расширительно понимаемая, так и веками — кагэбэшная экзистенция, несокрушимо бесчеловечная, стала разбиваться о его несокрушимую бескачественность. Команда, работавшая с ним, очень скоро впала в разочарование и как следствие — в обычную свою неприязнь и грубость. По-канцелярски тупо, без интереса сляпано было дело и передано в суд: для всего этого не требовался Б. Б. с его нестандартным и для них недостижимо сложным миром, редкими знаниями и острым интеллектом — сошел бы и любой другой.

Но мало того, что он сделался образцом человеческого в пространстве бесчеловечного, его арест постепенно и ни из чего не следуя — так что даже не хотелось верить тому, что сперва только стало казаться, а потом понемногу уже лезть в глаза, — переменял освещенность пространства, в котором продолжал находиться круг людей, оставшийся без него, — все мы, если сказать честнее. Как черное и белое на недодержанном стеклянном диапозитиве под определенным углом падения света вдруг меняется местами, весь прежний порядок и содержание отношений, равно как и наполнение отдельных фигур и позиций, перешли в негатив. Да добро бы в четкий, насыщенный, черно-белый, а то тоже в недодержанный, желтовато-серый. Уже вызывали по пять человек в день свидетелей, и по манере и направленности допроса невооруженным глазом было видно, куда дело клонится. Но что вызванные, что ожидающие вызова продолжали обсуждать халат, тапочки и пишущую машинку — обсуждать, естественно, с неодобрением, фыркая, продолжая намекать на сотрудничество с *органами* и тем самым давая понять, как это неприемлемо для них, как непоколебимо твердо вели бы себя они.

По всему он был один из них — хорошо, опять поправлюсь: из нас, — по принадлежности к кругу академическому и кругу компанейскому, по образованности, знаниям, успеху, перспективам, по библиотеке и гардеробу, по благополучию, по квартире, даче, автомобилю, по степени самоуверждения. Если бы он был, как Гарик Суперфин, — из бедной семьи, из коммуналки, с университетской, а то и школьной поры стоявший под углом к общему течению, выпавший из либерально-интеллектуального истеблишмента, — пожалуйста... нет, все-таки не пожалуйста, а: так и быть, иди в диссиденты. Но Б. Б. не имел никакого права так себя вести, чтобы быть арестованным, — вот что всем хотелось сказать. Это было не его личное дело, он был кирпичом в общей постройке, и теперь в ней зияла дыра не только уродовавшая архитектуру, но и поселявшая сомнение насчет качества всех кирпичей. Тень ложилась на весь академический круг, на всю компанию, на все достижения, и библиотеки, и квартиры.

В самом конце лета под окнами наймановской латвийской дачи появился один из главных кярикцев (книжки «Семиотикэ» помните? эстонское-то *сѣцѣшѣткѣ*, семинары-то те?). Он волок за руль велосипед, к багажнику была приторочена корзинка, закрытая на случай дождя полиэтиленом. Он был возбужден, Найман увел его на пляж: в доме хворали дети и шли предотъездные сборы. В корзинке находилось письмо от другого кярикца, не менее главного, который месяц назад эмигрировал в Израиль. Час назад письмо побывало на просмотре у *самого* главного, который отдыхал на курорте километрах в двадцати отсюда — для членов ордена это был не крюк. Сняли полиэтилен, вынули наплечную кожаную сумку, из нее пластиковую, из нее полотенце, развернули, там лежал конверт. Уехавший писал, что килограмм апельсинов стоит столько-то лир и столько-то агарот, килограмм мяса — столько-то, квартира — столько-то... Автобус по городу, автобус в другой город... Кинза... Джинсовый костюм...

Яблоки, персики, гранаты... Лук, картофель, перец, лук сладкий, чеснок, морковь, огурцы, редька... Лир, агарот, столько-то лир, столько-то агарот... Письмо как письмо, нормальное, содержательное, мог написать и не структуралист. Найман вспомнил, что у него в огороде за одну неделю перезрела редиска, стала деревянной. И салат — весь ушел в стебель. И вообще, ни разу в жизни не получилось у него хорошего огорода... «Зарплата в университете пока полторы тысячи лир, но обещают заведование кафедрой», — прочитал гость. «А агарот сколько? — спросил Найман серьезно. — То есть я хотел спросить, сколько в лире агарот».

Вот это вот и повредил, и испортил им, им-нам, Б. Б.: интересную насыщенную жизнь, сложившуюся и способную перемениться, с переездами, с новыми условиями, с зарплатой, валютой. О, бесспорно, жизнь была несовершенна, а время от времени и просто нехороша, тяжела, горька, но тяжестью посильной и даже укрепляющей мышцы, горечью миндаля в именинном торте. Недовольство обстоятельствами, уровнем, режимом лишний раз утверждало, что жить надо хорошо, лучше, еще лучше, делать небесчестную карьеру, эмигрировать, если здесь не идет, завоевывать место, имя — и... и, стало быть, умирать хорошо — а как?.. ну, достойно, после юбилея, глядя на полки книг, среди которых корешки и твоих, при враче, считающем пульс. А получалось, что, возможно, и как Б. Б. — в лагере. Того хуже: по самой логике выходило, что в лагере-то и достойнее, что *умирать* в лагере лучше. Опять Б. Б. лез в душу, опять заставлял собой заниматься, на этот раз отобрав само право выбора: заниматься или нет, — а: пришла зима, надевай, волк, шубу. Волк, понимаете? Это про нас-то: про меня, про творческую интеллигенцию, про любую светлую личность.

И еще сильнее его невзлюбили, уже с какой-то страстью, чуть ли не с яростью. А тут как раз следователь, допрашивавший по пятерке в день, умный, начитанный, с мужественной внешностью, с ухоженными руками, каждому задавал вопрос: как вы лично к нему относитесь? И пошло: с неприязнью; неприязненно; никогда не любил; всегда чуждался; едва терпел. Зооенковед, тот явился на допрос со своим отзывом на диссертацию Б. Б. и зачитал абзац о «недостатке определенности в этической позиции диссертанта относительно эстетической позиции обэриутов», попросил включить эти слова в протокол и, просматривая его перед тем, как подписать, подчеркнул их волнистой чертой, а на полях вставил: «курсив наш». И понятно, после таких признаний, искренних и объективных, в особенности же потому, что людям уважаемым и с обостренным чувством собственного достоинства пришлось демонстрировать свою искренность и объективность перед пусть высокопрофессиональным и непредвзятым и явно *интеллигентным*, но следователем *кагэбэ*, они Б. Б., если говорить как на духу, в той или другой степени, в общем, возненавидели.

Под конец следствия ему все это дали прочесть. Только четверо, сказал он мне через несколько лет, отозвались с симпатией: вы, Алла, Найман и еще один человек. Я, помнится, гнул линию князя Ливена, который, спрошенный царем о поведении арестованного Полежаева, отвечал — при том, что услышал его имя впервые: «Превосходнейшего». В характеристике, которую дала Алла, было слово «благородство». До суда его оставили в покое, и за этот месяц он написал несколько, если пользоваться его собственными словами, «этюдов в стихах и прозе». Когда он вернулся из лагеря, ему эти листочки вернули: стихи были *холодные, почти ледяные*, однако про чувство, понимаемое им как любовь, и потому сладковатые, — все вместе наводило на мысль об эскимо. Над каждым стояло посвящение «А.» А вот того же градуса проза оказалась точной, легкой и острой, как только что выпавший, с ясно различаемыми снежинками снег. И особенно трогал этюд вполне академический, о куртуазном льстеце.

То есть, по сути, антикуртуазном, затрудняющем, а то и разрушающем любовь. Само слово «льстец» в романо-германском лексиконе располага-

лось между «хвалителем» и «лжецом». Так сказать, хвала — лгала. Одно из юридических значений «хвалы» было «плата за согласие сеньера на отчуждение ленного владения». Владелец соглашался на потерю собственности, и за это его «хвалили». Следующей ступенью лицемерия была лесть — которая почти не скрывала, что она формальность. Лесть перетекала в ложь, ложь — в прямую клевету. Ложь содержалась в лести, и обе — в хвале, как-то самая оказывалась клеветой. Лыстец преследовал не правду, а ее видимость — сплетню. Его предназначение — низвести совершенную любовь на уровень чувственной, отравить высшую незаинтересованность возлюбленного ревностью, уничтожить любовную тайну доносом. Когда я и Дама поцеловались, пишет Арнаут Даниэль, она заслонила нас своим синим плащом, так что лыстец не видел нас и не мог своим источающим желчь языком донести на нас. Клеветник держит влюбленных в напряжении, отдаляет куртуазную любовь от осуществления и, стало быть, работает на любовь. Как рыба не живет без воды, нет любви без клеветников, вдохновлял любовников Пейре Видаль. Хвала клевете (hvala hlevete), вознесите доносчика, lauzar lauzengier!.. Этюд также был посвящен А.

Арнаут Даниэль и Пейре Видаль продолжали находиться на территории Миши Мейлаха, он один там пахал и снимал урожай и отлавливал нарушителей, но теперь Б. Б. было на это наплевать. Не круг людей и не какая-то корпорация, но все человечество вытолкнуло его из себя, выжало, и, как он теперь понимал, не потому только, что так ему было выше на роду написано, а потому, что это оно, исходя из своих обычаев и законов, определило его как выродка. Что ж, поживем отдельно: вы — со своими провансальскими трубадурами, скажем, Мейлаховыми, я — с ними же, но своими. И вообще, прощайте — уйду на ту сторону фотографической пластинки: там, где вы — позитив, я — негатив, но если я еще где-то позитив, то негатив — вы.

И вот его привели в зал суда и в первый день нагнали туда пэтэушников совместно с ветеранами, чтобы противостояли провокациям, буде таковые учинят его дружки, и вход был по пропускам, чтобы иностранные корреспонденты не проникли. Но *никто* не пришел, то есть буквально ни один знакомый, ни один корреспондент, только мать, отец и Феня. Я, видите ли, слег с гриппом в постель, Найману подошел срок сдавать перевод «Семи мудрецов», у Аллы была в Баку конференция. Так что на завтра освободили уже и «публику», и дело слушалось в самой маленькой комнате, да и та выглядела пустой. Число свидетелей свели до минимума: авангардист, к этому времени прошедший весь путь от угрызений совести до крайней враждебности к Б. Б., из-за которого само текстологическое изучение обэриутов оказалось под угрозой запрета; Фридрихов ученик благородной фамилии, которому предложили место собкора ленинградского телевидения в Болгарии, и он днями должен был туда отправиться; и никому не известный коротко стриженный эстонец. Эстонец сообщил, что год назад в Таллине, на улице, около него остановился в машине Б. Б. и спросил, не может ли тот помочь ему с ночлегом, потому что в гостиницах мест нет, и тот устроил его у себя, а наутро Б. Б., уезжая, записал его телефон и оставил свой ленинградский с приглашением заезжать, каковым он не воспользовался, поскольку вскоре был арестован и приговорен к трем годам лагерей. Как гомосексуалист. Прокурор на это сказал: «У меня вопросов нет», — а когда адвокат спросил, какое отношение этот свидетель имеет к делу, эстонец ответил: «Никакого», — но с сарказмом, означавшим: «А вы как думаете?» Всех троих вызвало обвинение, свидетелей защиты попросту не нашлось.

А что, собственно, можно было сказать в защиту Б. Б.? Получал он запрещенные книги, прятал, продавал или хотя бы давал читать? Да, да и да. И на слушание являться, пусть только ради «моральной» поддержки Б. Б.,



даже если бы и не было у меня температуры, а у Наймана дел в издательстве, — с какой, вообще говоря, стати? Наш приход в суд демонстрировал бы — и суду, и Б. Б. — близость между нами, которой не существовало. Не вовсе безразличный, разумеется, человек, но и никак не друг, не свой. Правду сказать, чужой.

Ему дали ожидавшиеся семь и пять: семь лет лагерей и пять последующей ссылки. И уплыл: Пермская область, Чусовской район. Что называется: исчез с горизонта. Ну что ж, бывает. И руку на сердце положи, вот уж действительно сам виноват. Целиком сам, и все ему об этом говорили, так что никто себя и упрекнуть не может. А только все равно как-то стало — и все, кто его знал и не любил, больше или меньше это ощущали, и чем дальше, тем больше, — неудобно. Всем он всю жизнь не нравился, раздражал, возмущал, все, кто знал, живо не любили его... А чего, собственно, было так не любить, чем возмущаться-то? Ну, умер человек, и не освобождение же от его эгоизма, и непрошенных телефонных звонков, и назойливых просьб, и поедания травы с оливковым маслом мы получили, а все-таки утрату, утрату. Ну, не позвонит он больше, когда ты хочешь книжку читать или болтать с кем-то другим, не попросит тебя купить и захватить с собой из Москвы в Ленинград пять пачек геркулеса, не зажует среди ночи под окном свой салат — и что, лучше тебе, спокойнее, интереснее, веселей? Лучше тебе, что отныне вокруг только те, у которых реакции адекватные реальности и свойства соразмерные твоим? Он любить не умел, просто не знал, что такое любовь, но зато не знал и что такое нелюбовь, а теперь оставайся-ка в пространстве «минус Б. Б.», подыши-ка любовью, которая, по сути-то, всего лишь не нелюбовь, не-нелюбовь и больше ничего. А может, и все остальные свойства и качества, человеческие, хваленые, — не-неумужество, не-нечедность, небездарность.

К тому же он не умер, и сожаления по поводу утраты еще можно было ему выразить, а не выражая, только чувствовать себя еще неудобней. Я взял у матери адрес и стал ему писать, первого и пятнадцатого каждого месяца, и Найман стал писать, пятого и двадцатого, и с номер десять моего и номер двенадцать Наймана наши письма до него стали доходить. Он начал отвечать нам в письмах матери, она мне звонила, я зезжал и получал, что касалось нас, уже перепечатанным ею на машинке. Теперь она занималась только им: посылки раз в два месяца, которые возвращались, потому что по правилам было раз в полгода, но она все равно посылала; каждые пять дней письмо; адвокат, апелляция, поручения от него, которые ей удавалось вычитать между строк. А еще раз в десять дней она писала Нике, от которой тем временем ушел Фридрих и которая тоже кому-то писала насчет Б. Б., звонила, сбивала комитет в его защиту.

Однажды в феврале мать Б. Б. мне позвонила сказать, что попала в больницу, сердечная недостаточность, и что очередное письмо от Б. Б. я могу прочесть у отца. Я пришел на Фонтанку, и вдруг, в первый раз, квартира показалась мне словно бы ободранной. Не только потому, что потолки немного потемнели, и стекла пора было помыть, и картина с затонувшей лодкой вылезла сверху из рамы, да и пол хорошо бы подмести (и тут я узнал, что и Феня в больнице, воспаление легких), а потому, что пахло жареной рыбой, батареи едва грели, и когда я вслед за отцом вошел в гостиную, там сидела за столом перед пишущей машинкой женщина, ни молодая ни пожилая, ни хорошенькая ни уродливая, худая, с улыбочкой на тонких губах, и как ее волосы произвольно ассоциировались с шампунем, а белый свитер со стиральным порошком, так и вся она — с побелкой и ремонтом, которые довели бы ее до женской кондиции. Отец, так же, как она, улыбаясь, представил ее «моя секретарша и помощница». Она застучала на машинке — как оказалось, оканчивая для меня перепечатку нашей с Найманом порции письма Б. Б.

Потом мы выпили чаю с печеньем. Отец был в игривом настроении, любезничал с ней, вовлекал в болтовню меня. Вдвоем они вышли в прихожую проводить меня, и тут, когда мы уже попрощались и я произнес проходное: «Дайте мне знать, если будут какие-то новости», — он сказал: «Я могу вам дать знать уже сейчас. Мы с женой умрем, квартиру и дачу заберет государство, а он, если выйдет живым, отправится в возрасте пятидесяти двух-тридцати лет к сестре, которая сейчас живет с малолетним сыном на пособие по бедности». И вдруг добавил: «Вы думаете, я советский монстр, пес, у меня нет души и я проклиная моего сына за крах собственной жизни. И вы совершенно правы: я тот самый монстр и пес, и я ему того, что он со мной сделал, не прошу. И того, как он меня трактовал и со мной обращался, тоже. Того, что по всей квартире и по всей даче он оставлял на полу недопитые чашки с водой, которую он, видите ли, должен был постоянно хлебать для здоровья, и я на них наступал, опрокидывал, разбивал... Но душа у меня, представьте себе, есть, и я готов поступиться всем, всеми оставшимися желаниями и амбициями, всем оставшимся во мне достоинством, только бы он сейчас хлюпал здесь водой и ставил чашки куда попало». Он круто развернулся и, семеня ногами, стремительно ушел в глубь квартиры.

Уже в том письме, в котором Б. Б. впервые подтверждал получение наших с Найманом писем, он передал нам привет «от племянника Б. Б.». Легкость, с которой мы разрешили путаницу первого плана, привела к невнимательности, которая породила путаницу второго. Б. Б., кроме него самого, была еще Берта Борисовна, мать моего и многих других друга Полякова, ленинградская светская львица 30 — 40-х годов, в наше время ежевечерне садившаяся на час-другой к роскошному трюмо, чтобы, как она каждый раз приговаривала, «привести себя в порядок» — перед игрой в карты, назначавшейся то у одних, то у других знаменитых стариков и старух. Она зарабатывала, и неплохо, изготовлением абажуров из вошеной бумаги, и несколько раз мы с Поляковым в полночь бежали по Невскому на Московский вокзал с ее метровым или полутораметровым в диаметре, похожим на гигантский не то тюрбан, не то корону абажуром, чтобы успеть к «Красной стреле», где его ждал столичный заказчик. У Полякова был племянник лет шестнадцати, к нам, старшим, тянувшийся, и Поляков использовал его для разных мелких услуг, в частности старался на него переложить доставку абажуров. Естественно, он нам с Найманом и запомнился как «племянник», мы решили, что и его *повязали* — почему-то сошлись на том, что по валютной линии: была в нем такая предприимчивость, — и передали привет обратно, сострадательный и нежный. Но племянник был Берты, Лев, — это выяснилось позже, когда по «Свободе» передавали имена политзаключенных. Тот самый, в доме которого впоследствии, под холодную водку и малосоленного лосося, экономист желал отправить меня в платоновскую ссылку для поэтов.

В том, что перепечатала для меня «секретарша и помощница», Б. Б. писал, что просит прощения у Славинского, — чтобы я ему передал... Славинский эмигрировал в Англию и, когда уезжал, оставил свою переписку у первой жены, а Б. Б. насаждал на него, чтобы он отдал ему, потому, дескать, что он, Б. Б., — историограф нашего поколения. Насаждал, как всегда, без удержу, канюча и требуя даже тогда, когда из соображений тактики умнее было бы сделать перерыв. Наконец Славинский, к тому времени уже обогащенный опытом и характерной выразительностью *зоны*, послал его на три, четыре и пять букв, в чем потом раскаивался. Теперь Б. Б. писал, что понял, что был не прав; что как хорошо, что Славинский на его «просьбу» не согласился; и что вообще оттуда, где он находится, невозможно придать значение, сколько-нибудь сопоставимое с тем, которое придается там, откуда он изъят, ни литературе, ни истории, ни тем более

поколению. Что они разговаривали об этом с «племянником», и оба пришли к убеждению, что есть зона *воли* и зона *зоны* и зона *того света* и, как сказал Авраам богачу, «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Более того, «племянник» уверен, что побывавший в зоне *зоны* получает тайное знание о тех, кому предстоит там побывать, точно так же, как умерший знает, кому предстоит попасть в его зону *того света*. И, в таком случае, Славинский поступил совершенно правильно, не отдав переписки ему, Б. Б., поскольку увидел на нем знак приближающейся посадки.

Я позвонил Найману в Москву, сказал, что мать Б. Б. в больнице и Феня, он сказал, что приедет. Мать лежала в академической, это на Выборгской, но ближе к окраине города. Пока туда ехали, Найман рассказал, как однажды Б. Б. попросил проводить его на аэродром. В очередном путешествии по Азии он подхватил желтуху, попал в больницу, и полгода после выписки ему запрещено было поднимать тяжести. Он летел домой через Москву и, несмотря на слабость, диету и полупостельный режим, не мог просто пересест с ташкентского самолета на ленинградский, а сделал на несколько дней остановку, чтобы подтолкнуть уже запущенные издательские дела, устроить новые, повидать Харджиева и двух-трех старушек, а также, по-видимому, еще кого-то, о ком Найману не сообщал. Ко времени, к которому он условился по пути на аэродром заехать за Найманом, он опоздал, Найман глядел на него как кобра, на Ленинградке они попали в пробку, и когда приехали в Шереметьево, самолет уже выруливал на взлет. Б. Б. показал справку из больницы и попросил задержать рейс, пока он не сядет. Он говорил тихим голосом и спокойным тоном человека, предлагающего дать ему место подальше от окна, чтобы не дуло. Очередным магическим образом это подействовало на контролершу, она связалась с пилотом, самолет остановился. К самолету поехал трап, к Б. Б. — автобус. Контролерша велела открыть чемоданы — это было время первых угонов. Найман поволок чемоданы на стол, Б. Б. откинул крышку первого и, хмыкнув, проговорил — не то Найману, не то себе под нос: «Пикантно». Контролерша запустила руки под лежавшее сверху белье и рубашки и вытащила из-под них горсть камней. И пистолет. Б. Б. до такой степени не обратил на него внимания, его лицо так убедительно выражало, что ничего, на что следовало бы обратить внимание, не происходит, что контролерша, видимо, решила, что ей померещилось, и со словами «достаточно, закрывайте» опустила все обратно в чемодан. Б. Б. застегнул молнию, проворчал Найману: «Не настоящий, стартовый; на всякий случай», — и тот потащил чемоданы в автобус. Б. Б. улетел. Найману пришло в голову, что Б. Б. со своим пистолетом заставит пилота посадить самолет в Рощине, вблизи от дачи.

«И что? — кончил Найман рассказ. — И кто теперь возит с собой пугач «на всякий случай»? Возят тезисы докладов в двух экземплярах. Кто ездит в Азию? Ездят на конференцию в Резекне Резекненского уезда. Тоска! И чем я таким замечательным был занят, чтобы так стервенеть на Б. Б. за то, что он меня отвлекает, да еще заставляет таскать его тяжеленные камни? И сейчас — что я такое замечательное делаю вместо того, чтобы их таскать? Тоска, тоска. И ты видишь, его нет — и на него меньше человечество нами, нашими стишками и мыслишками интересуется. А «на него меньше» — это не на количество счет, а на существо. Так интересно, как ему, — так вещественно и житейски, обиходно, привычно — никому мы не интересны. И точно: нет его, и вся наша литература, история, поколение — не то чтобы их совсем нет, но ведь, согласись, подвляли, приуныли. И на кой мне переписка Славинского! Сентиментальный мусор. У Б. Б. не было собственных свойств, но потому не было и сентиментальности. Сен-

тиментальность — камуфляж бесчеловечности. Он этим не занимался, и при нем мы все были милые, а он при нас — чудовище. А теперь мы — видел публикации этого самого диссидента-то, обэриутоведа, честнейшего малого-то, который все, что Б. Б. собрано и написано, просто перепечатал под своим именем, а о нем ни звука — потому что «оттуда к нам не переходят», — видел? — вот это мы без него и есть. А если мысль до конца доводить, то мы без него вообще-то где? Те мы, которые при нем были такие симпатичные. А? Без Б. Б. я имею в виду. Без бебе — бобо, без биби — бубу. Я имею в виду его машину — и этот автобус для перевозки божьих тварей, в котором мы сейчас трясемся. Без бебе мы — идыр, ипыр, ипроч, ипроч, ихыр, имыр, иму».

Больница отдавала египетской архитектурой. Не теми усеченными призмами и конусами, которые восторжествовали на Западе начиная с 70-х, у нас с 90-х, а глухотой доморощенных геометрических форм, не дотягивающих до завершенности геометрических фигур, тяжестью стен, никак не переходящих в плоскость, углами, под которыми они пересекались между собой, и с ними пересекались многоярусные крыши, гирляндами окошек, выглядевшими ненужным нарушением стиля этих недопирамид. Едва ли здесь можно было выздоравливать, но и умирать — едва ли. У матери Б. Б. была отдельная палата, она встретила нас полулежа на постели, однако аккуратно причисанная и сразу заговорила: «Когда меня сюда увозили, я сказала мужу про чашки. Ну и что, что чашки стояли на полу и везде. Что, тебе лучше сейчас, что они в буфете?.. А вы слышали, та датчанка, бывшая невеста, она мне пишет, она организовала комитет в его защиту, и ни одного к нему упрека... А помните, как вы оба приезжали к нам, когда Мироша Павлов ухаживал за Никой? — Она улыбнулась, но буквально на миг. — Я вообще не понимаю, может быть, вы мне объясните, ну почему судьба обоих моих детей сложилась настолько против ожиданий. Скажите честно, вы могли когда-нибудь предположить, что Ника будет жить на пособие по бедности на другом конце земли, а он — в концентрационном лагере в Сибири? Разве *это* было написано у них на роду? Мама Мироши Павлова — декан, борец за мир, и сам он — физик-атомщик. Отец Паши — конференсье, мама — балетная, и сам он священнослужитель. Да кого ни возьми. — Она запнулась. — Ну, вы, так сказать... поэты. Так ведь это же не противоестественно, что у инженера может быть сын поэт. Но откуда может взяться в благополучнейшей профессорской семье дочь — бездомная нищая, а сын — арестант!»

Найман взял ее за руку. «Пожалуй что потому, — сказал он, — что они хотели быть не физиком-атомщиком и не батюшкой. Она хотела быть Никой, он... — Найман замаялся, как она только что, но, справившись, произнес честно: — Б. Б. Особенно он, который был не в ладах с человеческими свойствами и потому не мог быть как другие, а только Б. Б. И в этом смысле — уж поверьте, я не жонглирую сейчас понятиями и уж никак не занимаюсь ободрением — оба они, как это для вас ни неприемлемо и ни больно, пожалуй что поэты. Не в нынешнем духе, а в духе Вийона, нищего и каторжника, хотя...» — «Ну, это через край, — перебила она, и на этот раз ее улыбка была искусственно вежливой. — Звучит как чересчур поучительная мораль в конце слишком жестокой басни». — «И сентиментально, — прибавил я, — чересчур, чересчур». — «...хотя, — Найман поцеловал ее в щеку и закончил прерванную фразу: — матери Вийона не легче, оттого что сын поэт». (По мне, приторно — но, может быть, потому, что я так не умею.)

От нее мы поехали в Куйбышевскую, к Фене. «Все-таки приторно», — сказал я. «А я иначе не умею, — отозвался он. — Ничего, ничего, вот посадят меня, будешь вспоминать: ах, как замечательно он тогда говорил, как замечательно сентиментально, как замечательно приторно!» Феня ле-

жала в коридоре, у нее был жар. «Вроде помираю, — сказала она, — а может, еще и нет. Это уж как в книге у шишиги написано. Может, Паша-то, поп ваш, придет проведать, а? А чего про других ваших слышать? Илья, половина зверья, значит, отошел, царство ему небесное. А Мироша, жених наш, к кому сейчас женихается? А Ося чего, все кричит? — Тут она понизила голос: — А чего Алка? Замужем или как была? Ой, как она его шпыняла, что молоко разливал. А мне подтереть было — полсекунды. И рубашку ему, Феня, не зашивайте. А чего мне еще-то делать? Вы мне скажите, какое у вас чувство, выпустят его живым или нет?» — «Должны», — сказал Найман. «И чего с ним тогда будет — без папаши-мамаши, без меня?» — «Это все в книге у шишиги». Она помолчала, потом засмеялась беззубым ртом: «Вы пойдите-ка вон в конец коридора к окну, прочтите, что там написано».

Окно выходило на двор, заваленный всякой дрянью, жестяными кожухами, ржавыми ваннами. От следующего двора его отделял серый дощатый забор с черными потеками от морозящего дождя. Поперек забора синей краской буквами вкривь и вкось было написано: «Красотуля, с добрым утром!» Для кого-то, кто лежал в больнице и вышел или еще продолжает лежать.



---

---

ЭЛЬМИРА КОТЛЯР

\*

## АНГЕЛ ЦИРКОВОЙ

### Цирк

Как я мечтала стать клоунессой —  
цирковой принцессой!  
Когда я видела клоуна на арене,  
мне казалось, он пишет стихотворенье!

\* \*  
\*

Попробовать бы  
выйти на манеж  
и закатить такую клоунаду,  
такую запустить тираду,  
чтоб дыбом волосы,  
чтоб зрители опешили,  
что вот как ублажили их  
и распотешили!..  
Чтобы манеж —  
мятеж!  
Ковер —  
костер!

\* \*  
\*

Помните старого клоуна?  
Голос его изломанный?  
Знакомы вы с неудачником?  
Красный нос набалдашником?  
Как грубо  
размалеваны губы.  
Рыжий парик на нем  
горит огнем.  
Глаза из-под парика —  
два уголька!  
Хочет,  
плачет,  
чудачит!..

\* \*  
\*

Я люблю тебя,  
Петрушка народный —  
рыжий шут благородный!  
Люблю твой трагический  
треугольный излом бровей...  
Пой, играй, цирковой Орфей!

### Леонид Енгибаров

#### 1

Когда он выходил со скрипкой  
среди полной тишины,  
все глаза были на него устремлены.  
А он, в скрипке души не чая,  
играл, играл, играл,  
ничего вокруг не замечая.  
Казалось,  
рука гения скрипки касалась!  
И хотя у скрипки не было струн  
и из нее нельзя было  
ни звука извлечь,  
каждому в зале была слышна  
его музыки речь!

#### 2

Гамлетом цирка  
был для меня Леонид Енгибаров.  
Смерть его была для меня ударом.  
Я видела его в последний раз,  
когда он вышел из цирка поспешно,  
быстрыми шагами,  
как будто земля горела  
у него под ногами!..

#### 3

Пусто, пусто на арене без тебя!  
Там теперь шуты другие  
по арене мельтешат,  
не печалят, не смешат!

### Цирковой оркестр

В цирке и скрипачи —  
циркачи!  
Цирковые даже ноты,  
и тромбоны, и фаготы.  
Каждый звук —  
трюк!



\* \*  
\*

Отчаянный ангел цирковой,  
летающий из-под купола  
вниз головой,  
улыбаясь стоит на земле. —  
Звезды на белом крыле!

### Наездница

Наездница!  
Из детства возникла наяву.  
Это я на белой лошади  
счастливая плыву!

\* \*  
\*

И стала я приходить за кулисы,  
запоминать имена и лица...  
Я смотрела не дыша  
на Румянцева-Карандаша,  
когда он, не загримированный,  
но уже в парике,  
с толщинкою на животе,  
уютный, как птица в гнезде,  
сидит в комнате  
у инспектора-режиссера  
и ведет цирковые разговоры.  
И голос у него  
не пискливый, как на арене,  
а старомосковское говоренье!

### Репетиция в цирке

Акробатика —  
грамматика!  
Всяк —  
флик-фляк!  
Кульбит —  
долбит.  
Шпагат —  
шагать!  
Арабеск —  
блеск!  
Вольтиж —  
летишь!  
Арабское колесо —  
хорошо!

\* \*  
\*

Мне бы только раз  
на арене перекувыркнуться  
и на место в публику  
вернуться!

\* \*  
\*

Я видела клоуна  
Юрия Никулина  
и на то внимание обратила,  
что он похож на взрослого  
лупоглазого, длинноносого Буратино!

#### Воздушная гимнастка

Она говорила,  
что, когда работает наверху  
под куполом,  
за себя не боится.  
Чувствует себя свободно,  
как птица!  
Но когда выходит из дома,  
мысль, что может уже не вернуться,  
ей знакома.

#### Канатоходец

Видела вблизи  
Владимира Волжанского,  
канатоходца, ныне покойного,  
а тогда молодежавого и стройного.  
Мне кажется, всегда,  
в артистической, у зеркала, в халате,  
он думал о канате,  
на который вечером  
в нарядном костюме должен ступить —  
бессмертие купить!

\* \*  
\*

Говорят, в цирке  
распущенные нравы.  
Может быть, люди и правы.  
А я увидела тут  
любимый,  
но каторжный труд!

\* \*  
\*

Многие не любят цирка.  
Но разве мало в жизни  
хождения по канату и кувырка?  
Разве улыбка клоуна  
не так же, как жизнь, изломана?



---

---

ЯН ГОЛЬЦМАН

\*

## ОСТРОВOK УЦЕЛЕВШЕГО БОРА

Рассказы

### ПО МАНДЕРЕ, ПО МАНДЕРЕ...<sup>1</sup>

Валерию Герасимову.

**И**дем, куда глядем? Или незримо ведут нас, придерживая за ворот, и хранят, пока мы того заслуживаем, а? И бесцеремонно поддают коленом, не позволяя остановиться-оступиться, и выводят в конце всех концов на единственную, именно нам уготованную прямую — стежку-дорожку, стезю?

А еще нас сопровождают и поддерживают, ведут и, случается, далёко заводят слова. Были они в самом начале, будут, даст Бог, и в конце. То возвышенно-вечные слова, то самые что ни на есть обыденные, а потому тоже вечные, ведущие, скажем, от деревни к погосту. И разве привычные сочетания гласных-согласных не бывают порою непроглядными, будто осенняя ночь?

...Они понятны лишь сперва,  
Потом значенья их туманны<sup>2</sup>.

Таковы, к примеру, местные слова-топонимы, маяки сельской географии: даже объясненные, вроде бы понятые нами, они все одно — загадочны и темны, поскольку неведом земной простор, к которому они намертво прибиты.

Помнишь Великую губу да Сенную губу? Пустынное Яндомозеро? Там у позаброшенной бревенчатой церкви ютились две юные сестры. Помнишь стиснутую болотами деревню Улитки, где обитали медведи? Помнишь Липовицы?!

В ту пору, выходит, на нас можно было еще пахать! Отыскался пасмурный любительский снимок: мы — оба-два, ляжки поперек груди, диагонально земле, упираясь вывороченными пятками в каменистый, щебнистый суглинок, рывками влачим заржавленный плуг. Это — Кижский берег, Боярщина. Помнишь рослого костистого старика — не то Гаврилу, не то Гаврилыча?

— Знаю, знаю, — резко похрипывал Гаврилыч у самовара, остро взглядывая из-под клочковатых бровей. — Знаю, как вы тут утруждались, покуда воины кровушку в ка́жны день проливали. Все знаю... Некоторым гражданам не то что где, а у врага за колючкой сладко было. Во-она как!

---

<sup>1</sup> М а н д е р а — материковая земля (сев.).

<sup>2</sup> Стихи Давида Самойлова.

— Финны? А што финны? — кротко отвечала хозяйка, выставляя на стол глубокую сковороду, быстро крестя светлую ряпушку, томленную в печи, узким утиным крылышком, обмокнутым в горячее масло. — Ништо финны: люди и люди. Кто справно работал, тех не задевали. Хлебушка — слава те, Господи! — по два фунта на день.

Помнишь: поздняя осень, Заонежье? И куда отправились мы на закате дня? Ни карты тебе, ни компаса, ни палатки, ни припасов. Торная тропка, как водится, тотчас иссякла, пресеклась за околицей, и пошли мы с тобой колесить да петлять. К счастью, когда уже темнело, под ноги вновь сунулась живая стежка. Она-то вскорости и вывела нас к жилью.

Тут в памяти моей провал: почему-то не вижу ни озера, ни реки, хотя старый пятистенок наверняка — а как же иначе? — стоял подле хорошей воды. Хозяев мы не застали, зато на крыльце сидели пэтэушного облика подростки — быть может, внуки, приплывшие погостить. Встретили нас настороженно и ревниво, в избу не пригласили, на тропу не поставили. Только рукой махнули в сторону чаши. И все повторилось: тонкий след канул в траву на первой же некошеной пожне и, зная дело, так и не обнаружился по другую сторону поляны, в бору.

Хвоя заслоняла небо — быстро темнело внизу. Одолели десяток схожих по виду увалов, пересекли клюквяник. Когда запоролись в сырое чернолесье и потеряли в небе последние ориентиры, в кронах над нашими головами затеялся долгий осенний дождь.

Так заплутали мы в соснах. Сколько их было в глубине полуострова? Тридцать три миллиона и еще триста тридцать три угрюмых сосны!

Негде укрыться. Журчащий, проникновенный, до нутра проникающий холод. Терпи и ступай незнамо куда в надежде, что все это когда-нибудь да кончится. Запинайся о черные корневища, скользи по замшелым камням...

Дождь вскоре обернулся грозой.

Каждая вспышка теперь выхватывала из мрака довольно широкое кривое пространство, тесно уставленное стволами, испещренное провалами черноты. Белый мох и лишайники, устилавшие почву, мгновенно, неестественно ярко вспыхивали на взгорках.

Отвесно падающая вода стояла гудящей стеной, сквозь нее смутно проступали ближние деревья...

Опять пошли высокие гривы. Молнии тут просверкивали чаще, ближе. После каждого разряда темнота уплотнялась, так что приходилось протискиваться между стволами вслепую, локтем заслоняя глаза.

И все-таки спасибо грозе: как театральны были ее озарения!

Помнишь крупный блестящий череп сохатого, подмигнувший черной глазницей?

В другой раз голубоватый сполох высветил небольшую скалу, круто обрывающуюся у самых ног.

*...Бредем, не отворяя глаз? Или ведут нас все-таки и хранят до поры? А?*

Ливень все так же напористо гудел, молнии прицельно били по старым соснам, и было еще так далеко до рассвета, что мы не сразу поверили своим залитым водою глазам, когда блеснул огонек. Но светлячок действительно светил, не угасал, и вскоре мы выбрались из чащобы, пересекли промокший луг и оказались... у порога той самой избы, от которой начали свое кружение перед грозой.

Малый язычок пламени жил приветливо и неколебимо, тихо стоял на белом подоконнике за холодным стеклом. Лампу, оказывается, поставили сразу, как только воротились домой, старик со старухой. Зажгли огонь, чтобы мы увидели свет.

Помнишь, что было потом?

Все, что потом, — считай что во сне... И вот мы уже донага разоблачены в сенцах, и растерты докрасна, и обряжены, точно покойники, во все чистое, исподнее, стариковское сухое... Взъерошенные и притихшие, громко прихлебываем самоварную теплую воду, ложкой черпаем морошковое варенье. Карабкаемся на печь, чтобы в блаженном тепле уснуть младенческим сном еще прежде, чем голова коснется сенной подушки.

Помнишь, что поутру сказала старуха? Она сказала так:

— И пошто плутали? Простая у нас дорога: скрозь Угольный бор, дале — на Кóпаницу, а там — по мандере, по мандере, по мандере!

Эх, мандера... То ли мы разом одурели от красоты и размаха осени, то ли и впрямь рассвирепел заонежский леший, которого мы допекли?

Ненастный денек не перевалил еще за середину, а мы опять потерянно сидели, уставясь вдаль. Только теперь перед нами была большая тусклая вода Малого Онего и невысокая волна подкатывала к сапогам. Лесистые и каменные носы, малые загубинки, широкие заливы-губы... Доберешься до берегового мыса — и вновь перед тобой многоверстная, круто вогнутая, зазубренная дуга.

До чего же обрадовались мы, когда за очередным поворотом суши, примерно в километре от берега, возникла наконец черная лодка-кижанка! Только напрасно мы надрывали горло, жгли — тоже мне робинзоны! — чадный костер из сырого плавника и даже сгоряча палили в море-Онего из мелкашки: лодка стояла там, где стояла, — видимо, бросив якоря. Нас, однако, заметили — от воды донесся слабый ответный вопль.

...Выдержке учит лесная жизнь, но — второгодники-перестарки — мы тогда сидели еще в приготовительных классах.

...Здесьние мужики попали на луду<sup>3</sup> в самый жор и, ясное дело, отказываться от рыбалки из-за нашей дури вовсе не собирались. Часа через три-четыре, надергав по коробушке окуней, они подобрали-таки нас, осипших, продымленных, и, врубив мотор на полную, довольно скоро домчали до острова Кижы.

*...Идем назначенным путем? Но разве не уходит, не ускользает из-под ног дорога? Не знаю... Кажется, шагаем по мандере... Вроде угадывается еще неприметная стезжа...*

## ТАМБИЧОЗЕРО

Только однажды довелось побывать на том берегу.

Вечер, светлая ночь, утро...

И вот уже отлетело столько лет, а все стоит надо мной серный дух и струйки ледящей воды сбегают по хрящеватым, железистым, рыжим от ржавчины камням в мелкое заморное озеро.

Памятный июль вовсе не походил на нынешнее затяжное ненастье.

Тогда долгий свирепый зной так иссушил боры, что беломошники принялись соломенно шелестеть, ломко похрустывать под ногой. Издали чернели во мху первые грибы, докрепка, точно в русской печи, иссохшие на корню. Старая радиолa глухо бубнила про лесные пожары. Ртутный диск сонно прокатывался белесым небосводом, и всякий раз, когда он касался перегретых сосен закатного берега, чудился горький сиротский запах гари.

Даже задумчивые призрачно-дымчатые лещи, большие любители теплых отмелей, и те не выдержали — тихо пошли по завалам. Только оводы,

<sup>3</sup> Луда — подводная горка (сев.).

пауты да слепни все так же напористо и дремотно погуживали над мелководьем, над раскаленными плахами мостков, язвивших мокрое тело темными зрочками былых сучьев, из которых нещадное небо выжимало сверкучий бисер некогда окаменевшей смолы.

Тут-то и нагрянули гости — здешняя пресса, газетчики. Старший — небольшой, смекалистый и говорливый — довольно часто печатал в столице северные очерки, густо сдабривая их вымыслом; младший, напротив, был трогательно долговяз и застенчив, сидел в «районке» и числился заочником Литинститута. Новые мои знакомые держали путь к большому архангельскому озеру, но манила их, старшего по крайней мере, уцелевшая, по слухам, лесная часовня. Азарта горожан, завешивающих стены старыми досками, я не разделял, но о красоте обрывистых берегов, о глубине широкого Кенозера был наслышан, и неотложных забот на ту пору вроде не предвиделось, так что вскоре уже трое путников дружно пылили пустынным большаком.

Только Всевышний хранил, видать, малую свою обитель: наш проводник свернул до времени, и угодили мы на старые вырубки, по которым во все стороны змеились, петляли среди болотин и бурелома позабытые, поросшие робким плюшем молодого моха да высокими стеблями кипрея подслеповатые лесовозные дороги. Выворотни-выскири, обрывки ржавых тросов, груды иссохших сучьев и выкорчеванных пней, прикрытые густым брусничником. Только одиночные лиственницы — то живые, пушистые, во всей красе и силе, то испещренные круглыми разновеликими дуплами серебристые сушійны-жаріны — высились над мелкокою трудно зарастающих впадин и бугров. Плотная лиственница не сплавляется, тонет, а потому лесоповал обошел ее стороною.

Полдня, считай, путались мы в том унылом опустошенном пространстве. Между тем солнце не унималось — припекало, палило, жгло. И уже заметно склонялось к закату. Лишь тогда встретился наконец свеженаезженный след, и вскоре он вывел нас к пустоглазым бревенчатым развалахам. На заржавленной полоске жести, изрешеченной картечью, прочли название вымирающей, вымершей почти деревни: Тамбичозеро.

— Там — бич!

— Где?

— На озере...

В те годы я только осваивал словарь озерный и речной. Преобладали в нем, как водится, угорские, финские имена — Пял, Ку́лгом, Пелус, На́глим, Чумбас, Водла...

*Сколько их, темных, в твоём словаре! Угры ушли, да остались угоры. Волга. Москва. Как горят на воре темные шапки — прямые укоры. Десять столетий не меркнут они. Бездну печали таят топонимы. Угры и финны, гони не гони, вечно пребудут, водою хранимы...*

Встречались, конечно, и наши, привычные, явно более поздние названия малых лесных ламбушек и озер — Лебяжье, Большое, Черное, Святое, Кривоногово, Гагарье, Волково, Щучье...

Странное слово «Тамбич» казалось одиноким. Острое и нездешнее, оно взвизгивало плетью, посвистывало арканом. От него веяло конским потом, татарским игом, солончаковой пылью, пунцовыми маками в ковыльной степи. Впрочем, древнее и темное угорское слово, как это нередко случалось, могли просто переименовать по незнанию. Вот оно и зазвучало вдруг по-тюркски в краю озерно-болотном, посреди бескрайнего, точно степь, борового разлива.

И все же чутье меня не подвело: одна из двух тамбичозерских деревень — Татарская Гора! Костина Гора и Татарская Гора.

Подзабытое предание невнятно шепчет о пришлецах, что запоролись в пудожскую глухомань в смутные времена, обжились на мелком и рыбном берегу, обложили данью вольных черносошных крестьян, отняли у мужиков справных лошадемок и сбрую. Пообвыклись, поставили избы (останки листовенничных срубов еще в послевоенные годы выпихивали, говорят, в ольшанике, который звался почему-то Королевщиной), позже пришлые люди стали бить на родничном берегу руду, выплавлять железо, ковать сошники да оружие.

Долго ли, коротко ли, но в один погожий день окрестные пахари все же собрались с духом — подкараулили на лесной дороге да и посекали «князей» топорами.

Сказывали, и на нашем пелусозерском берегу, в Тарасовщине, где спокон веку унавоживали и распахивали под картошку белый песок, нашли однажды, когда корчевали лес, чудную могилу: костяк будто бы не лежал, но сидел в земле, ржавь его допотопной пищали вросла в сердцевину сосны.

Старые летописи и впрямь повествуют о вражьем отряде, в который, верно, и входили татарские воины, что двинулся из недалекой Вологды на соседний Каргополь. Но каргополы городок свой отстояли. И вскоре чужое войско рассеялось, затерялось в таежном просторе.

...Стоял на берегу и не видел берега: толстый ковер зеленого киселя сплошь перекрывал мелкую воду. Тамбичозеро цвело так, что вблизи казалась болотной топью. В отдалении буро-зеленая, подсыхающая сверху гладь легко сливалась со свежей отавой противоположного пойменного луга.

Пузырящаяся слизь вовсе не отражала, как это делает водное зеркало, напротив, притягивала, жадно впитывала лучи: озеро медленно закипало, местами взбухало, точно большая лохань на малом огне. Краткие, с чайчий носок, сумерки не приносили облегчения — тот же покров не давал остуды воде.

Мое глубокое родниковое Пелусозеро и в самые-самые недвижно-нейные недели только окрашивалось по тишайшим закоулкам мелководий слабою зеленцой. Разве что гнилая яма вблизи порушенного и растасканного на дрова телятника примерно так же наполнилась, пузырилась в жару лягушачьим шелком и ряской.

Оттолкнули лодку от берега, только шла она худо: липкое варево лениво морщилось перед носовой кокброй, сминалось округлыми складками, вяло рвалось посередке, точно ватное одеяло, и тут же смыкалось за кормой, скрывая желтовато-белесую жидкость. Забросил удочку — и поплавок, и свинцовое грузило, и квелый червяк плюхнулись в растительную кашу, да так и остались лежать на ее поверхности.

Неужто местные черпают отсюда? Впрочем, в тишине закатной, неподалеку от черной восьмиоконной избы — именно в ней мы и надумали заночевать — внятно бубнил родничок. Невысокий склон сочился влагой, плоский поток тихо отсвечивал в деревянном желобе. Скользящая рыжина прочерчивала пути родничных струй.

Резко и явственно попахивало сероводородом.

Если снять с колышка опрокинутую банку, сунуть ее в темное углубление, полуприкрытое осиновой плахой, и отхлебнуть — глубинная стужа так врежет по зубам, что тотчас заноят зубы, а язык и нёбо надолго сохранят кисловато-едкий привкус железа. И вообще серые обломки каменистого склона, твердые куски породы с неровными бугристыми краями, видать, богаты металлом — любой из них куда весомее обычного камня.

Белая ночь все-таки опускалась на истомленный берег: сонный комар наконец-то покинул глухую крапиву, куда его загнал солнцепек, — на клевок родника наложилось слабое нытье на одной ноте.



...Сутуловатая Федосья Андреевна сегодня оживлена и говорлива, как большинство одиноких, которым подолгу приходится жить молча. Она из тех, кто пускает в дом изредка забредающих незнакомых людей, хоть оно и боязно, конечно. В каждой деревне отыщется такая старуха. На Пелусозере всех привечала громогласная баба Лиза — Елизавета Ивановна Калинина, Божий человек.

Покуда чаевничали, хозяйка поведала нам историю, якобы здешнюю, тамбичозерскую.

К соседу под вечер поколотился прохожий:

— Пустите на ночь.

— А паспорт имеется?

— Нету.

— Ну так не пушу.

Сунулся странник в другую избу, а там семья — сам да жена, дочь да зять, да малые дети в придачу. Пустили все-таки.

— Где ж гостя нам покласть?

— Постели ему на полу, жена. Да нать крапивы надергать, сенник обложить, не то ночесь клопы заедят.

— Клопов мы прогоним, — говорит незнакомец. — Вы мне только бумажки какой-никакой подайте урывок.

Вот бумагу он мелко-мелко так изорвал, окно — настезь. Один конец рушника на стол перед окошком стелет да бумагу искрошенную сыплет на льняное полотенце, другой конец рушника за окно скинул. И что ты себе думаешь? Стали тут со всего дома клопы сбегаться. Каждый брал со стола свой клочок бумажный, да — бегом! — в отворенное окно. Так и ушли все до единого.

— Во-о-от, — бает гость, — они с паспортами пошли к тому хозяину, что меня ночевать не пустил.

...Духота. За окном — сонная запара, обморочная тишь. Ни чаичьего крика, ни человеческого голоса. Завалившийся угол наполовину распиленного сруба выглядывает из крапивы, из зарослей дуром разросшейся чахнувшей малины. На темной от старости, черной почти стене светит уцелевший простой белый наличник.

Федосья Глазова памятьлива не по годам. Гости, как принято, долго перебирают у самовара старые фотографии. Хозяйка поясняет, вспоминает, переживает заново.

Семейные альбомы — фотоархивы местного значения. Последние прибежища бедных преданий выкорчеванного, рассеянного крестьянского рода. А чаще и не альбомы вовсе, а немудрящие их подобию — обшарпанная школьная папка, у которой всегда оборвана одна тесемка, плоская коробка, давно утратившая парфюмерный дух привозных конфет, бумажный пакет или кусок холста, стянутый пеньковой бечевкой, застиранной бельевой резинкой, обрывком толстой рыболовной лески.

Отчего старые люди глухотных деревень так дорожат этими прямоугольниками-квадратиками глянцевого или матового бумаги? Даже если дети и внуки не пишут годами и давно позабыли стариков. Даже если адреса детей неизвестны. Даже если неведомо, живы ли еще они, давно позабывшие, но не позабытые. Даже если доподлинно известно, что тех детей и внуков нет уже на свете.

Выцветшие, заскорузлые, смутные, засиженные мухами, переломанные и подклеенные с исподу пожелтевшей газетой, нескучно намазанной клеем, а потому погрызенные мышами, ножницами или бритвой нещадно рассеченные по живому, фотографические карточки теперь — единственное доказательство того, что жизнь, монотонно-медлительная, обескураживающе мгновенная, вытянутая в череду непрерывных унижений и

потерь, томительная и непостижимая жизнь в самом деле случилась, действительно была и что прожита она все-таки не зря, не впустую, не понапрасну.

Сама старуха бессчетными одинокими ночами столько раз успела в том усомниться, что ей теперь дорогого дороже твое молчаливое участие и понимающий взгляд как подтверждение конечной разумности, незрешности долгого ее существования.

...Тошенький белоголовый пацан в длинных трусах изогнулся, боком прижался к молодой женщине в белом платочке, неуверенно улыбается из-под материнской руки, глядит прямо в темный зрачок объектива. Снова он, с тем же детским лицом, только уже увеличившийся в размерах и потемневший волосом, стоит — руки по швам — в гимнастерке солдата. Старательный взгляд, на груди значок, тонкая мальчишечья шея. Ныне Саша — Александр Глазов, тридцатилетний сын Федосьи Андреевны, — одиноко живет неподалеку, на том же берегу.

Призрачна, сдержанно-светла северная ночь в начале июля. В первом часу, едва наметились краткие сумерки, я прикорнул на широкой лавке и — будто провалился. Картины минувшего дня вспыхивали и тасовались как попада. Солнечные лучи, казалось, спят и во сне, легко пронизывая обожженные веки.

Встал — тишь и сияние в проеме открытого окна. Все та же неподвижная духота, разве что дышится легче на ранней заре. Впрочем, солнце уже высоко, в небе — выпцветающая голубень.

Пяток широко разбросанных, заваливающихся на сторону изб в некошеной сохлой траве.

Два звука на всю округу — коротко, сонно басит шмель, перелетая в куртине кипрея, да монотонно долдонит свое железный родник на склоне. В отдалении, повыше деревни, темнеет уцелевший посреди холмистых полей клочок векового бора. На краю сосновой рощи ясно рисуется в светлом небе купол часовни. Когда подойдешь к погосту — в соснах, конечно же, деревенский погост, — видны неумелая заплатка-нашлепка по скату шатровой крыши, на макушке — разбитый крест, утративший срединную свою перекладину. В проеме между часовней и ветхой кладбищенской огородей белеет, тянется, уходит за бугор старая тележная дорога.

Как редки свежескрашенные ограды! Под крестами — пластиковые цветики в стеклянных банках, присыпанные опавшими иголками. Цветные осколки пасхальной скорлупы. И повсюду теснятся безымянные, укрытые многолетней хвоей малые продолговатые бугорки и бугорки побольше.

Поблизости от кладбищенских ворот невысокий глухой замшелый сруб укрывает безвестную могилу. Такое вижу впервые: посмертный дом — бревенчатое надгробие.

Разлапистая слабая тень лежит на земле. И тут, под соснами, тоже вяло зудит, смолкает и опять грузно перелетает с одного пересохшего цветка на другой невеликий шмель-сеголеток. Похоже, шмелиный гуд — единственный здесь звук жизни.

Двери часовни посечены топором, накось забиты самоковными квадратными гвоздями. Рубленые стены местами еще хранят обшивку, доски — слабые следы былой охры. На дверях, на стене возле выщербленных дверей — клочки сероватой бумаги, выполосканные дождем, иссохшие на ветру. Две-три странички из ученической тетради в косую линейку нескладно исписаны вдоль и поперек — кривые строчки, блеклые чернила.

У порога нетоптаная вянущая трава. На пыльной дороге — одинокий след больших кирзовых сапог.

Все! Теперь ни единого звука: притомился, видать, и последний шмель. Выморочная, заморная глухомань.

Кто и кому, а главное — о чем может писать на этом погосте?!

*Граждане будьте осторожны с огнем везде, тщательно погасите и прикройте почвой, вокруг костра обезопасьте взрыхлив почву и т. д.*

*Не глушите рыбы в водоемах могут быть старых времен снаряды и бомбы и т. д.*

*Разводя костер, покопайте в глуби почвы в виду забытой бутылки бензина и гильз патронов утерянных оброненных охотниками и войнами и т. д.*

*Также проверти дрова, личные печи перед затопкой нет ли вещей или иногда взрывчатых и живых существ ценностей и т. д.*

*Берегите народное добро и личную взаимность уважения и т. д.*

*Учите детей чтоб они несрывали временные для пешехода почтовы ящики. Оставляйте там адреса, ночевать зайти на обед, обогреть ноги, что занять и так д.*

*Имея в личных делах такую внимательность и где ночевать, пешеход долго ходит по избушкам в наших местностях пассажир остался довольный в пути.*

*Весьте ящики ложте туда неценные найденные вещи и объявите — рукавицы, шапку, носовой платок и т. д.*

Ну и ну! Те еще синтаксис-орфография. Бредятина местного разлива. И т. д. Опять же родимая, с детства знакомая стилистика призыва.

Все так. Только слышится ведь и другое... Неужто и впрямь кому-то в голову пришло озаботиться моей судьбой? Подумать о мимолетном, пришло, проходящем стороной человеку, о проходимце, как сказали бы здешние старухи?

Три тетрадных листка. А еще — намертво прилипшие клочки, сохлые следы темного мучного варева. Видать, сочинитель не однажды вывешивал свои объявления и сдирал их, чтобы клеить новые...

*В отдаленностях где мало людей, проверь живой а может нет сосед. Если куда ходить организовать, по семейному прошлому, в лес, на работы отдаленные, оставить записку кого предупредить, взять с собой.*

*Съездив на рыбалку, проведай приехал ли другой и иногда посмотри где бы ты не был.*

*Живя в одиночку обеспечте незагораему подставку к лампе, чтоб небыл пожар, прикройте печь заслонкой, не угорите, в болезнь в морозы не выходите на улицу не зная угорел или нет и т. д.*

*Чтоб тепло из печи не вышло, остаток углей выгребите и тщательно погасите...*

И сверху, в правом уголке листа, приписано наискосок: «также к погашенным углям».

Заскорузлая бумага дышит тревогой. Непривычное бескорыстие — какая уж тут корысть! — неловкая нежность к чужим, в сущности, людям проглядывают сквозь корявые строчки.

Люди? Где они, те люди? Кого зазывает в свою нищую избу странноприимный тамбичозер? Разве что подгулявший тракторист, для которого двадцать верст не крюк, зарулит в надежде опохмелиться. Или угрюмый серогон-подсочник, вконец одичавший от многолетнего одиночества и петрозаводского «сучка», собьется с тропы. А то, не ровен час, и беглого лагерника, заматающего следы, вынесет нелегкая к позабытому погосту.

Что водит рукой чудного писаки? Неприкаянность? Острое одиночество? Отчаяние существа, еще вчера числившего себя живым, да внезапно

выбитого из жизни? Крестьянская жажда хозяйствовать на своем клочке земли, пригодиться там, где угораздило когда-то родиться?..

— Кто вешат? Да Сашка мой вешат. И пишет, и вешат — все он. Охо-охонюшки... А пошто? Пошто так...

Федосья Андреевна начинает привычно, горестно и ровно, только не выдерживает — переходит на шепот, а потом и шепчет уже прерывисто, надолго умолкая, недоуменно вглядываясь в пустоту июльского утра.

Раздумчивый, нежный, как девушка, вернулся Александр, отслужив срочную, с тяжелой и непонятной болезнью. Помирал от многодневных приступов нестерпимой боли, надвое раскалывающей мозг, чудом выжил, однако повредился в рассудке. Молодая жена-корбозерка — женился парень еще до службы — вскорости бросила калеку.

Саша сочиняет стихи. Любит подолгу глядеть в ночное небо: силится постичь устройство Вселенной. Изредка запивает, получив на почте инвалидскую пенсию.

Одинокий тамбичозер живет мучительно и тревожно. Чуть ослабит свои тиски хвороба, принуждающая кататься по земле и срывать голосовые связки, и — опять слышит Саша щебетание мелких птиц, с удивлением видит изредка встречающихся ему неторопливых людей. Опасность подстерегает на каждом шагу, но благодушный человек вовсе не замечает близкой беды. Похоже, ему не жаль ни своей, ни чужой жизни. Предупредить... Надо предупредить!

— Где Саша ныне? Поди знай! Вот уж какой день глаз не кажет. В лесах небось бродит, горемычный... Нынче-то — дивья, благодать. Весна на дворе либо осень — тоже ништо, перетерпим. Зато зима... Зимой... Только одно и думаешь: Господи, помилуй!

...Одинокий след на белой дороге: осенью по мелкому снегу Глазов несет с Корбозера вонючую соляру в черной, лоснящейся подтеками канистре. Часто останавливается на долгом пути. Углядев на обочине припорошенную лесину, садится передохнуть, подкладывает под себя шубную рукавицу. Зябнущую руку можно сунуть за пазуху, и тогда пальцы нащупают гладкую и теплую обложку — школьную тетрадь, купленную в сельмаге. В берестяном кошеле за спиной — ржаная мука, взятая на пекарне, крупная серая каменная соль, бутылка подсолнечного масла, черное мыло, спички.

Привычно и скоро замечает деревню зима. К Рождеству только вблизи, да и то ясным погожим утром, угадаешь-приметишь редкие полуобвалившиеся трубы, над которыми светло и недвижно высятся столбовые дымы. Обледеневшее оконце скупое цедит унылый свет. Ненастные дни коротки и вовсе неотличимы один от другого. Именно в такие беспросветные метельные дни Глазова охватывает беспокойство. Поначалу он тщательно протирает ветошкой неровно, с одного боку, закопченное стекло керосиновой лампы, дышит и дует внутрь, чтобы там затуманилось, запотело, вертит туго скомканную газету внутри одутловатой стеклянной трубы. После сидит за столом, то и дело выкручивая самодельный, быстро обгорающий фитиль, морщинит лоб, громко и отчетливо, подражая диктору карельского радио, выговаривает слова и настороженно прислушивается к произнесенным. Поторапливая буквы, шевелит губами.

Александр щиплет лучину и разводит перед устьем печи малый, быстрый, трескучий огонь, утвердив над ним черный таганок. Когда забурлит вода, следует сыпануть в котелок пригоршню грубой рыбничной муки.

Консервную банку с клейстером надо бы обернуть полой ватника, не то варево сразу застынет на ветру.

Теперь — с Богом! — ступай, ступай, пробирайся в темноте по нетоптаному снегу, по высоким снеговым надувам, латаным валенком проламывай крепнувший к ночи наст.

В пять часов пополудни уже черным-черно. И вот уж месяц, как ни одна собака не заявлялась в деревню. Ну и что с того? А вдруг именно сейчас кто-то сбился с пути и бредет, превозмогая поземку? Говорят, поселковые ладилы приехать на выходные... Хоть и дрянь фитиль, а все-таки светильник: и этой ночью, пожалуй, не стоит гасить лампу.

...Трудно дышать. К тому же все громче, все опасней бухает в голове. Тем не менее вихляющаяся цепочка слабо различимых следов тянется помаленьку в сторону погоста, к заметенной снегом часовне Казанской Божьей Матери, на невидимом «кумполье» которой вовсе неразличим сейчас порушенный крест.

Худо клеится на заиндевшую стену сырая бумага!

*Удил рыбу: живых оставил, которые подмерзли варил. Рыба живая, игрушки, и необходимый продукт.*

*Иногда столько мать или отец недал, как корова молока, или теряемость ценного человека в жизни и с прошлого и т. д.*

*Будьте любезны, берегите рыбу! И когда ловите не делайте ей больно, ведь спешить некуда, ведь такое время.*

*Вы же богатые, дайте ей уснуть рационально, не теряя качества и учите других, даже родителей, они еще иногда закоренело с сознанием запаздывают, в кипятки, в печь на сушник живых небросайте. Вам то больно и т. д.*

Видимо, уже после, другими чернилами, мелко, приписано на полях: «Если необходимо для наук, бед и т. д. ловить то ловите».

Так и не скинув заснеженный ватник, он засыпает на печи, вконец обессиленный, но утешенный, хоть ненадолго освободившийся от постоянно изматывающей тревоги. Даже голову вроде как отпустило.

— А недавно пришел Сашка да и говорит: «Мама, видел под окном тигрицу и тигренка». До ночи сидел потом на горке с ружьем — охранял деревню. Беда...

Ружья у него, конечно, отбирают всеми правдами и неправдами, прячут куда подальше. Только разоружат, глядишь, какой-нибудь «доброхот» — любитель бутылки — опять тащит ржавую тулку с выщербленным стволом или «ижевку» с расколотой ложей. А что, как изболевшаяся Сашина душа и впрямь кого-нибудь примет за дикого зверя? Даже думать об этом боязно...

Низкое закатное солнце еще заливало просветы сосен, когда добрался я до дому и первым делом, конечно, смысл усталость. Почти прозрачная вода под окном ничуть не остыла. Теперь, после всего увиденного, она казалась такой чистой, такой родной.

Еще десяток слепящих дней каталось по небу оплавленное светило. Так неприметно подошла Казанская. Сотни гостей ото всех волостей принимали когда-то в этот июльский день, в свой престольный праздник, Костина Гора и Татарская Гора.

Именно двадцать первого июля, ближе к вечеру, когда уже ничто не предвещало событий, нашего берега достигла весть: на Тамбичозере повесился Саша Глазов.

Поздняя заря как-то особенно долго истлевала — тускнела, нехотя становилась ночью. Перед самым рассветом тихо зашелестела, а затем принялась всхлипывать и причмокивать старая тесовая кровля над головой: от запада пришли наконец дождевые облака.

## ОСТРОВOK УЦЕЛЕВШЕГО БОРА

...О чем это я, о чем?

О вековой битве немощного и малорослого, по-муравьиному юрко-го, недолго живущего, настырного и крикливого, наивно-самоуверенного, хитроумно-жестокое, не способного подняться и возмужать, состариться и умереть там, где проклюнулся первый росток, двуногого прямоходящего существа — с одноногим, безмолвным, вездесущим, высоким, прямостоящим, бессмертным по человеческим меркам и недвижимым деревом, которое всегда стоит на своем!

Люди леса, кормившиеся от леса, изрядную долю жизненных сил отдавали этой борьбе. Разве отыщется в тайге светлая, открытая солнцу земляца? Только болотная топь да бесплодный камень не заняты, не утыканы древесными стволами. Каждая вырубка, всякая споро зарастающая пожня, посреди которой косо чернеет догнивающий стожар, если не политы, то уж наверняка окроплены потом.

Поначалу и я, горожанин, угодивший на Северный флот, помнится, недоумевал: почему лесные деревни, обычно стоящие по угорам, по берегам, почти лишены того, что у нас зовут зелеными насаждениями? Ягодные кусты в палисадах, редкие привозные кедр-тополя, рябинки-калинки под окнами — все это дела недавние, влияние перебравшихся в города детей и внучат, мода набегных дачников-столишников.

Бескрайний, неприметно, но непреклонно теснящий скудную пашню таежный разлив таил угрозу, казался веками неодолимым. Тем, кто годами продирался сквозь комариную кóрбу-чернолесье или прорубал в пустынном краю многоверстные просеки — тележные дороги и санники, — конечно же, хотелось, выбравшись из чащобы, видеть наконец в распаханном окне светлую просторную воду, чистое поле, открытую глазу луговину. Тем более, что неизбывные елки-палки все едино тут, поблизости, рукой подать. Вон они, зубчатой стеною обступили обжитое пространство.

— А места-то, места там баскí-ие, — завистливо говорили наши старухи о соседней Каргопольщине и неизменно вздыхали: — Ро-о-овно, гладешенько. Лесу дак вовсе нет. Красота!

Ну да, земля хороша и красива, поскольку ее можно вспахать и засеять. Эстетика оратая-хлебобора.

И все-таки у каждой старой деревни, даже если вырубки тянутся на многие версты, есть своя боровая горúшка — островок вечности, где под расплывающимся год от году, усыпанными хвоей бугорками стихли наконец и упокоились в песке навсегда бывшие воители-лесорубы. И окончательно, смертельно уставшие жены тех дровосеков, сотни, тысячи смолистых, хвойных и пахнущих свежим дегтем березовых стволов, разделанных на чурки и поленья, спалившие на веку в своих громоздких ненасытных печах.

Временно жить, конечно, можно и на открытом берегу. На ветру. Под звездами. Особенно когда тебя со всех четырех сторон заслоняют бревенчатые стены, туго проконопаченные черным мхом — долгими упругими пряжами кукушкиного льна. И под ногами твоими нехлипкие теплые половицы — лиственница, сосна, ель; и над головою широкие, плотно пригнанные плахи-полубревна — елка, лиственница, сосна; и тесовая кровля надежно укрывает тебя в ненастье.

Только и самая что ни на есть отборная смоленая тесина с желобками для водостока не всегда переживает хозяина дома. И выдержанный, проолифенный, крашенный маслом, загодя припасенный греб-домовина недолго продержится в песке. В гниле<sup>4</sup> — и того меньше. И добела любовно

<sup>4</sup> Г н и л а — глина (сев.).

отструганный крест, сработанный из раннелетней, июньской, а потому налитой смолами сосны, что крепко потом стоит, закаменев, приветливо распахнув объятия и постепенно темнея от непогоды, — тоже недолговечен. Дай срок — он непременно истлеет, обуглится, переломится в том самом месте, где струганое дерево переходит из воздуха в почву. И напоследок ляжет крест на свой холмик, прильнет к земле и сколько-то еще пролежит на ней, прежде чем стать землей.

Нет, вечный сон, что ни говори, требует иной, вечной, сени. Не это ли чувствует человек? Чувствовал, верно, всегда... Может, потому тысячулетний курган в степи издали напоминает хрупкую юрту кочевника?

...Вот и окончен затянувшийся спор. Сосна доказала свою правоту, и человек согласно умолк, объятый ее долгими, гибкими, пахучими корнями.

А дерево шумит на ветру, и клест шелушит спелую шишку, и крохотный пушистый хвойный крестик вытаивает по весне на безымянном бугорке.



---

---

ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ

\*

## МОНАСТЫРСКИЕ ЭТЮДЫ

### БЛАГОДАТНЫЙ УГОЛОК

**Т**орговый путь России Северной здесь проходил, краше Млечного рассыпал свои звезды — соборы, терема. Цари интересовались, начиная с Ивана IV, он же и основатель. Борис Годунов, человек чрезвычайно занятой и чадоубийством, и другими делами, также справлялся о состоянии и грамотки слал. Петр Великий везде отказал в кирпиче, а здесь — благословил. Монастырь из города отовсюду виден. Белая зубчатая стена, башенки, надвратная церковь, кое-где охранные вышки бывшей колонии да куски неснятой колючей проволоки по крышам. Столетиями монастырь строился, разрастался кругами: от собора маленького, невзрачного, самого древнего — до палат и храма, обозначивших расцвет.

Теперь, когда хиреть начал край, — все повыехало отсюда. Остались столярные мастерские; мимо ребятишки с портфелями несутся в школу, сплевывая желтую от непосильного курения слюну да посмаркивая в два пальца, так что сопли веером — единственные почести роскошной древности.

С парадного крыльца палат (куда некогда и коней, наверное, подавали, и стремянные тут же в ряд, и сокольничие) баба в поддевке спустилась с ведром, крышку отняла у ведра — и все вылила в снег. И быстро-быстро закапывает, но на белом, как ни закапывай, не скроешь; поэтому осматривается воровато: вдруг туристы обратят нескромное внимание на ее ночное добро... Нет, Бог миловал.

Никого, только длинная черная тень в мантии и камилавке шажками, не видными под рясой, пересекала по диагонали двор. Монах? Или кто-то из местных актеров подрядился устраивать эпохальный антураж и сейчас мимо чернавки в поддевке проскачет отряд со знаменами? Нет, не проскакал — но представилось ясно. Монах все-таки. За день два-три промелькнет. И нигде еще пока не написано, что монастырь. И сколько здесь братии — окутано тайной.

А в подвальчике сидит мастеровой, в кожаном фартуке, как положено, и с тесьмой вокруг головы. Власы, понятно, горшочком, и тесьма их на глаза не пускает. Он из кержаков, поэтому крестится двумя перстами, складывает пальцы в особой последовательности: два вверху и три внизу; вверху у него Отец с Богом Сыном, а внизу Троица — как до Никона, а не наоборот, как теперь. Братию он не уважает, на молитвы с ними не ходит, но незаменим, поэтому пока еще не вытолкан в шею. Читает и поет на свои гласы и по крюкам, а рассуждает приблизительно так:

— Отчего не забрал их седни Господь, ни одного ведь? Как это — с чего? А с того, что седни, двадцать восьмого, репетиция должна быть второго пришествия и Страшного суда. Праведники на небо должны подняться — а эти чего-то все на месте. Заглядывал — все целехоньки.



Рядом с ним бутылка, и он говорит, обращаясь то к ней, предмету весьма одушевленному, то к черненькой, без единого беленького пятнышка, киске:

— Для них ведь спасение — главное, не переробить. Спасутся! Если после обеда уже все в лежку лежат, как не спастись! Клопов они развели, тараканов, вшей, само собой... кого еще-то осталось? Еще крокодила разведут — и чем не Синайская пустыня? Им бы еще баню свою спалить. Синайские-то подвижники годами не мылись; если его помыть, он помирал. Так бы и тут.

Мастеровой умолкает, собираясь с дальнейшими мыслями, морщит нос от натуги, но так, видимо, и не собравшись, наливает себе. Подносит кошку к глазам и смотрит на нее внимательно: «У-у-у, тварь. И не лучше тебя — человек». Опрокинутая водка булькнула сразу где-то в желудке, едва ли омочив горло. Понюхал кошку и отпустил.

Другой работник — художник Вовка. Потихоньку приоткрывает свои двери обитель для страждущих во славу Божию. Вовка держит махорку, и два послушника время от времени прибегают к нему затянуться. Игумен, он же наместник, — молодой деятельный человек лет тридцати — недоумевает: откуда дым? Но Вовка то клянется, что никак не от него, то объясняет: кисти обжигал.

— Я получше любого из них монах, — берется рассуждать. — Два года! — Он поднял палец кверху. — Два года! — патетически воскликнул. — Я уже, — понизив голос до шепота, — не живу с женщиной. А всего жен у меня было три. Нет — четыре... Нет — три... или все-таки четыре? Уходили все, как-то не задерживались.

Куда смысленнее, чем в художественных работах, он в настойках. В углу бадья, в бадье этакое с ног валящее варево: брусника, вода, дрожжи и — на месяц. Но столько ждать — понятно, слюной изойдешь. Тут же ковшик, кружечка, стакашек — все облюбовано и грязно.

— Налить? — спрашивает с готовностью всякого входящего к нему. И наливает.

Глаза у него округляются, как у кошки в потемках, расширяются зрачки; он досматривает до дна души и, если там появляется хотя бы чуть заметная страстишка, тут же начинает выуживать ее оттуда:

— На... Брусничка на спиртике... Сам делал!

Настойка бледно-кисельного вида, мутная и кислая. «Ну, давай!» — «Ну, с Богом». — «Ну, понеслася». — «Ну, с Богом». — «Ага». И в заговорщицкой тишине сбрыкало враз алкогольным колокольцем.

Слегка навеселе, он припер картину игумену. Здоровая, она «зачепилась» на лестнице, и он чуть не порвал холст о стойку перил. Вынос мощей. Игумен и эконоом перекрестились то ли на изображение, то ли от ужаса — однако, нравится или не очень, понять нельзя было. Вовка, свесив голову через верхний край картины, разглядывал на ней священнослужителей и купола с крестами и хмыкал удовлетворенно.

— На тебе, — сказал игумен.

Эконом скосил глаза на волосатую ладонь с деньгами

— Много, батюшка, даете.

— Помилуйте, батюшка, — тут уж Вовкин черед. — А обещано сколько было?

— А ты сделал, что обещал? — Игумен тут же распалился: — Разве же ты мне такое обещал?

Вовка не помнил, что он сделал не так против того, что обещал. Схватил деньги в сердцах и побежал с ними, зажатыми в кулаке, даже не сунув в карман, в лавку. Картину вынесли пока в коридор, не зная, как с ней поступить. Купив наконец нормальной выпивки, живописец пришел в некое равновесие и принялся рассуждать: «Как мне платят, так и рисую, сколько заплатят, на столько и нарисую, я дело знаю — я знаю, на сколько как рисовать».

Он сложил кисти и краски, приготовившись к исходу. Одежды почти не было при нем. Из книг — рваненькое Евангелие, от бабки, не пропитое, потому как сильно траченное. Из ценных вещей — многократно закладывавшийся, но и обязательно, «кровь из носу», выкупаемый на престольный серебряный крест. Все. Больше не надо ничего ему. «Священник знакомый звал меня храм ему расписывать. Туда и пойду», — решил.

Он поднялся зачем-то наверх, увидел в коридоре свою картину. Прихватил и ее. Выскочил с ней на улицу — уши быстро почувствовали морозец. Добежал до сторожа мастерских, крикнул ему в будку:

— Шас я, пусть постоит, — и унесся.

Вернулся в келью, захмелел сильнее и не то чтобы передумал уходить, а как-то в нерешительности расселся, уже не понимал, чего ему больше всего и надо: свободы или неволи, или свободы в неволе, или неволи на свободе — какой-нибудь их хитрой смеси, — не знал.

Игумен бросился искать картину:

— Ах он, бес поганый, неужели унес? Игнатий! — заорал эконому. — Унес ведь! Я его художества — вот что — я их выкину!

И тут же принялся исполнять угрозу. Посрывал портреты настоятелей, писанные по фотографиям с мастерством соответствующим: лица застыли у исторических иереев, взгляд в никуда, а облачения на них будто гидромном пропитались и отвердели. Однако благополучно висели. Уволок всю охапку на хоздвор, самый прескверный портрет порвал, ногами потоптал остальные, ломая рамы, — но не уничтожил совсем, а собрал попорченное и отнес почему-то в инструментальный склад, где и свалил в углу. Тут позвонили, эконом снял трубку и провозгласил обрадованно:

— Нашлась картина, батюшка! Сказали: забирайте — в сторожке она.

Отправились вдвоем.

— Мне смену-то сдавать, — обиделся сторож. — А он и не объяснил ничего: кинул и побег.

— Правильно, он побег, а мы заберем.

Унесли.

— Слышь, Игнатий, чё говорю: заставим окно ей пока на складе, чтоб видно с улицы не было, чё внутри там у нас...

— А я тебе где хошь докажу, — Вовка тряс пьяного мастерового, — что верующих по-настоящему-то среди них и нет. Игу-умен. — Он сжался от собственного кощунства, посмотрел на дверь, вокруг и уже совсем испуганно от прозрения внезапного своего выговорил по складам: — И-гу-мен не ве-ру-ет.

Тиха обитель сия, но уже прилепляются к ней паломники, причащаются святых Христовых тайн, прикладываются ко кресту.

## ОТЕЦ КСЕНОФОНТ

Необычайно популярен Ксенофонт среди бабок, которые, если не знают его в лицо, показывают друг дружке в храме пальцем на любого брадатого, у которого борода пошире и лопатой: «Вона — он». Нет, бабки, промахнулись, нет его тут. В другой монастырь ушел как-то среди зимы. Книжки свои по братским кельям раздал — благословил; валенок даже не надел — бросил валенки, потому как казенные, выданные экономом с позволения игумена; котомку подсобрал — и нет его больше.

— Подождите, как мощи привезут, зайвится, никуда не денется, — говорит игумен то ли обиженно, то ли злорадно.

Придет, да только никому не поклонится, кроме мощей, а оскалится, хихикнет и скроется опять в дальнем одном то ли скиту, то ли приходе,

который и не восстанавливается — денег нет. А у кого они нынче есть? Или молитва — или деньги. Или живи как Бог на душу положит — или деньги бегай добывай, грехи ими, добычей их — и тогда уже не до молитвы тебе, а так: показушно помолиться, поспекулировать молитовкой, дань с верующих собрать — да опять суетиться, строить. Фелонь задела за растворный ящик. «Эй, там!» Да еще и выматериться заставят, когда не радеет никто. А хлопочем, а материмся, а строим разве не ради Господа? А им бы все только молиться — и ничего-то не надо. Мол, само устроится и дастся. А ну как не дастся, если вот это — игумен показывает палец — о второй палец не ударить. По вере своей теперь тягаются друг с другом, бодаются. Если не место им вместе — одному остаться, другому идти вон. Хорош монастырь в патриархальности своей. Бедной стране бедная церковь нужна, такая же нищая, вся в заплатах. Только сколько-то держится она бедностью, а потом жиреет. Тогда несогласные — кто куда. Кто к кержакам, кто в скит, кто в побродяги.

А началось с чего: когда бывшую колонию отдали церкви, завел игумен собак. Сторожевые псы и раньше здесь бегали, в полосе между внутренней и внешней оградами, на цепях вдоль длинной проволоки, — охраняли зону. А теперь за братским корпусом на хоздворе построили вольер и преогромную будку. Ксенофонт вопил:

— Куда же собак-то в монастырь, бесовская ведь сила! Они носятся вон по ночам, когда спускают их; войдет кто — и цап за штаны, — ни живой, ни мертвый. Приполз, называется, помолиться. Батюшка, смилуйся! Мать твою разтак! Игумен родной! Кулаками бы оборонились!

У Ксенофонта кулаки здоровые, сам коренастый, квадратный. Голову прямо держит, идет — плечами поводит. Голову никогда отдельно не повернет, весь повернется — не должен он видеть ни что за спиной у него, ни что по бокам. Не зря же наметку носит поверх камилавки, дана она ему в монашеском сане как покров на голову и плечи. Черный весь ходит, в трауре по смиренной плоти.

— Всегда защищались. Вспомни: монастыри-то — лучшие крепости. Пересвета вспомни — то монах был, нам не чета.

«То когда было», — игумен подумает, но не скажет.

Место разбойное, население пришлое, не поймешь, откуда взявшееся, ветрами надутое. Освобождавшиеся колонисты — а колоний тут тьма — оставались, прибывались с какого-то боку к вольной жизни. Бабы не спят до тех пор, пока мужики в доме не угомонятся.

— Я не ложила прошлый раз, а то — как пить начали — или дом сожгут, или сами поубиваются, — рассказывает одна в очереди в магазинчике. — Проверила все сама после них, закрыла ворота, тогда и уснула.

Случилось однажды — сын отца мотопилой «Дружба» пропилил поперек живота... Боязно здесь без охранных собак, вот грех и образуется, бесовство рядом, на куполах уже восседает, как с горки скатывается.

— Не могу я тут с собой бороться, — жалуется смиренный Ксенофонт, — место такое распроклятое.

— А ты моги, я-то вот могу.

Так они перемолвятся с игуменом и по кельям разойдутся для чтения монашеских правил и бдения.

Заселили монастырь — когда голоса колонистов еще отдавались эхом по подвалам — втроем: игумен, Ксенофонт и молодой послушник Алексей, игуменом привезенный откуда-то и опекаемый. Но уже постриженный по первому постригу в рясофор, новоявленный монах нашел себе жену в поселке. В ноги упал.

— Все, — говорит. — Был монах — не стало монаха. Отпусти в мир.

Через полгода в священники рукоположен. Надо же кому-то служить. Есть благодать на нем теперь, нет ли благодати — надо и крестить, и венчать, и отпевать народ. Ведь мрут как мухи и рождаются как скоты, слова

Божьего не слышат. В священстве уже — напился, среди ночи выскочил из избы, выстрелил два раза в воздух из ружья — где только взял? Матушку свою, брюхатую, заупрекал:

— Ты же меня от монашества отворотила, кто я теперь, кто?!

Сам себе руки скрутил рукавами рясы, пуще вопит:

— От мира в монастыре спасся, в миру от монастыря — так получается?

Но в миру смиряется, пошел служить в прикладбищенскую церковку. По кладбищам церквухи только и остались, прочие взорвали или перестроили в клубы. Гопота там теперь одна — тяжелый рок совершает свои ритуальные оправления. В горсовете обещают бывший кафедральный собор — ныне библиотеку — отдать:

— Будешь, Алексей, настоятелем нашего Троицкого собора. Когда построишь...

Тот ринулся остервенело. Уже и деревья, выросшие при большевиках вокруг апсиды, спилил, и ограду каменщики кладут новую, высятся горы мусора и щебня от разобранных перегородок библиотеки. Баба вторым брюхата.

Отец Ксенофонт свои ревностные чувства утихомирить не может, злобится:

— Я же говорил игумену: куда ты его постригаешь, молокососа, куда рукополагаешь? Грех на нем, раз из монахов ушел — нельзя с таким грехом жить. И Еленке его счастья с ним не будет! Не будет!

Здесь он, как протопоп Аввакум непримиримый, загрохотал и затрясся.

— Стена это; невидимая, а стена, — и не перешагнуть ее. Рядом, а не перейдешь.

И вдруг засмеялся неизвестно чему, вроде как обрадовался стене той, будто им самим возведенной. По вере и стена.

— Последние мы. Монахи мы последнего набора. После нас уже не будет, — объявил с важностью одному паломнику.

Теперь они вдвоем в каптерке, бывшей сушилке колонистов, где еще свалены рваные бушлаты, — их, выбрав из кучи, и надевают на себя для работы. Паломник, назвавшийся Владимиром, скромный (наверное, от своего полного незнания жизни вокруг и — как к ней подступиться), не проворный на стройке, даже какой-то заторможенный, замороженно вникает Ксенофонту — оракулу и праведнику.

Вдвоем идут к маленькой надвратной церкви, которую отец Ксенофонт самолично оштукатуривает. Там, по слухам, штрафной изолятор был, но остались не кандалы и цепи, а лишь мешок окаменевшего цемента и в стороне — обитая железом, сорванная с петель дверь. Работают тихо, насупленно, лишь лязгает лопата по днищу короба да басовитая ругань отца Ксенофонта, недовольного заводимыми порядками, раздастся нет-нет. Мне, дескать, обитель бы доверили открыть, а не этому — Тишке, у которого ни человеческого опыта, ни послушнического. Ему бы на послушании лет пять походить за коровами в каком-нибудь глухом скиту, а потом уже со смирением и кротостью — сюда.

— Ну да ладно, — подытожил хрипло. — Не нам, стало быть, решать и не наша на то воля.

Вскоре появился другой паломник — Игорь. Только котомку у ворот бросил, сразу подбежал под благословение широко расхаживающего по двору с деловыми соображениями игумена — и схватил свободную лопату. Отец Ксенофонт как-то замолк при нем, и месить стали насупленнее, даже злее.

А место притягивало новых. Вот и краевой художник Димитрий Иоаннович — сколько таких перебивает — привез иконы на жести, выполнил

заказ. Приколотят их снаружи на церкви — в нишах, и будет на что пере-креститься «всяк сюда входящему».

Одна крепкая старуха, широкой кости, по имени Марина (странно было звать старуху Мариной, это имя к молодым приросло), довольно энергично взялась готовить, выжив с кухни другую, незаметненькую, имени которой вспомнить потом не могли. Та старушка-одуванчик на кухне никому делать ничего не позволяла, из скрюченных ревматизмом ручек тарелки, бывало, не вырвешь помыть — и вдруг ей стало к дочери пора. Запричитала, засобиралась и уехала.

Ворчливая Марина Ксенофонтову аппетиту не потакает.

— Игумен есть, — буркает, — благословлять.

А игумену безразлично: ест, что подадут, — дескать, не заслужил пока. Ксенофонт пожалуется, пожалуется — и вдруг сам состряпает для всех что-нибудь вкусненькое: чаще всего обожаемые им «барабульки» — комки сладкого сдобного теста, пущенные поплавать в кипящем постном масле. Все обедаются и дышат тяжело.

Благодатен монастырек, когда невелик. Когда раздуется да богатства понаберет, коврами устелется в кельях, золочеными крестами обзаведется, когда икон понатащат в него и братия чинно усядется в трапезной по сану, по ранжиру — тогда, конечно, достигнуто многое. Но что-то милое миновало и в даль отошло — историческую даль, хотя и было только вчера.

Паломники, Владимир и Игорь, вытянув жилы на работе, по вечерам читают, каждый свое, но откладывают книги и спорят, какой церкви быть. Однажды переругались вдруг.

— А я говорю — смиренной, — Владимир даже на койке привстал, — смиренной ей быть, какой же еще!

— Ты откуда такой взялся? — зашипел на него Игорь и бросил пренебрежительно: — Блаженненьких нам только не хватало!

— Ты как... ты как мог?

— Це-ер-ковь, — выговорил Игорь с назиданием и надсадой, — го-о-осуда-арственная машина, — и стал нервно переключать книжки на тумбочке. — Не хотел я и разговоры-то с тобой разводить. Вижу — незрел.

Игумен вошел, как подкараулил, развлек их немного рассказами о своем житье-бытье, когда в колокол еще звонил, бутылки сдавал и вычищал из раковин плевки за батюшками на приходе, куда сбежал из дома. «Папашка родной — злой, напьется, мать бьет, а я — под кроватью». Весело говорил и легко, они с ним тоже развеселились. А ему понять их хотелось, кто каким окажется: кто церкви служить будет, а кто ему и через него уже — церкви. Кто только церкви — тот уйдет и в другом месте станет все той же церкви служить; а кто ему — тот так с ним и останется, так с ним и будет и грешить; и каяться, и дальше строить при помощи греха. Но ничего не узнал, не открылись пока они ему.

— Вы, — сказал им загадочно, — будете подниматься здесь, а я опускаюсь с вами.

Рассорившись, паломники не помирились, даже расселились по разным комнатам. И работать стали по отдельности. Игорь бросил раствор мешать, крикнув:

— Я отцу Ксенофонту зарплату зарабатывать не стану!

— Что же, он зарплату получает?!

— А ты не знал, святоша?

— Не знал. Да все равно мне!

Маленькая церковка, совсем крохотулечка, а сколько сил человеческих впитала в себя — ими напитанная теперь и стоит. Известь в бочках возили — чуть глаза себе не выжгли; в коробе раствор размешивали — спорили: песок сыпать в известь или известь лить в песок; ведра с раствором поднимали «врукопашную» по лесам — чуть не обвалились леса, сколоченные «абы побыстрей».

В конце месяца отец Ксенофонт с блудливым выражением на лице просит мастера из реставрационного управления закрыть ему «пятьсот», а после ужина хаёт «совдепию» — какая она дрянь и не туда она средства пускает.

— Дали б нам эти деньги, уж мы бы ими толковее распорядились. А коли все равно не дают, то мне их обуть никогда не грех.

И тут же из одного озорного балагурства расскажет, как мальчишкой бегал из интерната, да всякий раз отлавливали его и возвращали насильно. И жен своих помянет и — что он с ними сотворял.

— Молчи, свинья! — крикнул послушник, который отказался работать на него, Игорь. Он пришел откуда-то из поселка пьяный.

— Николай ты. Коляном ты был, Коляном и остался. Никакой ты не Ксенофонт, понял! Забыл, свинья, как я тебя, пьяного, в Тобольской епархии пинками из трапезной выставлял? Обжора, мешок ты с говном! Тебе б только жрать, и жрать, и жрать.

Насельники замолкли и занедоумевали каждый про себя. Димитрий Иоаннович к себе засеменял закрыться там.

Когда одни остались, Игорь вовсе разошелся. В лицо отцу с наскака плюнул, кулаками замахал, как мельница. Пальцы ему в бороду запустил, рвет ее. Уже кровь показалась изо рта у Ксенофонта. Сцепились, упали и покатались, как два кота, по дощатому коридору под колоколом, веревку задели — и сбрыкнуло.

Игумен сидит вечером в келье Ксенофонта с утешением. Тот показывает ему клочки бороды — собрал на полу.

— Хранить буду, — говорит, — знак страдания моего.

Игоря куда-то унесло, допивать с местными: и живет теперь у них, и ест — не пожелал терпеть порядки возрождающегося монастыря. Сначала монастырь, потом тюрьма, потом опять монастырь, потом опять тюрьма, потом... — путь православия в России.

— Страдаешь, — уговаривает игумен. — А когда ты сам в день дьяконской хиротонии нажрался — ведь до положения риз! — разве я тебя не простил?! И ты прости.

Паломник Владимир отбыл после драки, вернул все книжечки: «Добролюбие», сочинения святых отцов — и поехал выше на Север, куда и собирался, да задержался здесь.

— Ну-с, посмотрел на жизнь нашу грешную — и с Богом, — сказал ему игумен.

— Благослови, отче, на дорожку.

— Благословляю. А надумаешь к нам — примем.

— Спаси, Господи.

И поцеловались трижды. Опять стихло.

Ксенофонт простил Игоря. Но когда игумен уехал и Ксенофонт в трапезной уселся в его кресло, Игорь опять на него набросился:

— Ты не имеешь права сидеть в кресле наместника, ты — плебей!

На божественной литургии, которую служил Алексей, стояли с зажженными свечами вместе.

Приезжали какие-то люди, уезжали, ссорились и мирились в монастыре, кто-то остался, разрослась братия; постригся Игорь в Пимена и рукоположился, ходил уже с крестом и то каялся, то на всех орал. Был за экономом, Ксенофонта оттеснил. Тот собирал грибки, изредка готовил, насочинял назидательных стишков, притч и наставлений, жаловался на боли в пояснице из-за поклонов и на усталость от ежедневных келейных правил — но штукатурил с прежним неистовством. В ветреный день полез водружать крест на купол, поднялся с ним, помолился наверху... Маленькая церковка — а падать высоко: внизу битый камень, доски с гвоздями. Минута торжественная: его это крест, потому что с первого дня он здесь и хочет он быть поближе ко кресту. Собрались они все в монастыре возле какой-никакой, пусть даже смиренной и монашеской, но все-таки славы —

славы первых насельников обители сей. И фотографируются, и каждый свой день отмечают, словно в невидимых скрижалях. Теперь стоят вместе внизу: и Пимен, и игумен, и остальные. Глядят... Но ставить крест на ветру — им такой славы уже не нужно. Грохнуться им не нужно. Им бы только силу благословения иметь, как силу власти, — они и благословили: делай, Ксенофонт. Кот его, Бомжик, приперся тоже. Задрала голову умная животиная, следит за тем, как хозяин, корячась, крепит и прибивает громадину православного восьмиконечного креста.

Владыку ждали на следующий день, на освящение храма и алтаря — владыка все алтари освящает в епархии. На божественной литургии Пимен тыкал Ксенофонта в бок:

— Поёшь не так.

Тот огрызнулся:

— Меня учили по крюкам, а ты не лезь! Это тебя неизвестно кто учил, а меня праведные люди. И произносить буду «Господэви», как учитель мой духовный, а не «Господеви», как вы тут!

Пимен будто стерпел — в богослужении ему пока многое непонятно, понятнее раствор, плитка, швабры, ведра. Но однажды, напившись в окружении недавно принятых на работу маляров, в том числе бывших зеков бывшей промколонии, из-за которых монастырь снова начинал, через матерщину и всяческое блатование с ухарскими ухватками, преобразиться в тюрьму, впал в раж и ударил Ксенофонта. Ксенофонт постоял словно в раздумье — трезвый был, — тронул большим пальцем уголок рта, поизучал, есть ли кровь... Нет, не было. Еще подумал... И вдруг молниеносно откуда-то сбоку выписал Пимену — тот рухнул и, отгремев раскинутыми мослами, замер.

Игумен, снова уезжавший по делам, вернулся на следующий день. Ему бабка Анна обо всем доложила.

— Видел кто-нибудь? — спросил зло.

— Может, штукатуры и видели, да насмотрелись, поди, — развела руками бабка Анна, пятая по счету кухарка, которую саму чуть не выгнали за постоянные препирательства с послушником Сережей, и, осмелев, добавила: — Пимена еще за первый случай не рукополагать, а от церкви отлучать надо.

— Правильно... Отлучим, а кто поднимать все будет, строить, служить? Ведь в епархию ездил, падал на колени, каялся — и за старое, подлец!

Через неделю, переболев и телом и душой, Пимен уехал насовсем. В день обретения мощей его видели, он расчувствовался, пожимал всем руки, целовался.

— Служим, — говорил, — при храме при одном, в восьми верстах от Алапаевска, на разъезде. Да кому это теперь нужно? Поплачем, поплачем — и снова служим.

В тот же день видели и Ксенофонта, но из-за множества народа — десятков иереев и тысяч богомольцев — отцы противники, кажется, не заметили друг друга.

Ксенофонт после исхода Пимена ходил степенный, порядки опять осуждал.

— Мне надо, чтоб как в старину: деревянная чашка и деревянная ложка. Хлебушком обтер — и мыть не надо. А тут развели — фарфор, чашечка такая, ложечка сякая, да еще и вилочка. Да на Руси Святой когда-нибудь братия вилокми пользовалась? — разорялся он перед бабкой Анной.

— Я уже не говорю про то, как мы поем. Слава Богу, хоть собак убрали, додумались наконец-то.

Впрочем, если заходил игумен, умолкал и даже начинал лебезить, но не от выгоды и двуличия, а по какой-то странности — потому что, отлебезив на людях, уже через час, когда их больше никто не слышал, ругался с игуменом вовсю.

— А я тебе сказал — нет! Вот ты где у меня сидишь! — кричал игумен ему.

— Ну и пес с тобой, раз не хочешь разумного совета слушать! Твой монастырь, а не мой!

Одна в монастыре воля, и не может он быть каким-нибудь разнообразным и всяким. А каждому приходящему сюда надо какого-нибудь своего монастыря, монастыря по себе, идеала монастырского надо. Не послушания, безвестного, уходящего в прорву, в песок, в тлен — и во славу Божию, но и в никуда, потому как не видно, не слышно и непонятно, куда все-таки оно уходит, послушание; не молитвы — а чего-то такого, что, раз вообразив, уже от себя не отнимешь, — однажды и навсегда придуманной благодати, которую одну только благодатью и считаешь. Благодать — с деревянной миской и деревянной ложкой, а с вилкой и фарфоровой тарелкой уже не благодать; благодать с «баушками», приходящими к любимому монашку... Здесь благодать на благодать войной уже идет, если чужая благодать твоей поперек.

— Я тебе говорил — выкинь телевизор, а ты его держишь! Не сели кого попало, а ты селишь!

— И у владыки есть телевизор, и Патриарх всея Руси смотрит телепередачи, разделяя, правда, какие из них греховные, а какие благостные, — кротко возражал игумен на попреки. — И тебя я не выгнал, дурака, хотя мог. Всех бы вас мог разогнать за все то, что про вас знаю.

Укреплялась братия вокруг игумена — та, которая не прельщалась, а принимала все как должное. Кто-то из них от армии спасался, кто-то обет выполнял, коли однажды дал его в минуту, может быть, смертельной для себя опасности.

— А то разведутся с женами — и в монастырь, — вроде как разоблачила одна бойкая паломница. И добавила едва слышно: — Как сынуля мой.

Для них-то, беглецов из ниоткуда и в никуда, получается, и строилось, и возводилось — не идеальное, а такое, которое удавалось из всего сущего вывести: клякса на кляксе и с хвостом на чердаке.

Еще больше претерпевал дьякон Ксенофонт. То отрешенно стоял на клиросе вместо того, чтобы петь, то блажил — то есть пел не в лад — или еще как-нибудь по-другому блажил. Но внезапно ожесточался и даже свирепел.

— И от какого ничтожества терпеть приходится, э-эх, доля монашеская, — жаловался послушникам, которые по странному недосмотру оказывались именно в его попечении. — Послушание-то послушанием, а если прикажут вдруг — убий?!

— Да разве же прикажут? — пытались возразить робкие послушники.

— А вдруг — бес? Так и прикажет.

— В православном-то монастыре?

— А бес всюду. Где больше молитвы искренней, он туда и летит. От ничтожества, которое по стенке бы так и размазал, страдаю! — Он восклицал с пафосом и трясся, но само ничтожество не указывал. Жутковато, однако, становилось тем, кто слышал, и они удалялись.

Обнаружив беса или для забавы, однажды он давил крысу. Бедная тварь распласталась под сапогом, суча лапками, — лицо отца сладостно лоснилось, он восходил куда-то великаном по своей лестнице, сапог медленно опустился, косточки нежно хрупнули, толстые пальцы взялись за хвостик и бросили за монастырский забор мохнатую тушку, которая, пролетев рыжим веером, повисла на проводах, — царство ей небесное.

На этом не вполне удачном его деянии можно бы и прерваться, лишь сообщив, что он оставил эту обитель ради какой-то другой, где если и блажил, то терпел до конца и, стало быть, был терпим и другими. Ведь претерпевший до конца спасется — так, кажется.



## ИСКУШЕНИЕ АНТОНИЯ

Пухленький, кругленький, светленький и голубоглазый человек лет двадцати с небольшим, присев на лавочку, записал в записную книжку мысль или даже коротенький стишок. Укромно устроил книжицу свою в куртке и остался сидеть, помаргивая мохнатыми белыми ресницами. Ничего не скажет не подумав — даже, кажется, сначала подумает, а потом мысленно запишет, потом прочтет по записанному. А когда думает, на большом, как у теленка, белом лбу его перекатываются сыпучие барханы сомнений. Он новое лицо в монастыре — Антон, или, как прозван, — Антоний.

— В экономике разочаровался, — объясняет, почему оставил соответствующий факультет университета. — Экономика призывает к прогрессу, а прогресс человечеству ничего не принес, кроме вреда. Не может и не должно быть прогресса. Зря учусь.

И возразить-то ему будто и нечего.

— Я, собственно, еще не ушел совсем, а в академотпуске нахожусь. Мне решить надо.

— Да как вам сказать... Ведь коли опустились до прогресса, куда ж теперь от него сбегать? Вот и приходится как-то выворачиваться, и экономику вашу, может, единственно для того и выдумали, — пытался утешить Антония священник из «думающих», штатный духовник, его частый теперь собеседник.

Наступила та минута трапезы, когда «аминь» после благодарственной молитвы уже произнесен, братья в основном разошлись по послушаниям, а не успевшим доесть позволяется (вопреки уставу) доскристи в тарелках и допить под звяканье убираемой посуды монастырский жиденский чаек, нацеженный из самовара, напоминающего бронзовый бюст Наполеона.

— Суетно, — говорит Антоний, в такт опустив ресницы, — суетно здесь.

И внезапно признается и сам краснеет:

— Я бы домик предпочел в тихом месте, за забором, дачку на отшибе где-нибудь у моря...

Да кто б ее не предпочел, дачку-то? Экий придумал соблазн для монаха в монастыре! И когда еще суетиться, как не в молодости? Впрочем, когда же еще и спастись?

— А про себя я знаю, что мне искушение посылается, чтобы претерпеть.

Он говорит и самому себе, и другим, кто случайно рядом. Когда кашеварит, заводит будильник, чтобы, читая нечто праведное, благословленное ему тем же духовником, — Серафима Роуза, например, — не прозевать кашу. Но она обязательно пригорает, и братия разом втягивает носами воздух от кастрюль: не пожар ли где? Нет, братья, не пожар — Антоний варил.

Удел новичка — кухня. Есть призвание, нет ли, умеешь ли, не умеешь — не важно: становись к плите и соли, и перчи, и если есть вера в тебе, то с молитвою обед удастся.

— Скажите, отче... — и вопрос повис, и голос осел, и тарелки отставлены, и замолчали все. — Скажите, отче, как различить лукавого в себе? Ведь постоянно же: кажется, правду говоришь, а подумаешь, и она — ложь.

— Это ты верно заметил. Если уж сам сатана ангелом прикидывается... И молитва, и пост могут быть в нас от лукавого. Смотреть на себя надо не очами своими, но подставлять душу свою пред очи отца своего духовного. Он один тебе и скажет. И вообще, если строго, то и письма нельзя послать, не дав прочесть его своему духовному наставнику. Может, ты в письме искушаешься или осуждаешь кого.

Духовник от волнения даже встал и прошелся за спинками стульев, будто читая мысли, братией брошенные, забытые и еще витающие здесь.

— Опять рассуждаем, опять учим. — Келарь на пороге поднял над головой схваченный на кухне будильник — первый предмет кашевара, и, озирая послушников, последние из которых покидали трапезную прижимаясь к стенке, грозно тыкал в циферблат перстом: — Через минуту чтоб здесь никого не было! И до самого ужина — дверь на замке. Антоний, ты понял меня?

Скомандовал — и исчез. Зазвенели убираемые тарелки, оскорбленно вышел духовник.

Шесть-семь, а по праздникам — восемь часов поет Антоний на клиросе (и это еще мало, в старых монастырях десять — двенадцать пели по уставу), еще четыре проводит на кухне и в трапезной: перчит, солит, моет, раскладывает, нарезает, успевая еще и почитать из святых отцов — глаза уже слипаются. Через месяц выдали подрясник, и он теперь как бы в новой категории духовности, а еще через месяц принимает мать с отцом, приехавших свидеться.

Воскресный день, суетно особенно, мать помогает ему с рассерженным лицом, обслуживает старушек, которые, словно сушеные грибочки на ниточке, нанизались вдоль стола — скромненько вкусить. Принесли полные сумки подаяния: хлеба, варенья, пирогов, яиц, еще каких-то калачей, — а едят, как птички. Птички Божьи и есть, да ими церковь стоит, они и есть церковь. Поклевали и быстренько поднялись для работы.

Отец отговаривает Антония — сам чуть ниже сына, еще круглее, еще румяней, — но немеет и застывает, когда кто-нибудь вдруг входит. Антоний спокоен, однако бровь дергается. Иные святые не пускали сродников своих в монастырь и не выходили к ним, а посылали послушника сказать: не встретимся здесь ради пребывания в жизни вечной.

Родители Антония увезли, а через три дня появился он с двумя белыми мешками, свисающими спереди и сзади и связанными между собой на плече, явился странником, созревшим для нестяжающего монашества. Прошел мимо развалин кафедрального собора, поднялся на второй этаж братского корпуса, низким поклоном и легкой улыбкой поприветствовал всех встречающихся. Слух, что Антоний вернулся, пронесся по монастырю, докатившись и до него самого. «Я вернулся, оказывается. А вы что про меня думали?»

Трапезником назначен другой, у Антония соблазн — писать иконы. Благословился у игумена и ходит к художнику-иконописцу в его избушку за рекой. Художник работает на росписях в храме даже среди зимы, и они оба дуют в красные озявшие пальцы.

— Антоний, сходишь за хлебом, Антоний, вымоешь пол, — говорит ему келарь, и всякий раз недоволен или делает хмурый вид и сообщает всем вокруг: — Нерадивый, потому что к физическому труду не приучен... Художники, музыканты, поэты — это монастырь или пансионат?

— Антоний, ты не устал сегодня? Может, пропустишь службу? — спросил его как-то благочинный.

— Антоний не устает! — ответил за него духовник с доброй и сильной хрипотцой и ударением на «ё», но благочинный продолжал смотреть на Антония, и тот, дважды хлопнув лопушками ресниц, вдруг пожал плечами — плечи даже сами, как на пружинах, подпрыгнули у него по очереди — и сказал, робея:

— Пропущу, пожалуй.

— Тогда не ходи сегодня, — сказал благочинный ему намного строже и без той уже теплоты, с которой спрашивал, будто услышать ожидал совсем другое.

— А плохо, что обрадовался я предложенному, — сказал Антоний, когда благочинный уже отошел от него, то ли духовнику, то ли самому себе.

Опять слухи по монастырским коридорам: уходит.

— Уходит от нас Антоний, — повторяет келарь, с явным удовольствием потирая руки.

— Не может быть!

Этот человек явно держал собой какой-то свод, как чувствовали многие. Игумен не уговаривал — благословил и денег дал на дорожку до родного дома или по монастырям. Стали допытываться друг у друга — не из-за келаря же? С художником вышло что-то или, точнее, не вышло. Будто говорил ему художник: «В иконописи не прыгают, в иконописи потихоньку движутся. А ему сразу всего подавай. И лики, и фигуры, и иностранцам на продажу. А ведь многие купят — потому как не понимают, а места святые... Соблазн халтуры, а халтура в подобном деле грех...» Много чего наговорил художник.

— Ему разве иконопись нужна, мастерство? Ему бы перед игуменом покрасоваться, — добил и закашлялся от неистового курения.

— Талантливые люди покидают обитель сию, — встрял тут один из вечно конфликтующих дьяконов, — серости остаются. Терпеливые, но серые — вот наша беда. Серые все перетерпят.

Было отмечено за Антонием и осуждение, в которое он впадал все чаще.

— Она — запуганная! — говорил он про кошку, жившую под ступенью лестницы, и братия из кельи напротив должны были принять: они запугали и им как бы поставлено на вид.

Пожалели немного Антония, каждый про себя, да на все воля Божия: пусть, мол, идет — значит, таково его искушение. И уехал: с кем простился, с кем позабыл, а с кем и не захотел — сердцем не отмяк.

Прошла неделя или меньше, и шепнул кому-то кто-то (здесь сначала шепчут): приехал Антоний. И тот нерухнувший свод как бы почувствовал опору под собой. Искусился и вернулся, снова с братией тягуче произносит: «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», — переливаются по лбу барханы от постоянного биения самоконтролирующей мысли, на губах обозначилась виноватая улыбка в отличие от его прежней, снисходительно-размягченной.

— Как в миру-то — суетно?

— Суетно — не то слово. Суетно у нас, а в миру — дьявольщина.

— И в миру хорошие люди есть, от них усилий душевных, может, даже больше требуется, чем от нас здесь, в искусственных-то условиях, — возразил благочинный резко. Он еще что-то хотел сказать, но оборвал себя.

— Может, и есть, только я не видел. Мне кажется, каждому из нас надо опуститься до скотского состояния для жизни в миру.

— Ой, а я как однажды оказался на вокзале, — вступил в разговор один молодой послушник, — я так испугался, ну так испугался, что в мир больше ни ногой, нет-нет, никуда теперь из монастыря, так я испугался.

После трапезы келарь, который в последние дни отсутствия Антония частенько вспоминал вслух, как они вместе солили селедку, объявил распоряжение игумена: быть Антонию библиотекарем. Еще клубок не надел, а должность — духовные устремления предугадывать, почти духовник. Для начала следует разобрать залежи пылящихся на полках в ризнице, вперемешку с иконами, книг из Джорданвилла и многих других православных мест.

С радостью было взялся Антоний, но вскоре ушел опять. Два месяца миновало, три — вернется или нет? Или уже вернулся: только в мир из монастыря, а не в монастырь из мира. И здесь напрасно ждут, коли там дождались.

## СТАРЧИК СИЛУАН

— Помолиши Бога о нас, — говорит ему игумен. Шутит. Шустренький, прыгающий, подпрыгивающий дедок. Суетливый. Сначала сам приехал в обитель: принесло, ветром занесло, духом занесло, как многих заносит и уносит. А личное дело долго едет. Тащится где-то на перекладных. Кто ж поверит и кто ж без него служить допустит? Мы-то все — труха, отпрыгаем — сгнием, ничего и не оставим после себя, как блохи, даже молитвы не оставим. Произнесем только, а примет или не примет Тот, Кому посылается, не дано нам знать. А в бумагах — солидность, основательность. Досье. Прямиком — в архив.

Старец, понятно, не дожидаясь, пока придут в запечатанном сургучном пакете документы, старается побольше о себе выболтать: и под запретом-то был, и от матушки ушел, и развелись они, хотя и по-доброму, и детей десять штук, и шалопай есть среди них, но есть и порядочные. А есть кто и по тюрьмам охотник поскрестись. Старшие уж дом делят, покоя нет; келью дадите — останусь.

На машину запрыгнул и командует с подножки, молодых погоняет.

— Да ты слез бы, дед! — кричат ему.

Да разве ж сам по себе слезет? Непослушный. Грузят железо какое-то: трубы ржавые, умывалки от колонии малолеток — вырывают, гнут, вывозят весь этот скарб, поскорее бы отделаться от дряни, поскорее бы переломать хозяйство окаянное.

А в трапезной он — массовик-затейник. Первый придет, сядет на лавку напротив входа, через стол, и цепко присматривает, кто как крестится и что бы ему на это сказать. Иному ничего, промолчит, а в ином увидит склад его души — может, робкой, может, мятущейся — и рот тогда, обрешивший, приоткроет:

— Один двадцать лет так крестился — а черт над ним смеялся, а черт как раз на плече-то у него и сидел. Ха-ха-ха.

И тут все засмеяться должны были, по его собственной мысли, но почему-то не засмеялись, а только улыбнулись, снисходительно оглядев вошедшего.

Еще поглумится, прибауток выдаст — тут и трапеза; потрапезничают, впрочем, чинно, по-монашески. Закончив, отмолятся и разойдутся отдохнуть перед службой.

Допущен он — один из священников заболел. Коли не хватает их — хоть с улицы бери, обряжай — вот и возглашают, ряженные: «Яко Твое есть царство и сила и слава». Узнается, конечно, и без бумаг, кто он и откуда. Кадровиков теперь не надо, в каждом целый отдел кадров сидит, все про новичка высмотрят, визнают — и не вывернуться. Монастырь из человека прежде всего дурное на всеобщее обозрение выковыривает: служи знай себе, а истина откроется. И про тебя самого, и про других.

Надвратный храм — мал и уютен. Пятачок возле алтаря, далее — лестница вниз. По праздникам и на ней стоят, и внизу — если праздник велик; а в будние, обычные богослужения — пусто, придет разве старуха-другая...

Большой храм не отстроен еще — в нем в баскетбол играли; железо, которое стены держало, выпилили — мешало в лузы попадать. Потому теперь и не знает никто, рухнут те стены или еще постоят; надо железо заказывать на металлургическом комбинате, приваривать, что куда дороже и на несколько месяцев дольше, или все-таки сейчас уже открыть поскорее, а потом когда-нибудь и заказать и приварить?

Утреннее богослужение по постановлению духовного совета — в шесть. Старику это нравится — рвение показать. Дьякона отчитал за опоздание. Грузный дьякон не выспался и блажит на клиросе: не поет, а буб-

нит и не знает, из какого места произносить — то ли из постной Триоди, то ли из Миней — запутался. Другой дьякон, явный недоброжелатель первого, выходя на амвон, тычет ему — уже и палец ораером обмотан, и ко лбу приставлен, и голова в полупоклоне, а с губ злой шепот:

— Чё дуру гонишь?! Правильно пой!

Не репетиция, в конце концов, пусть в храме и нет никого. Есть подлинное рвение, а есть нерадение — а репетиций вовсе не бывает. Тот пуще обиделся, насутился и от аналоя с разложенными на нем Четьими-Минейми, акафистником и Триодью отошел на шаг, по самом себе горюя. Они и дальше будут теперь препираться друг с другом каждую службу, пока один из них не уйдет. Уйдет и второй, но уже при обстоятельствах почти детективных и никакой разгадке не поддающихся.

Силуан мирит их, петухов. То есть не Силуан он еще, а отец Александр — таково мирское его имя; Силуаном ему предстоит стать в постриге, и произойдет это месяца через три. А пока — осень, слякотно и мрачно. Ни прожекторов, ни ламп на монастырском дворе. На вечернее богослужение пробираются по досочкам, с досочки соскользнул — хлоп, нырк, по щиколотку, а где и по колено; и подрясник отяжелел от пропитавшей его грязи. Добрались, отслужили, закрыли и храм, и ворота, идут по пустому двору гуськом. И переругались, и перемолились, и проголодались. Два цвета в глубинке хороших: зеленый и белый. Зеленые — трава, листья и крыши, белый — снег и стены; третий, дрянной, цвет — земли, черноты и грязи. В нем не разберешься по темноте, где что, — и плюхаешься, и мажешься... в наказание он против первых двух, которые в благость. Претерпим.

— Братья и сестры! — возглашал отец Александр дрожащим голосом во время божественной литургии, и стояла благоговейная тишина, а потом многие, проникнувшись, заплакали. — Вы видите пред собою грешника, который чего только не сотворял... И особенно много грешил осуждением других и хулою на других. И я понял только теперь, — голос осекся, — как надо, — опять осекся голос, — было бы. — Слезы в горле, а кто-то зарыдал в храме. Голос внезапно отвердел: — И поэтому я становлюсь на этот искупительный, спасительный монашеский путь. Вам же даю совет: живите по слабым силам своим, — пауза, — соотнося, — пауза, — каждый свой день земной со днем вечной... — Здесь слезы опять выкатились из красных глаз, и покаянный проповедник махнул рукой.

Его постригли в канун Рождества Христова, в самый мороз. Он попросил как следует натопить храм — так как, по обряду, должен бы просидеть в нем ночь в одной рубашке — и оставить побольше дров возле печки. Так и было сделано двумя молоденькими послушниками. Он выбрал себе имя, одно из трех, и никто еще не знал какое. Так как постригали священника, постриг был торжественным и долгим. Группа прихожан немного расступилась, когда его ввели — беспомощно-белого, как стрельца для казни, — и он пал на приготовленный для него ковер и пополз, согласно ритуалу, к алтарю, где архимандрит ждал его с ножницами. Четверо иеромонахов закрывали его мантиями, в их руках горели свечи. И люди, немногие собравшиеся в храме, тоже будто свечи, как-то тихо оплавлялись.

— Имя твое? — спросили его.

И он повторил возглашенное архимандритом непривычное имя: «Силуан».

— Спасайся!

Подшли священники для поцелуя и послушники с поясным поклоном.

— Как имя твое? — спрашивал каждый, и каждому он называл, и каждый говорил в ответ:

— Спасайся!

Он еще накануне рвался повидать своих, но игуменом не благословлено было и поэтому не состоялось. Никто не приехал к нему, а ехать самому к ним — соблазн, страсть и искушение. Поэтому и не благословил игумен. Претерпел отец Силуан.

Длится ночь новопостриженного в храме. Принесли покушать, заботливо догадались поставить внизу для нужды ведро.

Отоспали сколько-то часов братия, когда крик раздался. Тогда еще не вставали в час для ночных богослужений, поблажку еще себе давали. (После, с приездом одного деятельного отца, ввели полуношницу, для монахов — обязательно, для послушников — по желанию. И в коридорный колокол — бом-бом-бом — ввели бить, созывая среди ночи, тихо и мерно.)

— Пожар! Горит!

— Где горит, чё горит?

— Пожар! Сарай горит! — проорал Силуан и удрал. Видимо, туда, где горело.

Высочили смотреть сарай. Он не горел, и Силуана возле не нашли, но в противоположной стороне от хоздвора заметили всполохи пламени, выбивавшегося из-под крыши над первым этажом пристроя к храму, где была печка и куда по просьбе постриженного натаскали побольше дров. Потом дело исследовали. Возникла версия, что дрова слишком близко лежали, но непонятным осталось, как же так: или слишком сухие оказались дрова — доски пола, разобранного в бывшем клубе, или — в краске; и одно полено прямо на саму печку взгромоздилось и угодило в норку для чайника, а там затлело, затлело — от него и остальные. И когда Силуан, бывший все время наверху в молитве, по нужде пошел, дверь открыл и воздух хлынул — мигом вспыхнуло все, аж дало в потолок. Сам пророк Илия пожаловал на огненной колеснице.

Схватились братья за багры. Показали братья героизм, потушили. Еще пожарные приехали, которые в двух шагах в карты резались, залили пенью. Вонь от паленого отменная стояла. Теперь как в храм идти — потуже нос зажимай.

Силуан служил без перерывов и только в непростительный банный день проводил одно богослужение вместо обычных двух. Все также просил послушников хорошо топить ему. От радикулита носил поддевку, от больных ног — валенки. В храме они стояли за лавкой. Придя, надевал. Он их берег, они для него были как сами ноги. Никому нельзя было ничего положить на то место, где стояли Силуановы валенки. И не дай Бог как-то их пододвинуть, потревожить. Тут Силуан начинал доискиваться, кто двинул и зачем, — и против того ополчался. Он сделался смиреннее и тише после пожара, больше не затейничал в трапезной, смех и хихиканье не сыпались, как прежде, из него. Но и став благочинным, то есть вторым чловеком после игумена, он в замечаниях и тычках заходил очень далеко, и братия потихоньку сопротивлялась его указаниям. Он отодвинулся от братии, стал отдельно есть, после всех из собственной тарелки, которую мыл сам. Братия шептались, что не пожар это вовсе был, а бесы из него выходили. Да, видать, не вышли. Едва ли он слушал этот шепот, но тем не менее сошелся с художниками, жестянщиками и прочей приبلудной нечистью, собирающейся при всяком ныне действующем монастыре, которая курит, не читает молитв утренних и вечерних, хотя прекрасно знает, что обязан их читать всякий православный христианин, ругается матом, употребляет спиртное непомерно, а причащается хорошо если раз в год перед Пасхой; и еще цинично заявляет, что это дело совести каждого — во! — сколько раз ему исповедоваться и когда причаститься. Согласиться никак нельзя, однако, что удивительно, люди хорошие. Попридох к ним Силуан. Они ему о себе расскажут, он — им. Одному, не удержавшись, сделал-таки замечание. Зачем длинные волосы носишь? Длинные волосы можно носить, если в постриге или в сане. Был бы шалопай или не пони-

мал бы ничего, как многие из ваших, так про тех и речи нет, им и не скажи, а скажешь — пошлют, прости, Господи. Символ веры признаешь? Богородицу чтить? Тогда надо стричься, как все это делают, пока не принял сан.

Смирялся недолго старец Силуан. В должности поприбавил прыткости. Братья, картошку перебирая, рассуждают о вере: вещи глубокие, непостижные поднимают, картошка в пальцах от задумчивости крутится, уже не надо ей столько крутиться — не алмаз, но зато мысль рождается в черепе: пусть, может, и короткая, но трогательно параллельная какой-нибудь заповедной мысли Божьей, — ан тут Силуан ворвался и наорал, и наорал.

— Батюшка, разве ж можно так, — жаловался молодой монах чуть не плача. — Сидим мирно, спокойно... А он — «а ты вообще молчи, татарская морда». Это что ж за искушение? Это прямо хулиган какой-то!

Провели собрание монахи, на духовном совете сняли Силуана с благочинных. Служить поставили клиросником — руководить хором и монахом-регентом, коли тот в службе ничего не понимает, а заодно и всем богослужением, которое есть тайна за семью печатями не только для мирянина. Лет тридцать пять надо в церквах отслужить, не меньше, чтобы разобраться в последовании, иному же попу за всю жизнь его не откроется. Прыгает в своих мягких валенках отец Силуан, со строптивыми дьяконами ругается. Одного уже отстранил сегодня; тот стоит возле алтаря, голову наклонил: молится, но не служит.

— Издевается ведь надо мной, скотина такая — просто скотина! — скрежещет Силуан. — Не буду служить, не могу больше с ним служить, все, хватит.

Снимает валенки, побряхтывая, и идет запорошенной снежной дорожкой из храма один, когда еще горят огни в окнах и открыты ворота.

Он сам наказал себя за гнев, попросившись на кухню трапезником на две недели. Все трапезники сбегают. Старец Силуан каждого входящего — и не только братию, но и принятых для всяких работ божьей, кому благословлено столоваться, — встречает в дверях, указывает ему его место, где и тарелка, вымытая и насухо протертая, и приборы. Лучшего трапезника здесь не знали с момента воскресения монастыря из мертвых, хотя за два года, прошедшие с тех пор, как последняя мирская организация увезла отсюда своих бритоголовых подопытных, в этой должности кого только не перебывало.

Он покинул обитель весной вдруг, сославшись на здоровье, и отбыл в родные места. Как-то летом, на праздники, еще заезжал — может, в Духов день или на Троицу — на «Икарусе» с большой компанией молодых священников со своего прихода, где уже был настоятелем, певчих и детей этих певчих, которые тоже пели.

## ДЬЯК-КРЕСТИТЕЛЬ

Глазки черненькие. Сверлят, переливаясь. Сам росточка небольшого, но заметный. Третий день в обители сей, а держится проверяющим грехи чужие, вопросыки задает, и голова слегка наотлет. Чем-то напоминает карикатуру с Троцкого. Некая дальняя физиономистическая и психофизическая связь, даже завязь.

— Шью, — скромно потупясь, вдруг сказал о себе, обескуражив собеседника, молодого послушника. — Братии ходить не в чем, поизносились все тут у вас: ни подрясников, ни ряс ни на ком нет. Таких, каких надо, нет, — поправился, подумав.

Он-то, надо полагать, классные шьет. Засел в каморке-келье, строчил на машинке и настрочил чего-то. Изредка выходил проветриться по вечерам. Иногда даже надолго. Разок вовсе исчез, но потом объявился. На бо-

гослужениях не особенно-то видели его. Получил немного денег за работу — и опять пропал. Говорят, пьяным его встречали. Гадают теперь братия, пьет дьякон Викентий или не пьет. Скорее всего, не пьет. Однако встречали же. Даже интересно.

Дали ему послушание от игумена ходить за хлебом — эконому помогать — и четыреста рублей денег. Стоял в очереди час — не выстоял, так без хлеба и пришел.

— Дьяк Викентий, так ты без очереди его бери.

— Да как без очереди-то?

— Да так, как мы все его берем. У нас договоренность с магазином. Говоришь, что из монастыря, сумку подаешь, деньги протягиваешь — и она накладывает тебе сколько там, десять или пятнадцать.

Молчит и не понимает будто. Будто в первый раз неправославный верхотурский народец — лютые матерящиеся бабы, разохшиеся, как пеньки, мужички, шкодливо-шелудивые школьники, инвалидики с клюшками и вся населенная рвань тут, возле прилавка, столпясь, должны стерпеть, как православный русский поп «по договоренности» у них из-под носа тягает церковную хлебную пайку. Эх, лучше бы уж с заднего крыльца или с папихидного стола.

Опять, говорят, пьяным замечен. А где деньги берет? Да хлебные не вернул, но сказал, что взял в счет аванса за работу. «Гм...» — «Да. Взял, значит». Ну что ж, будем знать, каков он у нас, дьякон Викентий, чего ожидать от него, чего не ожидать. В обители все как на ладони — и грехи обнажаются перед Господом, и демоны вокруг одолевают. Помолимся за него.

Помолились за него и за всех — братский молебен отслужили.

— А подрясников ни на ком я здесь настоящих не видел еще, — говорит Викентий назидательно и прячется в своих швейных апартаментах, где еще недавно работали сестрицы женского монастыря, изгнанные за недостаточное радение.

В городе с хлебом опять неладно. Ни вчера не привозили, ни сегодня. Хлеба в обед нашлось только по куску, в добавление разделили оставшиеся от вчерашней литургии черственькие просфоры. И завтра, говорят, не будет — на хлебзаводе взрыв, говорят.

— Тра-та-та, — бормочет в растерянности эконом. И четками — шелк, шелк.

За монастырскими воротами — одни язычники, нехристи, — а еды всем подавай. А если свой хлеб начать печь? Испечем, только это нам наказание, как назидание, посылает Господь: беготню за хлебушком и с бесноватым людом якшание — сигнал какой-то, но не признанный, не разгаданный нами. Пусть и спасаемся внутри стен, а не мало ли будет «спасения» того?

Нет уже Викентия-дьякона в стенах обители. Как-то выжил, исчерпался во грехах и не стерпел. Стал чаще пропадать и дольше не показываться, будто даже знакомства завел мало соответствующие своему церковному сану и интересы далеко не молитвенные. Не сверкают уже черненькие глазки по коридору и ни в кого не вбуравливаются. Только через недельку вдруг узналось, что на хлебзаводе как-то крестил он полпоселка в одночасье. Водой окроплял и говорил, что крещены. Это баба одна рассказывала.

— Так что крещеная мы, — объявила не без лукавой гордости самому игумену.

И теперь нас-де просто так не возьмешь и на хромой козе не обьедешь. Хоть ты поп-растоп, а и мы — вот!

— Да кто крестил-то, матушка, ты? — Игумен, не удержавшись, выяснять начал. Он сам исполнял требы — отпевал и крестил — и оказался немало заинтригован.

— А приезжал несколько недель назад. — И «матушка» повествовала и описала.



— Что-то похож он на нашего Викентия, больше некому, — буркнул в сторону игумен. — Спаси ты, Господи, матушка.

Поворотившись, он широко зашагал к корпусу заместника, пнул половинку кирпича, попавшую под сапог, вдруг вспомнил из Писания: «Камень, который отвергнут строители, ляжет в краю угла», — и досадливо отмахнулся.

— Дмитрий! — раздался крик его в вестибюле. — Ты кота кор-рмил?

Белобрысенький мальчишка Дмитрий, недавно принятый келейником, мягко в валенках выпрыгнул откуда-то из-за угла:

— Кормил, батюшка.

— А ты чем его кор-рмил?

— Рыбы давал — голов и хвостов.

— Хвостов, — передразнил игумен. — Духовный совет собери.

Келейник унесся в валенках по коридорам, а через некоторое время в просторную келью игумена, на мягкие ковры, по одному, сгибаясь в поясных поклонах и крестясь на иконы, ступили человек пять — трое мантийных, по второму постригу, монахов, священник-духовник и довольно вороватый, вечно подозреваемый эконо. Узнав новость, заголосили враз:

— Любой ведь вправе?

— Дак и без крещения были крещенные в собственной крови.

— Кто в собственной крови — тот уже крещен! Тот еще как крещен!

— То когда было-о-о...

— А нынче что же — крещенные в водке считаются, да?

— Спокойно, братия, не заводитесь, братия!

— Получается, одни крещены в воде, другие в собственной крови, а третьи — в водке.

— Пьянствовали они там... — дал короткую справку игумен.

— И что же — дети были?

— А почему не быть? Если — полпоселка! И подростки, и совсем грудные — водой долго окатить ли?

— А мы вот как поступим, — сказал практичный эконо. — Мы дадим объявление в газету, что крещенные тогда-то и там-то крещеными считаться не могут и должны явиться в храм перекрещиваться в отведенные для этого дни.

На сем порешили. Игумен заперся у себя в скорбях. А про дьякона Викентия вскоре стало известно: взят он милицией на вокзале за бродяжничество и есть подозрение — кое-что нехорошее, даже страшенькое тянется за ним с давних времен... Но — ш-ш-ш — умолкнем до поры, потому как напраслина — грех.

## ПРЕДСТОЯЩИЕ

Двое стоят под воротами, переминаются в штиблетах на морозе. Штука-турки кусок навис.

— Мы бы хотели проконсультироваться насчет жизни в лесу.

— Живите, леса много.

Перемерили монастырь на предмет энергетики хитрым приспособлением — самодельной трубой из жести с закрепленной внутри ее медной рамкой на шарнире, которая внезапно начинала крутиться, словно ротор электродвигателя. Оба нюхают, роют, то сияют, то озадачены. Один из них — ясновидящий, видит ауру, то есть светлое излучение над головой каждого обитателя и над ликом икон.

— Коричневые, черные, в основном темные тона, — заключил брезгливо. — Тщеславие, зависть, корысть.

Из института нетрадиционных научных исследований пришелец.

— Знаю, но не скажу, над кем что конкретно. Есть и голубые тона.

Собирались в храме померить трубой своей — благословения не получили. Провалились в подвале в лужу, высушили носки и убрались. Пообещали дальше навещать.

— А я на курсах пчеловодов учусь, — сказал ясновидящий при прощании с «обителью сей». — Может, и пригожусь.

— Ага. Самое для нас тут нужное дельце.

Еще группочка экстрасенсов: женщина, совершенно инфантильный юноша и шустрый бесоватый подросток. Женщина терпеливо поучает юношу и помыкает подростком. Вообще непонятно, в какой они родственной связи, но ничего фривольного. И опять нюхают.

— Плохая карма, — говорит женщина. — Никуда не годится карма.

— Да тут мощи лежали! — с удивлением и несколько злорадно пояснил послушник, устраивавший всю компанию на жительство в большой пустой комнате, напоминавшей танцевальный зал. Сюда же и чай принесли им и накрыли на ящиках.

— Гроб с покойником! То-то чувствую — плохая карма. — Женщина как бы упорствовала, но от чая не отказалась.

Для кого мощи — для кого покойник, для кого нетленное — для кого воняет. Создается впечатление, что все лгут, притворяются, только каждый в свой черед, по самовнушению, по разученному сценарию, кем-то себя подает. Юноша — как-то ни то ни се, к чести его. Мальчонка же — за женщиной — воздух носом тянет и соглашается с умным видом, будто свое мнение имеет.

То являются людишки — никак не называются. Средненькая интеллигенция без занятия и средств. Всем на все давно плевать, побросали на полдороге возки свои с какими-то детьми, амуницией, выпряглись и живут свободно, и тоже роют, роют под корнями вечного дуба.

— Ах, какая же тут благодать! — восклицают поочередно. — Благодсть и благодстьня.

Не карма уже, а «благодсть». Поживут несколько дней... Понятно, где питание дармовое, там и работа «во славу Божию».

— Что-то меня здесь крутит, крутит, вихри какие-то черные, — говорит одна пришелица, для которой вначале здесь одна благодсть была. Глазенки на прощание вытаращила и исчезла.

Паломник заскочил — Виталик. Глаза умильные, ласковые; красив — вылитый Байрон или Чайльд-Гарольд его, — и со всеми целоваться: «Здравствуй, брат, спаси ты Господи, брат, во славу Божию, брат, прости меня, брат», — и опять целоваться, да троекратно, да в губы, да с поясным поклоном. Помолился, на клиросе попел. И видно ведь невооруженным оком, что заласкан женщинами. От ласк их да поцелуев и сбежал для молитвы за ограду — вне ограды молиться не дадут. Уже через неделю как-то странно заволновался, на исповедь сходил даже. Батюшка благословил читать «Настольную книгу священнослужителя», где руководство по всяческому обузданию с выдержками из Макария Великого, Иоанна Златоустого и прочих подвижников, в этом долго подвизавшихся и сильно преуспевших. Виталик подержал «Настольную книгу» чуть не вверх ногами — мысли не идут. Отбыл — и нет.

Как-то исчезают, словно ветром гонимые листья по осени. Один сорвался и летит, другой держится еще, хотя и обтрепался весь. Но вот и последний — долготерпец — скакнул и унесся; и — голая ветвь.

Перед кельей игуменской благословляется Олег.

— Останься, может, испытание посылает Господь.

— Да не могу, боюсь в грех впадать осуждения постоянного. Нет уж, поеду я.

— И на то воля Божья.

На все воля Его: и остаться — Его, и уехать — опять Его, — как тут угадаешь? Два месяца попел, трисвятое почитал, картошку еще поубирал с

братиками, повыкапывал вилами из сырой жирной земли, напитанной дождями, в самую непогоду, получил деньжат на дорожку ровно до следующего монастыря, где в ноги падают, — только и запомнили его. Глаза выпуклые, словно налитые до краев лампы, в которых фитильки утонули и маслице вот-вот прольется и потечет. В глазах гнев, однажды покоренный кротостью, и оттого обида такая долгая.

— А выгнали его, — напомним священник игумену.

— Чё это? Он сам ушел.

— А выгнали, выгнали.

Священнику важно, что выгнали, ему почему-то лучше знать, что выгнали, будто он выгнал Божьей волей, будто благословение ему было выгнать — и выгнал, а не в стороне стоял. Служит с идеей собственной исключительности. Отходил год в трапезниках и вспоминает о том с важностью. За п-образный стол воссядет, где и положено ему — в центре, рядом с креслом наместника, — словно птичка поклует, щечку подопрет ладошкой и следит благосклонно за тем, как братия чавкает, — когда колокольчик дать на окончание трапезы и благодарственную молитву. Он недавно прибыл из монашеского «отпуска», который по разрешению провел в своем бывшем монастыре, где в послушниках по уставу три года ходить — и то иерейского креста на себе не увидишь. А тут, где служить некому, в год рукоположился — как удачно-то. И других можно теперь поучить послушанию и смиренномудрию и благословить небрежно перстами. Привез он братии в подарок много банок варенья — шесть или семь, и все их сразу на стол выставил и ничего себе в келью не взял. Но кто видел, что не взял? А многие видели, потому как с дороги и с сумками сразу на кухню он явился, — и уже перешептались об этом: «Ще-едрый». А служит все реже и реже, больше с поручениями разъезжает. Должно открыться подворье в столице, и кому в нем обосноваться, как не ему, и поедет. Слово предопределено.

Дерзание перед Господом. Кто не думал, не хитрил и не лукавил, не плакал и не молился и не ужасался незнанию того, в чем оно состоит? Отказаться — грех, и грех — возомнить о себе. В малых мира быть — нерадение, в великих — тщеславие. От великого бытия малому, от малого — великому. И уравниются все в суете, пустословии, мшелоимстве и скорее наказаны будут, чем одарены.

Отец Неофит жалуется, что на Афон не отпустили его. Сколько рвения приложил, чтобы попасть.

— Все равно сбегу, — доверительно обещает своему духовнику отцу Спиридону в закутке, где они и примостились для беседы.

— Сбежишь — в гордыню впадешь, — отвечает отец Спиридон, пожилой, всеми уважаемый архимандрит. — Вот ты говоришь: «меня, священника...» Не пустили, да... А ты нагнись, и еще согнись, и еще больше согнись, коли священником стал, — так, чтобы уже ползком ползти; и не в унижении, а в благодати ползти-то — вот главная хитрость ума и сердца. — Здесь он прервался, посмотрел на колеблющегося, уткнувшегося в пол Неофита и, понизив голос, быстро заговорил, страстно, как о чем-то недавно понятом: — Закон бесконечного благодарения — есть. С ним и живем, и радеем, и бодем, и умирать будем с ним же.

Теребит нервными пальцами кисточку цветков молодой священник Неофит. Соглашается — и не соглашается. Замахнулись-то высоко, но как в душе своей удержать, вынычнуть, если глаза каждый день другое видят?

Нелицеприятный дьякон, таким священнику положено быть, Мелхиседек всегда будет возглашать: «Паки и паки миром...» — из ектеньи и никогда — священнический возглас из алтаря: «Благословенно Царство...»; потому что не рукоположат в священники без благословения игумена, который как раз лицеприятен и умилен и благосклонен к тем, в ком якобы

больше веры, и насуплен с теми, в ком ее меньше, — и как ему благословить дьякона, если тот за обедом ему, самому наместнику, заявляет:

— У вас стол отдельный, и питаетесь вы отдельно от братии, а надо вместе с братией питаться, и что братия кушает, то и вы должны!

Пауза. Тарелка опрокинута — то ли по оплошности, то ли для эффекта.

— А потому что... ты — дурак! — кричит сорванным от волнения глухим голосом игумен. — Дурак — ты. Дурак и есть!

Сцена очень резвая для святых мест. Все смиреннопослушно и кротки, пока спят. Образец пустынножителя — сонный человек. «Свят, свят, свят еси», — бормочут, поворачиваясь на другой бок.

«Дурак» — у братиков застряло попугайски; шурша одеждами, расходились они для келейного бдения в тишине.

— Монастырь поднимаю, а сам опускаюсь, — жалуется в другой раз за столом игумен. Мол, не уровень, не лавра, откуда взяли, вытащили, увезли. Сколько блеску осталось в ней — и поэтому сколько сожалений. Но тут поправляется, спохватывается: святость в новых-де, восстанавливающихся, обителях, в старых — нет. Там и монахи, прости, Господи, гомосексуалисты — дурики гоняют, а не молятся; и от туристов не скроешься, и девки голожопые, и архимандритов десять штук, а игуменов тридцать.

— Подумайте, как может быть в монастыре тридцать игуменов, чего им делать-то в монастыре? В монастыре должен быть один игумен, один, — произносит твердо. И потише продолжает: — У архимандритов ихних ничего, кроме митры, и нет. Он бы ко мне в экономы с удовольствием перебежал — пальцем помани, да не нужен.

Но как там кувыркаются по саду, запорошенному снегом, снегири, позванивая в колокольчики, подвязанные к кормушкам, — только вспомнить. Если бы в раю была зима — вот он, райский сад.

Поехал — слушок откуда-то возник — себе митру выпрашивать. Митра не посох — но, наверное, просят и ее. Всего просят, и полцарства просят — почему бы и не митру. Дня три поотсутствовал, вернулся добродетельный и скромный. Много служил, ласково всех благословлял. В епархии говорят — заелся, возгордился премного. Себя тешит, братию угнетает — зато и строит. Но и ублажается. А чего больше: строит или ублажается, делает или возвеличивается — кто-то теперь думает: в епархии думает, в Синоде думает и выше. И он не знает, останется ли игуменом, или нового пришлют. Если пришлют, сделается он сам — что с посохом, что с митрой — пришельцем гонимым, ничуть не выше трапезника Андрея: и тот муравей, и этот муравей — оба муравьи, тащат по соломинке греха поверх муравьиного своего тельца.

Андрей — худенький, тщедушенький, третий день в трапезной, до этого с недельку все чего-то носил: бревна, доски, мусор — из окна было видно. Мужичку лет сорок, силы уже никакой — вся вышла. С товарищем тянут, товарищ поднял две доски вместе со своего конца, держит и ждет, когда Андрей сподобится, а тот на товарища орет: «Чего не поднимаешь-то?» — когда сам поднять не может, или: «Куда потащил, я еще не взялся!» Договорились по одной доске таскать, но тоже плохо. Перевели его в трапезники на посуду, тарелки все же не доски.

— Братья жрут, как свиньи! — заявляет, когда в трапезной только он, огромный Спас и еще чтец, который за обедом читал и кушает после всех.

— Подкинь еще! — начальственно, с хрипотцой покрикивает, стоя возле печки, сверху вниз тому, кто возится с дровами. Хотя бы им покомандую. Пусть он будет ниже меня. Пусть кто-нибудь будет здесь ниже.

— Кушайте, девчата, кушайте, — угощает паломниц, скромненьких и очень начитанных двух особ. — Куш-шайте! — почти рычит от какой-то переполняющей его заботы. — Вы работали, устали, вам положено, вы за-служили.

Зазевавшийся брат, мышью шмыгнувший, только что схвативший нагоняй от благочинного, игумена, от всех подряд и торопливо вкушающий теперь посланные Господом крохи, разумеется, должен думать, что он не работал и не заслужил и вообще нахлебник здесь. Чаю Андрей может налить — может не налить. Сахару в сахарницу насыпет — не насыпет. Поступает по-судейски: приговаривает к различным — едою — наказаниям. Распорядился: тарелки после себя мыть! Все послушно моют, трапезник командует. Кого кормит, кого в шею гонит. Набросился на нелицеприятного дьякона с упреками и руганью. И уже заметно, что или в отчаянии он, или даже не в себе и решил на какую-то свою крайность — в крик ударился, слюной брызгает, хамит благочинному, а тот с улыбочкой провожает. Улыбочка как с крыльца: до свидания, пришелец, с Богом.

Избавились еще от одного странничка, даже вздохнули. Почему-то избавляться приятно — даже весело оставшимся, претерпевшим: «Не им, а нам спасение». И уже новые паломники стоят у врат и ждут быть принятыми у Бога — молиться, кормиться и тачки возить за прокорм.

Так это братство, древнейший тип общежития, переваривает само себя, заглатывая одно, выплевывая другое, и снова заглатывая, и снова выплевывая и почему-то очень страдая и претерпевая друг в друге. И надо претерпевать, польза есть претерпевать, однако в людях что-нибудь лопаётся — и нет уже их. Месяц — срок, три месяца — старожил; а всего-то год от роду монастырю — как решетки да колючую проволоку с себя снимал. Трудно послушание, сильны искушения и явны здесь, тягостны грехи, которые каждый вешает на других; и место хотя намолено — а и проклято, потому как видело оно не только подвижничество схимников, но и слезы мальчишек-заключенных, слышало их вопли. Коньки, выброшенные из окна школы, еще осенью тлели в костре вместе с прочим мусором — ботиночки сгорели, а ржавые закопченные лезвия снегом занесло.

Приезжает мальчик Дима, восемнадцати лет, и вслед за ним его мама. Дима к приезду мамы полностью определился на жительство в послушании келейника, носит подрясник и скуфейку и с мамой может побеседовать чинно, степенно. Разумеется, он ее сын, но еще более он — сын Божий. Мама охает: ему учиться надо, а где он будет здесь учиться, у вас даже семинарии нет, — и уезжает. Дима в свои годы надменно сторонился девушек и полагаю, что ему место не где нибудь, а в монастыре. Здесь он продолжил свои занятия карате и как-то принял активное участие в ловле летучей мыши. Ловили все — и старцы, и молодежь. Благочинный даже прижал ее шляпой к потолку, но она упорхнула из-под шляпы. Эконом сказал: «Молиться надо, а они чем занимаются, прости, Господи!» Процитировали, что бы сказал прежний эконом по этому поводу. Принесли с образовательными целями кота Бомжика, который следил, цепко сидя у трапезника на руках, с обескураженным выражением на морде, за бесшумно порхающим под потолком нетопырем.

— Ты такого еще не видел, Бомжик.

Терпеливый кот промолчал. Дима встал на тумбочку, замер и раскинул руки. Было очень весело. Грехи как спали со всех. Когда мышь полетела мимо Димы, он быстро свел ладоши вместе и поймал ее. Мышь осторожно растянули за крылышки, Бомжика отнесли подальше, и каждый смотрел на редкостное в человеческих руках животное. Потом выпустили в окошко.

Теперь Димы нет в монастыре, он поступил учиться, как того хотела его мама. Только первый его вуз — это монастырь, и первый семестр в вузе — послушание, и монахом он, пусть самую чуточку, побывал, хотя едва ли понял, что такое монашество. Но даже если никогда больше не войдет он в ворота ни одной обители — вдруг да хватит ему на жизнь его вечную?

---

---

АННА САЕД-ШАХ

\*

## ПО ЛЕСТНИЦЕ СВОЕЙ

\* \*  
\*

Если челку короче  
и юбку короче,  
удлинится жизнь  
от свиданья к свиданью.  
(Только ты  
никогда не читай между строчек  
ничего  
о беспечном моем увяданье.)

\* \*  
\*

Он вернется — совсем другой...  
*О. Мандельштам.*

После звонких пощечин румяных,  
после адских ночей в раю,  
после рюмок веселых пьяных  
говоришь: я тебя убью.  
Замыкая кольцом на шею  
рук безумье, шепчешь любя,  
все настойчивей, все нежнее:  
— Все равно я убью тебя. —  
...Кто уверует, тот обрящет.  
То исполнится, что взбредет. —  
Неужели ты настоящий  
и действительно смерть придет?

\* \*  
\*

Навалилась, проникла, прижалась, впилась, просочилась.  
И глядит, и висит, и стоит до утра над душой.  
Уходи, говорю, у меня ничего не случилось,  
лучше к Верке ступай, у нее хорошо.

Там квартира большая и много ночует народу —  
если всем по чуть-чуть, не заметят они.  
Там посудой гремят и собакам суют бутерброды,  
там, по Минке направо, — поминки как в лучшие дни.

Там старушку прощают за долгую лишнюю старость,  
и на место старухи — старинный въезжает рояль.  
...Я от музыки плачу, поэтому дома осталась,  
мне не жалко себя.  
Да и музыки этой не жаль.

\* \*  
\*

Потянет сыростью гнилой,  
и мухи дернутся в падучей,  
и стаи птиц над головой  
споют «кукареку».  
И пасты шарик голубой  
застынет в вене авторучки,  
закупорив строку.

И ты, красавица душа,  
предай меня, коль стало тесно  
в утробе страхами дышать —  
во гробе ждать вестей.  
И позабудь, как не спеша  
ползла я тварью бессловесной  
по лестнице своей.



---

---

А. СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## КРОХОТКИ

### ЛИХОЕ ЗЕЛЬЕ

**С**колько же труда кладёт земледелец: сохранить зёрна до срока, посеять угодно, доходить до плодов растения добрые. Но с дикой резвостью взбрасываются сорняки — не только без ухода-досмотра, а *против* всякого ухода, в насмешку. То-то и пословица: лихое зелье — нескоро в землю уйдёт.

Отчего ж у добрых растений всегда сил меньше?

Видя невылазность человеческой истории, что в дальнем-дальнем давне, что в наисегодняшнем сегодня, — понуро склоняешь голову: да, знать — таков закон всемирный. И нам из него не выбиться — никогда, никакими благими издумками, никакими земными прожектками.

До конца человечества.

И отпущено каждому живущему только: свой труд — и своя душа.

### УТРО

Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна она как бы получает волю, отдельно от этого тела, пройти через некие чистые пространства, освободиться ото всего ничтожного, что налипало на ней или морщило её в прошлый день, да даже и в целые годы. И возвращается с первозданной снежистой белизной. И распахивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние.

Как думается в эти минуты! Кажется: сейчас ты с какой-то нечаянной пронизательностью — что-то такое поймёшь, чего никогда... чего...

Замираешь. Будто в тебе вот-вот тронется в рост нечто, какого ты в себе не изведывал, не подозревал. Почти не дыша, призываешь — тот светлый росток, ту верхушку белой лилийки, которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды.

Благодательны эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то несравненное можешь открыть, решить, задумать — только бы не расколыхать, только б не дать протревожить эту озёрную гладь в тебе самом...

Но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, взламывает чуткую ту натяжённость, иногда чужое действие, слово, иногда твоя же мелкая мысль. И — чародейство исчезло. Сразу — нет той дивной бесколышности, нет того озера.

И во весь день ты его уже не вернёшь никаким усилием.

Да и не во всякое утро.



## ЗАВЕСА

Сердечная болезнь — как образ самой нашей жизни: ход её — в полной тьме, и не знаем мы дня конца: может быть, вот, у порога — а может быть, ещё нескоро-нескоро.

Когда грозно растёт в тебе опухоль — то, если себя не обманывать, можно рассчитать неумолимые сроки. Но при сердечной болезни — ты порою лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже — как ни в чём не бывало.

Благословенное незнание. Это — милостивый дар.

А в острой стадии сердечная болезнь — как сиденье в камере смертников. Каждый вечер — ждёшь, не шуршат ли шаги? это *за мной*? Зато каждое утро — какое благо! какое облегчение: вот ещё один полный день даровал мне Господь. Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!



Ю. КАГРАМАНОВ



## МИРОВОЙ ЮГ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

**А**рнольд Тойнби мы обязаны тем, что понятие «вызов» прочно вошло в обиход историософии. В этом слове звучит — или хотя бы чуть-чуть дзинькает — металл: когда одна цивилизация бросает вызов другой, это значит, что она приглашает ее к состязанию, которое в определенных условиях может обернуться и вооруженным противоборством. Хотя оружие — лишь *ultima ratio*, последний довод в ряду других доводов, посредством которых бросающая вызов сторона доказывает свое превосходство. В иных случаях состязание выглядит вполне безобидно: кто-то кого-то «задел» своим образом жизни или даже, как теперь говорят, прикидом и другая сторона хочет показать, что она тоже «не лыком шита»; цивилизации в этом отношении мало чем отличаются от людоедки Элочки, которая всегда находила, чем ответить заносчивой Вандербильдихе. За вершками, однако, внимание могут привлечь и корешки. А уж серьезный вызов непременно затрагивает самые важные, принципиальные вопросы бытия. Одна цивилизация как бы говорит другой: я знаю то, чего ты не знаешь. Или: я умею то, чего ты не умеешь.

У России есть традиционный адресант, отправитель, если можно так его назвать, перманентного вызова — это, конечно, Запад (прошу не путать проблему цивилизационных вызовов с геополитикой, требующей внимания «по всем азимутам»); наши глаза и уши всегда были там, даже тогда, когда его от нас всячески загораживали. Между тем боевые трубы все настойчивее звучат с совершенно другой стороны: мировой Юг (Азия южнее России, Африка и Латинская Америка) бросает вызовы Северу (Европе с Северной Америкой). Вряд ли я ошибусь, если скажу, что перед этими вызовами будут постепенно меркнуть — хотя, конечно, не исчезнут совсем — традиционные различия между Западом и Востоком Европы. Или, иначе, они все больше будут восприниматься как различия в лоне единой цивилизации, в основание которой заложены христианство и средиземноморская культура.

Однажды<sup>1</sup> я уже попытался проследить, как великое наступление Европы на мировой Юг — органичной частью которого была русская экспансия, приведшая к образованию гигантской Российской империи, — сменилось великим отступлением (хотя одновременно продолжается вестернизация неевропейского мира в различных культурных планах). Дело, однако, не ограничивается тем, что европейцы (в цивилизационном смысле этого понятия, включающем американцев и, естественно, русских), расставшись со своими глобальными амбициями, возвращаются восвояси. На их спинах, как принято говорить, в их собственные дома врываются в недавнем прошлом подначальные им азиаты, африканцы и т. д. Этот образ пока что — метафора. Ибо речь идет сейчас не о физическом вторжении, но о психологическом давлении. О вызовах религиозно-культурного характера.

---

<sup>1</sup> В статье «Европа и мировой Юг» («Дружба народов», 1997, № 4).

### Ветер истории подул в паруса ислама

Самый громкий вызов из числа тех, перед которыми ныне поставлена европейская цивилизация, исходит от исламского мира.

Возрождение ислама явилось для Запада полной неожиданностью, одним из величайших сюрпризов, какие преподнес XX век. Долгое время его считали «умирающей религией»; Эрнест Ренан, к примеру, еще в конце прошлого века был убежден, что исламу недолго осталось жить. Время как будто подтверждало этот прогноз: исламские страны секуляризовались более или менее по европейскому образцу. В 20-х годах в самих «Вратах Блаженства» (Стамбуле), недавней столице Халифата, Кемаль Ататюрк объявил религии войну не многим менее жестокою, чем та, какую повел в России Ленин. После Второй мировой войны освободительное движение в исламских странах развивалось под знаменами национализма или социализма — или того и другого вместе; религия при этом оставалась в тени. Но в 70-е годы картина резко изменилась: сначала в Иране, а потом и в других странах ислам перешел в наступление, захватывая одну позицию за другой. Образовательная система и политическая жизнь, культура и быт в той или иной степени подвергаются исламизации, и, кажется, последние твердыни секуляризма, если таковые еще существуют, не в силах устоять перед этим всепоглощающим натиском.

Изумление, с каким Запад наблюдал за таким оборотом дел, быстро перешло в тревогу: фундаменталисты полны решимости не только изгнать «западного шайтана» из родных палестин, но и поразить его в его собственном доме. Кажется, что ветер истории вдруг подул в паруса ислама. Столетиями европейцы мечтали о том, чтобы вернуть Константинополь; в 1917 году русские были уже к этому совсем-совсем близки. Но нет: вожденный храм Св. Софии так и остался стоять «под стражей» четырех минаретов. Зато теперь исламские фундаменталисты лелеют встречную мечту — овладеть Римом; если не физически, то по крайней мере духовно. Уж к чему, к чему, а к этому Запад был совершенно не готов. И сегодня наиболее характерная его реакция — озадаченность: что за джинн такой нежданно-негаданно выскочил из бутылки? Западные кассандры не устают повторять, что это очень опасный джинн, что XXI век станет веком борьбы «христианского мира» с исламом. Но акцент обычно делается на политическом аспекте вопроса. Между тем исламский вызов — религиозно-культурный по своему существу.

Или, точнее, так: это вызов, который религия бросает культуре (цивилизации) и уже через нее — породившей ее религии.

Вопрос об отношениях между религией и культурой относится к числу «вечных», иначе говоря, не имеющих окончательного разрешения. Мы не совершим ошибки, если скажем, что культура зависит от культа. Но столь же безошибочным будет и другое наше утверждение: *suum cuique* (каждому свое). Проникая в высшую действительность, в неподвижное днесь, религия говорит нам о смысле бытия человека; культура представляет как бы развертывание его (смысла) во времени. Только религия делает возможной полноту жизни в духе; но только культура отражает все грани реального человеческого опыта. Сказанное в равной мере относится к ареалу христианства и к ареалу ислама.

Были времена — это примерно конец I — начало II тысячелетия христианской эры, — когда исламские страны переживали расцвет культуры, на фоне которого христианская Европа выглядела мировой провинцией. Арабоязычный мир славился тогда своими поэтами, музыкантами и учеными, имена которых по сей пору остаются хрестоматийными не только для арабов, но и для европейцев. Да и техническая мысль добилась тогда немалых успехов; была даже попытка подняться в воздух (первый летательный аппарат был построен Аббасом ибн Фирмой в IX веке), хоть и неудавшаяся — как и все прочие до братьев Монгольфье. Об арабской Испании, ставшей на несколько веков «цветником» исламской культуры, в те времена говорили, что она «изобилует винами,

дозволенными и недозволенными», и это надо понимать не только буквально, но и фигурально: культура «избыточествовала», как это бывает со всякой богатой культурой. Но затем вина почему-то стали прокисать, наступил упадок (все исследователи датируют его XV веком, хотя некоторые усматривают его начало уже в XII); на целые столетия мусульманский Восток погрузился в сонное оцепенение, из которого его вывели лишь прикосновения Европы, ушедшей за это время далеко вперед.

Причины этого явления разнородны, но все они так или иначе связаны с характером ислама. Одна из трех авраамических религий, ислам весьма близок христианству (так же, как иудаизму) и в то же время имеет ряд принципиальных отличий. Вероятно, самое принципиальное из них — отсутствие Христа («Иса, сын Мариам», канонизирован лишь в качестве одного из пророков). Нет Христа — нет кенозиса, нисхождения Бога до человека, самоуничижения Его, принявшего казнь за человека, да еще выбравшего особенно позорную казнь, ту, которою казнили рабов. Сравнительно с христианством Бог в исламе — схематичнее и как-то холоднее. И Его отношения с человеком более «формальные»; в них не ощущается той глубины и таинственности, какая есть в христианстве. Конечно, тема любви и тема свободы присутствуют и в исламе, но здесь они не так сильно выражены. Зато мотив формального послушания звучит настойчивее, чем в христианстве. Элементы регламентации жизни, быта всегда были более жесткими в исламском мире. И творческий дух, как это проявилось на определенном этапе истории, оказался чересчур скован.

Т. Э. Лоуренс (Аравийский), известный английский политический и военный деятель и писатель, хорошо знавший арабов, отметил у них «почти математическую ясность и четкость веры» и отсутствие интереса к «метафизическим туманностям», характерного для европейцев<sup>2</sup>. Другой писатель, близко наблюдавший мусульман, Бестужев-Марлинский, писал, что ум у них «походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно — только недалеко» (это сказано конкретно об Аммалат-Беке из одноименной повести, между прочим, получившем европейское образование)<sup>3</sup>. В обоих случаях подмечены, как мне кажется, существенно важные особенности исламского менталитета.

Но вот что интересно: оба автора представляют эти особенности скорее как недостатки, чем достоинства, между тем как сегодня они выглядят скорее достоинствами, чем недостатками.

В самом деле, именно ясности и четкости веры не хватает сегодня подавляющему большинству европейцев (повторю, что я сейчас употребляю это понятие в цивилизационном смысле), чья былая вера как бы растворилась в созданной ими цивилизации; я хочу этим сказать, что энергия веры породила тот материальный мир, в котором живут европейцы, зато от самой веры осталось гораздо меньше, чем она того заслуживает. У европейцев сейчас «много всего», но сколько среди них тех, кто дорожит «единым на потребу»? Ислам весомо напомнил о том, что радость обладания «единым на потребу» — выше любых земных радостей.

А способность «стрелять» метко и сильно, хоть и недалеко, наводит на мысль о том, что у религии есть «ближняя» цель — этика; и здесь превосходство исламского мира над «христианским» неоспоримо. Напомню, что этика ислама — ветхозаветная, общая для авраамических религий. Христианство приняло этику ветхозаветного закона целиком, какова она есть, и в то же время возвысилось над нею силою благодати (радости, красоты, утешения), даруемой исходящим от Отца Духом; стяжание Св. Духа («приглашение на пир», по выражению Б. П. Вышеславцева) — выше закона. Но сегодня мы видим, что в некоторых существенных отношениях «христианский» мир опустился значительно ниже ветхозаветного закона. И оттого «законническое» благообразие, выказываемое мусульманскими народами, служит ему живым укором.

<sup>2</sup> Lawrence T. E. *Seven Pillars of Wisdom*. London. 1977, p. 36.

<sup>3</sup> Бестужев-Марлинский А. Повести и рассказы. 1976, стр. 202.

Не без иронии, естественной для неверующего человека, пишет тот же Лоуренс, что знойная Аравия послужила «духовным ледником», позволившим сохранить ислам таким, каким он был при Мухаммеде. Но религия — это как раз то, что должно оставаться неизменным, если иметь в виду ее основное чувство, «духовный вкус», закрепленный соответствующей догматикой. Верующий находит в ней своего рода отвес, позволяющий определять меру кривизны поступков и дел человеческих. К сожалению, «христианский» мир слишком часто об этом сегодня забывает. Христиане, говорится в Коране, «не держат прямо... Евангелие» (Сура 5: 70). Разумеется, христиане, заслуживающие называться таковыми, не могут быть этим попреком уязвлены; напротив, им самим есть чем попрекнуть мусульман. Другое дело — нынешние условные «христиане»: им такой попрек, что называется, попадает не в бровь, а в глаз.

Когда нынешние европейцы зовут мусульман «фанатиками», они тем самым показывают, что забыли некогда хорошо им известное: а именно, что Бог требует человека в с е г о. (Другое дело, что Бог не требует от человека того, что ему не по силам.) Общаться с Богом «по воскресеньям», забывая о Нем в остальные дни недели (как поступает большинство), — значит проявлять двуличие, за что уже в посюсторонней жизни так или иначе приходится расплачиваться. Это двуличие, которое идет от Ренессанса и которое выражено в известной формуле «И Мадонна, и Нана», является причиной постоянных колебаний европейской души, за последние десятилетия очень заметно склонившейся на сторону некоего стихийного язычества. Так что о хрупком равновесии уже не приходится говорить: Нана (как феномен культуры) так разлеглась, что за нею почти не стало видно Мадонны. Мусульмане утверждают, что это дело рук Иблиса (дьявола, злого духа), и тут им трудно что-то возразить. Ислам всегда горой стоял против язычества и не отступает от этой позиции. Мусульмане умели и умеют ценить радости жизни (и разве не стали их поэты в этом отношении учителями европейцев?), а вместе с тем твердо знают, что мир сей есть юдоль скорби и слезы людские — неистощимы, неисчислимы (священный Черный камень в Каабе, по одной из версий, изначально был белым и лишь со временем почернел от горя людского). И что перед этим глубочайшим противоречием отравленного грехом мира язычество — беспомощно.

В отличие от «христиан», мусульмане не забыли, что такое страх Божий, и не испытывают по этому поводу никаких комплексов. В европейском сознании догматическое содержание речи о Страшном Суде в значительной мере стерлось, зато — как бы в порядке возмещения утраченного — европейскую душу обступили иные страхи, из числа тех, что зовутся иррациональными. Главный среди них — страх смерти. Мусульмане не разучились светло умирать; мусульманский воин, погибающий за правое, как он считает, дело, знает, что за порогом смерти его ждет Бог, грозный, но и милостивый к любящим Его:

В безбрежный блеск, за грань земли печальной,  
В сады Джиннат уносит душу Он.

(Бунин)

(Джиннат — мусульманский рай.) Русские солдаты, чье мужество на поле боя, поскольку оно еще имеет место, держится лишь на инерции российских традиций, могли наблюдать таких воинов в Чечне и еще прежде в Афганистане<sup>4</sup>.

Исламский мир с презрением наблюдает за тем, как западный человек морочит себя оккультными «науками»; поневоле снисходительно советует он ему, соответственно с предписанием Корана, «прохладить свои очи».

<sup>4</sup> Большинство европейцев продолжают верить в посмертное существование души: по данным различных опросов, от 50 — 55 процентов в Дании и Норвегии (самый низкий процент на Западе) до 90 процентов в США и Ирландии (данными по России я не располагаю, но, руководствуясь косвенными сведениями, можно предположить, что соответствующая цифра по нашей стране — не выше 30 — 35 процентов, а может быть, и значительно ниже). Отличие от прошлого в том, что представления о загробной жизни в большей мере утратили христианскую «оформленность», а с нею и свою «мобилизующую» — в этой жизни — силу.

Отметим, что, бросая вызов западному образу жизни, ислам в то же время демонстрирует высокую жизнестойкость в условиях современного урбанизма, западного по своему происхождению (если иметь в виду его материально-техническую сторону). Не оправдались давнишние еще прогнозы, что ислам, как якобы рустическая, «пастушья» религия, останется за воротами современного города: такие мегаполисы, как Стамбул и Каир, опередившие по числу жителей Нью-Йорк и Лондон, все больше пронизываются атмосферой ислама (и это, обратим внимание, в странах, где фундаменталистские движения далеко не самые сильные). Равным образом не оправдались и другие прогнозы — что питательной средой ислама являются «темные массы»: как раз наоборот, авангард фундаментализма составляют инженеры, учителя, врачи, вообще люди, получившие высшее образование (точности ради надо сказать, что и наиболее секуляризованные элементы также принадлежат к образованным, элитным кругам).

Нельзя, конечно, недооценивать военно-политический и демографический аспекты вызова, исходящего от исламского мира.

И тут придется вернуть мусульманам их же упрек: далеко не все из них «держат прямо» Коран. Зачастую политические цели оказываются для них важнее религиозных задач, что решительно противоречит духу и букве Корана. Бывает и так, что ислам служит лишь прикрытием для достижения политических целей; это относится к различным движениям («Галибан») и целым государствам (Ливия). Исламский по названию экстремизм, эксплуатирующий тему «западного шайтана» (особенно американского, а теперь нередко и русского), демонстрирует ухватки якобинско-большевистского свойства, «благословенному Востоку» до недавних пор незнакомые. «Исламский» терроризм прямо копирует образ действий (а в значительной мере также и мыслей) западных террористов типа пресловутых «красных бригад». А призывы к «священной войне» против Запада (Севера), там и сям раздающиеся среди мусульман, зачастую слишком далеки от священного и слишком много заключают в себе простого «желания войны».

Коран допускает «священную войну» против «неверных», но предписывает при этом соблюдать сдержанность и религиозный такт: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами (курсив мой. — Ю. К.), но не преступайте, — поистине Аллах не любит преступающих!» (Сура 2: 186). Конечно, это не так легко — не преступать, особенно для народов с южным темпераментом. Мы помним, что еще в VII веке «дети пламенных пустынь», как назвал их Пушкин, в считанные годы разнесли ислам на остриях своих мечей аж до Средней Азии и до западной оконечности Европы (крестовые походы были предприняты европейцами уже в ответ на арабские завоевания). Хотя, с другой стороны, надо признать, что арабские завоевания были относительно мягкими и, за некоторыми исключениями, не сопровождались насильственным обращением покоренного населения в ислам.

Военно-политическая угроза Северу дополняется демографической: бурный рост населения в исламских странах разительно контрастирует с постепенным вымиранием большинства европейских народов (русские не составляют в этом смысле исключения; причем в последние годы вымирание идет у нас значительно более быстрыми темпами, чем, скажем, у немцев). Уже многие годы происходит непрерывное просачивание мусульман в европейские страны, особенно во Францию и Германию. Недавно «Известия» сообщили, что в Германии проживает около двух миллионов человек, исповедующих ислам. Даже если это просачивание будет остановлено, что маловероятно, уже существующие мусульманские меньшинства при сохраняющейся разнице демографических потенциалов рано или поздно станут «большинствами» (недавно скончавшийся Жак-Ив Кусто, не чуравшийся футурологии, считает, что в середине XXI века большинство населения Франции будет говорить по-арабски). Уже сегодня наличие мусульманских присельников зримо меняет евро-

пейский пейзаж: в крупных городах поднялись десятки, сотни минаретов с поющими по утрам муэдзинами, а зрелище школьниц, бегущих в школу в паранджах по улицам Парижа или Кёльна, перестает изумлять прохожих. Сама по себе паранджа, если вдуматься, не такая уж «дикость», как это принято считать в Европе<sup>5</sup>, но все же привычнее видеть ее в совершенно ином антураже.

Мусульманские меньшинства в Европе — как бы передовые отряды мусульманского мира, грозящего ей мирным завоеванием, гораздо более вероятным, чем военное. Хотя и второе тоже совершенно нельзя исключать. Мечта о возрождении Халифата, например, содержит и военно-политический момент, хотя бы и вторым планом. На первом плане это, конечно, мечта о единстве исламских народов, вполне для них естественная. Исламу свойствен благородный универсализм, ставящий интересы уммы (общины верующих) выше интересов отдельных народов или государств. В частности, по этой причине национализм — обожествление своего народа — не успел пустить глубоких корней в исламском мире. В Коране ведь прямо говорится: «У всякого народа — свой предел; и когда придет их предел, то они не замедлят ни на час и не ускорят» (Сура 7: 32). В другом месте там сказано, что время от времени Аллах по Своему усмотрению «заменяет» на карте мира недостойные народы — другими. (Схожие по смыслу места есть и в Библии, что, однако, не мешало «христианам» Нового времени придумать своеобразную религию, каковую является национализм.)

Пока, правда, мечта о Халифате остается только мечтой: слишком различен сегодня исламский мир, чтобы можно было ставить вопрос о его объединении в практическом плане. Не вполне изжит национализм; баасистский режим в Ираке, например, несмотря на то что он внешне исламизировался за последние годы, остается националистическим по сути. Существуют серьезные противоречия между отдельными странами, порою доводящие их до вооруженных конфликтов. В целом исламский мир переживает этап достаточно болезненной трансформации, которая продлится еще неопределенно долгое время. Не забудем, что сохраняет силу вызов, брошенный ему европейской цивилизацией: готовых ответов на него пока нет, их еще только ищут — в самых разных планах. В частности, в политическом плане исламским странам предстоит как-то преодолеть нынешние колебания между деспотизмом<sup>6</sup> и эгалитаризмом и выработать свои, оригинальные, формы государственно-политической жизни, преобразующие европейские формы в соответствии с духом ислама.

Сам по себе ислам еще нуждается в реформировании — с той его стороны, что обращена к социокультурным реальностям. Процесс реформирования начался, и довольно давно, — его, собственно, начали ваххабиты в середине прошлого века, — и все же, насколько я знаю, здесь еще предстоит сделать гораздо больше, чем уже сделано. В частности, законы шариата, очевидно, следовало бы привести в некоторое соответствие с требованиями времени. Возможно, исламу нужен сейчас религиозный мыслитель масштаба, допустим, Соловьева или Бубера, который сумел бы преодолеть излишнюю статуарность ислама, «развернуть» его по ходу истории, распустить, если можно так сказать, все его дополнительные и пока еще свернутые паруса.

<sup>5</sup> К. Н. Леонтьев писал, что паранджа ущемляет не столько женщин, сколько мужчин, потому что женщинам из-под паранджи видно все — гораздо больше, чем христианкам, которым прилично ходить (на тогдашнем христианском Востоке) потупя взор.

<sup>6</sup> Нелишне заметить, что деспотизм традиционного типа в исламских странах качественно иной, чем деспотизм языческого (и неязыческого) типа. Европейцев всегда коробил обычай мусульман падать пред земными владыками «на лице свое» (см. «Западно-восточный диван» Гёте). Но этот ритуальный жест означал преклонение перед мироустройством как таковым (равно иерархическим на земле и на небе), а отнюдь не перед личностью данного конкретного владыки. Упав пред монархом «на лице свое», можно было потом встать во весь рост и перечить ему — опираясь на Коран или на стихи всем известных поэтов; в свою очередь монарх, осознав свою неправоту в том или ином случае, мог (и должен был) просить прощения у подданных. Такой деспотизм — совсем иной, чем неязыческий деспотизм, скажем, Садама Хусейна, хотя перед ним не падают ниц, а всего лишь целуют в плечо.

Зато с той его стороны, что обращена к вечности, ислам бросает вызов европейской цивилизации — и этот вызов продуктивен, как бывают вообще продуктивны религиозно-культурные вызовы.

«Если... признавать в истории внутренний смысл и целесообразность, — писал Соловьев, — тогда без сомнения такое огромное мировое дело, как создание ислама и основание мусульманской культуры, должно иметь провиденциальное значение...»<sup>7</sup> Его провиденциальный смысл, насколько можно об этом судить, раскрывается и в том, как оно влияет на христианский (это определение сегодня приходится употреблять не без доли условности) мир. Уже второй раз на протяжении истории имеет место вызов, брошенный мусульманами — христианам.

В первый раз вызов был культурным. На исходе I и в начале II тысячелетия христианской эры его главным источником была мусульманская Испания, ставшая к тому времени одним из центров арабской культуры (другим источником была мусульманская Сицилия). Христианские королевства Испании служили тогда аванпостами христианского мира в его бескомпромиссной борьбе с миром ислама; в то же время испанские рыцари были грубыми и неотесанными варварами, которые у своих противников учились светской мудрости и вежеству. Средоточиями культуры были тогда дворы мусульманских эмиров и князей, утопавших «в роскошной лени», где в пышных садах, вокруг журчащих фонтанов читали свои стихи поэты и устраивали состязания музыканты. В Севилье, Кордове, Гранаде существовали богатейшие по тому времени библиотеки; благодаря им тогдашние европейцы открывали для себя труды античных философов. Сами арабы не слишком преуспели в области философии, зато в науках и в различных искусствах безусловно первенствовали. Их эстетика, включая тонко украшенный быт, оказала огромное влияние на европейцев; поэзию провансальских трубадуров, к примеру, невозможно представить без андалусской песенной культуры — «канте хондо» (а неспециалисту вообще трудно отличить музыку трубадуров от арабской музыки). Даже в нашем столетии из этого источника черпал Гарсиа Лорка, слагая свои газеллы и касьды.

Новую порцию инокультурной «инъекции» Европа получила в эпоху крестовых походов, когда не только южные, но и северные европейцы непосредственно соприкоснулись с арабами. Крестовые походы, как бы к ним ни относиться, явились самым ярким внешним проявлением религиозного одушевления, но долговременный результат они дали главным образом в сфере культуры. Пушкин был, как обычно, точен, когда писал: «Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы».

Сегодня перезревшая, а в чем-то и подопревшая европейская культура поставлена перед вызовом не тронутого возрастом ислама. На сей раз вызов адресован не, как прежде, «неверным», а — неверам и полуверам. Европа смущена: об этом говорят и участвовавшие случаи перехода в ислам европейских интеллектуалов (из тех, кто известен у нас более других, назову француза Рене Генона и бельгийца Мориса Бежара). Больше всего таких новообращенных среди ученых-арабистов, для которых еще в недавние времена было характерно скептическое отношение к религии вообще и к исламу в частности. Особая чувствительность к исламу проявляется там, где он был когда-то господствующей религией: поразительно оживление исламских корней в Андалусии, где пять столетий назад было покончено с Гранадским эмиратом, и в Сицилии, откуда арабов изгнали еще раньше.

Другой поразительный факт: массовое обращение негров США в ислам (количество обращенных исчисляется уже миллионами). Как известно, в этой стране у ислама нет никаких корней. Американских негров считали, и не без оснований, самыми истовыми или, во всяком случае, самыми эмоциональными христианами...

<sup>7</sup> Соловьев В. С. Магомет. СПб. 1902, стр. 17.



А разве не настораживают многочисленные случаи обращения в ислам русских солдат в Чечне, взятых в плен повстанцами? Для сравнения: в период Кавказской войны в прошлом веке подобные случаи были исключительной редкостью.

Есть ли необходимость уточнять, что вызов, брошенный исламом, в первую очередь относится к России? Достаточно взглянуть на карту: гигантская «дуга Дакар — Джакарта», угрожающе выгнувшаяся в северном направлении, плотнее всего упирается именно в Россию. Это с внешней стороны. Внутри же страны мы имеем уже сейчас значительное и быстро растущее численно мусульманское меньшинство. Подобные меньшинства, как я уже говорил, есть и в западноевропейских странах, но, во-первых, они там пока еще не столь многочисленны, а во-вторых, существует хотя бы теоретическая возможность того, что эти меньшинства когда-нибудь будут оттуда изгнаны — как это случилось в свое время с морисками (крещеными маврами) в Испании. Иначе в России: здесь мусульманские народы — такие же коренные, как и русский народ.

Леонтьев писал: двуглавый орел мирно осеняет крылами своими крест и полумесяц. Сердцем, однако, Леонтьев понимал: крест и полумесяц выше государственных крыльев.

Сегодня говорят: мусульманские автономии связаны с Россией цивилизационно. Конечно, цивилизационные связи весьма важны — так же, впрочем, как и государственные, — и все же: крест и полумесяц выше цивилизационных рамок.

При всем том мусульманские автономии, оказавшиеся посреди России, «обречены» оставаться с нею. И тут к месту вспомнить, что христианами и мусульманами в их многовековом совместном проживании (и не только в России, но также, например, на Ближнем Востоке) наработан огромный опыт взаимной терпимости, нуждающейся, как говорится, в творческом развитии. Вот только слово «терпимость» (слишком стершееся в наши дни, слишком много формального в себе заключающее) я хотел бы заменить чем-то другим. Скажем так: нужен духовный (в собственном смысле, то есть религиозный) *modus vivendi*, предполагающий как неизбежный момент соперничества, так и момент соработничества. О последнем хорошо сказал арабский философ и богослов X века Икхван ал-Сафа: в царстве духа, в отличие от царства кесаря, притязания на одну и ту же территорию делают союзниками, а не врагами.

Напомню, однако, что вопрос отношений с исламом на сегодня — гораздо больший, чем вопрос отношений с мусульманами, «внутренними» и «внешними».

### Что такое «желтая опасность»

О «желтой опасности» заговорили давно. Одними из первых, кто затронул эту тему, были русские, что естественно: речь идет о наших непосредственных соседях. В силу этого соседства опасность воспринималась так же и как угроза военного вторжения. Знаменитый «Панмонголизм» Соловьева рисовал картину грандиозного столкновения между Россией и ее восточными соседями с печальной для двуглавого орла концовкой:

И желтым детям на забаву  
Даны клочки твоих знамен.

На дворе — 1894 год. Еще все тихо на Дальнем Востоке, еще те края рассматриваются европейцами как объект дележа, а отнюдь не как источник угрозы, и надо уметь видеть через «горы времени», чтобы, глядя в эту сторону, начать бить тревогу.

Японцы, правда, заявили о себе довольно скоро; нация, чьи попытки сравняться с Европой обычно не принимались всерьез<sup>8</sup>, сумела нанести военное поражение Третьему Риму. «Желтая Азия спросила нас первых, каково наше самоутверждение», — писал Вяч. Иванов<sup>9</sup>. Но Япония — относительно небольшая страна с ограниченными ресурсами, а вот как поведет себя Китай? Вроде бы тогдашний Китай не давал повода для опасений. Тем не менее Андрей Белый, например, под «желтой опасностью» разумел китайскую опасность в первую очередь, и когда пророчил в «Петербурге», что «желтые полчища» обгадят кровью поля Европы, то имел в виду главным образом китайские полчища. Чуть позже Блок грозил европейцам: ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины (правильнее было сказать не «ваши», а «наши», но для этого надо было снять маску «скифа»).

Сегодня, на пороге XXI века, мы вправе сказать, что все эти опасения не были совершенно напрасными. Хотя ничего драматического пока не происходит и в ближайшей перспективе вроде бы не должно произойти. Если, конечно, не считать стремительное экономическое возвышение дальневосточных стран, тоже явившееся одним из самых больших сюрпризов нашего столетия.

Первыми удивили мир японцы, показавшие, что они умеют не только хорошо воевать, но и производить товары — притом самые современные, требующие наивысшего мастерства — не хуже, а зачастую даже лучше, чем европейцы и американцы. Японцев посчитали особо талантливыми в этом смысле и даже произвели их в «азиатские европейцы». Но потом и другие дальневосточные страны, прозванные «малыми тиграми», вышли примерно на тот же уровень экономического развития. А так как некоторые из них населены китайцами, то отсюда легко можно заключить, на что способен «большой» Китай (Сингапур, например, можно рассматривать как «образцово-показательный Китай»). Да и нынешнему Китаю, несмотря на то что у власти коммунисты, удалось добиться многого; ни у кого не вызывает сомнений, что в следующем столетии бывшая Срединная империя вырастет в экономического гиганта, которому Россия будет уступать на порядок, если не на два<sup>10</sup>.

Вот она какая нынче, «желтая опасность»<sup>11</sup>, в ее наиболее видимой части — экономической. Другая ее видимая составляющая — демографическая. Если перед войной Китай превосходил СССР по численности населения в два с половиной раза, то нынешнюю Россию он превосходит уже в восемь раз. Не за горами — десятикратное превосходство. Не так трудно вообразить, какое давление будет оказывать эта человеческая масса на полупустынную Сибирь. Со всем не обязательно оно разрешится военным вторжением (нынешние вооружения таковы, что они скорее связывают агрессивные побуждения, чем поощряют их); более вероятно — как и со стороны мусульманских соседей — мирное просачивание китайцев на российскую территорию.

Но как ни значительна «желтая опасность» извне, еще значительнее она — изнутри. Раньше многих других это заметил Соловьев, в статье «Китай и Европа» (1890) говоривший о необходимости «внутреннего преодоления китай-

---

<sup>8</sup> Известный французский писатель, автор «колониальных романов» Пьер Лоти, вроде бы неплохо знавший японцев, назвал их «безделушками с этажерки». Японию он характеризовал так: «Я нахожу эту страну мелкой, старенькой, потерявшей всю свою кровь и свои соки; я сознаю ее допотопную древность, ее многовековую окаменелость, которая скоро превратится в смешное и жалкое шутовство при столкновении с западными нововведениями» («Госпожа Хризантема»). Эти строки написаны всего за семнадцать лет до Цусимы.

<sup>9</sup> Иванов Вяч. Родное и вселенское. М. 1994, стр. 361.

<sup>10</sup> Согласно прогнозам, уже лет через двадцать Китай выйдет на первое место в мире по объему валового продукта, а Южная Корея опередит в этом отношении все без исключения западноевропейские страны.

<sup>11</sup> Термин отразил расовое мышление (не путать его с расизмом, хотя последний, конечно, с ним связан), характерное для конца XIX — начала XX века. Сегодня мы имеем возможность гораздо точнее определить данное явление, сказав, что европейской цивилизации бросает вызов дальневосточный круг культур. И если я все-таки употребляю термин «желтая опасность», то это просто дань традиции.

щины, то есть того исторического начала, на котором основан ограниченный и исключительный строй китайской жизни»<sup>12</sup>.

Четверть века спустя эту мысль развил Д. С. Мережковский в «Грядущем Хаме». Основное свойство китайского мышления, согласно Мережковскому, — «несокрушимая положительность»: «есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо». Но таково же примерно и кредо научного позитивизма. По этой причине семена «религии прогресса» находят на Дальнем Востоке соответствующую им почву; японцы уже показали себя способными учениками европейцев, рано или поздно их догонят китайцы. «Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности — это свеженькое яичко, только что снесенное желтой монгольской курочкой от белого арийского петушка...» Яичко еще всех удивит: ученики заткнут за пояс учителей. Ведь если смотреть в корень, «китайцы — совершенные желтолицые позитивисты; европейцы — пока еще несовершенные белые китайцы». В случае победы китайщины будет «всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной, «паюсная икра» мешанства»<sup>13</sup>.

В немногих строках Мережковский, как я считаю, изложил суть дела. «Несокрушимая положительность» действительно составляет основу китайского мирочувствия; во всяком случае, ею характеризуется конфуцианство, всегда бывшее в Китае господствующей религией. В конфуцианстве дух ни на йоту не отступает от «уставов естества» (если воспользоваться выражением Ломоносова), не пытается за видимым порядком вещей открыть иной — тайный. Небо — вроде потолка, за которым ничего нет; даже вопрос о том, есть ли что-то за ним, представляется нелепым, противоестественным. Единственное отступление от «наличного бытия» — культ предков. Академик В. М. Алексеев, путешествуя по Китаю в 1907 году, удивился тому, сколь много места занимают в этой стране кладбища, и посоветовал расширить за их счет сельскохозяйственные угодья. Критическая мысль академика задела данную тему не с той стороны, с какой следовало бы: «любовь к отеческим гробам» не должна становиться предметом порицания, а вот форма, какую она приняла в Китае, говорит о стремлении загнать чувство потустороннего в тесные пределы гроба. Китайская душа не может не ощущать пуповину, связывающую ее с иным, но закрывается от него надгробием и ритуальным жестом. Так же, впрочем, и вся жизнь подчиняется (в традиционном Китае) тщательно разработанной системе ритуалов (пресловутые «китайские церемонии»).

Этой «запертостью» в посюстороннем объясняется, между прочим, и китайская, вообще дальневосточная, жестокость. О подобных вещах у нас до сих пор не принято было говорить: считалось, что они отдают расизмом. Но ведь дело тут не в крови и не в цвете кожи, а в религии. Конфуцианский мир жесток — это факт, который всегда бросался в глаза европейцам. Поля Клоделя, например, хорошо знавшего Китай (в продолжение ряда лет он был французским послом в Пекине), больше всего там поразили колодцы, куда сбрасывались трупы «лишних» девочек, убитых родителями (когда колодцы наполняются, их аккуратно заваливают камнями). Вообще «лишние» люди — бродяги, неудачники, даже физические калеки — вызывают у конфуцианцев презрение: в них видят «сорную траву», которую надлежит своевременно выпалывать; китайское законодательство всегда проявляло в отношении подобных людей непомерную суровость.

Есть, правда, в Китае своего рода отдушина от «несокрушимой положительности»: даосизм. Странник, усевшийся на мула, каким часто изображают Лао-цзы, уводит прочь из конфуцианского дома, с его раз и навсегда заведенными порядками, — на дорогу («дао» — путь), в мир безмолвия и нерасчетливого созерцания. В даосизме есть чувство нематериального, но нематериального для него — некая изначальная пустота, и только; поэтому даосизм легко усво-

<sup>12</sup> Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VI. СПб. Б. г., стр. 88.

<sup>13</sup> Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. XIV. М. 1914, стр. 6, 8, 7, 9.

ил некоторые элементы буддизма (решительно отвергнутого конфуцианцами), хотя и переиначил их на свой лад. Подобно буддизму, даосизм не знает любви как последней истины (а не как преходящего чувства); он, так сказать, рассеивает китайскую душу, а не смягчает ее<sup>14</sup>.

Заметим также, что даосизм получил распространение лишь в народных низах; его влияние обычно усиливалось в периоды междоусобиц и различных смут. Верхние слои всегда твердо держались конфуцианства. Даже марксизм был воспринят в Китае как рациональный позитивизм, то есть как нечто родственное конфуцианству. (В то же время настроения «культурной революции», инициированные Мао в конце 60-х годов, очевидно, имели что-то общее с даосизмом.) Сейчас Конфуций вновь входит в силу в Китае, вытесняя Мао; хотя, конечно, чтобы стать действенным в современных условиях учением, конфуцианство нуждается в преобразовании. Слишком много происходит в современном мире такого, чего старые китайские мудрецы с висячими усами решительно не в состоянии объяснить.

Приземленность конфуцианства — этот основной его недостаток — обращается и многочисленными достоинствами. «Умеренность и аккуратность» имеют свои преимущества; отнесем к их числу бытовую честность, уважительное отношение к старшим, необыкновенное трудолюбие. Мастерство и изобретательность китайцев хорошо известны: это они «выдумали» порох, а также бумагу, фарфор, компас, печатный станок и многое другое. В определенных рамках заслуживает похвалы конфуцианский рационализм; благодаря ему китайцы высоко ценили и ценят образование. В отличие от Европы, военная аристократия не играла первенствующей роли в Китае (Япония в этом отношении ближе к Европе, чем к Китаю); реально управляла страной образованная бюрократия, в значительной мере (по некоторым подсчетам, охватывающим период XVII — XIX веков, примерно на одну треть) рекрутировавшаяся из социальных низов. Принцип отбора был — «кто способнее».

В материально-техническом плане китайская цивилизация достигла такого уровня, что Европа, как считают историки, сумела опередить ее в этом отношении лишь во второй половине XVIII века. Так что период, когда Китай числился в отсталых, относительно не так уж велик. И, как мы уже знаем, совсем немного времени понадобится ему, чтобы экономически и технически догнать Запад, а там, вполне вероятно, и перегнать его. К уже названным преимуществам китайцев, позволяющим им с определенной долей уверенности смотреть в будущее, добавим еще одно — уникальную, не имеющую аналогов в истории живучесть их национально-государственного тела; в иных краях на протяжении тысячелетий возникали и рушились царства, на его собственных границах периодически скапливались орды воинственных кочевников и так же стремительно рассеивались в пространстве — Китай стоял и, наверное, еще долго стоять будет.

Сравнительно с китайцами, японцы в культурно-психологическом смысле не так устойчивы (чему причиною как некоторые особенности японской культуры, так и, возможно, известная геофизическая ненадежность Японских островов). Их легче было вывести из равновесия — и они первыми стали перенимать западный опыт. Китайцы долго «раскачивались», но зато, «раскачавшись», устремились по тому же пути — в надежде (как можно заключить, судя по многим признакам), после всех и всяческих пертурбаций, укрепиться в своей традиционной самодостаточности.

Успехи дальневосточных стран и особенно обозначившийся в экономическом плане рывок Китая заново ставят вопрос об угрозе внутренней китайщины для европейского мира. Мысль Мережковского о европейцах как о несо-

<sup>14</sup> Некоторую черствость китайцев, точнее, китайских крестьян я ощутил, когда прочел еще в детские годы роман Перл Бак (Нобелевская премия за 1938 год) «Земля». И это несмотря на то, что любовь к Китаю просвечивает роман от начала и до конца. Не говорю уже о том, что автор, прожившая в этой стране около трех десятков лет — вместе с мужем, крупнейшим американским синологом, — прекрасно знает предмет, о котором пишет.

вершенных китайцах, которая в начале нашего столетия могла показаться парадоксальной, получает вещественное подкрепление. Чем более весомым оно будет, тем, может быть, сильнее проявится в европейцах желание стать — совершенными китайцами.

К сожалению, угроза внутренней китайщины слабо ощущается в Европе, слабее, чем в начале века, когда, например, Гюстав Лебон писал о ней столь же энергично, как и Мережковский, хотя и с несколько отличной точки зрения<sup>15</sup>. Лебон, впрочем, был одним из немногих алармистов в этом смысле; в иных случаях процесс окитаивания Европы, коль скоро его вообще замечали, не вызывал тревоги, даже напротив. Так, Клод Фаррер, известный писатель, подвизавшийся, подобно Лоти, в жанре «колониального романа», писал об этом с чувством нескрываемого удовлетворения: «Мы, европейцы, сегодня — просто-напросто конфуцианцы, хотя сами о том не ведаем», и дальше: «...всем культурным обществам (*les sociétés policées*), чтобы продвигаться дальше по пути цивилизации, предстоит сделаться, сознательно или бессознательно, учениками Конфуция»<sup>16</sup>. Положим, у Фаррера, довольно поверхностно знакомого с культурой Китая, здесь еще сказывается некоторая склонность к парадоксам. Между тем Конфуций и вправду нашел себе в Европе учеников, и не просто сознательных, но и — наисерьезнейших.

Троянским конем, позволившим конфуцианству проникнуть в Европу поэтов и мыслителей, стала эстетика. Герман Гессе в романе «Игра в бисер» создал образ европейского конфуцианца — отшельника Бамбуковой Рощи, ведущего идиллическую жизнь в строгом древнекитайском вкусе. Самого Гессе манил китайский идеал замкнутого космоса, высший смысл существования которого составляет игра. Другой конфуцианец, Эзра Паунд, нашел для него соответствующий образ — хрустальный шар. У Паунда есть прекрасные стихи, в которых он стремится «поймать» музыку этого мира: бесстрастный перезвон, посредством которого выражает себя вечно «равнодушная» природа. Ключевое понятие, объясняющее притягательность конфуцианской эстетики, — гармония. Китайское (и, несколько иначе, японское) искусство стремится к гармонии любой ценой; между тем цена оказывается слишком высокой — это человек как существо глубоко дисгармоничное (и, согласно с христианством, только в преображенном мире могущее освободиться от своего собственного и окружающего его уродства). На китайских пейзажах крохотные людишки — вроде муравьев; они как бы «приложены» к горам, долинам и т. д. Китайские портреты, насколько я могу о них судить, всегда стремились скрыть главное в человеке — глаза, взор; заглянув в душу, можно увидеть уродца, но можно увидеть и нечто «не от мира сего», а это совершенно противно конфуцианскому мироучивствию (в природе то же есть нечто «не от мира сего», но оно в ней не так сильно выражено, как в человеке).

Разумеется, трансценденция есть и там, где ее нарочито избегают. Бог — всюду. Нежный свет, пронизывающий китайское и японское искусство, — нематериальный свет. Но здесь он пропущен через очень уж плотный фильтр.

Не следует полагать, что конфуцианский соблазн — проблема верхнего этажа культуры. Тот же Паунд писал, что прививка конфуцианства должна иметь революционизирующее значение для европейского мира в целом: она поможет ему положить конец «разглагольствованиям о бесконечностях». Еще один ученик Конфуция, Антонен Арто, писал, что задача западного человека

<sup>15</sup> Лебон видел угрозу внутренней китайщины в усреднении умов; если оно будет прогрессировать, тогда, пророчил французский философ, господство над миром рано или поздно перейдет к Дальнему Востоку. Полагаю это наблюдение достаточно точным и весьма актуальным в наши дни, характеризуемые не только отсутствием гениев, но также, что гораздо хуже, отсутствием сколько-нибудь заметного «спроса» на них. Вместе с тем усреднение умов — явление, в известной мере производное от безрелигиозного позитивизма, что Лебон фактически обошел вниманием. Мережковский, в отличие от него, «смотрел в корень».

<sup>16</sup> Farrère C. *Mes voyages*. Paris. 1923, p. 118.

состоит в том, чтобы «укоренить дух в теле» и научиться «думать плотью» (вот она, «желтая пята», не извне, а изнутри наступающая на прежнюю готовность «в эфир стрелой устремиться»<sup>17</sup>). И есть множество низовых явлений культуры, откликающихся на подобные призывы. Их учитывает известный Жан Бодрийяр, когда в своей книге «Фатальные стратегии» (1983) выдвигает проект, по сути, окитаивания и ояпонивания европейского мира. С точки зрения Бодрийяра, европейцам надо покончить с историческим мышлением, завязанным на христианской эсхатологии (мы знаем, что отвращение к историческому мышлению еще усилилось с окончанием «холодной войны»); место истории должна занять церемония, высшие образцы которой дают китайская опера и японский театр Кабуки. Подобные взгляды отражают характерную «усталость» от свободы (делания истории), стремление «спрятать» личность за маску, глубину — за плоскостью.

Окитаивание и ояпонивание европейского мира стимулируется наметившимся его отставанием от Дальнего Востока по линии экономики и техники. Прагматичный Запад начинает размышлять, чем «взяли» дальневосточники и чего «не хватает» ему самому. Для примера: английский синолог Дж. Мерсон видит преимущество Китая (и Дальнего Востока в целом) в том, что он был «свободен от догматических наваждений религий Среднего Востока и Европы — иудаизма, христианства и ислама»<sup>18</sup>. Насколько я знаю, это сегодня очень распространенная точка зрения. На самом-то деле все обстоит с точностью до наоборот. Догматика в христианстве (не буду говорить о других религиях) позволяет оградить вечное (то есть, конечно, наши представления о нем) от нечистых касаний временного и, таким образом, соблюсти между ними необходимую дистанцию; в свою очередь, эта дистанция является источником творческого напряжения, без которого Европа не стала бы тем, чем она стала. Иначе говоря, задача не в том, чтобы сделаться еще более прагматичными, а как раз напротив — в том, чтобы уметь судить о жизненной практике одновременно с двух точек зрения: «изнутри» и «извне». Из этой двойственности выросла, между прочим, европейская наука. Заметим, что избрательный Дальний Восток до сих пор не дал ни одного великого ученого. Надо ли напоминать, сколь многим жизненная практика, особенно в технико-экономическом плане, обязана великим открытиям прошлого. И чем она станет без новых значительных открытий? (Хотя теперь это должны быть, вероятно, открытия не столько детализующие наши знания о внешнем мире, сколько собирающие их.) Европа усредненных умов, завистливо косящаяся на Дальний Восток, обречена на то, что рано или поздно ей придется играть в мире вторые роли (напоминаю, что я здесь говорю о Европе в цивилизационном смысле, включая в ее состав Соединенные Штаты). И только Европа гениев сможет достойным образом встретить брошенный ей вызов<sup>19</sup>.

### Буддизм как «внутренняя ночь»

Конфуцианский мир бросает вызов Европе в земных материях, а буддизм — в небесных. На заоблачной высоте это единственный серьезный со-

<sup>17</sup> Я цитирую «Фауста» Гёте.

<sup>18</sup> Merson J. Roads to Xanadu. London. 1989, p. 35.

<sup>19</sup> Возвращаясь в этой связи к вопросу о «желтой опасности» как о внешней угрозе, нам адресованной прежде всех остальных. Практически по всем статистическим показателям Россия будет в следующем веке отставать (по некоторым — далеко отставать) от дальневосточных соседей. Самый тревожный участок, конечно, — экономика. Даже если у нас будет свое «экономическое чудо», оно, наверное, окажется не столь впечатляющим: русский человек никогда не станет таким *работоголиком*, как китаец или японец (да, по правде говоря, и не хотелось бы, чтобы он им стал). Единственный шанс для России остаться первоклассной державой дает наука. Здесь естественно сделать паузу и глубоко вздохнуть, вспомнив о том, в какое жалкое положение поставлена у нас наука. Но и в том случае, если государство спохватится и заново откормит и опит науку, рано будет считать, что у нас на этом «фронте» все в порядке. Большая наука движима энтузиазмом, сложным образом увязанным с духовными процессами. Так что «секрет успеха» здесь не столько внутри самой науки, сколько вне ее.

перник у христианства. Остается актуальным сказанное Г. П. Федотовым в 1930 году: «Борьба, которая ведется сейчас в мире за человеческий дух, это и есть борьба между Буддой и Христом...»<sup>20</sup>

Что делает европейское сознание уязвимым при столкновении с буддизмом? Пожалуй, это прежде всего прочего некоторая исторически углубившаяся рассогласованность между творением, данным нам в ощущениях, и его высшим смыслом (иллюстрацией к сказанному могут служить «цейлонские» рассказы Бунина). У художественных натур подобная рассогласованность зачастую оборачивается отвращением к рациональному знанию вообще; только чувственное знание имеет для них цену. Мир теряет определенность, выраженную в Слове, — как следствие просто слова лишаются магической силы, связующей внутренний мир с внешним, становятся условными знаками, которые прилагаются к вещам и так же легко от них отпадают. Соответственно повышается в цене молчание.

Г. С. Померанц, который представляется мне одним из самых сильных наших мыслителей за последние десятилетия, видит преимущество буддизма в том, что в нем очень большую роль играет не определенное, не высказанное. «Буддисты, — пишут З. Миркина и Г. Померанц, — не испугались молчания, которое страшит большинство христиан, — и тут же поклонились молчащей пустоте как богу, сделали себе бога с обратным знаком, бога-ничто»<sup>21</sup>. Авторы не могут не знать, какую роль играет в христианстве апофатическое (отрицательное) богословие и то чувство, «из которого» оно выросло, — назовем его чувством изумления (из-умления), немолчащего перед непостижимой и неизреченной сущностью Божией. Но молчание в христианстве — путь к Слову. Бог, скрываясь от человека, в то же время — открывается ему; Не-кто проявляется как Некто. На упрек в том, что христиане будто бы испугались молчания<sup>22</sup> (авторы, правда, оговариваются: не все, а «большинство»), можно ответить упреком же: буддисты, однажды «раздев» Бога, не сумели «одеть» Его: поняли только НЕТ и не поняли ДА.

Но и в буддизме есть область сказуемого и определенного, и тут обнаруживаются другие принципиальные расхождения между ним и христианством. Буддисты тоже произносят слово «любовь» как «главное слово», но для них она есть нечто преходящее, связанное с этим миром; там, на недостижимой высоте, где царит «Великое безликое Ничто», происходит как бы остывание и угасание всего земного. Напротив, в христианстве, по слову ап. Павла, «любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13: 8). Любящий человек в христианстве чает воссоединения с Богом и «жизни будущего века», тогда как в буддизме он ждет лишь момента, когда освободится от земной оболочки и с нею вместе — от собственной личности и растворится в Едином — «как кусок соли в соленой воде».

Такое воззрение на мир иной предreshает позицию буддизма в отношении мира сего: ее можно определить как позицию глубинного безразличия. Коль скоро все сольется со всем, так ли уж важно проводить какие-то линии разделения в этом мире: между тобой и мной, или, скажем, между нами и обезьяной, или между обезьяной и смоковницей? «*Всё во мне, и я во всём!*» Тем более, что даже в материальной жизни каждого из нас ожидает печальная череда кармических перевоплощений (именно так — печальная! Ничего радостного буддизм в ней не находит). Все сущее вызывает сострадание, но — ничему нельзя помочь, ничего нельзя исправить. Ибо надо всем властвует Колесо, кото-

<sup>20</sup> Федотов Г. П. Полн. собр. статей. Т. 1. Париж. 1988, стр. 326.

<sup>21</sup> Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М. 1995, стр. 209.

<sup>22</sup> Приведу в этой связи слова С. С. Аверинцева: молчание было бы для христиан как раз «безопаснее» — «духовно, мистически безопаснее, но и безопаснее в мирском, человеческом отношении, — ибо выводило бы нас из ситуации нежелательной контрверзы» (Аверинцев С. Софиология и мариология: предварительные замечания. — «Новая Европа», 1997, № 10, стр. 87).

рое по своему хотению крутит-вертит судьбами человеческими, как и любимы иными. Стоит ли напрягаться по поводу чего бы то ни было на свете? По меткому замечанию Шпенглера, тысячелетия индийской истории и культуры (на которых буддизм оставил сильный отпечаток) производят впечатление движений сонного человека.

Характеризуя буддийское (в значительной мере — индийское вообще) мироощущение, я употребил строку из Тютчева, известного своими пантеистическими наклонностями. Но в европейском сознании пантеизм оставался, как правило, одним из его «моментов» (в выше цитированном стихотворении Тютчева это настроение пришло «в час тоски невыразимой»). Лишь с усилением упадочных явлений в Европе (примерно к концу XIX века) были широко распахнуты двери перед буддизмом; первоначально — на уровне интеллектуальной и художественной элиты. Благодаря главным образом г-же Блаватской Россия может претендовать на непочетное первенство в этом отношении. Потом, правда, доступ к буддизму, как и ко многому другому, был у нас длительное время закрыт, зато сейчас мы, похоже, наверстываем «упущенное»: если правду говорят, что на философских факультетах российских университетов Блаватскую читают больше, чем кого бы то ни было еще, можно предположить, до какой степени окажется «буддизирована» наша «интеллектуальная элита»<sup>23</sup>?

Буддизм обладает свойством приживаться на чужой почве не только и даже не столько как целостное мировоззрение (тем более, что его высокая отрешенность далеко не каждому по плечу), сколько отдельными своими элементами. Пантеист, например, может отпить из этой чаши несколько глотков, чтобы укорениться в своем пантеизме, художник, воспринимающий жизнь как некое колдовращение вокруг пустоты, найдет в буддизме «теоретическое подтверждение» своим взглядам, и т. д. На уровне массового сознания, сегодня, как правило, гедонистического, элементы буддизма каким-то образом сочетаются с элементами индуистской камы (сферы чувственных наслаждений). Оптимистически и гедонистически настроенный западный человек даже ту горечь, которая есть в буддизме, зачастую воспринимает как сладость: так, в фильме Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» (кстати говоря, успешнее пропагандирующем буддизм, чем это могли бы сделать доподлинные посланцы заоблачного Тибета) одному из его персонажей, молодой американке, предстоящая ей, по ее убеждению, череда кармических перерождений рисуется каким-то непрерывным «праздником жизни», что настоящему буддизму совершенно не свойственно.

Главное же, с точки зрения вызова, который буддизм бросает европейскому миру, — это порождаемая им психология «опущенных рук». А если не порождаемая, то, во всяком случае, санкционируемая. В нашем столетии произошло и происходит много такого, от чего легко могут «опуститься руки»; в результате стихийно возникает религиозное самочувствие, в известной мере схожее с буддизмом. Сказано О. Мандельштамом о девятнадцатом веке (и относящееся, по-видимому, ко второй его половине) в еще большей мере относится к двадцатому: «Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе, как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость»<sup>24</sup>. Собственно буддизму, таким образом, остается лишь поставить некоторую точку над уже выросшим и.

Сладковатый, дремотный ветер, дующий из далекого Индостана, поет свою заунывную песнь о том, что все на свете тлен и нет ничего, чего бы рано или поздно не поглотила река забвения. Эту музыку можно расслышать, открыв, наверное, каждый второй из современных русских романов; в иных слу-

<sup>23</sup> В «Заметке о Е. П. Блавацкой» (1892) Соловьев писал: «В «теософии» г-жи Блавацкой и К<sup>о</sup> мы видим шарлатанскую попытку приспособить настоящий азиатский буддизм к мистическим и метафизическим потребностям полубразованного европейского общества, неудовлетворяемого по тем или другим причинам своими собственными религиозными учреждениями и учениями» (Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VI. СПб. Б. г., стр. 362).

<sup>24</sup> Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М. 1990, стр. 199.



чаях (у Виктора Пелевина, например) ее сопровождают и специфически индийские мотивы перерождений, увеличивающие общую массу бессмыслицы в мире, и угрюмая демонология тибетского направления, смущающая природы деятельные и творческие. Стоит ли прилагать усилия к тому, чтобы сделать этот мир лучше, если любой прогресс ведет лишь к умножению демонов? Подобные умонастроения атрофируют, если не вовсе убивают «нерв» творческой любви, кропотливого созидания, без которого Европа перестанет быть Европой.

### Демоны прикинулись ручными

Вызов Черной Африки только на первый взгляд может показаться, сравнительно с другими, не столь уж и существенным.

Ощущение вызова было уже в повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902), где европеец, «идеалист», проникнув в «немую глушь» Африки с намерением приобщить ее к цивилизации, в конце концов сам перенимает обычаи и нравы здешних дикарей. Это ощущение усилилось, когда в Европе появилась мода на африканское искусство — примитивные эротические скульптуры, волосатые маски, раскрашенные черепа и прочие «страшилки». Даже Герман Гессе, который эту моду принимал с эстетической точки зрения, видел в ней один из признаков «заката Европы». Главным же «оружием» африканцев в их «необъявленной войне» с европейской культурой стал звукоряд. В той же повести Конрада: как ни страшна «немая глушь», еще страшнее, когда немоту взрывает бой тамтамов — «звуки жуткие, манящие, призывные, дикие». Поведение негров, воющих, прыгающих и корчащих страшные рожи, производит заразительное действие на европейца: «...жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла — смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от крапа первых веков».

Африканские демоны, напугавшие и околдовавшие персонажей Конрада, нашли еще и другой, гораздо более удобный, плацдарм для завоевания европейских душ, географически далекий от Черной Африки. Им стала Америка, точнее, Юг США и в меньшей степени Вест-Индия. Негры-рабы, однажды сюда попав, подвергались здесь аккультурации, но какие-то элементы своей культуры все-таки сохраняли. В первую очередь это относится к музыке. В Африке она играла подчиненную роль, будучи составным элементом хоровых плясок и ритуалов. В Америке пение и инструментальная музыка стали для негров, вынужденных жить в зоне евроамериканской культуры и лишенных многих других средств выражения, их основным специфическим «языком», тоже, впрочем, испытавшим европейское влияние.

Столетиями негритянская музыка Америки существовала только для негров. Белые ею не интересовались и просто не «слышали» ее: заключенное в ней африканское ритмоинтонационное начало не было внятно европейскому уху. Перемены в этом отношении произошли лишь в 10 — 20-е годы нашего века. В чем их причины — вопрос особый. Очевидно, причины эти те же самые, что вызвали к жизни диковатые варварские или псевдоварварские ритмы «Весны священной» Стравинского. Традиционный для европейского уха ладовый строй был расшатан какими-то глубинными метаморфозами, совершившимися в недрах евроамериканской цивилизации, что сделало возможным восприятие совершенно иного звукоряда, в частности негритянской музыки США. Сначала регтайм, еще близкий европейской традиции, потом блюз и джаз, уже весьма далекие от нее, овладели воображением американской, а затем и европейской публики.

Большую роль здесь сыграло и то обстоятельство, что это была развлекательная музыка, плод своеобразной «притирки» склоняющегося к гедонизму белого общества и обслуживающих его негров. Она тем легче была принята белыми, что авторы ее и исполнители отвечали определенному представ-

лению о неграх, а именно, стереотипу весельчака, неисправимого лентяя и лалкомки (это один из двух традиционных стереотипов «хорошего негра» в США; второй — набожный «дядя Том»). Музыка американских негров заняла, таким образом, почетное место в ряду культурных «пряностей», призванных сделать жизнь более «вкусной» (напомню, что пряности более всего манили европейцев в ранний период колонизации; адмирал Альбукерке, создавший португальскую империю на берегах Индийского океана, так определял цель завоеваний: «христианство и пряности»).

Демоны прикинулись ручными — этакими плотоядно-добродушными существами, жаждущими приобщить вас к некоторым вполне невинным удовольствиям. Между тем через посредство джаза, равно как и через посредство чисто африканских «страшилок», входила в жизнь дионисийская стихия, чуждая строю христианской души. Одним из первых, кто почувствовал это, был Андрей Белый: дионисийство явилось совсем не отсюда, откуда его ждал Ницше, — «не Заратустра вошел в нашу жизнь, а ворвался в нее Страшный Негр»<sup>25</sup>. (Никакого отношения к расизму данное высказывание не имеет, ибо речь идет здесь о культурных силах.) Томас Манн, вообще-то признававший за музыкой право на некоторую «неблагонадежность» в делах «человеческого разума и человеческого достоинства» («Доктор Фаустус»), считал тем не менее, что «фанатично-негритянский барабанный бой», к которому все больше привыкает европейское ухо, означает такой прорыв варварства, которого «классически-рациональная сфера» Европы может уже не выдержать.

«Союз эстетизма и варварства», о котором писал в другом месте Томас Манн, проявился и в том, что свое идейное оформление воинствующий африканизм получил именно в Европе. Я имею в виду концепцию негритюда, начало которой положили Андре Бретон и пропитанный европейской культурой Леопольд Сенгор. Негритюд заметил и благословил Сартр, посвятивший ему известное эссе «Черный Орфей», где он определяет его как «некоторое качество, присущее образу мыслей и поведения негров». Не размышлять о мире, а только чувствовать его, не преобразовывать, а существовать, подчиняя себя глубинному ритму бытия, — вот, согласно Сартру, тайна «Черного Орфея» (образ Орфея тут, мне кажется, не вполне уместен, уместнее был бы образ Диониса). «Аффективная и пансексуальная» стихия негритюда призвана разрушить здание «культуры-тюрьмы», каковую будто бы является европейская культура<sup>26</sup>. То есть все те качества, которые раньше принимались за недостатки «черной расы», теперь приняли за достоинства.

До поры до времени еще можно было думать, что роль разрушителя «классически-рациональной сферы» все-таки слишком значительна для негритюда и он на нее просто «не тянет». Ход событий, однако, показал, что это не так. Вехой в данном отношении, как и во многих других, явилась культурная революция конца 60-х годов. Рок-музыка с ее чисто африканской (или, во всяком случае, афро-американской) ритмической структурой стала основным «языком» «новой молодежной культуры», весьма агрессивной и притязательной, выбросившей заносчивый лозунг «Власть року!». Это было уже совсем не то, к чему привыкло поколение «отцов». Джаз доставлял и доставляет слушателям эстетическое удовольствие, не более того. Рок для своих адептов стал — «всем»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Белый А. На перевале. Берлин. 1923, стр. 79.

<sup>26</sup> Sartre J.-P. *Orphée noir*. — In: «Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache». Paris. 1948, p. XXI.

<sup>27</sup> Подобно многим людям моего поколения, я всегда любил джаз, а к рок-музыке остался равнодушен. Одно время я приписывал такое равнодушие своей эстетической глухоте: не чую, думал, новизны. Я и сейчас допускаю, что некоторая эстетическая глухота с моей стороны имеет место, и все же, наверное, важнее другое: рок — не только музыка, не только эстетика. Недаром же говорят о «культуре рока». Хотя понятие «культура» в данном случае оказывается недостаточно емким; на самом деле то, что им обозначают, есть некая разновидность религиозной веры. От фанатов рок- и поп-музыки слышал: тому, кто в это «врубился», все остальное — «до лампочки».

Тут уже нет речи об угождении белому обществу в его рекреационный час. «Великий идол, черный и немой» («немой» — в смысле «бессловесный»), как назвал его Сартр, выправившись, так сказать, во весь рост, затребовал белого человека целиком, со всеми его психологическими «потрохами». Рок- и поп-«трясуны» не «искусство» демонстрируют, но поклоняются каким-то подземным духам, которых сами не знают по имени. Панки, «изображающие» дикарей (одновременно похожие и на дикарей, и на фантастических марсиан — как-никак на дворе XX век), не ограничиваются эстетическими играми, но воспроизводят, в той или иной мере, строй мыслечувствований анимистического типа, тьмою «тварного подполья» рожденных. Все это как минимум двоеверы, а во множестве случаев люди, выпавшие — другой вопрос, навсегда или на время, — из европейской цивилизации.

### **Только европейский «Фауст» может справиться с однажды вызванными духами**

Итак, продолжается великое отступление Севера на магистральных путях истории (хотя на каких-то других дорогах продолжается его инерционное наступление). Если попытка христианизации мира имела успех лишь в отдельных регионах, а в остальном дала более чем скромные результаты, то попытка приобщения его к европейской цивилизации, в общем гораздо более успешная, дала результаты в высокой степени противоречивые. До поры до времени послушный европейскому «ваятелю» инокультурный «материал» все больше проявляет собственный норв, и пока невозможно представить, во что это выльется. Неевропейские культуры только еще вступили в стадию трансформации, обещающую продлиться неопределенно долгое время.

И дело тут не только в трудностях усвоения и переработки элементов чужой культуры и технологии, но и в том, что сама европейская цивилизация (в известной мере ставшая мировой цивилизацией) оказывается глубоко проблематичной в целом. Вот уже несколько десятилетий европейцы испытывают растущее недоумение и озабоченность по поводу собственных достижений. Недаром выходит из употребления слово «прогресс», от которого еще в недавние времена учащенно бились сердца и покрывались румянцем ланиты. Найдено, правда, другое «магическое» слово — «модернизация». Но модернизация имеет смысл, если речь идет конкретно о какой-то отрасли хозяйства, или управления, или обслуживания, и становится пустым звуком, коль скоро этим словом пытаются объять все существование человека. Модернизация жизни? Зачем она? Станет ли жизнь благодаря ей лучше, богаче? Как бы не наоборот.

Накопленный опыт «прогресса» позволяет в этом усомниться. Можно ли сказать, что жить человеку в современном обществе лучше, нежели в традиционном? Если взять аспект красоты бытия, который тоже кое-что да значит, придется заключить, что скорее наоборот — жизнь в этом смысле стала беднее. Насколько живописнее, скажем, японец или индеец в традиционных облачениях современного японца или индийца в пиджаках. А закругленность жеста, отточенного веками, — не привлекательнее ли случайных движений современного человека?.. Жизнь была Танцем, писал Честертон, она превратилась в Бег. В наши дни это уже, кажется, — безумный Бег. Не лучше ли было сохранять прежний темп и ритм жизни, а с ними и прежнее равновесие? Чтобы вечно пел соловей о любви в садах персидских. И чтобы всегда оставалось открытым для всех ни с чем не сравнимое зрелище восходов и закатов, доступное и «простым людям» (и даже самым «простым людям» — крестьянам — более доступное, чем другим), но современным горожанином почти уже не замечаемое.

А если принять точку зрения человеческого счастья, то и тут возникают очень большие сомнения. Есть большая доля правды в убеждении Гогена, что дикарь, например, с острова Таити счастливее европейцев. Разве не является безделье напоминанием о рае? И среди самих европейцев в относительно недавние времена итальянский лаццарони (босьяк) был, возможно, счастливее

английского рабочего (мнение Стендаля, отнюдь не реакционера, как известно). В силу уже климатических условий подобных «счастливицев праздных» куда больше находилось в неевропейских странах. С другой стороны, труд был в традиционных обществах зачастую весьма тяжел, но зато и здоров, ибо, как правило, это был труд на лоне ничем еще не поврежденной природы. Бедняки, хоть и мечтали (в сказках) о богатстве, умели радоваться простым вещам, не испытывая изнуряющей современного человека жадности. Даже скука была какая-то другая, более уравновешенная, что ли. Было очарование глуши, ныне практически невозможное (иная глушь пришла ей на смену: потерянность в массе, в общем шуме). И разве мало среди нас тех, кто хотел бы бежать от современности хотя бы в нескладную, казалось, русскую жизнь прошлого века?

Долгое время бесспорным завоеванием цивилизации представлялось достижение значительно большей, чем прежде, безопасности существования. Увы, достижение это, как выяснилось, мнимое. О какой безопасности существования можно говорить в наши дни, когда продолжается усовершенствование различных видов оружия, и без того чудовищно разрушительных, и когда нарушение природного баланса начинает уже всерьез грозить гибелью человечеству?

Конечно, за европейской цивилизацией числится множество достижений, которые и сегодня представляются бесспорными. Но перевешивают ли они потери и убытки? Если попытаться выстроить весь ее «дебет» и «кредит», то подведение итогов окажется делом чрезвычайно трудным и, наверное, даже невозможным; пусть даже придется биться над ним целый день и еще всю ночь — бессонным утром останется только развести руками.

И все-таки есть слово, придающее смысл тому пути, которым шло и продолжает идти европейское человечество. Это слово — свобода. Христианство — религия свободы (по определению Н. А. Бердяева — «любящей свободы»), реализуемой человеком, в частности, на поле истории. И это не повод для ликования, скорее напротив — предмет озадаченности и тревоги. Слишком долго свобода воспринималась только с одной стороны — именно как дар; тем острее ощущается она сейчас как бремя. Чтобы уметь его нести, надо настроить душу соответствующим образом. Не мажорная уверенность сейчас нужна, не маршевая «твердость шага» (примечательно, что китайское ухо традиционную европейскую музыку воспринимает как марш), а — наряду с прежней смелостью — величайшая осторожность и чувство ответственности. Не Бетховен, а... ну, хотя бы Веберн, у которого остро ощущается трудность, даже болезненность каждого следующего «шага» вперед. Нет ничего «страшного» в атональности, когда она вынужденная; гармония (если понимать ее как отсутствие диссонансов) и мера в земной жизни нарушены не вчера, они нарушены уже после первого грехопадения. От Адама человек обречен трудиться «в поте лица», а это всегда — «некрасиво»; надо ли удивляться скрежещущим диссонансам, кои вызваны нынешним глубоким вмешательством человека в дела творения?

«Не для сонного покоя, — сыном бездн, повитым грозой и опасностью, сотворен человек», — пишет Сергей Булгаков<sup>28</sup>. Свобода, дарованная человеку Богом, есть результат самоограничения Его в пользу того, что не есть Он Сам, иначе говоря, в пользу небытия. Даже стоя лицом к Богу, человек спиной ощущает дыхание ледяного небытия, «тьмы кромешной». Из этой «разницы температур», между прочим, возникает порывистый ветер истории, отличающий христианский мир (с определенного момента ставший европейским миром) от других миров, где ощущаются (то есть ощущались до недавних пор) лишь слабые дуновения его. Опять-таки, здесь нет повода для ликования; скорее, напротив, мы залезли в такие дебри, что иногда хочется вернуться назад, если бы это было возможно. Но если бы ход истории не отвечал Высшему

---

<sup>28</sup> Булгаков С. Свет невечерний. М. 1994, стр. 161.

Предначертанию, разве было бы попущено европейскому человечеству столь длительное время продвигаться по выбранному им пути?

Похоже, что энергия действия, движения вперед (не совсем то же самое, что «прогресс») сейчас значительно ослабла; некая вялость овладела европейской душой на метафизическом уровне. Даже период глубокого увлечения другими культурами как будто уже остался позади. Было время — феноменологическое богатство мира ослепило европейцев; на Восток тянуло, как тянет к чужой женщине мужчину, остывшего к собственной жене. Или как влекут новые наряды взамен уже примелькавшихся. Это чувство очарованности «другим» передано добровольно «изгнавшим» себя в Китай Эзрой Паундом:

В нефритовых чашах золотилось вино, столы из яшмы ломились от яств,  
Я напился пьян и совсем позабыл про свое возвращенье домой...

В наши дни подобная увлеченность выглядит, пожалуй, чересчур уж выборочной. Установившаяся мода диктует смешение культур, стилей, равно как и смешение вер. За этим всепримятием, обычно именуемым постмодернизмом, стоит отсутствие резко выраженного вкуса — в эстетическом плане, духовного «вкуса» — в плане религии. Затаившаяся апатия выдает себя за терпимость и легко склоняется к «признанию» множественности истин и равноценности культур.

Постмодернизм — не более чем привал на долгом пути, временное оцепенение членов, легкий сон. Вряд ли он долго продлится. «Боги жаждут» продолжения пути. Пробуждение начнется с более решительного, чем сейчас, различения духовных сил (и что такое вообще познавательная способность человека как не способность различения?). В свою очередь, различение повлечет за собою размежевание. Особенно этого требует религиозная сфера. Нынешняя мода на религиозный синтетизм выдает элементарную безграмотность в вопросах великих и малых религий или, во всяком случае, нечувствие главного, что отличает их друг от друга.

«Возвращения домой» требует и культура. Путь культуры — это всегда путь обогащения, «прихватывания» чужого, но также, и даже в еще большей степени, исключения, отбрасывания чужого (не поддающегося освоению) и чуждого. Суждение Пушкина о том, что «европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца», ни в коей мере не устарело в наши дни.

Ключевой вопрос будущего европейской цивилизации — вопрос веры. Гёте писал: «Собственной, единственной и глубочайшей темой истории мира и всего человечества, которой все прочие подчинены, остается конфликт веры и неверия. Все те эпохи, когда царит вера, под каким бы видом она ни предстала, — блестящи, они возвышают душу, они плодотворны для своего времени и для последующих эпох. Напротив того, все те эпохи, когда торжествует свои жалкие победы неверие, под каким бы видом то ни было, пусть даже на мгновения слепит оно ложным блеском своим, исчезают в глазах потомков, ибо никому не по нраву заниматься познанием бесплодного»<sup>29</sup>.

Конечно, можно сколько угодно сослаться на Гёте или на кого-нибудь еще, можно повторять вслед за нашим поэтом: «Неверье — слепота. Но чаще — свинство», — нельзя приказать верить. Но можно и должно устранивать с пути все, что так или иначе мешает вере, — завалы ложных идей, выхолощенных понятий и отработанных смыслов, окружающие современного человека и зачастую не дающие ему пробиться к самому главному. Как говорит один из персонажей «Коня бледного» Ропшина-Савинкова, Бога за сором не видно. Феномен современного неверия или (что, вероятно, еще чаще встречается) полуверия — результат главным образом недостаточной экзистен-

<sup>29</sup> Гёте И. В. Западно-восточный диван. М. 1988, стр. 259.

циальной и просто бытовой «поддержки» религиозных устремлений, которые в глубине души человека всегда остаются равными себе.

Верующий христианин не может считать истину христианства «одной из многих». Ему полагается быть терпимым лишь в том смысле, что он не должен навязывать свою религию другим, неверующим или верующим иначе; ибо только свободное обращение угодно Богу. Вместе с тем он знает, что истина христианства, явленная личностью Христа (а не учением Его, как часто считают), — глубже, выше любых других истин о бытии. И в этом смысле он не может не быть нетерпимым. «Христианство, — пишет Н. А. Бердяев, — как и всякая настоящая вера, — исключительна и нетерпима к тому, что считает злом, заблуждением и пустотой. Христианство не может быть кое-чем, оно претендует быть всем»<sup>30</sup>.

Это не значит, что другие великие религии лишены всякой истинности. Какою-то своей стороной Лик Божий явлен в каждой из них. Факт большего или меньшего различия религиозного «зрения» на разных ветвях единого древа человечества — различия, которое, вполне вероятно, останется до конца времен, — представляет собою одну из тайн Провидения. Лишь в «жизни будущего века» откроется она. Можно совершенно согласиться с тем, что сказано на сей счет в Коране: «А если бы пожелал Аллах, то Он сделал бы вас (человечество. — Ю. К.) единым народом...»; но Бог не сделал человечество единым народом — «чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах! К Аллаху — возвращение вас всех, и Он сообщит вам то, в чем вы разногласили!» (Сура 5: 53).

Вернемся, однако, в настоящее. Дело европейской, «фаустовской» цивилизации (чья уникальность в научно-техническом плане, заметим, на свой лад подтверждает уникальность христианства) требует сейчас глубины интуиции, которая невозможна без веры. Что мы видим у истоков научно-технического прогресса? Дерзость исследователя, по-своему претворившего христианское чувство свободы. О дерзости приходится говорить потому, что Библия не разрешает вкушать от древа познания!<sup>31</sup> Но в Библии же есть как будто и намеки на то, что этим запретом стоит пренебречь (на сей счет существуют кое-какие разработки в религиозно-философской литературе). Отшельник-ученый, однажды решивший, что он эти намеки правильно понял, шел на риск в двояком смысле: с одной стороны, он «ставил на кон» свою собственную душу на Божьем суде, а с другой — ему не под силу было представить, какие последствия может иметь то или иное его открытие для человечества. Уже у гётевского Фауста была догадка, что последствия эти порою оказываются совсем не такими, какими их желали бы видеть:

Мы светоч жизни засветить хотели,  
Внезапно море пламени пред нами!

Сейчас нужна религиозная интуиция и, если угодно, религиозный такт, чтобы преодолеть растерянность. Ибо пути назад нет; двигаться можно только вперед, чутьем определяя меру необходимого риска по ходу движения.

И дело это — европейского «Фауста»; никто не сможет его в данном отношении заменить.

<sup>30</sup> Бердяев Н. А. Философия свободы. М. 1989, стр. 194.

<sup>31</sup> «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2: 16 — 17). Вряд ли следует это понимать как требование отказа от знания вообще. (Примеч. ред.)

---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЛЕОНИД СИТКО

\*

## ДУБРОВЛАГ ПРИ ХРУЩЕВЕ

*И по сей день распространено мнение, что ГУЛАГ «кончился» после XX съезда коммунистической партии, а уж потом в лагерях мыкались случайные маргиналы-диссиденты, те, которым не повезло. Нет, лагеря с многочисленными «политическими» остались; и пока одни делали себе хорошее имя на «возвращении к ленинским нормам социалистической законности», другие — сидели (см.: Садовников В. «Оттепель» в зоне. — «Новый мир», 1996, № 7).*

*Поэт Леонид Ситко хлебнул лагерей не только гитлеровских и сталинских, но и — сполна — хрущевских. Предлагаем вниманию наших читателей фрагменты его пока не обнародованных воспоминаний (подробнее о его судьбе — в сборнике «Инталия» (М., 1995) и рецензии на этот сборник в «Новом мире», 1997 № 1).*

*Приносим благодарность Ал. Истогиной за помощь в подготовке данной публикации.*

*Отдел публицистики.*

**Я** еще спал, когда постучали<sup>1</sup>. Слава пошла открывать. Их ввалилось четверо — в полушубках, валенках. Я схватил было брюки, они вырвали их из рук и деловито прощупали — искали оружие, тут же бросили мне: «Одевайтесь! Вот ордер прокурора на обыск и арест». Сами разделись — на каждом китель. Лариска, накануне очень плакавшая, теперь притихла, спала. Я все успокаивал Славу, посадил ее рядом, гладил по плечу: «Держись, Слава, так надо...» Они рылись в бумагах, перелистнули все до одной книги... Руководил маленький мордатенький майор. Когда он шуровал в ящике стола, извлекая тетради и блокноты, котенок вспрыгнул майору на колени. Того как током ударило, он подскочил на стуле. «Не бойтесь, майор, это только котенок». — «А я и не боюсь, а я и не боюсь».

Словом, рылись часа четыре. Вынули в дымоходе два кирпича, простучали пол: искали тайник. На стеллаже стоял чемоданчик с письмами за три года. Взяли. Лейтенант вел опись изъятых рукописей и книг. Слава потерянно ходила по комнате. «Может, поешь что-нибудь?»

Велели собираться. Слава совала мне деньги, последние, что были, я взял только на курево. Один из лейтенантов посоветовал одеться теплее. Значит, предстояла дорога дальняя. Взял Тютчева и еще пару книг. Простился с дочкой, обнял Славу: «Не падай духом. Теперь одна справляйся. Береги дочь». — «Я буду ждать, я буду ждать!» В дверях обернулся на разгромленную комнату. «Прощай, Слава». — «Я буду ждать».

Мотор в машине, видимо, не выключался, и тронулись сразу, как только сели. За комбинатом «Интауголь» — двухэтажное здание КГБ. Когда шли по коридору, из кабинетов выглядывали любопытствующие: ого, важную персону везут.

---

<sup>1</sup> 4 февраля 1959 года, Инта. (Здесь и далее — примечания редакции.)

Я знал, что обречен, но арест, как смерть, приходит неожиданно. На допрос — кто, где родился, где работал и т. д. — ушло полчаса, и опять на мороз, опять машина, уже легковая. Со мной два офицера, водитель, поехали.

...Ночь лунная. Ровная снежная дорога позволяла идти на большой скорости, и через несколько часов замелькали дома Сыктывкара.

Внутренняя тюрьма КГБ. Камера, белые стены, большое окно в решетке и с «намордником», параша в углу, две койки. Надзиратели разрешили взять из чемодана книги. Потом принесли баланду — полную миску разваренной рыбы. Возвращая миску, услышал: «Не хотите еще?»

Я накинул на плечи пальто, уселся на койку и раскрыл «Севастопольскую страду» Сергеева-Ценского. За дверью надзиратель сказал другим вертухаям: «Что за люди, что за нервы — привезли в тюрьму, а он сел — и за книгу».

Дня через три вызвали. Следственные кабинеты помещались в том же корпусе на втором этаже.

Я увидел миролюбивое лицо следователя, капитана Сизова, лицо уставшего человека лет тридцати пяти.

Последовала дежурная фраза: в моих интересах рассказать про антисоветскую деятельность, ничего не скрывая о себе и других.

Я ответил: о себе — пожалуйста, о других лучше не спрашивать. Отношения к советской власти, партии и правительству не скрываю. Антисоветской деятельностью, к сожалению, не занимался. Стихи свои и автобиографические записки антисоветскими не считаю. Тайника не имел и не имею (они все выпытывали, где мой тайник).

Чуть позже познакомился с начальником следственного отдела майором Гущиным и главным прокурором Коми республики. Но и они, особенно Гущин, не очень напирали, а скорее впадали в монологи насчет бесперспективности борьбы против существующего строя. Помню, прокурор в длинном пиджаке расхаживал по кабинету и взмахивал руками:

— Свобода слова есть у нас, а у вас ее нет и не будет!

Дальше — больше. В ходе допросов выяснилось, что Николай Житков пустился во все тяжкие, полностью «раскололся» и теперь следователь не успевал записывать за ним показания. Показания против всех нас. Себя представлял жертвой, попавшей в «паутину НТС». Жил да был уголовник, сидевший за два убийства (о том, что он убивал, я впервые услышал от Сизова) и несколько грабежей, а тут к нему подкатились матерые антисоветчики, заставили читать Достоевского, научили писать стихи против партии и правительства. В общем, совратили.

Удивительно поведение капитана Сизова. Он не скрывал от меня всего этого, а однажды у него вырвалось:

— Как вы могли связаться с таким типом!..

Мне кажется, что Сизов иногда отводил со мной душу. Рассказал, например, про последнее групповое дело, которое они вели в связи с иеговистами:

— Вот с кем легко было работать! Если уперся, хоть убей, не сознается. Если начнет говорить, признается до конца.

— Вас не смущало, что вы мучаете верующих людей?

— Вы их не знаете. У них была тайная типография, был секретный фонд. Они были связаны с зарубежьем. У них в литературе одна строка за Бога, а вторая — против коммунизма. Нет-нет, с ними все было ясно.

— И тем, кто признавался, и тем, кто отказывался говорить, срока давали одинаковые?

Он развел руками:

— Срока дает суд. В основном получили они по десять лет. Но кое-кому давали и семь, и восемь.

...Как-то, когда меня привели, Сизов сказал:

— Сегодня займемся вашим делом сорок восьмого года. Я уже познакомился. Осталось задать несколько вопросов.



Да, в прошлом году я послал жалобу в Москву по поводу этого дела. Когда протокол был составлен, Сизов сказал:

— В вашем тогдашнем деле состава преступления нет. Ну и судьба у вас! Похлеще, чем у Горького!

Но в середине марта что-то случилось. Сизов стал официален. Речь пошла об НТС<sup>2</sup>. Организации в Инте не было, говорил я, но если бы и была, я в нее не вступил бы. Почему? План ее действий был нереален, обречен заранее на провал. А вам известна была программа? Да, была, кое-что в ней понравилось. Но знакомство с программой ничего не значит, я могу прочесть программу любой партии, например лейбористской, не будучи лейбористом, или коммунистической, не будучи коммунистом. Ладно, кто ознакомил вас с программой? Не скажу...

Утром подняли чуть свет, с вещами. В кабинете Гущина сидели два надзирателя и Сизов, все в штатском. Гущин все делал с улыбкой, такой был человек.

— Охрана вооружена. В самолете ведите себя спокойно. В разговоры с посторонними не вступать.

Аэродром, самолет; сижу у окна. Рядом симпатичная девушка, у нее билет до Горького. В креслах за нами Сизов и надзиратель с мешком между коленями — наши рукописи и дела. На мешке сургуч. Девушка все порывалась поговорить со мной. Сизов позади нервничал: посадили меня так неудачно — не видно, не слышно, а девушка тянется через меня к иллюминатору поглядеть наружу.

В Горьком все, кроме нас, вышли поразмяться. Сквозь толстые стекла видно: к моей соседке подошел Сизов и представился. Она в испуге отдала сумочку, Сизов заглянул в нее и сразу вернул. Она быстро-быстро, почти бегом, бросилась к аэровокзалу.

А мы полетели дальше. В другом самолете в Москву перебрасывали Игоря, а Житкова отправили на поезде<sup>3</sup>.

В «воронке», состоявшем из клетушек, ехали мы четверо, и Сизов открыл дверцу так, что я мог видеть улицы, здания, пешеходов.

Ворота раздвинулись, «воронок» нырнул во внутренний дворик-колодец из четырех зданий, уходящих в небо. Лубянка!

После шмона с раздеванием провели в камеру.

Не успел оглядеться — в дверях худая фигура в белом халате:

— Что хотите из книг?

Попросил Байрона и какой-нибудь роман. Через полчаса в камере был и Байрон, и «Вечерний звон» Николая Вирты.

...Итак, круг замкнулся. Порядки в тюрьме старые, хоть в Бутырской 1948 года, хоть на Лубянке 1959-го, только не бьют (что важно!), как тогда. Даже Байрон из той же дореволюционной «Библиотеки великих писателей». Вот я, пожалуй, стал другим, пройдя лагерную закалку-тренировку. От будущего можно ждать только «мрак и туман», но этого я не страшился. Об одном жалел: три года воли промелькнули бездарно, бесплодно, поскольку и мои «Воспоминания» попали к ним. Семья? Я пытался построить семью, но и это оказалось не для меня, как решило начальство или рок, кто его знает.

Вызвали через неделю. За массивным столом сидел невзрачный худощавый человек в капитанских погонах, глаза тусклые, невыразительные. Он постоянно держал голову набок, что-то у него было с шеей: следователь Ю. Б. Смирнов. (Через десять лет уже в чине майора или подполковника он вел дело Кронида Любарского.)

У противоположной стены — стул и небольшой столик, за который я сел. У другой стены — диван, обтянутый черным дерматином. А позади следовате-

<sup>2</sup> Эмигрантская антикоммунистическая организация Народно-Трудовой Союз, функционировавшая на протяжении полувека.

<sup>3</sup> Подельники Л. Ситко: Игорь Ковальчук-Коваль и Николай Житков.

ля на стене оставался еще след от висевшего недавно портрета. Ну, разумеется, Берия, иначе место не пустовало бы.

Следователь учтиво назвал себя и записал мои данные.

— Ах, молодость! Сколько в душе сил и романтики! Как хочется освободить человечество от насилия и рабства! Не так ли, Леонид Кузьмич? — И вдруг, не дожидаясь ответа, выразительно и громко прочел по памяти байроновскую «Песню к сулиотам».

Такого бесстыдства я не ожидал — дешевый трюк, откровенная провокационная выходка, возмутил меня.

— Байрон, наверное, в гробу перевернулся, капитан, — сказал я. — Шутка ли — его с таким чувством читают в жандармском управлении!

Он крикнул, подобрался и медленно перекочевал с дивана за свой стол.

— Мне говорили, что вы — антисоветчик, но я все же не думал, что настолько...

Последовала серия допросов, изматывающих и изнуряющих, где воля следователя столкнулась с волей выдавшего виды зека.

В Иванове был арестован Е. И. Дивнич, в Черновцах — Б. Я. Оксюз, в Москве по дороге в Инту — И. К. Ковальчук-Коваль, в Москве же — В. А. Булгаков, в Саратове — А. Околеснов. В разные годы вместе с ними я мотал срок. Конечно, гэбисты «раздували кадило», соединив людей разных взглядов в одно целое. В какой-то степени это им удалось. О нашем деле читался закрытый доклад на Президиуме ЦК.

У меня была своя линия: никакой организации не было; антисоветской деятельностью, к сожалению, не занимался. Что делали другие — не знаю. Отрицательного отношения к режиму не скрывал и не скрываю.

Полагаю, Смирнов был в отчаянии: начальство требует «материал», а он выглядит жалко и скудно. На иных допросах, где я обычно «упирался», он терял самообладание, подскакивал ко мне с кулаками и шипел в лицо: «У-у, вражина!»

Был один забавный эпизод. Он пригласил на допрос гипнотизера, а сам вышел. Изможденный человек лет сорока пяти, со жгучими черными глазами подступил ко мне, повторяя: «Расслабьтесь, расслабьтесь...» — и делая пассы перед моим носом. Я с любопытством ждал дальнейшего и зевнул, потом закрыл глаза. И когда он негромко начал спрашивать меня про имя-отчество, причем наклонился ко мне очень низко, я неожиданно рывкнул — гав! — прямо ему в лицо. Он отпрянул, побледнел и перестал кривляться. Вошел Смирнов, а тот поспешно вышел...

В конце июля нас перебросили в *Лефортовскую* тюрьму, где предстояло ждать суда. С грустным чувством покидал я прогулочные дворики Лубянки на верхотуре здания: под ногами цемент, четыре железные стенки в два человеческих роста, поверху — галерея из дерева и стекла, по которой взад-вперед ходит наблюдающий. Шагаешь по кругу вдоль стен, делаешь пробежку или зарядку, а над тобой неба квадрат — то голубой, то сияющий солнцем, то весь в тучах, и слышно ровное гудение большого города, прерываемое звуком клаксонов.

Сколько передумано было на этих двориках, а в камере ждали книги, шахматы, движение от окна до двери и обратно...

Что я прочел за лето? Хемингуэй, «Смерть после полудня»; Георг Брандес, об английских романтиках; письма Ван-Гога; «Последний год жизни Л. Толстого»; Вересаев, «Пушкин в жизни»; Дарвин, «Путешествие на „Бигле“». И постоянно при мне был сборник шахматных партий Алехина.

В Лефортове дворики были иные, располагались не «на небе», а на земле, вместо железных стен были кирпичные, побеленные. Вверху нависала такая же, как на Лубянке, крытая галерея. Гуляя в этих загонах, никак я не мог избавиться от мысли, что именно здесь двенадцать лет назад прогуливался Власов, пока палач где-то в другом месте тюрьмы не надел ему петлю на шею.

Через год после Власова здесь же мог гулять казачий генерал и писатель Краснов или известный по Гражданской войне генерал Шкуро, которых постигла та же участь. Мрачные их тени наполняли прогулочные дворы, коридоры, камеры. Я невольно чувствовал таинственную связь своей судьбы с их судьбой, хотя в детстве «воевал» на стороне красных, а в немецком лагере протестовал против власовского движения. Тюрьма — как могила: всякому место есть.

Были минуты слабости, минуты бессмысленных вопросов в пустоту: доколе? Не слишком ли? Для этого ли я родился на свет Божий — для глухих стен, решеток, колючей проволоки? Почему должны страдать мои родные? Где мой ветер, мои птицы, деревья, цветы? Стоп! Далее ни шагу! Начнешь жалеть себя — погиб! Ты не терпишь насилия и мракобесия, тебе ли роптать? И разве ты один? Разве в стране мало таких, как ты?

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

...Верховный суд почему-то отказался рассматривать наше дело из 32-х томов, и утром 16 сентября нас повезли в Московский горсуд. Когда я вышел из «воронка», было прохладно и на голубом небе светило солнце. У входа в суд невольно остановился: на улице и во дворе теснилось множество людей. Не равнодушных, нет. Слышались возгласы приветствия, меня окликали, в толпе было много интинцев!

Вскоре зал стал наполняться, прибыло немало военных, скорей всего гэбистов; гражданских не пускали.

— Встать! Суд идет!

Начали с Игоря Ковальчука-Ковалю, жившего до войны в Харбине. Было ясно, что главное против всех нас обвинение — участие в НТС. И Игорь признал наличие организации в Минлаге. Это была неправда: их НТС функционировал в Западной Европе, в Белграде, в Харбине, но не у нас. После показаний, возвращаясь на свое место, он взглянул на меня, как показалось мне, виновато: мол, прости, брат!

Потом допрашивали Е. И. Дивнича. Надо отметить, что образ его противоречив, но человек он был интересный и в памяти самых разных людей оставил глубокий след. Сын офицера, эмигрант с 1920 года, окончил в Белграде русский кадетский корпус; один из создателей НТС, а с 1934 по 1940 год — председатель его правления. От СМЕРШа не бежал, был арестован, привезен в Бутырку, и в июле 1946-го его судили «за шпионаж». Освобожден, как многие, в 1956-м. В Минлаге мы тесно общались, но это не была организация. Во всяком случае, для меня. Теперь же Евгений Иванович особенно настаивал на организации, а за ним и Борис Оксюз, а до них — Игорь Константинович.

Нет, я не винил наших «солидаристов», мягко скажем, преувеличивавших роль и деятельность НТС — в России по меньшей мере. Я знал, что все они — благородные и честные люди, не растерявшие юношеских идеалов и чистоты помыслов даже и в зрелые годы. Желанное хотелось им выдать за действительное — даже и подводя себя и других «под статью». Было тут и простодушие, доверчивость тех, кто пережил 30-е годы вдали от советской власти, за границей. Даже пройдя через две судимости, через лагеря, они так и не уяснили себе до конца, что главные постулаты советских следователей, судей и прокуроров — бессовестность, подтасовки, ложь, искажение фактов. Они упорно не хотели — и не могли — видеть в человеке злодея, за это я и любил их, в чем-то узнавая в них и себя.

На пятый или шестой день допросили меня. Сознывая, что мое поведение не повлияет на исход дела, что расправа с нами неминуема, я пошел по самому легкому для себя пути — остался самим собой, сказал все, что было на уме, внеся этим некоторое оживление в зал.

Я сказал примерно следующее: никакой организации ни в лагере, ни тем более на воле не было и не могло быть; то, что обозначено в протоколах дела как организация, — миф, игра и жонглирование словами, чем и занимались

следователи не без помощи моих товарищей. В лагере люди собирались иногда выпить чаю, вспомнить прошлое, поболтать о том о сем, обменяться книгами. Это организация? Тогда нужно пересажать весь Минлаг. Литовцы сходились петь песни, украинцы — вспомнить Украину, русские — поговорить о Пушкине или Толстом. Только сумасшедший или злонамеренный человек увидит в этом преступное действие. Это в лагере. Посмотрите, чем жили мои товарищи на воле. Разъехались кто куда, устроились куда попало работать, переженились, появились дети. Это преступные дела? Укажите хоть одно преступное деяние моих товарищей на воле. Вы его не укажете. Его просто нет. Однако людей похватили, «обработали» на следствии и с серьезным видом передали вам, уважаемые граждане судьи. Тем самым разбили семьи, осиротили детей и жен, принесли на землю горе. Кто же здесь настоящие злодеи, настоящие преступники — мы или они?

...На десятый день суда поздно вечером судья Климов зачитал приговор: мне дали семь лет, «энтээсовцам» — по десять, Житкову — три года, но вскоре его освободили.

Прошло два месяца. Вечером ко мне в лефортовскую камеру вошел обвинитель Прошляков. Я поднялся. Он прошагал к окну, потрогал решетку и, обернувшись, сказал, что Верховный суд утвердил приговор. Постоял, ожидая моей реакции. Но я только разглядывал его в упор. Я все сказал ему на суде.

Маятник моей невольничьей судьбы, качнувшись на юг (Степлаг), а потом на север (Минлаг), как бы остановился посередине — в Дубровлаге.

Лагерь в Явасе внешне мало чем отличался от спецлагов. Разве тем, что вместо барачных были двухэтажные дома, вместо нар — койки, был стадион, а в углу зоны дымилась «китайская кухня», где зеки могли свободно чего-нибудь сварить себе. Был магазинчик с немудреным набором: зубной порошок, конфеты-тянучки, повидло, зеркальце, махорка.

Над дорожками и газонами торчали повсюду фанерные щиты с изречениями Макаренко, Дзержинского, Маяковского, даже Сервантеса (насчет вежливости).

Но какие новшества бросались в глаза?

Во-первых, тяжелые работы прежних времен сменила работа на деревообрабатывающей фабрике, где зеки мастерили мебель, покрывали ее чешским лаком (который при умелой перегонке употреблялся и как спиртное).

Питание не отличалось разнообразием и было не лучше минлаговского; в Явасе жили впроголодь, если не считать, что раз в месяц зек мог получить посылку от родных.

Однако «духовные потребности» начальство учитывало, ни о чем подобном не могли мечтать заключенные ни в 30-е, ни в 40-е годы: зек мог теперь выписывать газеты, журналы, книги!

Раз в неделю через лагерные ворота въезжал крытый брезентом грузовик, доверху нагруженный печатной продукцией. (Впрочем, «лафа» длилась недолго и была отменена, когда начальство и в Москве, и на местах вдруг опомнилось: что же это делается, товарищи, враги народа прямо-таки купаются в литературе и получают информации в сотни раз больше самих политвоспитателей!)

Теперь зеки были разбиты на «отряды», во главе которых стояли, как правило, неразвитые, туповатые солдафоны из офицеров. В остальном все было как тогда, в приснопамятные времена расцвета отечественного концлагеря: проволока в три ряда, запретзона, часовые на вышках.

От вахты вела к столовой широкая «аллея вздохов» — место вечерних прогулок. Ступишь из столовой с куском хлеба — у ног копошатся голуби. Впереди два ряда деревьев, уже голых, на них — скворешни, где воробьи бьются с синицами за жильё, а дальше куда хватает глаз — чистые, блаженные снега. За вышкой. Летом все это будет утопать в зелени.

В зоне проходил шахматный турнир, в котором и я принял участие. Помню одного соперника, тихого армянина лет сорока, у которого что-то было

со слухом. Кончив партию, я вышел на порог покурить. Он увязался за мной, попросил на сигарку махорки. Жадно затягиваясь, поведал, как его избивали на Лубянке и потерявшего сознание волокли по коридору в камеру. В результате он оглох, ничего не слышит, но по лицу моему понял, что я горячо ему сочувствую.

Позже один из шахматистов сказал мне:

— Знаете, с кем вы курили? С адъютантом Берии по девочкам. Вообще в Явасе бериевцев хватает. Начальство их жалует, пристраивает кого куда придурками. «Кипятильной» заведует бывший генерал тбилисского МГБ, в каптерке еще один. Полковник Пачулия тренирует лагерных футболистов. И с библиотекарем будьте осторожны. Прехитрая бестия!

Меня послали в сушильный цех — огромный амбар, внутри которого ряд герметически закрытых сушильных камер. Со стороны цеха в камеру вели высокие ворота, куда заталкивалась широкая, без бортов платформа, нагруженная до самого потолка готовыми деталями для будущей мебели. С другой стороны в камере была дверца на болтах и с окошечком, в которое постоянно заглядывал дежурный лаборант, отмечающий в журнале температуру внутри камеры, где томились под влажным, а потом и сухим паром детали. Вдоль этих дверей тянулся длинный узкий коридор. Точно как в тюрьме и я за вертухая!

Была еще конторка для заведующего цехом — низкорослого вольняги с прилизанными волосами, хромающего на левую ногу. Про него говорили, что в прошлом он работал опером в уголовном лагере, попал там в переделку, из которой вышел с поломанной ногой. Он не придирился, отсиживал свои часы, делая вид, что занят бумажной волокитой — отчетами, графиками, таблицами. Однажды сказал:

— Вот вы всё с книгами да с книгами. А тут на вашем месте писатель настоящий сидел. Соловьев Леонид, ваш тезка... Слыхали такого? Он про какого-то Ходжу писал...

Поначалу я работал на погрузке деталей, но вскоре познакомился со старшим лаборантом Никлусом, который перетянул меня в лабораторию — дежурить у камер и регулировать подачу пара. Работа меня устраивала: отмечаешь температуру каждый час, остальное время — твое. Работали в три смены, особенно хорошо было по ночам: пиши, читай.

Письма... Прежде всего я написал матери в Николаев. Нелегко мне далось это письмо, утешить ее было нечем: мой новый срок был ей не под силу, наверное. Пространство и время разделили нас вновь. Но я недооценил ее силы воли. В ответном письме она уговаривала не падать духом, убеждала, что я для нее был и остаюсь самым дорогим человеком на земле. «Ну что делать? Что делать? — вопрошала она и отвечала: — Нужно, не роняя лица, нести свой крест!..» Оказывается, мать и Илья Антонович приезжали в Инту и, не застав меня, увидели Славу с ребенком на руках, растерянную и измученную свалившимся горем — моим арестом. Прожили они у Славы с месяц, пытаюсь оказать ей посильную помощь, облегчить хоть немного ее положение. Теперь мать писала: «Разлука с тобой покажет, какой окажется Слава. А пока она, моему, порядочная, скромная, неглупая, неехидная. Обещала мне не покидать тебя».

Лагерный «контингент» сильно помолодел, это бросалось в глаза и значило, что жизнь продолжается — в новом поколении зеков. За что ратуют, что несут в себе? В прежние времена людей брали за что попало, и весь Союз был усыпан лагерями, теперь же политзон было значительно меньше, стало быть, попадали в них «избранные». Кто они? Это меня занимало больше всего.

Оставались в лагере еще люди войны, каратели и коллаборационисты. И хотя «катушка» была теперь в 15 лет, прежний закон «обратной силы не имел», они досиживали 25-летний срока. Было немало оуновцев и «лесных братьев»-прибалтов, немало верующих, особенно иеговистов. Однако тон задавали более молодые люди, довольно разношерстные по составу, — от «низкопоклонников перед Западом» и его джазовой культурой до недавних студентов, дерзнувших

критиковать господствующую идеологию, выработавших собственный взгляд на историю и так называемую «закономерность» существующей власти и ее идейных установок. Это было свежее веяние в лагерях, хоть студенты всегда попадали в переплет при советской власти, в любые периоды.

Конечно, все познается в личных знакомствах, но это требует времени. Ну, познакомился я с Леонидом Ренделем, о котором мне сказали, что он из группы Краснопевцева, попытался расспросить про их дело, так как в «правительстве» Краснопевцева ему предназначался портфель «министра культуры». (Впрочем, были и такие, кто считал Краснопевцева провокатором.) И вместо того, чтобы ясно и четко поведать о деле, Рендель пустился в туманные рассуждения о том, что каждый взыскующий правды человек переживает свое собственное «смутное время», нащупывая собственный путь в будущее. И хотя, по его мнению, вместо коммунистической идеологии требовались новые вехи на пути в это самое будущее, он удивительным образом сбивался на те же выводы, которым целое столетие до него отдавали дань левые партии. Но словом он владел, и слушать его было занятно.

Интересной оказалась мне группа молодых энтузиастов и поэтов, попавших в лагерь по делу о «площади Маяковского»: Игорь Авдеев, Илья Бокштейн, Владимир Осипов, Владимир Тельников и другие. На митинге у памятника Маяковскому они выступали со стихами и лозунгами против советской власти. Это была, по-моему, первая за многие годы акция в центре Москвы.

Много было одиночек, севших за разговоры или стихи. Помню ироничного Валентина Рыскова, харьковского студента Лобова, поэта и переводчика Вадима Козового, питерца Кулябко, собиравшего все издания Александра Грина. Нередко в сушилке барака стихотворцы читали свои старые и новые стихи, обсуждали политические и иные новости.

Читальный зал при библиотеке тоже был местом встреч. Однажды к моему столику приблизился на костылях человек лет пятидесяти, не без труда уселся напротив и заговорил со мной:

— Извините, что нарушаю ваше уединение, но я знаю, что у вас бывают английские книги. Я ведь сам из Лондона, и меня иногда тоска гложет — почитать что-нибудь на английском языке.

Я попросил его подождать и поспешил в каптерку, порылся в чемодане и принес книгу Оскара Уайльда «De profundis» («Из глубины»). Он очень обрадовался, признался, что Уайльд — один из любимейших его авторов. Мы разговорились, и он поведал мне свою печальную историю.

Родился Михаил Васильевич Нестеров в Москве. В конце 20-х годов работал в каком-то учреждении. Человек открытый, говорил все, что на уме, и очень скоро получил три года лагерей на Беломорканале, откуда бежал. Каким-то чудом удалось на транспортном судне добраться до Англии, где получил политическое убежище... Англия, ее культура, ее писатели и актеры, терпимость и уважение к человеку — все это пленило его. Женился на англичанке, появились дочка и сын. Несколько лет Михаил Васильевич вращался в мире кино, выбился в продюсеры, стал владельцем киностудии, ставил фильмы, имевшие успех, разбогател. Но мысли о родине не оставляли его. В Москве жил старший брат с семьей, с которым он переписывался...

Авторитет Советского Союза чрезвычайно возрос после победы над Гитлером, и Нестеров счел возможным вернуться на родину. Своей судимости он не придавал значения, полагая, что советская власть изменилась к лучшему и позабыла давнишнее происшествие. На всякий случай Нестеров внес солидную сумму на восстановление разрушенного хозяйства России, его пригласили в посольство, отнеслись по-дружески, обнадежили. И жена изъявляла желание ехать с ним в Союз. Но уж тут что-то толкнуло его: не торопись, браток, проверь на себе сначала! В общем, договорились: ежели в Москве удастся осесть, он тотчас вызовет к себе жену с детьми... И вот наконец долгожданная встреча: здравствуй, Родина! С ним два чемодана со шмотками, которые он планировал реализовать на рынке. Были и подарки брату и его семье. Сдал в камеру

хранения и поехал к брату. Сколько было радости, сколько разговоров, за которыми незаметно прошла ночь! «Смотаюсь за чемоданами, — сказал утром, — а ты постарайся освободиться на сегодняшний день, нам еще о многом надо потолковать». На том и порешили. На том все и кончилось. Когда Михаил Васильевич вышел из подъезда, его ждали двое штатских в плащах и сапогах. «Поедте с нами...» Первое, что он услышал на Лубянке после занесения в протокол анкетных данных, был вопрос: «Расскажите, с каким шпионским заданием вы приехали в Союз». — «Никаких заданий не получал, являюсь патриотом своей родины!» Этот вопрос и этот ответ прошли через все следствие, во время которого Нестерову выбили все зубы, сломали два ребра, повредили позвоночник. Но он стоял на своем до конца, не сдался. И на суде заявил о своей невиновности. Суд дал 10 лет ИТЛ, и его отправили в воркутинские лагеря, где он сразу попал в лазарет, и врачи-зеки его несколько подлечили, но со спиной было плохо: сидеть не мог, стоять мог, передвигался же с помощью костылей, в остальное время лежал или полулежал... Брат помогал посылками все десять лет — и на Воркуте, и в Дубровлаге. 1956 год его не коснулся. Может быть, потому, что был английским подданным? Когда срок подходил к концу, его вызвали в спецчасть, куда он приволокся из инвалидного барака на костылях. Ему предъявили узенький листочек бумаги о продлении срока еще на пять лет — «за ведение в лагере антисоветских разговоров». Брат, узнав, что Михаилу Васильевичу прибавили срок, перестал писать, перестал слать посылки... Кроме чтения и письма, Михаил Васильевич не способен ни к какому труду. Пятилетний срок кончится в 1965 году. В заключение своего рассказа он поинтересовался, нельзя ли ему освоить переводческое дело.

Правду говоря, я не знал, что и сказать. Я был настолько тронут его бедственной долей и безысходностью положения, что у меня язык не поворачивался советовать ему или обнадеживать. Если б он был религиозен, то мог бы уповать на волю Божию, на неисповедимый промысл Его, — но тут?!

Увы, вскоре меня перевели в другой лагерь, и наше общение прекратилось.

Но до моего отъезда случилось еще одно событие в жизни лагерников. В этом году православная Пасха совпала с католической. Накануне прошли переговоры с литовцами и западноукраинцами, и было решено провести праздник вместе.

В назначенное время в столовой быстро выстроили три ряда столов, сошлись люди. Каждый принес что мог, и столы были накрыты: пайки хлеба, конфеты, печенье, стояли даже куличи, крашенки. Любо было смотреть на все это угощение, на сосредоточенные лица, видеть глаза, светящиеся радостью праздника Христова Воскресения!

При этом было установлено наблюдение за вахтой...

В полной тишине за литовским столом прочли «Pater noster» и «Credo» — по-латыни и по-литовски. Собравшихся было, наверное, три-четыре сотни, и все внимательно и смиренно слушали. Прозвучали молитвы западников. Среди русаков встал Иван Овчинников и проникновенно прочел «Отче наш», а за ним Филенкин — «Верую»... И тут все поднялись, смешались. Вспоминаю приветливые лица, восклицания «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!», троекратные поцелуи. Запомнилось растроганное лицо Володи Тельникова, который просил у всех прощения. Единение во имя духовного начала было для меня вновь, я впервые участвовал в подобном торжестве.

И вдруг сигнал: «Мусора идут!» Мигом были расставлены на обычные места столы, и столовая опустела.

Когда отряд надзирателей появился в зале, в нем не было ни души.

Но на этом не кончилось. Днем позже вызвали к «куму» тех, кто произносил молитвы. Добродушный Филенкин с улыбкой рассказывал, что на угрозу посадить его в карцер ответил: «С превеликим удовольствием, начальник! Сделайте из меня мученика, пожалуйста!» Кум только рукой махнул: уходи с глаз

далой! Так праздник Пасхи на какое-то время объединил политзаключенных, дал почувствовать, что все мы — одна семья.

Однажды Евгений Иванович Дивнич показал мне письмо от соратника по НТС Околовича — ответ на свое обширное послание, призывавшее НТС «сложить оружие перед властью народа»; опер разрешил Дивничу взять ответ Околовича<sup>4</sup> с собой в зону.

Околович благодарил Дивнича за «откровенность», тепло вспоминал дни совместной работы и приглашал приехать в Мюнхен: «У нас тут свобода слова, поставим две трибуны, пригласим общественность и подискутируем... Если же Вы не приедете, буду считать, что Ваше письмо из Вас выдавили...» Единственное резкое, даже жестокое слово, которое позволил себе Околович. В конце приписал: «Как Ваша печень? Как себя чувствуете? Жена и я будем рады, если по приезде остановитесь у нас...» Действительно, незадолго до этого Евгений Иванович пережил острый приступ болезни. «Видите, ему стало известно, — довольно сказал он, — и какая вера в человека, в мою честность!» Евгений Иванович был глубоко тронут, что в его порядочности там не сомневались. В тот же день он принес прочесть свое письмо генералу КГБ Чистякову: «Как видите, я получил вызов. Наше *общее дело* только выиграет, если органы позволят мне поехать на две недели в Мюнхен, где я смогу открыто заявить о пагубности борьбы с Советской властью и призвать зарубежье склониться перед волей советского народа. В том, что я вернусь, даю честное слово дворянина. Если же не вернусь, для Родины была бы невелика потеря такого гражданина». Я рассмеялся: «Евгений Иванович! Над вашим «честным словом дворянина» будет ржать вся Лубянка! Вы пишете людям, для которых честное слово — мыльный пузырь или удобный козырь в нечестной игре!» Он только усмехнулся и письмо отправил. Ответом было, разумеется, глухое молчание.

Между прочим, брат его по моей просьбе прислал томик Шекспира. С каким волнением перелистывал я книгу, изданную в начале века в Лондоне... В книге было четыре трагедии: «Король Лир», «Отелло», «Макбет» и «Гамлет». Вадим Козовой умолял меня одолжить почитать, и я в конце концов сдался. Все свободное время Вадим проводил в читалке над этим Шекспиром... Однажды, когда мы перекуривали на лестнице библиотеки, Вадим признался, что переписывается с Ириной Емельяновой, дочерью Ольги Ивинской — последней любви Бориса Пастернака, которая вместе с матерью была на женском ОЛПе Дубровлага. Решили пожениться, с чем я их и поздравил, пожелав им только удачи.

В Явасе и позже, на других ОЛПах, я вел что-то вроде дневничка и в своем рассказе иногда буду обращаться к этим заметкам. Некоторые случаи, штрихи, детали, канувшие в прошлое...

Например:

«19 июня 1960 г. Воскр. — В зоне футбольный матч, гости из Саранска, участники республиканского розыгрыша. Зеки пропустили три мяча, зато гости — семь. Отличился вратарь Володя Тельников. В этот же день в столовой прошел концерт».

«Сблизился с Адамом, который никак не может убедить «инстанции», что он вовсе не белорус, а чистокровный поляк, т. е. иностранец, и законы Союза на него не распространяются. Адам — знаток растений, трав, цветов. Бродим вдоль запретки, собираем разные травы, особенно много мяты. Сушу потом в нашем цеху... Адам тоже хватил лиха сполна: ссылка в Сибири, вербовка в армию Андерса, внезапный арест и исчезновение из части перед отправкой на фронт, обвинение в «измене родине», неясно какой — советской или польской, лагеря, лагеря».

<sup>4</sup> Околович Георгий Сергеевич (1901 — 1980) — один из старейших членов НТС, долгие годы — председатель Исполнительного бюро. В 1944 году арестовывался гестапо; в 1954 году чудом спасся, так как посланный его уничтожить советский агент Н. Хохлов (ныне почетный профессор психологии университета в Беркли) саморазоблачился.



«В июле Март Никлус, по наущению отрядного офицера, затравленный подонками, которых и среди зеков хватает (особенно из бывших карателей), ушел на этап, попрощавшись с нами... Жаль, одним хорошим человеком на ОЛПе стало меньше».

...Неожиданно встретил на явасском «тротуаре» украинского поэта Ярослава Гасюка, бывшего минлаговца, а теперь дубровлаговца. Мне он всегда чем-то импонировал, даже лагерная одежда выглядела на нем аккуратно, он был спокойный, неторопливый, немногословный. Нравилась и его лирика. Ко мне Ярослав тоже относился как будто приветливо. Встретились как старые знакомые. Я стал расспрашивать его про следствие и суд, через которые прошел он и его товарищи. Отвечал неохотно и почти ничего не сказал. К сожалению, может быть, врожденная подозрительность и недоверчивость к «чужому», особенно русскому, присущая западноукраинцам, проявила себя и в Славе Гасюке, не знаю. Мы посидели у меня в бараке, перемолвились о женах, оставшихся в Инте (моя Слава дружила с Галиной Гасюк), и он одолжил у меня Тютчева...

*«10 июля.* В пустом и прохладном бараке. В переводах у меня «школьный» период: баллады, сонеты — учиться, учиться. Но душа не всегда готова, особенно летом. Кусты разноцветья в красных пятнах мака, а рядом голуби. Бесстыдство глупой птицы не имеет пределов. Любовь, еда и снова любовь. Кошки тоже есть, но худые и мрачные.

В Москве вышла монография о Шостаковиче, написанная интинским музыковедом Д. Я. Рабиновичем. Курю, как все делаю, жадно, одну за другой...

*24 июля.* Не солнце, а мартен. Птицы прячутся, цветы понурились; пыль; оживают лишь в сумерки после поливки.

*29 июля, 6.30 утра.* Съел огурец, чтоб не курить натошак, несколько минут посидел на веранде. Надо мной — радуга: ночью впервые в июле был дождь, зелень посвежела, и зекам легче. С холма звуки рожка, гонят коров, ласочки...

От мамы полные безнадежности письма, плачется над моей судьбой, ни во что не верит. Чем утешить? что писать? Голова и руки опускаются...

Ада, подруга Э., говорила после отъезда Э. из Инты: «Она забудет сегодня то, что было вчера...»

Мы идем к смерти сквозь открытия и сожаления, и пора бы не удивляться.

*28 августа.* Два дня читал Плутарха. Какое разнообразие лиц, событий! Просперо древности.

Люди при мне одни подтягиваются, другие манерничают. Что это во мне?

*3 сентября.* Утро теплое, а вчера была гроза: небо трещало и падало на лагерь потоками воды. Молнии раскалывали его на куски.

В Нью-Йорке Войнич умерла.

Листья сворачиваются, скоро осень.

*24 сентября.* Хлебников жил и умер как поэт — «под прекрасной звездой».

Умер Юрий Олеша.

*9 октября.* Разговор о войне, Германии. И правда: десять лет я не мог читать по-немецки. „Гёте? Не то же ли, что гетто?“

...Привозили кинофильмы, редко что-то стоящее, но лагерник обычно смотрит все картины; из каждой можно «зачерпнуть» что-нибудь отсутствующее в его жизни, например съемки животных, женщин, семейные драмы или исторические вещи.

Бывали в зоне и лекторы, а однажды афиша на дверях столовой пригласила на «встречу с Берзиным, который поделится воспоминаниями о Ленине». Кремлевский охранник из латышских стрелков и чекистов отсидел в 30-е годы несколько лет в советских концлагерях, этим-то и был нам интересен: чем дышит теперь? Зал был полон. На сцене за столом сидели начальники отрядов, не спускавшие глаз с оратора. Лет ему было за шестьдесят, но выглядел крепким, бойким и оказался горластым.

— Вот тут я стоял, — рассказывал он, показывая место в углу сцены, — а вот тут, в центре, — Ильич. Он меня не видел. Зато я видел все и всех, как и полагалось, чтобы ни одна вражина (тут он сжал кулак) не покусилась на вождя. Воспоминание об этом согревало меня всю жизнь!

На притихший зал повеяло ветром иного времени, полного тревоги, расстрелов, ужасной демагогии и какой-то нечеловеческой силы... Отрядники сидели, «как выстрел из ружья», по выражению поэта. Невольно приходило сравнение: те — и эти! И хотя мне были ненавистны и те, и эти, но, конечно же, infernalная сила, перевернувшая в семнадцатом Россию, заметно одряхла в лице теперешних чекистов и отрядных...

В заключение своей «лекции» старикан погрозил костлявым кулаком куда-то за кулисы, адресуясь к американским империалистам:

— Пусть шевельнутся! Мы сметем в полчаса ихние нью-йорки и сан-франциски! У нас есть чем!

Вопросов задавать не предложил.

Но вернемся к нашим баранам... Почти два года я проходил в Явасе «школу перевода», работал на случайно попавших в зону иностранных стихах, преимущественно английских поэтов. Не хотелось, чтобы время пропало зря. В основном по ночам на дежурстве в сушилке — под шум пара в трубах и стрекот сверчка в подполье, отвлекаясь лишь на обход камер и записи в журнале.

В те «либеральные» годы письма, посылки и бандероли с книгами, куревом, каким-нибудь угощением поступали в лагерь без ограничений. В наших прежних Степлагах и Минлагах мы и мечтать об этом не могли. Даже Эренбург написал мне о Цветаевой.

Нашему брату, измученному режимом, лучше всего было передохнуть среди людей свежих, среди идеалистов и протестантов — первых ласточек будущей свободной России, не пугала для всего мира, а, как мечталось, светоча.

Эдик Кузнецов был всегда собран, сосредоточен, в нем постоянно чувствовалось внутреннее напряжение, работа мысли и души. Как-то днем мы встретились на лагерьном «тротуаре» (я работал в ночной смене и был днем свободен, а он, может быть, «закосил» в этот день, не помню). В каптерке при бараке он сварил на печурке по чашке кофе и стал рассказывать о своей переписке с какой-то москвичкой, предложил мне прочесть пару ее писем. Может быть, хотелось поделиться своей радостью? Было неловко читать эти письма, но он настоял. Да, письма были прекрасны — и по стилю, и по содержанию. Лирика, философские раздумья, литературные темы, и надо всем — дух свободы, который можно было скорей почувствовать, чем прочесть глазами. Нашим цензорам такие письма были не под силу. Молодой человек, к которому они были обращены, был счастлив...

Другой молодой зек, Володя Осипов, не расставался с томами Ключевского, даже спал с ними. Работал над его лекциями серьезно (я видел Володины конспекты).

Внешне Осипов был похож на студента Ульянова; был добрым малым, любителем посиделок за чаем, умел рассказать остроумный анекдот про Володю, Надю и Феликса, при этом сам заразительно смеялся.

*10 января 1961 года.* Странный сон на днях: гнедая лошадь в канаве, ее заносит песком, пока не скрылись под ним шея, голова...

*19 февраля.* Ночью потрогал ветки кустов у барака: кажется, почки...

Латыш, скромник и умница, дал мне почитать две антологии английской поэзии XVI и XVIII веков. Золотые россыпи, нам неизвестные. Переписывал.

*2 апреля.* Пронизывающий ветер: весна первоапрельничает. Вороны преследуют кошку. Голуби состязаются в скорости с ястребом. Вечером над крышей барака кричат утки, летящие на север. Эхом отдается голый лес. Снег сошел. Все чаще забываем свои телогрейки, смотрим в небеса, слушаем звон воды.

*9 апреля.* Ранняя в этом году гроза. За окном раскатывается, и в стекла стучится дождь. Антология: Англию тогда называли „гнездом поющих птиц“».

Потом — после летних записей — осенне-зимние:

*«30 октября.* Кто это сказал так кстати, что любовь не прощает только одного — добровольного отсутствия?

*4 ноября.* Кто не следил за съездом? Но это ведь жалкая подачка народу, это всего пять процентов правды, лишь уголок занавеса, который чуть-чуть приподняли. В Москве появился сборник М. Цветаевой.

*5 декабря.* «День конституции». Объявили новый режим. Идет дело к удущению. Ссылки на статьи в «Сов. России» «Человек за решеткой» (начальство говорит: общественность потребовала!). А в «Новом мире»: «Преступники и общество» — тоже общественность?

Свидание раз в год, одна посылка в четыре месяца (по 5 кг), два письма в месяц.

Читаю Белинкова о Тынянове. Чудеса в решете: как пропустили?

*12 декабря.* Снег сошел, тянет морозом. Фильм «Казачьи» (по Толстому). Оленин — о жизни, любви, природе, ошибках. Разве не об этом должен думать человек? А думает о чем?

*21 декабря.* В мороз ехали из Яваса в Ударное, на «особо опасный». Шмоны. Где будем работать, не знаем. Холод собачий, я в летнем х/б. Перед отъездом получил от Э. бандероль с Блоком третьего тома. Смотрел в вагонзаке.

Теперь я уже токарь по дереву — второй день. Мороз. Сапоги поют. Голуби назойливы.

И странно слушать эти голоса  
На месте том, где пели и страдали,  
Где лиловеют блоковские дали  
И на закате горбятся леса».

Перед отправкой в Ударный я успел проститься с товарищами и знакомыми. С одними — на время, с другими — навсегда.

С некоторым волнением ступал я по мерзлой земле, направляясь с вахты к предназначенному мне барaku. Где-то здесь, по рассказам, покоились останки монахинь и священников, расстрелянных чекистами в 20-е годы.

Мне досталась верхняя койка в углу барака. Я растянулся на ней и закрыл глаза. Вспомнился Явас, товарищи, «аллея вздохов», сушильня. Как теперь там?

В одном углу копошилась толпа уголовников. В Явасе мы отвыкли от них. А здесь, где, по идее, собраны «сливки» со всего Дубровлага, они, кажется, чувствуют себя вольготно.

И все же, говорил я себе, переезд необходим. На одном месте даже в лагере человека затягивает обыденщина, так что встряска во благо. Хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ждать не приходилось — наступало темное, трудное, голодное время.

На третьей койке от меня — длинный, интеллигентного вида молодой человек уткнул нос в раскрытую на коленях книгу. Слово за слово — разговорились. Юра Виноградов учился в Харьковском университете, где однажды пустил по рукам свой «Антикоммунистический манифест» с красноречивым эпиграфом: «Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти!» Заработал десять лет. В Дубровлаге пытался бежать — и теперь как «рецидивист» на Ударном. Увлекается философией: ищет «подходов» к советской власти с другой стороны. Меня несколько насторожила такая откровенность с первых слов. Ну, да я больше слушал, никак не проявляя заинтересованности к его откровениям...

В столовой неожиданно встретил Ярослава Гасюка. Он как будто обрадовался, но по-своему, то есть сдержанно. Закрытые люди. Ничего нараспашку. Не только он, но многие, кого я встречал с Западной Украины.

Сказал, что жена его, Галина, приедет на свидание, уговаривает и Славу навестить меня. Я еще не остыл от прошлого лета: в своих поездках по стране она не сделала главного — не привезла ко мне Ларису, полностью игнорировала мои просьбы в письмах, как бы не читая их, не откликаясь на них. Между нами действительно уже была пропасть.

После обеда Юра пригласил меня прогуляться по зоне. Я воспользовался случаем осмотреть лагерь. 10-й по размерам значительно уступал 11-му, хотя включал в себя две зоны — жилую и рабочую. Население лагеря жило в трех бараках, один из которых был наглухо отгорожен деревянным забором. Там содержались верующие, которых начальство, как прокаженных, изолировало от основной массы заключенных. Дабы не заразили девственные души верой в Бога и загробный мир.

Посреди зоны находилось еще одно строение барачного типа, в одной половине которого располагался лазарет, в другой — канцелярия и кабинет опера. В параллельном доме были кухня и столовая.

К караульному помещению с вахтой примыкал «дом свиданий», а в противоположном углу красовался кирпичный домик, сооруженный, как говорили, после войны пленными немцами, — баня.

Знакомятся люди по-разному. В лагере к человеку присматриваются: как ведет себя, что читает, с кем общается, даже как ест... Но я как-то сразу познакомился с Аркадием Суходольским и Борисом Вайлем, угодившими в лагерь за свободомыслие и «ревизионизм» уже после XX съезда.

Находясь в идеологическом вакууме, тогда много молодежи в поисках ответов на «больные вопросы» — «кто виноват?» и «что делать?» — поневоле опять-таки вырубивало на марксизм-коммунизм, «исправленный» по-югославски и по-«евро».

Суходольский был старше Бориса, в глазах что-то страдальческое, какая-то неизбывная мука (вот уж кому подходило бы определение «искателя истины!»), хотя в речи это никак не проявлялось.

Борис же был типичный лагерный «студент». Бледнолицый, худощавый, с большими выразительными глазами, с привлекательной усмешечкой, когда он хотел выразить согласие или несогласие; разговор с ним никогда не перерастал, как это было обычно в лагере, в спор, и это подкупало, давало возможность снова поговорить: он умел слушать — качество редкое не только в лагере.

Между прочим, своих новых товарищей я смог угостить кое-чем более существенным, чем разговоры. Меня догнала через Явас посылка, отправленная к Новому году, весом в 11 кг, и начальство колебалось, выдать ли, поскольку посылки разрешались только в 5 кг. Все-таки 3 января выдали, и вечером мы сварили суррогатный кофе, напекли блинов на итальянском масле и встретили Новый год блинами и медом.

Я уже более или менее освоил станок по изготовлению шахматных пешек, слонов и других замечательных фигур. Чтобы привыкнуть к мельканию зажатой в патрон чурки, требовалось время, чурка иногда выскакивает из зажима, норовя попасть тебе в лоб, в глаз или в лампу дневного света. Станочников в цеху около полусотни. Нормы, конечно, были издевательски невыполнимыми, еле вытягиваешь минимум (25 процентов), и это позволяет не попасть в отказчики со всеми вытекающими последствиями.

А вообще хотя ОЛП живет впроголодь, но он живет. Привозят фильмы, иногда хорошие. В январе показывали «Мир входящему» — картина, которая, полагаю, оставила в душе каждого что-то очень доброе, немеркнувшее. Или «Чистое небо» с Урбанским, с проносившимся мимо встречающих женщин поездом. Библейские кадры!

В зоне проводится шахматный турнир. Есть и библиотечка (за баней), зачитанный до ветхости пастернаковский Шекспир или «Вазир-Мухтар» Тынянова... Есть поэты.

Еще ходит по рукам замечательная книга Гревса «Тацит»! Редкая, незабываемая вещь, появившаяся в те сумрачные времена...

И каждый день восемь часов из-под резца летят пешки, а в голове — стаи мыслей, прошлые дни.

В бараке — вялый треп, заунывная песнь по радио. Иногда проходит мордвин-вертухай: взгляд бегаёт, шупает. Однажды толстый майор сдвинул книгу на тумбочке: «Они еще читают?» На вопрос: «Почему запретили в лагере Мо-

пассана, Бальзака, Стендаля?» — ответил: «Начитаетесь — и прочить начнете». — «А вы их читали?» — «Зачем? У меня баба есть».

Лучшие минуты — когда вечером в пещере барака собираются друзья. Сидишь на койке, подвернув ноги по-турецки, пьешь чай, беседуешь. Уголовники мирно играют в «шеши-беши»; в другом углу читают «Братьев Карамазовых».

Борис и Аркадий познакомили с любопытным человеком. Лицо нервное, тонкое, такие же руки. Вольт Митрейкин — лагерный философ, мистик, резчик шахматных коней. Читает на память отрывки из «Фауста» (в переводе Холодковского). Где это я слышал эту фамилию? Аркадий поясняет:

— У Маяковского. Помнишь: «кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки»? Это про отца нашего Вольта. Поэта Константина Митрейкина.

Чем удивил Вольт, так это миниатюрной Библией, переписанной мельчайшим почерком на тончайшей бумаге, размером чуть больше спичечного коробка; невольно подумалось: будет когда-нибудь в России Музей зека — такое рукоделие станет его украшением.

Помнится, шел разговор о революции — уместна ли она была, своевременна ли, — и Вольт вдруг обронил:

— Мы не клопы, чтобы принимать узор ковра, по которому ползем, за всю вселенную.

Юрий Виноградов, устав читать лежа, спрыгивал вниз и бежал вон из барака. До меня дошел слух, что Юрий «стучит», и хочешь не хочешь я решил проверить это, взял его под наблюдение. Выхожу следом. Смотрю: в рощице между деревьями читает на ходу Плутарха. Слухам я не верил, и было противно следить за человеком, но, признаться, я еще пару раз стоял на пороге барака, смотрел, уж не завернул ли он в контору к куму...

«День длинных ножей» в 1950 году в Кенгире оставил во мне зарубку: не всем слухам надо верить. В тот день убивали стукачей. Несколько зарезали в рабочей зоне и трех-четырех — в жилой. Под горячую руку попал Валька Бычков, последние слова которого были: «Братцы! Я ни в чем не виноват!» Потом начали разбираться, кто на него показал, есть ли доказательства и т. д. Выяснилось, зря убили Вальку.

Как-то пошел я к Юрию в рощицу, он увидел меня, обрадовался:

— Послушайте, тут Плутарх говорит о нас, то есть не совсем о нас, а о спартанцах: скудость питания развивала дерзость и хитрость и увеличивала рост мальчиков. Тяжкий груз пищи гонит тело вниз и вширь. Легкость в животе устремляет дух вверх. Вы не согласны? Понятие о красоте человеческой британское: мол, удоба легче сообразуется с правильностью членов. Не потому ли мы все здесь такие легкие, такие красивые?

Походили, походили между стволами. По зоне то здесь, то там шастали одинокие фигуры лагерников. И Юра вдруг сказал, что ему ужасно надоел десятый, да и любой другой ОЛП, что лучшее место для него — тюрьма, хотя бы в том же Владимире. Пожалуй, он был большим радикалом, чем я. Юра продолжал: попасть в желанную одиночку можно только через новое следствие, новую судимость. По крайней мере несколько месяцев будут твои. Можно думать, читать, даже писать, если ухитришься.

Разумеется, я стал горячо разубеждать его: думать, писать, читать в лагере доступнее, чем в каменном мешке. Нельзя позволить мизантропии захлестнуть себя, нельзя давать себе поблажку, нужно тренировать волю и т. п.

Забегая вперед, скажу, что Юрий таки пошел в бега, через год или полтора его судили в третий раз. Я получил от него весточку, он сообщил, что ничуть не жалеет о содеянном, теперь едет на постоянное местожительство — во Владимирский централ... Так вот устраивались иной раз зеки — «лучше-хуже, хуже-лучше». К сожалению, Юрия я больше не встречал, что с ним стало потом — не знаю. Может быть, прочтет эти мои заметки — откликнется, если еще живой...

На Ударном я был год и два месяца. Перешел в полировочный цех. Работа была сидячая: на свежую шашечницу накладываешь картонный трафарет и наносишь черно-белые квадраты. После просушки покрываешь лаком — и доска для сражений готова. Руки заняты — голова и язык свободны. Нас семеро, у каждого есть что рассказать, не замечаешь, как время идет: обед, потом ужин — и ты свободен до отбоя. Нормы и тут аховые, вытягиваешь чуть больше, чем на пешках, зато не надо тратьть нервы, работа спокойная.

С нами старик, каких когда-то любили изображать передвижники. В фартуке, лоб повязан косынкой, благообразная далевская борода, глаза выцветшие, но малюет доски ловко, споро. Он из сибиряков. Взгляд суровый, говорит не спеша о том, как в Гражданскую войну его, молодого парня, мобилизовали красные, как заставили воевать с белыми. Речь яркая, самобытная — заслушаешься. Относимся к нему с почтением, он это чувствует и принимает с царственной простотой.

Однажды, когда пронырливый Юра Ганшин принес под полой куртки литровую банку очищенного из лака спиритуса и старик принял порядочную порцию, он поведал нам про Колчака. К сожалению, время стерло в памяти красочные подробности его рассказа, но я хорошо запомнил, что «градусы», воспоминание и наши глаза, устремленные на него, растрогали старика до слез.

— Нет, сынки милые, Бог свидетель, я только на внешней охране стоял. Стреляли другие. Ясное дело, тревожился, беспокоился, повторял про себя: так надо, так надо. Их двое было. Адмирал высокий, второй, что с ним был, — низенький ростом. Каких людей убивали! Только потом дошло до ума: умирали они за свободу России! Но совесть не угомонишь. Вот и маюсь за всех, кто стрелял, за безрассудное это *так надо*.

Потом заговорили другие, вспомнили ходячие мифы: романс «Гори, гори...» перед казнью, золотой портсигар, подаренный-де одному из расстрельщиков: «Русскому солдату — от русского адмирала»...

Весной 1962 года заключенных переодели в полосатую робу (штаны, куртка, телогрейка и бескозырка). Комментарий начальства был суров: «Общественность требует!» Какая? кто? где? — об этом молчали. На вышках часовые менялись со словами: «Пост по охране особо опасных преступников сдал (принял)!»

В фашистских концлагерях облачали в одежду, по которой полосы шли сверху вниз, вдоль тела, что придавало человеку роста даже в его униженном состоянии. «Наши» придумали полосы поперек туловища, и человек становился приземистее, ниже. Издали толпа зеков походила на лентообразную движущуюся массу — идеальный намек на то, что ждет человечество при полной победе коммунизма.

...Лагерный художник Вася Лошихин устроил «вернисаж». Добровольцы следили за вахтой, за вертухаями — не появятся ли. Посетителей было немного, все свои, приглашенные. Полотна в скромных рамах прислонены к штаткетнику газонов, и зритель медленно двигался по дорожке, изучая Васины сюрреалистические творения, мрачноватые, иногда пугающие отображения вышек и не то деревьев, не то людей за колючей проволокой. Одним из посетителей был Борис Федорович Леонов, пожилой человек с лицом хищной птицы и пронзительными немигающими глазами. Голову в полосатой шапочке он держал высоко запрокинутой, смотря на мир как бы свысока. Одной рукой опираясь на палку, другую он трубочкой приставлял к глазу и подолгу разглядывал выставленные полотна. Говорил скупо и взвешенно, слушали его снисходительные отзывы почтительно.

На выставке я и познакомился со «Стариком Собакиным», как за глаза и по-дружески величали его Борис Вайль и Аркадий. В лагере Борис Федорович писал литературно-философские работы. Помнится, мы несколько раз собирались у кого-нибудь в бараке, и он ровным голосом читал этюды о Томасе Манне, Хемингуэе, Бунине... Слушать его было интересно; каждый писатель

вдруг предстал своеобразным, на свой лад, борцом со смертью. Чувствовалось, что мысли Бориса Федоровича, как птицы, кружатся над одной темой — темой смерти, страхом перед смертью. Хотел автор или нет, но он возбуждал во мне, например, участливое отношение к себе лично, а не к Бунину, Хемингуэю или Томасу Манну — победителям смерти.

Как-то раз «Старик Собакин» рассказал эпизод из своего прошлого:

— Лето восемнадцатого года, всё в движении. Мы — курсанты политпросвета, в гимнастерках, в ремнях, молодо, бодро смотрим в сияющий завтрашний день, хотя только что отбушевали белочехи на Сибирской магистрали, хотя тучи сгущаются, поднимают головы эсеры, Савинков, Перхуров на Волге. Тут приехали к нам вожди наши; зал переполнен. В президиуме — Ленин, Троцкий, Луначарский, председательствует Свердлов. Повестка известна: революция в Европе, белоказаки и тому подобное. Сидим вытянув шеи, глотая со сцены каждое слово. Вдруг за спиной президиума появился человек в кожанке, наклонился к Свердлову, подал какую-то бумагу, исчез. Свердлов передал бумагу Ленину. Тот бегло просмотрел и, кивнув, вернул Свердлову. Поднявшись, Свердлов обратился к залу. Так, мол, и так — решением Уральского военного совета в Екатеринбург казнен гражданин Николай Романов... Курсанты зааплодировали. Ленин поднял голову, посмотрел на нас странно так, загадочно посмотрел. Мы захлопали пуще прежнего. Свердлов поднял руку, и стало тихо.

— Вы понимаете, товарищи, мы в центре не давали на это санкции. Будем считать ваши аплодисменты ответом на телеграмму уральским товарищам.

Минуты три-четыре тянулась пауза. Казалось, присутствующие, каждый про себя, осмысливали такое важное событие: смерть царя!

После чего Ленин повернулся к Свердлову и буднично произнес:

— Перейдем к текущим делам.

Совещание продолжалось...

Уголовников, попавших в нашу зону, политическими можно было назвать лишь в насмешку над большинством лагерников. Здесь блатные спасались от своих дружков, от постоянных разборок. Делали татуировки у себя на лбу, например: «Долой Хрущева» — или: «Раб КПСС», прибавив для пушей важности еще и свастику на щеке, писали листовки того же содержания и т. п. На 10-м их было человек двадцать. Числились они за санчастью, начальство обязало их скрывать свои лица под марлевой повязкой, которую, впрочем, они охотно поднимали для любопытствующих. Позже их стали увозить. И вскоре лагерная радиоточка сообщила о прошедших судах и казнях за татуировки.

В общем, политеки и блатные не мешали друг другу. Хоть и жили вперемежку, «кучковались» по отдельности.

Был у меня один знакомый, недавно поверивший в Бога, Володя Экономов. Где-то на слух записывал православные молитвы и приносил мне проверить, исправить ошибки. Я посоветовал пойти к какому-нибудь священнику, так как молитвы-то были на церковнославянском языке, что он и сделал. Он нашел священника, зачастил к нему, и однажды тот рассказал Экономову не совсем обычную историю.

Недалеко от лагеря рыли канаву для прокладки труб. Какой-то работяга из уголовников, по кличке Химик, почему-то ходил за зону и вкалывал вместе со всеми (обычно они предпочитали отсиживаться в зоне, на что начальство смотрело как на неизбежное зло). Углубившись в землю, зеки обнаружили братскую могилу. И надо же было именно уголовнику наткнуться на останки священника в почти истлевшей рясе. Пошуровал лопатой — и ахнул: лопата наткнулась на нагрудное позолоченное распятие с цепью. Глянув туда-сюда и убедившись, что никто не заметил его находку, тут же припрятал ее на себе. Бригадир через конвой сообщил по начальству, что обнаружили трупы; начальство немедленно прибыло. Опер велел засыпать траншею и работы пока прекратить. Химик вечером украдкой показал крест одному священнику, тоже заключенному (они тогда еще жили в общих бараках), и спросил, золотой ли

крест или просто позолоченный и, если золотой, сколько за него можно выручить денег. Священник сказал, что крест тяжелый, возможно, и золотой. Начальство ответил, что крестов не продавал и, сколько стоит, не знает. Спросил Химика, где достал, потом стал уговаривать крест ни в коем случае не продавать, а вернуть церкви. «Ты что, батя! Где ты видишь церковь?» — «По-всякому, где есть верующие, где звучат молитвы, где есть служители церковные!» Химик посмеялся фраерским речам и ушел. В зоне до этого строили новый барак, потом почему-то стройка застопорилась, стояли только стены — без крыши, окон, дверей. И вот там дня через два в углу нашли зарезанного Химика, креста при нем не оказалось. А затем все повторилось. К тому же священнику пожаловал другой уголовник с крестом, задавший те же вопросы и получивший те же ответы и советы. Повторилось и убийство, после чего крест, конечно, исчез, как говорят, «с концами».

Священник был в ужасном волнении и никак не мог решить, идти ли к начальству или пустить события на самотек. Общаться с начальством зеку, особенно священнику, было не принято, но ведь блатные не понимали, что играют с огнем, потому что для них крест являл собой лишь золотишко, а не священный предмет, с которым не шутят. Кажется, он все-таки пошел в контору. Судить об этом можно было по тому, что в лагере провели генеральный шмон, но что искали, осталось неизвестным. Нашли ли, тоже никто не знает.

По радио сообщили, что умер Уильям Фолкнер, в то время властитель наших душ, «Особняк» которого мы только что прочли, передавая из рук в руки. Собрались, помянули по русскому обычаю банкой очищенного лака, пущенной вкруговую.

В августе срок мой перевалил за половину; стрелки на часах стали падать, время пошло как бы быстрее. И крута беда, да забывчива, и лиха беда, да избывчива, как говаривал Феликс Карелин, тяготевший к фольклору. И кто-то, до сих пор не знаю кто, подложил в мою тумбочку банку масла и пакет сахара. Я про себя подумал: спасибо, кто бы ты ни был, друг. И созвал приятелей на чай. Просил Вольта почитать что-нибудь из «Фауста».

К тому времени мы в полировочном составили неплохую дружную компанию. Обычно все сидят на своих местах и малюют «квадраты», а один читает что-нибудь интересное, в том же «Новом мире», который продолжает получать и на «особом» Борис Вайль. Так мы прочли, помнится, «Дневник Нины Костериной» и многое другое.

Кубинский кризис не оставил нас равнодушными. Весь мир ахнул, когда американцы разоблачили поползновения кремлевских заправил поставить на Кубу ракеты и нацелить их на американские города. «Ползучая революция» давала себя знать! Через месяца полтора у нас в зоне уже ходил по рукам «Ридерз дайджест» с речью Кеннеди, с хронологией событий, с подробностями того, как мир стоял «у бездны на краю». Здесь, в советском концлагере, — американский журнал!

В августе привезли к нам Игоря Ковальчука. Мы по-братски обнялись. Он верен себе, строит планы, пишет, прядет...

7 ноября 1962 года я получил от матери письмо. ...Она призналась!

«...Я больше не могу. Я скоро умру, и ты должен знать.

Семья дворянская, имели особняк в Каменец-Подольске. Отец и сын. Домработница. Когда все открылось, выгнали.

Она принесла тебя, исхудалого, грязного и в отрепьях, в детские ясли, где я была сестрой-хозяйкой. Решилась:

— Отдайте мне сына. Выкормлю, воспитаю.

Согласилась. Оформили через загс.

Поправился, стал живым, красивым, только глаза твои так и остались грустными. Тобой любовались все наши знакомые.



Да и мать не забывала, тянуло ее к тебе, приходила.

Мы уехали на Кавказ...

Теперь сам разберись, чей характер у тебя, почему ты не похож ни на меня, ни на моего мужа, почему тебя постигла такая тяжелая участь.

Она говорила, что ты на отца похож. Был он высокий, кудрявый. Немало девушек вздыхало по нем. Еще она говорила, что крестила тебя в сельской церкви на Тепло́го Алексея.

Вот почему ты всегда был холоден ко мне. Наверное, чувствовал. И это было самым большим моим горем».

Я шатался по стадиону, заходил в рощицу, избегал встречных; я прожил целую жизнь, не зная ничего этого, чувствовал, а не знал. Ну и что особенного? Что тут необычного? Необыкновенного? Разве страна наша обыкновенная? Сколько судеб, сколько жизней, похожих на мою!

Я лежал на койке и прикладывал ладони к горячему лицу. Исповедь матери задела душу глубже, чем я мог позволить себе в моем фантастическом бытии. Рядом, в спертom воздухе барака, кашляли или едва дышали мои со-братья, со-лагерники, со-временники.

3 января 1963 года мы прочли «Один день Ивана Денисовича», два месяца нас мариновало начальство, читало само и вот под Новый год пустило в лагерь. То и дело прибегали из других бараков, но мы не отдавали повесть, пока не прочли ее сами в один присест. Читал я. Вслух. Вспоминаю, как с каждым словом, с каждой страницей росло в душе волнение. Но я продолжал мчаться дальше, и со мною целая гурьба зеков замерла, не дышала, ловила все на лету. Читали без перекуров.

В эту минуту в барак вошли два вертухая. Прогулялись вдоль пустых нар, подошли к нам:

— Что читаем?

Я повернул журнал обложкой вверх.

Обменялись взглядами растерянно, пошли вон — быстрее, еще быстрее, совсем быстро. В окно было видно — на вахту!

Когда было прочитано последнее слово, наступила мертвая тишина. Две-три минуты — и взорвалось! В каждом — свое, больное, пережитое. Говорили, что Иван Денисович — не «герой», а простой «мужик», что в рассказе нет «ужасов», и каждый стал вспоминать себя, — в махорочном дыму говорили без конца.

И спрашивали: почему напечатано?

Каждой строкой, каждым словом автор был вне советского печатного чтива. Как будто какой-то великан посмотрел внимательно на лагерь, на нас, «малявок», подслушал речи и мысли наши и написал эти восемьдесят страниц!

Кто-то сказал: «Ну, русская литература реабилитирована!» И еще: «О Солженицыне не спорят!»

Оставалось три года срока, и я не знал покоя, гоняли с места на место. Сначала в Явас, в свою старую бригаду, только не лаборантом, а на укладку деталей для сушильных камер. В бригаде меня встретили тепло, поднесли чарку горилки, изготовленной из чешского лака. А на следующий день, обрядившись в фартук и рукавицы, я уже всю работу. Сначала уставал до звона в ушах (ведь прибыл из голодного ОЛПа), но мало-помалу втянулся.

В зону прибыли из Ростова новочеркасцы. Инженер завода, на котором началась заваруха, Белик, со всевозможными подробностями рассказал о забастовке, демонстрации, расстреле, о том, как свирепствовал в городе Фрол Козлов в купе с Микояном.

Вечером однажды, когда я дочитывал «Дневники» Роберта Скотта, по радио сообщили об убийстве Джона Кеннеди. Весть потрясла зеков, по крайней мере круг моих знакомых. Кеннеди любили: мужественный, благородный американец! Банде кремлевских громил показал кулак — единственное, с чем они считаются, — и те забили отбой, поджали хвосты. И вот расчет?

Большую часть оставшегося срока я провел в Сосновке, где встретил старых товарищей и познакомился с новыми. Из «стариков» — Март Никлус, Эдик Кузнецов, В. Осипов, наш Борис Оксюз и еще несколько человек. Встречались на пустыре, где жгли костры, ставили на два кирпичика прокаленную кружку, заваривали чифирь, пили на месте или, захватив кружку грязной рукавицей, мчались в барак, а там поджидала компания «алчущих и жаждающих». Так, при свете костра, я увидел Васю Лошихина и, приглашенный на чай, последовал за ним в барак, где он познакомил с любителями поэзии, в основном молодежью из нового поколения зеков.

Стихотворцы лагеря! Я встречал их везде — и в Голодной степи, и в лесотундре, и в Мордовии. Люди, особенно в России, не могут жить без стихов, не могут не читать их друг другу. У меня сохранилась с той поры тетрадь альбомного типа, в которую друзья-товарищи записали свои стихи. Листая ее, вижу их лица, слышу их голоса, и становится горько и больно, но и утешно от мысли, что хоть что-то осталось, что стихи живут, пусть зачастую слабые, но были среди них пронзительные, исчерпывающе прекрасные. И всегда искренние.

Эти люди были очень разные. Например, Саша Фенёв, имевший небольшой срок — всего три года, находился постоянно в подавленном состоянии. Казалось, ничто теперь не вернет ему уверенность в своих силах. Но на лагерных посиделках, среди товарищей, он как бы приходил в себя, веселел. Полной противоположностью ему был Геннадий Тёмин, старый зек, «видавший виды», бежавший даже с Колымы. По интеллекту, по культуре Саша превосходил Генку, но в стихах последнего, пусть несколько подражательных Есенину или Клюеву, было обаяние стихийной веры в добро.

Интересным человеком и поэтом вспоминается Анатолий Радыгин, влюбленный в море, в космос, в науку. С ним никогда не было скучно. С каким подъемом он читал свои «космические сонеты», которые, будь они опубликованы, украсили бы любой журнал или антологию!

Теперь ушел по своей воле из жизни Александр Фенёв, а в Америке, как мне сказали, умер Толя Радыгин.

Валентина Соколова всегда встречали бурно и радостно. Я с любопытством присматривался к человеку, слывшему среди зеков лучшим поэтом ГУЛАГа. Держался он просто, хорошо, без малейшего апломба, ничего «заблатненного», как я слышал про него, не было. Принесли чай, кружка пошла по кругу. Задымили махоркой, стали читать стихи. Дошло дело до Соколова. Он читал великолепно свои поэмы «Гротески» и «Тени на закате». Читал упершись локтем левой руки в стол и прикрыв ладонью ухо, полузакрыв глаза, читал глуховато, но внятно. Впечатление было сильное, невольно я спрашивал себя: кто из наших современников мог бы сравниться с ним по напряжению содержания и изощренности формы, оставляющих в душе незабываемое впечатление? Просыпаясь от чтения, он обводил нас суровым, властным взглядом и, вдруг улыбнувшись, спрашивал:

— Может, заварим еще?

Подхватывались, притаскивали пачку или две чая, неслись на двор, где еще догорали костры...

Потом просили стихи, и Валентин читал:

Ледяной водой окатят,  
 Постригут и обушлатят  
 И от деток уведут  
 И посадят к тиграм в клетку,  
 И забудет папа детку,  
 Детки папу проклянут.  
 И погонят по этапу  
 Очень тихую толпу...  
 У конвоя на погоне —  
 Звезды страшной ночи.  
 Краснозвездный сытый страж твой  
 Свежей крови хочет...

Просили читать еще и еще, и он не чинился, не ломался, читал щедро, от души, прекрасно зная, что это нужно людям, что они изголодались по правде, по настоящему русскому слову. Мы с Валентином — одноклассники. И если исключить мои лагеря в Германии, рисунок судьбы был у нас одинаков. 1948 год, Бутырка, суд — здесь почти полное совпадение (только срока были разные: ему дали десять, мне — двадцать пять). Потом его отправили на Воркуту, а меня — в Казахстан, но через два года я оказался в Инте, почти рядом с Воркутой. Освободился он тоже, как и я, в 1956 году, а в 1959-м я «загрел» на семь, а он еще в 1958-м — на десять лет. И вот встретились. Добавлю еще, что он, говоря по-лагерному, меня «уважал» и никогда при мне не позволял себе приклатности, как это бывало с другими. Крепкий чай или очищенный лак любил. Много курил. Пользовался авторитетом среди зеков, иногда разрешал среди них конфликтные ситуации. Человек щедрый, яркий и высокоталантливый...<sup>5</sup>

В зоне так называемые «суды». «Разбирают» в основном двадцатипятилетних, сидевших «за военные преступления». Вели они себя тихо, покорно, нормы выполняли-перевыполняли, в лагерной газетке каялись (но, будучи малограмотными, шли к отрядному, и тот за них писал). Они же носили повязки на рукаве, то есть были опять в «полицаях», теперь уже лагерных...

В награду — «представление на предмет освобождения».

«Суды» открытые, для зеков — потеха, от которой несло жутью.

Спрашивает судья:

— Расскажите о своем участии в расстреле советских граждан.

— Та цэ булы нэ граждане, а жида.

— У вас в приговоре записано — триста человек.

— Та хто их лычыг, начальничёк? Их гналы, а я за кулэмэтом сыдив. Триста — цэ дуже забагато записано.

Освободили? Да! Я видел его потом в столовой. Ложкой варенье лопал. С чувством собственного достоинства.

Действительно, куда *его* денешь? *Таких* дремучих любимцев начальства, о которых оно благожелательно пишет: «Встали на путь исправления»?

Впрочем, благодаря «судам» зона постепенно очищалась от них.

...Вызвал отрядный. Друг друга видим в первый раз. Пухлый, краснолицый, пустоглазый — и откуда таких берут?

— Писали на предмет помилования?

— Нет.

— Значит, мать ваша писала. Она болеет. Прокуратура СССР запросила характеристику на вас. Вот, я уже написал, знакомьтесь.

Читаю — сплошь отрицательная. Спрашиваю его:

— Вы меня когда-нибудь видели? Со мной беседовали?

— Зачем? У меня агентурные данные. Нормы не выполняете. В общественной жизни не участвуете. Антисоветские разговоры ведете. Сами виноваты.

Что ж, логично. Я поднимаюсь, иду к дверям.

— Постойте! Распишитесь, что ознакомились.

В ответ хлопаю дверью.

Есть в лагере чудная бригада, чудные люди — баптисты. Я им давал «Чтец-декламатор» в прекрасном переплете — так издавали книги в дореволюционной России. Стихи, стихи — от Державина к Блоку и Гумилеву. Ребята списывали в свои тетради стихи о Боге, переложения псалмов и т. п., договаривали всячески продать им, но я не сдавался: жалко было расставаться. Теперь же направился прямо к ним:

— Давайте, друзья, чего не жалко. Пришла минута такая! Считайте книгу своей.

<sup>5</sup> Из неволи Соколов так и не вышел: после политлагеря — бытовой, потом психушка, где он и умер скоропостижно 7 ноября 1982 года (см.: Соколов Валентин. Глоток озона. М. ЛХА «Лира» — журнал «Москва». 1994).

Ох, рады были! Ох, забегали по бараку. Нанесли кофе, чаю, сахару и вдобавок — 15 рублей (тогда это была немалая сумма).

От них пошел в «куток», как называли свой барак в углу зоны блатные. Станный был «куток», не похоже, что живут блатные. Хотя усмешечки, кое-какое кривляние и там было, но между своими. С нами, политзеками, вели себя цивилизованно. Мы там собирались иногда, чтобы отметить свои праздники — Пушкинский день, Пасху.

Жила у них слепая кошка Катя с двумя котятками, ежик, четыре сороки, щеглы, в особой будке ворковали голуби — медлительные «драконы».

Там всегда был костер, всегда сидели вокруг люди, пусть блатные, кто-то перебирал струны гитары. Меня встречали, как «старого зека», приветливо. Выложил чай, приберегая кофе для своих поэтов, и впервые в жизни попросил несколько затяжек махорки, смешанной с планом. Главным среди них был Юрка, серьезный, по-своему умный; говорили, что был быстрый на расправу, но справедливый. Он строго посмотрел мне в глаза, что-то понял, спросил:

— Может, не надо, Леша?

— Давай! — махнул я рукой.

Перемешали махорку с зеленым порошком, сварганили сигарку, пустили по кругу. Рядом сидел Валька Рекушин, из блатных, но «нахватавшийся» у политзеков разных знаний и привычек.

Я не представлял, как подействуют на меня эти затяжки. Окружающее вдруг стало восприниматься остро, кристально чисто, впечатления и мысли менялись мгновенно, сердце стучало с бешеной скоростью, в то же время я слышал каждое слово, видел малейшее движение глаз сидящих у костра. Они уделяли мне почему-то особое внимание. Помню, Юрка Худой сказал Рекушину сурово:

— При нем будь.

Рекушин и я поднялись и пошли по деревянному «тротуару» вдоль барачков с нависающими над ними ветками деревьев. Валька не умолкал, голос его то возникал в сознании, то угасал, пропадал. Помню, что все попадавшееся на глаза волновало необычайно. Какой-нибудь воробышек на качающейся ветке заставлял сердце биться еще чаще, и до такой степени, что казалось, грудь разорвется. Мир казался умытым и прозрачным. Это было счастье.

— ...у меня тоже есть мама, — донесся до сознания обрывок Валькиной фразы.

Ах, мама! В ответе на ее исповедь я признавался ей в любви сыновней, писал, что горжусь ею, что ни одна женщина, встреченная мною, не годится ей в подметки.

Тут снова подвернулся воробей на ветке, снова я заволновался, но дурман проходил, я уже владел собой, уже удивлялся, что это со мной было, и понимал, что такого «утешения», такого насилия над душой мне больше никогда не понадобится.

В воскресенье утром, выйдя из столовой, я увидел лагерников, бегущих к забору. Там уже шумела толпа, слышались негодующие выкрики! Оказалось, что какой-то заключенный бросил доску на запретку и полез по ней через проволоку метрах в тридцати от часового на вышке. Часовой умолял не лезть: «Ведь я тебя должен убить». (Как переменялось время! В степлаговские времена *попки* радовались, если им удавалось кого-нибудь подстрелить!) Зек продолжал ползти по доске. Часовой выстрелил в воздух. Прибежали солдаты, свободные от вахты, во главе с начальником караула, сержант сжимал в руке пистолет. И когда зек поравнялся с рогатиной и деловито перекинул ногу через ряды проволоки, сержант дважды выстрелил в упор. Заключенный скovyрнулся, но зацепился правой штаниной за проволоку и повис вниз головой. Так погиб Анатолий Ромашов, получивший накануне письмо о том, что жена ушла к другому. Висел он минут пятнадцать или двадцать, пока бегали за лестницей, пока до него добирался надзиратель Швед, который могучей дланью ото-

рвал его от проволоки, поднял повыше и ухнул изо всей силы оземь. Под рев толпы — возмущение, гнев, проклятия сыпались на головы начальства. В толпе уже собирали подписи под быстро написанными петициями к советским властям, к мировой общественности, в ООН — инициатором этого был Март Никлус. Я прочел обращение в ООН: «На глазах сотен заключенных и вольнонаемных убили человека, убили трижды: 1) выстрелами в упор, 2) оставили в подвешенном состоянии истекать кровью 20 минут, 3) ударили головой оземь с пятиметровой высоты».

Срока у А. Ромашова было всего три года, отбыл уже два.

14 октября 1964 года произошла смена в верхах. Мы не огорчились: Хрущев давно всем надоел, — но насторожились. И не напрасно.

Я работал какое-то время в подсобной бригаде на распиловке и колке дров и жил в одном бараке с Николаем Ивановичем Ульяновым, или, как его называли в зоне, «Колдуном» — за гадания, остроумие, рассказы. При возвращении бригады с работы, на шмонах, он иногда до смерти мог испугать какого-нибудь вертухая: «Отыди, змей! Порчу нашлю!» И вертухай, сам не свой от страха, пропускал его без шмона, что очень веселило нашего брата.

В связи с событиями в центре Николай Иванович вспомнил 1930 год, когда их, курсантов Ленинградского военно-морского училища, подняли по тревоге, посадили в поезд и привезли в Москву, где с вокзала доставили прямехонько в Кремль. В каком-то роскошном зале их встретили важные чины и пригласили за накрытые столы. Начался «пир горой», тосты за вождей, как водится. Появился оркестр, в зал вошли девушки-десятиклассницы, начались танцы. Полторы сотни курсантов веселились вовсю; перебравших уносили в соседние комнаты, укладывали на диваны, ухаживали за ними. Потом девушки исчезли, но братва продолжала застолье. Вдруг прозвучала команда: «Встать!» И в зал вошли Ворошилов и Буденный. Они успокаивающе жестикулировали, поощрительно улыбаясь. Ворошилов поднялся на попавшийся под руку стул и обратился к курсантам с небольшой речью. Так, мол, и так, время теперь суровое, и у советского правительства, и у нашей партии немало есть всяческих врагов — не только за рубежом, но и внутри страны. Больше всего они, конечно, ненавидят нашего любимого и дорогого учителя и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина! И мы вот с Семен Михайловичем надеемся, что в случае какого-нибудь выступления против великого вождя вы, курсанты, молодежь наша, не подведете, грудью встанете на защиту социалистической революции. Ура, товарищи! Ну, все прокричали «ура», Ворошилов и Буденный выпили по бокалу за здоровье Сталина и ушли, пожелав всем приятно провести ночь. А в пять утра нас погрузили опять на машины, отвезли на вокзал и отправили обратно в Питер. Такая вот была веселая ночька! Что там у них творилось наверху, до сих пор не знаю.

В самом деле, что у них было тогда? Начало новой политики — ликвидация класса «кулаков»? XVI съезд? Процесс над «Промпартией»?..

Наступил 1965 год, последний год моего заключения. Читатель уже знает, что от лагерных реалий, от внезапных поворотов в судьбе я уходил в другой мир — в мир переводов и усиленного чтения. Переводы, возможно, и спасли меня в водовороте событий, желанных или вовсе не желанных встреч, знакомств, но главное, увели от собственных мыслей, трудных и неизбывных, от задач, которые выдвигала жизнь и решать которые не было у меня ни сил, ни желаний. Это была реакция на почти четвертьвековые испытания и мытарства.

Мы вернулись с работы и разбрелись по койкам, когда в секцию вбежал штабной «шестерка»:

— Ситко, живо в штаб, к куму!

Накинув бушлат, потопал не без тревоги: чего *им* еще от меня надо? Вот и дверь с табличкой «Зам. начальника по КГБ». Сюда, что ли? Дневальный кивает: сюда, сюда.

Толкнул дверь, вошел. Из-за стола встает Евгений Иванович Дивнич, улыбается сквозь слезы, хватается за плечи в моем замызганном бушлате, прижимает к своему новенькому дорогому костюму. Когда прошла минута волнения, мы уселись: он на стул кума по ту сторону стола, а я напротив. Выглядел Евгений Иванович неважно: пожелтевшая кожа лица, вообще вид болезненный, но глаза те же — внимательные, добрые, улыбочивые. Сказал, что провалялся в больнице, еще не совсем пришел в себя, но добился разрешения посетить однодельцев и помочь им выйти на волю раньше срока. Что и было ему твердо обещано в Москве. С Игорем Константиновичем уже виделся. Теперь со мною. Как я смотрю на такую перспективу?

Мне было не по себе, признаться. Не хотелось огорчать человека, отдающего последние силы на то, чтобы помочь ближним. И не только последнее здоровье отдающего, но и душу. В Явасе мы немало спорили об этом, и повторяться не хотелось. Тем более в кабинете оперчасти.

Я сказал, что искренне радуюсь за друзей, за их семьи. Что Евгений Иванович проявил незаурядное упорство, вытаскивая из лагеря Бориса и Игоря. Но за меня попросил не хлопотать. Осталось «добить» год, и я хотел бы выйти по звонку, не раньше.

— Иного ответа я не ожидал от вас, — сказал Дивнич.

Мы еще посидели, уже молча.

— Хочу посоветоваться с вами, дорогой Леня, — продолжал он, поглаживая толстый портфель на столе слева от него. — Я готовился выступить перед заключенными, изложить мои взгляды, вам известные... Как, по-вашему, они отнесутся к этому?

Я удивленно посмотрел на него. Неужели он сам не понимает?

— Евгений Иванович, приезжал сюда бывший священник Осипов, вы, наверное, о нем слышали? — (Евгений Иванович кивнул.) — Выступал с лекцией «Почему я стал атеистом». Жалкое зрелище; среди зеков обнаружились двое учеников семинарии, знавших какие-то подробности его предыдущей жизни, не очень красивые подробности. Ему задавали вопросы, на которые он не смог вразумительно ответить, и под хохот всего зала убежал со сцены.

Я помолчал, затем продолжил:

— Евгений Иванович, я по-дружески очень прошу вас не выступать. Сегодня на ужин будут давать помидоры, по штуке на брата. Обычно — гнилые...

— Хорошо. Спасибо, я приму ваш совет.

Прощаясь, Дивнич встал. Ни малейшего намека на высокомерие не было в его глазах, тот же кроткий, любящий взгляд. Он как бы прощался со своим славным прошлым, со свидетелем борьбы за освобождение страны от лиходеев. Он как бы понимал свое бесславное настоящее, когда он согнулся перед ними, умоляя о пощаде для тех, кто по его вине «загремел в лагерь»!

В бараке на койке меня ждал гостинец в бумажном мешочке: банка кофе, пряники, конфеты. Это был последний привет Евгения Ивановича.

Я повалился на койке, отдыхая и пытаясь читать, но книга не помогала. Сами собой пришли стихи:

Или я уж вконец расстроен  
И душа до того охладела,  
Что и мыслей нет, кружащихся роем,  
Только чувствую тяжесть тела.  
Только чувствую тяжесть света,  
Ржавой проволоки и плакатов,  
Тяжесть черного человека  
Там, на вышке моих закатов.

А потом позвал товарищей на кофе и пряники.

Текст своего выступления Дивнич наговорил на пленку. Дважды в сутки, утром и вечером, радио передавало его по всей зоне. И не только на нашем 7-м, а во всем Дубровлаге. Так продолжалось три дня. И три дня зеки, слышав его голос, ругались, издевательски комментировали и плевались.

А неделю спустя меня вызвал отрядный, тот самый, с плавающими глазами. По-моему, он был в смятении, изумленно показывая мне запрос прокурора Дубровлага Ганичева: «Почему з/к Ситко не пишет просьбу о помиловании?»

— Потому что *не хочет*, — сказал я.

1 сентября 1965 года пришло письмо-сообщение: мать скончалась. В письме был и календарный листок: 25 августа, среда; карандашом приписано: в 17.15...

Что она, мама, могла сделать с волной судьбы, захватившей сына, с этими пространствами и штыками! Советов и то не имела возможности дать, разве кротко увещевала, чтоб «не связывался с дурной компанией», до смерти веря, что я «хороший».

В бараке — полутемь, бесформенные кучи бушлатов на койках. Ночная лампочка над входом. А я ворочаюсь на своем ложе, стараюсь спутать мысли, и вдруг словно током подбрасывает... Вот уже два года я боюсь того, что хуже смерти, — помешательства.

Январь был мягкий, даже теплый, и я постепенно готовился к выходу. Берег был уже совсем недалеко, осталось «плыть» считанные недели. Раздавал книги; местные поэты дарили стихи.

Вечера проходили с товарищами, внутренне я уже прощался с ними. Прощался и со всеми уголками зоны, памятными по встречам, беседам, книгам. Все теперь было засыпано снегом, и только голуби и воробьи оживляли окрестность. Уголок за школой, стадион, «аллея вздохов», мусорная свалка за котельной — все было белым-бело, везде виднелись следы, оставленные зеками, бегающими туда-сюда на нашем славном «пяточке» — 11-м ОЛПе.

Когда оставалось еще два дня, я отнес, как полагалось, чемодан в штаб, в кабинет опера. Чемоданы освобождающихся проверяли: нет ли нелегалыщины, — потом доставляли на вахту, где проходил шмон с раздеванием. Больше всего я беспокоился за свои записки, стихи товарищей, письма.

Накануне меня вызвал начальник ОЛПа, толстый и щекастый Пивкин, и в присутствии начальников спецслужб, отрядных и других офицеров прочел нотацию на избитом языке лагерного держиморды.

Я ему ответил, и Пивкин, не ожидавший нотации со стороны заключенного, так растерялся, что на несколько минут потерял дар речи.

Утром долгожданного дня пришли ко мне друзья, оставшиеся в зоне. Кто «закосил» в санчасти, кто просто не явился на развод. Последние напутствия, взаимные пожелания мужества и удачи; последний взгляд на бараки, в которых протекли годы, на лагерные постройки и пристройки, на запретки и деревья внутри зоны.

Наконец обыск на вахте, закончившийся более или менее благополучно для тетрадей в чемодане, и в канцелярии за зоной.

— Куда выписывать билет и справку?

— В Воронеж.

Радость освобождения была крепко пропитана печалью, природу которой, наверно, нет необходимости объяснять.

...Я вышел на свободу накануне появления в Явасе Синявского и Даниэля. Процесс над ними считают иногда началом правозащитного движения, а то и всего инакомыслия. Конечно, это не так: сопротивление тирании — и тайное, и открытое — существовало задолго до них, задолго до нас. Сейчас понемногу уточняется история семидесятилетней неравной схватки, в которой, как ни неожиданно, Человек победил беспощадную государственную машину.

Москва.

1996.

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

\*

## МАСТЕР ГЛАЗАМИ ГПУ

*За кулисами жизни Михаила Булгакова*

### «Выявить физиономию»

**С**екретный отдел ОГПУ выловил заметку, появившуюся в ноябрьском номере берлинского журнала «Новая русская книга» за 1922 год. Некто Булгаков Михаил Афанасьевич сообщал, что он затевает составление «полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами», и потому просил «всех русских писателей во всех городах России и за границей» присылать ему «автобиографический материал». Автор заметки призывал все газеты и журналы перепечатать его обращение.

Замысел, что и говорить, грандиозный! А главное — самодеятельный, неподконтрольный. Кто этот новоявленный Брокгауз и Ефрон?

За личиной самонадеянного биографа угадывался литератор: «Желателен материал с живыми штрихами», а следующая фраза: «Особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет материала», — этот акцент на молодых словно намекал, что и сам автор — новичок в литературе.

Впрочем, удостовериться во всем этом не составляло большого труда — тут же был указан адрес: Москва, Большая Садовая, 10, квартира 50.

Кончилась Гражданская война. Грозы военного коммунизма остались позади, советская власть переходила к строительству невиданной, первой в истории, социалистической республики. Начали с отступного маневра — нэпа, новой экономической политики, временного возврата к частному рынку. Однако гибкость в экономике вовсе не означала идейной шаткости. Одолев внешнего врага, хозяева жизни — большевики — обратились к внутреннему. Настал черед интеллигенции, предстояло проверить ее на благонадежность, селекционировать: покорных — подчинить; от непокорных — избавиться: кого выбросить за кордон, кого, наоборот, изолировать и упрятать поглубже; а самых непокорных — к стенке, на революционном жаргоне — пустить в расход.

Затея со словарем русских писателей показалась небезобидной. Она явно шла вразрез с установкой властей. В самом деле, вместо размежевания, разделения литературы по единственно верному, классовому, признаку — на красных и белых, наших и не наших — предлагалось смотреть на нее как на единое целое независимо от государственных границ и политических взглядов.

В этом Лубянка усмотрела крамолу. На Булгакова было заведено досье. Коротенькая заметка в эмигрантском малотиражном критико-библиографическом журнале дала толчок для многолетнего надзора за автором, слежки, которая, подобно хватке удава, то сжимает, то дает перевести дыхание, но уже не отпустит до самой смерти.



Что могло узнать тогда ОГПУ о нем, этом самом никому не ведомом Булгакове? Прописался в Москве год назад, тридцати одного года от роду, женат, живет очень бедно, в коммунальной квартире, служит секретарем в литературном отделе Главполитпросвета, перебивается мелкими гонорарами, печатая фельетоны в газетах и журналах. Один из тех литературных поденщиков, которых в столице — пруд пруди. На время Булгакова оставили в покое.

Дело получило продолжение через год. К заметке из «Новой русской книги» прибавилась копия перлюстрированного ОГПУ письма из Берлина писателя Романа Гуля в Москву, другому писателю — Юрию Слезкину. Гуль, который по заказу зарубежного издательства составлял литературный раздел энциклопедического словаря, вспомнив, что Булгаков затевал подобную работу, просит его — через Слезкина — прислать собранные материалы, с уверениями об их непременно возврате. «Дело-то, в конце концов, общее, интересное и всем нужное» (письмо датировано 21 марта 1924 года).

Неизвестно, дошла ли просьба Гуля по назначению и что стало с материалами, которые собирал Булгаков, но из биографии его мы знаем, что к этому времени свою затею со словарем он оставил и больше не возобновлял, видимо поняв ее безнадежность.

Зато на полях письма Гуля проступает для нас другая информация. В ОГПУ приписали: «К делу Булгакова «Биографический словарь». Ген д и н...»

Это имя в досье будет попадаться часто. Ибо именно ему, уполномоченному Седьмого отделения Секретного отдела Семену Гендину<sup>1</sup>, поручено вести надзор за Булгаковым. И он берется за дело со всевозрастающим рвением.

Уже в мае перехвачено и скопировано письмо к Булгакову сотрудника «Красного журнала для всех» Николая Каткова с предложением адресату напечатать главы из его романа «Белая гвардия». Таким образом, выясняется, что М. А. Булгаков — не столько биограф и не только журналист, но уже и беллетрист, писатель! В литературном полку прибыло!

Вскоре досье пополнилось еще одним документом. Это тоже письмо, но не копия, а подлинник. 22 мая Константин Булгаков, двоюродный брат Михаила, сообщает ему из Киева о своем знакомстве с корреспондентом английской газеты «Дейли кроникл» Лоутоном и о том, что этот господин ищет подходящего спецкора для своей газеты в России. Советует попробовать: «Ты годишься... Не дрейфь... Вообще, пусти арапа...»

К письму приложена рекомендация для Лоутона, в которой Константин Булгаков дает характеристику своему родственнику: «Предъявитель этого письма — мой кузен Михаил Афанасьевич Булгаков... Он молодой русский писатель и уже корреспондировал в нескольких газетах и пишет в толстых журналах.

Он очень краток, но в то же время необычайно ярок и жив в описаниях и рассказах. В Москве он входит в известность. В то же время он очень энергичный человек. Вы увидите, будет ли он Вам полезен, если прочтете некоторые из его книг...»

Увы, встреча Михаила Булгакова с господином Лоутоном не произошла. ГПУ вовремя предотвратило нежелательный контакт с иностранцем. Письмо из Киева до адресата не дошло, навсегда осев в архивах Лубянки. Это была первая успешная операция Гендина в биографии своего подопечного.

Так Булгаков не стал корреспондентом английской газеты. А как кстати это пришлось бы ему тогда! В том мае месяце, в очередной раз доведенный до отчаяния безденежьем, нищетой, начинающий писатель признался в одном из своих писем: «Себе я ничего не желаю, кроме смерти, так хороши мои дела!»

<sup>1</sup> Гендин С. Г. (1902 — 1938) — оперативный работник и следователь ОГПУ — НКВД, инспектор Особого отдела ГУТБ НКВД, заместитель начальника Разведывательного управления штаба РККА. Расстрелян в годы репрессий.

«Разработка» Булгакова органами сыска идет по нарастающей. Следующим этапом стала агентурная слежка за ним. Наладить ее было нетрудно: литературная среда кишела доносчиками. Начало положил в 1925 году неведомый нам секретный агент — имена и клички этого разряда служителей Лубянки засекречены до сих пор и в изученных нами документах отсутствуют; поэтому наречем его просто Гепеухов — словом, изобретенным самим Булгаковым.

Место действия — московская квартира Евдоксии Федоровны Никитиной, литературоведа и издательницы, устраивавшей у себя так называемые «Никитинские субботники» — вечера, на которых писатели читали свои сочинения. В небольшом, уютном зале тесно, стих говор, хозяйка представляет гостям героя вечера — сегодняшнего автора...

А мы послушаем Гепеухова, теперь слово — ему:

Сводка Секретного отдела ОГПУ № 110:

«Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2-14-16).

Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечивание» последней.

При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:

1) У профессора семь комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих, с просьбой отдать им две комнаты, так как дом переполнен, а у него одного семь комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и восьмую. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику «Виталию Власьевичу» (?), что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, так как к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать «крепкую» бумажку, после чего его никто трогать не будет. Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом.

«Купите тогда, товарищ, — говорит работница, — литературу в пользу бедных нашей фракции». — «Не куплю», — отвечает профессор. «Почему? Ведь недорого. Только пятьдесят копеек. У вас, может быть, денег нет?» — «Нет, деньги есть, а просто не хочу». — «Так значит, вы не любите пролетариат?» — «Да, — сознается профессор, — я не люблю пролетариат».

Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: — Утопия!

2) «Разруха, — ворчит за бутылкой Сен-Жульена тот же профессор, — что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха — это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917-й, пятнадцать лет. На моей лестнице двенадцать квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же вы думаете? За эти пятнадцать лет не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля, а 24-го украли все: все шубы, моих три пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите — разруха».

Оглушительный хохот всей аудитории.

3) Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неопишемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: «Нельзя. Нельзя никого бить. Это — террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить». И он свирепо, но не больно тычет собаку мордой в разорванную сову.

4) «Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же «Правду». Я наблюдал у себя в клинике тридцать пациентов. Так что

же вы думаете, не читавшие «Правду» выздоравливают быстрее читавших...» — и т. д., и т. д.

Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров того, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.

Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид.

Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку.

Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (первая ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов — писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если не будет), это-то и будет роскошным им, писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, то есть как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет...

Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всер. Союза поэтов».

9 марта 1925 г.».

Надо отдать должное старанию и цепкой памяти осведомителя: пересказывает он — с голоса автора — подробнейшим образом, успевая при этом фиксировать и реакцию слушателей. А какая прицельная точность: подсчитал и число собравшихся, и процент писателей среди них, запомнил даже номер телефона, который набирает герой повести, — на всякий случай... И тут же анализирует, делает выводы, выдает рекомендации — прямо отдел пропаганды ЦК ВКП(б). Ценный кадр — артист своего дела!

Судя по всему, Булгаков читал у Никитиной какой-то ранний вариант повести «Собачье сердце» — в гепеуховском пересказе есть разночтения с известным, опубликованным текстом. Там влиятельного сотрудника зовут не Виталий Власьевич, а Виталий Александрович, номер его телефона не упоминается вовсе, партийные активисты собирают деньги для детей Франции, а не «в пользу бедных нашей фракции», профессор грозит уехать в Сочи, а не в Батум... Возможны тут, конечно, и ошибки не совсем уж безгрешной памяти Гепеухова. Оставим эти загадки булгаковедам.

Через две недели Гепеухов снова на посту.

Сводка Секретного отдела ОГПУ № 122:

«Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21 марта 1925 г. на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему:

Очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастьем, а именно: превратил очеловеченную собаку в прежнего, обыкновеннейшего пса.

Если и подобные грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» — только подчеркнуто-заметный, небрежный грим) выпады появляются на

книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас.

24 марта 1925 г.».

Мавр сделал свое дело. С этого времени ОГПУ уже не выпускает писателя из-под жесткого контроля. Следит за его местопребыванием, сменой квартир («По делу Булгакова. Совершенно секретно... Булгаков ранее проживал по Б. Садовой ул., № 10, кв. № 50 и 29.10.24 г. переехал по адресу: Обухов пер., № 9, кв. № 4...»). Перлюстрирует и анализирует переписку, выявляя нездоровый и враждебный душок. Так, на Лубянке, несомненно, с тревогой узнали, что писатель хочет через посредника напечатать свои вещи за рубежом, и были удовлетворены, когда это не удалось. Посредник (фамилия его в досье не указана) 2 января 1925 года сообщал автору, что все попытки «пристроить роман» оказались безуспешными, а по поводу другого произведения — повести — многозначительно остерег: «Содержание ее может быть истолковано в неблагоприятном для СССР смысле... По-моему, издавать ее вне СССР на иностранном языке не стоит. Сатира заслуживает самого осторожного обращения. Не так ли?» На копии другого письма, в котором один из московских знакомых Булгакова (в ОГПУ его подпись предположительно расшифровали как «Ю. Готовский» — возможно, однако, это был писатель Юрий Гайдовский) пригласал его 14 декабря к себе домой, на Маросейку, читать среди друзей «Белую гвардию», сотрудник ОГПУ приписал: «Так как письмо спешное, снял копию, а его направил по адресу»...

Прошедший, 1925 год стал для Булгакова последним в череде тех тяжелых лет, которые он назвал позднее «доисторическими временами». Писатель постепенно выбирался из неустроенности и безвестности. Печатался в журнале «Россия» его первый роман «Белая гвардия», вышел в свет сатирический сборник «Дьяволиада». Новое имя заметила критика, запомнил читатель. Молодой автор в полном смысле слова оперился и с надеждой смотрел в будущее.

А для его лубянского опекуна Гендина новый, 1926 год начался с неприятности.

На стол начальнику Секретного отдела Терентию Дмитриевичу Дерibasу попала агентурно-осведомительная сводка № 4 за 2 января, поступившая из Седьмого отделения:

«В Москве функционирует клуб литераторов «Дом Герцена» (Тверской бульвар, 25), где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя: Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы.

Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются.

Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии.

Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества».

Только что, 31 декабря, Москва похоронила Сергея Есенина, покончившего жизнь самоубийством. Горе для всей земли Русской! Тело поэта при несметном стечении народа пронесли через центр города. Траурный митинг у памятника Пушкину. В газетах — некрологи. Публика наэлектризована слухами и сплетнями. А лубянские служаки отмечают это по-своему — посмертным доносом! И Есенин для них — не великий поэт, а «накипь литературы»!

Старый революционер, опытный чекист Дерibas пришел в ярость. Он устраивает разгон Седьмому отделению, накладывает на донос резолюцию: «Тов. Гендину. Покойников можно оставить в покое! А в чем конкретно выражают-

ся их антисоветские инстинкты? Вообще надо воду прекратить и взяться всерьез за работу по руководству осведомлением».

Автор скандальной сводки, надо думать, получил нагоняй, штат осведомителей был укреплен. И в «Дом Герцена», в котором в то время находился Союз писателей и сосредоточивалась публичная литературная жизнь, — тот самый знаменитый писательский муравейник, с блеском описанный потом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» как «Дом Грибоедова», — посылаются квалифицированные агенты.

Какой-то переполох, во всяком случае, произошел на лубянской кухне, ибо отныне Гендин, а вместе с ним и булгаковское досье перекочевали из Седьмого в Пятое отделение Секретного отдела, под контроль его начальника Славатинского<sup>2</sup>. Теперь и он будет читать все доносы на Булгакова. Пара глаз хорошо, а две — зорче.

И результат не замедлил сказаться. Первое же после этого публичное выступление писателя сопровождалось сразу двумя донесениями. Одно из них составил сам Славатинский, выступивший в роли Гепеухова. Он собственной персоной заявил на диспут под названием «Литературная Россия», имевший быть в самом торжественном и престижном Колонном зале Дома союзов 12 февраля 1926 года. Затерявшись в кипящей аудитории, внимательно слушал все от начала до конца и подкреплял память набросками в блокноте. Уходя, захватил трофеи — билет на диспут и ловко перехваченную записку из публики. В последующие дни проштудировал газетные отклики о вечере.

И только тогда, в тиши кабинета, подытожил:

#### «Агентурно-осведомительная сводка № 104

Отчеты о диспуте, появившиеся в «Известиях» и «Правде», не соответствуют действительности и не дают картины того, что на самом деле происходило в Колонном зале Дома союзов.

Центральным местом или, скорее, камнем преткновения вечера были вовсе не речи т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и Мих. Булгаков. Оба последних говорили и острили под дружные аплодисменты всего специфического состава аудитории, и, наоборот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского прерывались свистом и неодобрительным гулом.

Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писателем, старым и новым критиком и даже между старым буржуазным читателем и новым, советским, читателем, который ждет прихода своего писателя.

Смысл речей Шкловского и Булгакова заключался в следующем:

Писателю скучно, и читателю скучно, читателю нечего читать, и он принужден питаться иностранщиной. Наша критика ищет и выращивает в своих инкубаторах новых красных Толстых. Когда даже самая скверная бактерия нуждается в бульоне для питания, наш писатель не имеет этого бульона и от литературы бежит в кино. Но... диктатура пролетариата все же для пролетарского писателя еще более опасна, чем для буржуазного, ибо последний может все же найти себе хоть какой-нибудь заработок, составляя коммерческие рекламы для трестов.

Да и вообще скучно и не для кого писать. Ехал как-то Шкловский на извозчике и заинтересовался, почему у него такая плохая кляча. А извозчик говорит: «Кляча по седоку, а хорошая лошадь у меня на конюшне стоит».

Вообще же наша литература похожа сейчас на фабрику резиновых галош, которая стала выпускать галоши с дыркой (понимай — пролетарскую литера-

<sup>2</sup> Славатинский А. С. (1892 — 1938) — сотрудник Секретно-политического отдела ОГПУ — НКВД, заместитель начальника УНКВД по Саратовской области. Репрессирован, расстрелян.

туру). Публика — потребитель — возмущается, а фабрикант говорит: «Поми-луйте, вы обратите внимание на красивую форму галош, на их лоск». А какое дело обывателю до формы и блеска, когда на галошах дырка!

Впрочем, вообще, разве мы можем до чего-нибудь договориться здесь? Это борьба, но не настоящая борьба, когда-нибудь нам надо побороться честно, «по-гамбургски». А гамбургская борьба заключается в следующем: раз в год борцы, которые борются в цирках и жульничают, съезжаются в Гамбург и там, в интимном кругу, устраивают честную борьбу, на которой и устанавливаются категории и ранги борцов.

Таким образом, то, что происходит в зале Дома союзов, — это не борьба по-гамбургски.

В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрикацию «красных Толстых», этих технически неграмотных «литературных выкидышей». Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узкоутилитарной точки зрения и необходимо наконец дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и «живому писателю». Надо дать возможность писателю писать просто о «человеке», а не о политике.

Несмотря на блестящие отповеди т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. Ничего не понял и не уразумел «старый писатель» за 8 лет и посейчас остается для нового читателя чужим человеком. Этот диспут — словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях.

Начальник 5 Отделения СО ОГПУ Славатинский».

Рядом с этим добротным образцом фискального жанра второе донесение о том же диспуте обычного Гепеухова выглядит куда скромнее, но в сути своей подкрепляет выводы главы Пятого отделения:

«...Выступление Булгакова. Он говорит, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело». «Нужно писать о человеке», — заключил свое выступление Булгаков.

Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же, выступление Киришона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих».

«Т. Гендину о Булгакове в его формуляр», — расписался Славатинский.

Что-то нужно было делать с этим Булгаковым. Руки давно чесались. А тут и случай подвернулся. С самого верха грянуло: ударить по сменовеховцам! Сеть завели пошире...

### «Пишу по чистой совести...»

Операция имела место 7 мая 1926 года.

Днем агентурной разведкой через активотделение уточнили место жительства. Прежнее — в Обуховом переулке. Выделили исполнителя — уполномоченного Пятого отделения Секретного отдела Врачева. Выписали ордер за номером 2287, скрепленный подписью начальника оперативного отдела Паукера: «Выдан... Врачеву на производство обыска у Булгакова Михаила Афанасьевича...»

Обыска? Документ этот не так прост.

На одном листе с ордером, через намеченную пунктиром линию обреза, есть «Т а л о н», адресованный начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ: «Примите арестованного...» От руки вписан даже номер дела — «числить за 45», представлена та же дата — 7 мая и подписи — Г. Ягода и Паукер. Остается только вписать фамилию — и носитель ее окажется за решеткой. Ловушка вроде бы открыта, но одно движение руки — и захлопнется!

Вечером — по испытанной стратегии чекистов действовать в темное время — Врачев отправился в Обухов переулочек и, захватив в качестве понятого арендатора дома № 9 Градова, постучал в дверь квартиры № 4.

— Кто там? — донесся женский голос.

— Это я, гостей к вам привел! — бодро гаркнул арендатор.

Дверь распахнулась.

Дальнейшее известно: о том, как производилась операция, рассказала в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская, в то время жена Булгакова. Но вот что именно в точности было изъято и доставлено в ОГПУ, об этом мы узнаем лишь сейчас — из протокола обыска. Врачев явно был проинструктирован заранее: из всего вороха бумаг отобрал только «Собачье сердце» — два экземпляра, перепечатанные на машинке, три тетради дневников за 1921 — 1925 годы, рукопись под названием «Чтение мыслей» да еще два чужих стихотворных текста: «Послание евангелисту Демьяну Бедному» и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет.

Операция, произведенная у Булгакова, была не единственной в Москве. По городу прокатилась целая волна обысков. Среди пострадавших оказался и Исая Лежнев, редактор журнала «Россия», в котором печатался роман Булгакова. Публикация «Белой гвардии» оборвалась: журнал скоро был закрыт, склад и магазин издательства опечатаны, а сам редактор не только обыскан, но и выслан за границу.

А 12 мая раздался выстрел, отозвавшийся громким эхом в литературных кругах. Покончил с собой беллетрист Андрей Соболев. Случилось это не где-нибудь, а на самом бойком месте — на скамейке Тверского бульвара, рядом с тем «Домом Герцена», где помещался Всероссийский Союз писателей, председателем которого несколько лет был Соболев. Это тоже давний и близкий знакомый Булгакова, поддерживавший его в черную годину, напечатавший первый из его московских рассказов. Смерть Андрея Соболева восприняли как трагическую демонстрацию.

Была ли какая-нибудь связь между серией обысков и выстрелом на Тверском бульваре — остается только гадать. Но то, что акции ОГПУ — единый замысел, несомненно. И доказательство тому мы находим в досье Булгакова, в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом — «Меморандум». «Осенью 1926 года, — говорится там (непростительный для ОГПУ ляп — путать осень с весной), — во время закрытия лежневской «России» у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъяты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца».

Сменовеховцы — такие, как авторы журнала «Россия», отстаивавшего позицию честного, неангажированного издания, — были чужды политике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее перерождение к лучшему. И репрессии против них не были каким-то самодурством ОГПУ — нет, чекисты просто претворяли в жизнь директивы последнего партийного съезда, объявившего решительную борьбу со сменовеховством. Удар по Булгакову — не исключительный акт, а часть большой охоты на независимых писателей. Цель — запугать, сделать послушными, пресечь все попытки несанкционированного общения и объединения.

Конечно, автора «Белой гвардии» записали в сменовеховцы лишь потому, что он печатал свой роман в их журнале. Сам он никогда к этой группировке себя не причислял и даже относился к ней с антипатией. Но можно считать, он на этот раз еще легко отделался! Знал бы Булгаков, какая туча повисла над его головой. Совсем недавно из секретных архивов всплыла докладная Г. Ягоды в ЦК ВКП(б), в которой тогдашний зампред ОГПУ предлагал для разгрома сменовеховцев не только произвести у них обыски, но и «по результатам обысков... возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать,

если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц». Седьмым в этом списке значился Михаил Булгаков, литератор<sup>3</sup>...

Ирония судьбы: Булгаков оказался на волоске от высылки за границу — и чуть не получил то, чего не мог добиться потом всю жизнь. Как знать, быть может, он тогда и прожил бы дольше, и личная судьба его сложилась бы безмятежнее. Но вот вопрос: подарил бы он тогда миру «Мастера и Маргариту»?

«За справками обращаться в Комендатуру ОГПУ, — предлагалось в протоколе обыска, — Лубянка, дом 2, вход с Лубянской площади». Дверь гостеприимно распахнута. И Булгаков воспользовался этим адресом. Оскорбленный насилием (для него непостижимо, что сокровенный дневник может быть присвоен государством и бесцеремонно открыт чужим взглядам; тогда же он дал себе слово никогда больше дневников не вести), решил действовать. Уже через десять дней, 18 мая, обратился с посланием:

«В ОГПУ

литератора Михаила Афанасьевича  
Булгакова

Заявление

При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол — повесть моя «Собачье сердце» в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник».

Ввиду того, что «Сердце» и «Дневник» необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а «Дневник», кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их».

На Лубянке заявление кануло в Пятое отделение Секретного отдела — «Т. Гендину, на исполнение». Безответно.

Спустя месяц, 24 июня, — новое послание, того же содержания, но выше — самому Председателю Совета Народных Комиссаров Рыкову. Никакой реакции — глухая стена.

И только осенью — 22 сентября — пригласили в ОГПУ. Булгаков и Гендин встретились лицом к лицу.

Проторенный миллионами путь: донос — обыск — допрос... Что дальше? Выйдет ли переступивший порог Лубянки назад, на улицу, в свою прежнюю жизнь?

Процедура допроса состояла из двух частей: сначала Булгаков собственноручно заполнил анкету и затем отвечал на вопросы по существу дела — ответы фиксировал на бумаге его визави. Непонятно только, в качестве кого он допрашивался: в протоколе записаны два слова: «обвиняемого/свидетеля», и ни одно не вычеркнуто — понимай как хочешь!

Из протокола допроса:

«...На первоначально предложенные вопросы он показал:

...Год рождения — 1891.

Происхождение — сын статского советника, профессора Булгакова...

Род занятий — писатель-беллетрист и драматург...

Имущественное положение — нет.

<sup>3</sup> Файман Г. Лубянка и Михаил Булгаков. — «Русская мысль», 1995, № 4080, 1—7 июня.



Образовательный ценз — Киевская гимназия в 1909 г., Университет, медфак в 1916 г.

Партийность и политические убеждения — беспартийный.

Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях.

Где жил, служил и чем занимался —

...с 1914 г. до Февральской революции 1917 г. — Киев, студент медфака до 1916 г., с 1916 г. — врач;

...в Февральскую революцию 1917 г. — село Никольское Смоленской губ. и город Вязьма той же губ.; с Февральской революции 1917 г. до Октябрьской революции 1917 г. — Вязьма, врачом в больнице;

...в Октябрьскую революцию 1917 г. — то же, участия не принимал;

с Октябрьской революцией 1917 г. по настоящий день — Киев, до конца августа 1919 г. С августа 1919 до 1920 г. во Владикавказе. С мая 1920 по август в Батуме в РОСТе (РОСТА — Российское телеграфное агентство. — В. Ш.), из Батума — в Москву, где и проживаю по сие время.

Сведения о прежней судимости — в начале мая сего года производился обыск.

Показания по существу дела:

Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России (подчеркнуто в ОГПУ. — В. Ш.). С Освагом (Осведомительное агентство — пропагандистский орган Белой армии. — В. Ш.) связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением.

В момент прихода Красной Армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Соввластью, заведывая ЛИТО Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал.

По приезде в Москву поступил в ЛИТО Главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в альманахе «Недра» под заглавием «Дьяволиада», печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напечатанные в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшаяся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах»...

«Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и недопечатана вследствие закрытия, т. е. прекращения, толстого журнала «Россия».

«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась с точки зрения профессора Преображенского отрицательным типом, т. к. подпала под влияние фракции. Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» т. Ангарскому, и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в «Зеленой лампе». В «Никитинских субботниках» было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злобности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание».

— Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка? — добивался нужного ответа Гендин и получил:

— Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.

Зато на другой вопрос:

— Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая лампа», — Булгаков отвечать не захотел:

— Отказываюсь по соображениям этического порядка.

Гендин дал ему подписать каждую страницу протокола, что тот и сделал: «Записано с моих слов верно, записанное мне прочитано».

Были и еще вопросы. Больше всего секретного уполномоченного интересовало, почему Булгаков не пишет о рабочих и крестьянах, а только об интеллигенции и отчего у него такое злое перо. И тут допрашиваемый высказался не виляя — настолько открыто и даже резко, что Гендин тут же подсунил ему бумагу и предложил изложить свои взгляды самому. И Булгаков написал на отдельном листе (он приложен к протоколу), размашистым, решительным почерком:

«На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)».

Документ исключительной важности! Это не фальшивка лубянского сочинителя, Булгаков сам говорит о своей жизни, откровенно и чеканно излагает свое кредо.

«Физиономия выявлена» исчерпывающе. «Несомненный белогвардеец», — как сказано в «Меморандуме».

О возвращении рукописей в протоколе ни слова. Речь об этом на допросе, конечно, шла, не могла не зайти, и, скорее всего, что-то Булгакову туманно было обещано: разберемся, мол, посмотрим, известим... Но отдавать их на самом деле вовсе не собирались: это была откровенная улика, свидетельство неблагонадежности писателя, а если прибавить сюда протокол допроса, можно крепко держать на крючке и выдернуть — на сковородку — в любой момент.

Сам же колебатель государственных устоев вовсе не собирался делать тайну из навязанного ОГПУ общения. Один из вездесущих гепеуховых донесет, что вызов Булгакова на Лубянку вовсю обсуждается в московских литературных кругах, что Булгаков подробнейшим образом рассказал о допросе известному писателю Смидовичу-Вересаеву. Во время допроса ему казалось, что «сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить», в конце концов ему заявили, что «если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы», а когда он вышел из ГПУ, то видел, что за ним идут.

«Передавая этот разговор, — добавляет Гепеухов, — писатель Смидович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: «Ничего», так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку»...»

«Таково настроение литературных кругов. Сведения точные. Получены от осведома», — подводят черту чекисты.

Булгаков не только ничего не скрывал, но больше того — предупредил тех, кому, по его мнению, грозила опасность. Сообщил, например, на заседании литературного кружка у Зайцева: вызывали, говорили, что кружок привле-

кает к себе внимание и его нужно закрыть (об этом свидетельствует в своих мемуарах Зайцев).

Семен Гендин делает выписку из очередной агентурной сводки № 290 от 5 октября 1926 года:

«...Линия борьбы с гегемонией пролетарской идеологии все более и более выкристаллизовывается.

Принимает ли эта «фронда» организационные формы? Вряд ли, хотя кое-какие намеки уже попадались... Михаил Булгаков и еще кое-кто были у Шкловского и совещались о «своем» органе. Возможно, что это совещание ничего не дало, так как шел разговор еще об одной встрече, но, насколько удалось выяснить, вторично эта группа не встречалась...

Во что выльется эта «фронда»? Трудно сказать, но, мне кажется, некоторые из этих журналистов могут свихнуться и скатиться в лагерь корреспондентов «Руля» и «Социалистического вестника» (издания русской эмиграции. — *В. Ш.*). Левидов замышлял... ехать за границу на пароходе Совторгфлота, минувшая административный отдел Моссовета, так как он не уверен, выдадут ли ему паспорт. То же хотел сделать и Юнпроф, и Непомнящий, и многие другие.

Но несомненно одно: пора задуматься об этом «уклоне» части журналистов и литераторов и локализовать его...»

«Верно», — удостоверяет выписку Гендин. Его упругая подпись гусеницей переползает с одной бумаги на другую. Булгаковская папка растет не по дням, а по часам.

Гендин наверняка знает, что сегодня, 5 октября, в Московском Художественном театре — премьера пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Но и представить себе не может, что этот день станет едва ли не самым важным в судьбе его подопечного. Ибо, как пишут в романах, на следующее утро тот проснется знаменитым.

Успех был оглушительный, триумфальный. Имя Булгакова сразу стало известным. Атмосфера вокруг него раскалилась до предела.

«Направляюсь в ГПУ (опять вызывали)», — сообщает Булгаков 18 октября в письме Вересаеву, должно быть, желая дать знать, куда идет, если с ним что-нибудь случится.

Новый, только что назначенный, начальник Пятого отделения Рутковский докладывал в этот же день:

«Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове...

В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по четыре и шесть часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу...»

Пока на Лубянке переваривают тревожную информацию, туда приходит секретный пакет от наркома просвещения Луначарского.

«3 ноября 1926 г.

ОГПУ, т. Ягоде

Мною получено заявление гражданина Булгакова, которое и препровождаю».

Заметим: не писателя — «гражданина». Наперсник талантов, садовод искусств, нарком Луначарский ничего не просит и не требует. Просто извещает — а вы уж, товарищи, сами решайте, вам видней.

О чем же заявляет неугомонный Булгаков? Да все о том же. Нет чтобы сидеть тихо — развонил на всю страну!

«Народному Комиссару просвещения

Заявление

...Прошу Вашего ходатайства о возвращении мне «Дневника», не предполагающего для печати, содержащего многочисленные лично мне интересные и необходимые заметки.

Задержка «Дневника» приостановила работу мою над романом, не имеющим никакого отношения к политике, разрушила вконец весь мой литературный план года на два вперед...

30 октября 1926 г.».

Обе бумаги совершили многоступенчатое нисхождение из кабинета Ягоды, переходя из отдела в отделение, от большего начальника к меньшему, пока не улеглись на стол главного спеца по Булгакову — Гендина, с резолюцией Рутковского:

«Просмотрите его дневники и заметки, имеющие личный характер, можно возвратить (исполните его вызов и пришлите ко мне)».

Кажется, теперь-то уж все решится!

Никаких следов визита в досье нет. Раунд закончился вничью. Рукописи не отдали, но хоть в ссылку не отправили! Зачем же тогда вызывали? Попросить контрамарку на «Дни Турбиных»?

А шум вокруг Булгакова разрастается. В другом ведущем московском театре — имени Вахтангова — пошла еще одна его пьеса — «Зойкина квартира» (печет он их, что ли?), и тоже с аншлагом.

Можно себе представить гордую ответственность скромного уполномоченного, который, с одной стороны, оказался в рабочем контакте с самими товарищами Луначарским и Ягодой, а с другой — держал в руках судьбу возникшей вдруг знаменитости.

Теперь иметь с ним дело стало опасно. Трогать его — в ореоле славы — надо поделикатней. Почешешь затылок: любая неосторожность может стоить карьеры.

Булгаков никак не может примириться с потерей арестованных рукописей. Для него это вопрос принципа, чести! Главная забота — о дневнике, ибо ясно, что оставлять его в руках чекистов опаснее всего. Борьба за его возвращение растянулась на годы. Теперь известно, какими заявлениями писатель бомбардирует Лубянку, и тон их становится все настойчивей.

18 января 1928 года обращается прямо в Секретный отдел.

«Позволю себе в последний раз беспокоить Политическое Управление просьбой вернуть мне не предназначенные ни для печати, ни для сообщения кому бы то ни было мои записки.

В случае, если Государственное Политическое Управление не пожелает удовлетворить мою просьбу, прошу известить меня о том, что дневник мой возвращен мне не будет».

Не дождавшись ответа, он возобновляет свои попытки — на этот раз через Горького. Ощувив поддержку, оформляет доверенность на получение рукописей на имя жены Горького — Екатерины Павловны Пешковой, возглавлявшей Политический Красный Крест. «О рукописях Ваших я не забыла, — пишет Булгакову Екатерина Павловна, всегда готовая помочь попавшим в беду, — и два раза в неделю беспокою запросами о них кого следует. Но лица, давшего распоряжение, нет в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу их, извещу Вас».

Лицом, давшим распоряжение, был, по всей вероятности, не кто иной, как Ягода, ибо именно к нему Булгаков адресует в конце того же года (12 ноября):

«Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники... я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы.

Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся.

Я прошу ОГПУ дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне вернуть».

Судя по интонации, Булгаков почти уверен в успехе — нужно только подтолкнуть чекистов, напомнить о себе...

Но над ним уже снова сгустились тучи. И вскоре грянул гром с политического олимпа — сокрушительная критика самого Сталина. Писатель попал в жестокую опалу. Все его пьесы были сняты со сцены, публикации запрещены. Тут и Пешкова, и Горький уже были бессильны помочь.

И вдруг, когда он меньше всего этого ожидал, его вызвали в ГПУ и наконец дневник вернули — 3 октября 1929 года, через три с половиной года после изъятия!..

Вновь открывшиеся материалы лубянского архива позволили проследить все перипетии борьбы писателя за свои рукописи. Дальнейшая почти мистическая судьба дневника была нам уже известна. Автор сжег сокровенную исповедь, оскверненную полицейским вторжением, но остался под арестом ее «двойник»: оказалось, Гендин и его коллеги, прежде чем вернуть тетради, сняли копию. А нынешние архивисты КГБ спустя шестьдесят лет извлекли ее на божий свет. Это была одна из первых рукописей, освобожденных из лубянского заточения<sup>4</sup>.

Подтвердилось пророчество из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: рукописи не горят!

#### «За эту пьесу следовало бы расстрелять...»

«Дни Турбиных» — самая знаменитая пьеса Михаила Булгакова. И особый сюжет в его закулисной жизни.

Лубянка узнала об этой пьесе задолго до того, как она попала на театральные подмостки. И больше того — участвовала в ее сценической судьбе, сопровождала все время — то как молчаливый, но недремлющий конвой, то прямо вмешиваясь и прерывая действие.

Один из сигналов о новой «вредительской» вылазке Булгакова поступил в июле 1926 года, после того как Главный репертуарный комитет (он же Главрепертком, он же ГРК) — официальный орган, контролирующий театры, — просмотрев закрытую репетицию спектакля во МХАТе, потребовал серьезной переделки пьесы. Только при таком условии она могла увидеть свет ramпы. Работа — дебют для молодой, обновленной труппы — была в разгаре, шла вдохновенно, в дружном контакте с автором пьесы. Потом этот период назовут весной Художественного театра: лучшая сцена страны наконец-то дождалась блестящего драматурга, а драматург — достойной его сцены.

В советском искусстве назревало большое событие. «В литературных кругах много разговоров о пьесе Булгакова «Белая гвардия» (первоначальное название. — *В. Ш.*), — докладывал на Лубянку Гепеухов, причастный к писательской братии. — Антисоветская часть литераторов с торжеством рассказывает, что Главрепертком «просмотрел» такую явно «белую» вещь»...

Новое заседание Главреперткома было назначено на 17 сентября, вскоре после открытия театрального сезона. МХАТ лихорадило. Перед репетицией главный режиссер Константин Сергеевич Станиславский сделал тактический ход — распорядился раздать контрамарки только своим болельщикам, сочувствующим театру. Подготовилось к схватке и ОГПУ и даже приняло в ней непосредственное участие — послало во МХАТ тройку своих полномочных представителей.

После репетиции начался другой спектакль. Его действующие лица помимо чекистов — пять сотрудников ЦК ВКП(б), театральная секция Главреперт-

<sup>4</sup> Подробный рассказ об этом см.: Шенталинский В. Рабы свободы. Книга первая. М. 1995.

кома в лице критиков А. Орлинского и В. Блюма и в качестве статистов несколько партийных посланцев из московских райкомов. Председательствовал солидный — в галстуке и очках, с профессорской бородкой, лысиной и брюшком — начальник Главлита, главный цензор страны Павел Иванович Лебедев-Полянский. Секретарские обязанности взял на себя уполномоченный Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ Николай Шиваров<sup>5</sup>.

Крепкая подобралась команда! Не проскочит и мышшь!

Весь ход этого спектакля нетрудно себе представить, вернув с протокольной бумаги из лубянского досье в уста персонажей их речи.

Вступительное сообщение было поручено Блюму.

— Сейчас мы смотрели второй вариант постановки, в котором учтен целый ряд указаний, данных ГРК театру, — начал он. — Однако множество мест, враждебных нам, не изъято или недостаточно смягчено. Следует, например, убрать картину петлюровского лагеря, так как и для автора, и для постановщика петлюровщина — это псевдоним революции, темная, необузданная стихия...

Перечислив еще несколько «враждебных мест», Блюм нашел все же, что после вторичной переработки может получиться если не революционная, то хотя бы сменовеховская пьеса.

Прения открыл коллега Блюма — Орлинский, который усилил огонь критики:

— У Булгакова крайне идеализированы все белогвардейцы. Представьте, если бы МХАТу предложили пьесу, в которой была бы так идеализирована семья революционеров, что бы произошло? МХАТ отверг бы ее как антихудожественную! «Дни Турбиных» — пьеса не художественно-реалистическая, а грубо тенденциозная. Это апология белогвардейщины. И контрреволюционность настолько сильна, что ее не удастся смыть никакими переделками. Кроме того, в пьесе сквозит шовинистический дух. Кто единственная отталкивающая фигура среди белогвардейцев? Немец Гальберг!

Выступили один за другим лица из ЦК ВКП(б) — все они нашли пьесу враждебной и высказались против постановки. Ударили и по театру: МХАТ пренебрежительно относится к указаниям партийных органов. Разве допустимо пускать народ на репетицию еще не разрешенной пьесы?

— Что это за «закрытая» репетиция перед тысячной аудиторией «из своих»? — грозно вопрошал товарищ Розе. — Репетиция, на которой демонстрируется сомнительная в цензурном отношении вещь? Нелегальное собрание! Мы сами прибегали когда-то к таким способам и знаем, что это такое. Овации, устроенные артистам и автору, — это политическая манифестация. Мы не можем мириться с тем, что МХАТ дает пищу мелкой буржуазии...

«Идеализация белогвардейщины», «предельная тенденциозность», «враждебность» — подобные же ярлыки навешивал и представитель ОГПУ Шиваров.

— Белогвардейцы вызывают сочувствие зрителей! — возмущался он. — И тем больше, чем лучше игра артистов! Не наша забота, товарищ Блюм, перерабатывать белогвардейские пьесы в сменовеховские. Это политическая ошибка! Сменовеховцы отнюдь не безопаснее белогвардейцев. Пьесу нужно безусловно снять!

Перепуганный Блюм бросился оправдываться: да-да, он был слишком мягок, товарищ Шиваров конечно же прав — пьесе не место на сцене...

Товарищи рангом пониже — посланцы райкомов — скромно молчали, солидаризируясь с мнением вышестоящих товарищей.

Товарищ Лебедев-Полянский подвел итог:

— Не стоит говорить о мелких переделках и недостатках пьесы. Мнение о ее политической вредности и недопустимости разделится всеми выступившими. Нашей классовой правды в пьесе нет. Пьеса несомненно враждебная и, конечно, недопустима... А овации публики — это маневр театра с целью воз-

<sup>5</sup> Шиваров Н. Х. (1898 — 1940) — оперативный работник и следователь ВЧК — ОГПУ — НКВД. В 1937 году арестован, умер в лагере.

действовать на нас. Такая практика недопустима, я дам соответствующее административное распоряжение, чтобы это не повторялось...

— Приходится, однако, считаться с различными посторонними влияниями при рассмотрении таких вопросов, — продолжал Лебедев-Полянский, — тем более что вопрос касается первого выступления МХАТа на современные темы...

Оратор явно имел в виду поддержку пьесы наркомом просвещения Луначарским, уже высказавшимся в печати за разрешение ее. Да и со Станиславским нельзя не считаться — корифей и слава русской сцены, мировая известность!

Искушенный в таких делах Лебедев-Полянский вносит предложение, как сказано в протоколе (дай Бог выговорить!), — «проведение которого имеет целью обеспечить снятие пьесы с постановки вопреки возможных посторонних влияний»... Говоря нормальным языком, придумал какой-то хитрый маневр. Какой?

«Постановили: исходя из единодушной оценки пьесы Булгакова «Дни Турбиных», пьесу с постановки снять».

И опять лукаво-мудреное: «Данное постановление осуществить порядком, указанным в предложении т. Лебедева-Полянского, а именно:» — тут на самом интересном месте текст обрывается, в протоколе зияет белое пятно. Дальше, стало быть, — секрет, государственная тайна.

В чем же состояло предложение главного цензора, о котором нельзя было даже писать в документе и которое так тщательно скрывалось? Что это за тайны мадридского двора?

Переделать не пьесу, а самого автора, заставить подчиниться? Или другое, привычное в партийной практике средство — организовать общественное мнение: спустить с цепи всегда и на все готовых псов критиков, мобилизовать печать, покатить волну негодующих собраний, разбудить праведный пролетарский гнев? Или и то, и другое — комплекс мер? Судя по дальнейшим событиям, именно так.

— Если не разрешат эту пьесу, я уйду из театра, — сказал актерам после заседания бледный Станиславский.

Но не опустил руки.

18 сентября театр как ни в чем не бывало репетирует.

19 сентября должна состояться генеральная репетиция, но ее отменяют.

22 сентября, понедельник. На этот день назначена фотосъемка участников спектакля — в гриме и костюмах. Сохранился снимок — автор пьесы в центре, изысканно одет, гордая осанка, руки скрещены на груди. А между тем в этот день с ним произошло экстраординарное событие, о котором мы теперь знаем из архивного досье: именно 22 сентября его в сопровождении сотрудника ОГПУ увозят на Лубянку и учиняют там допрос.

23 сентября. Сегодня решится, идет пьеса или нет. Полная генеральная репетиция с публикой. В зале — представители правительства, Главрепертком, пресса. На этот раз Станиславский вынужден был сделать противоположный ход: накануне обращается к труппе с инструкцией — ввиду «серьезных обстоятельств» он категорически запрещает появляться в театре артистам и служащим, не занятым в спектакле. Приходит письмо от его учеников, больше похожее на соболезнование: «Сегодня, в трудный для Вас и для театра день — все мы, как один, хотим передать Вам и всему театру — нашу тревогу и нашу душевную преданность...»

Начало спектакля — публика очень холодна, потом постепенно оттаивает, теплеет, и к финалу — зал побежден.

— Пьеса, может и наверное, пойдет, — пообещал после спектакля Луначарский. И добавил: — Впрочем, пока это мое личное мнение...

Несмотря на все усилия противников пьесы, она была поставлена.

5 октября с триумфом прошла премьера.

Проглотили, но не смирились. Готовили контратаку. Тут-то и обрушился на автора и на театр умело отрежиссированный шквал общественного мнения. Партактивисты и чекисты, тайные агенты и официальные критики, гласные и негласные стукачи объединились, чтобы добиться снятия спектакля. Парадокс: бешеный успех у публики — и многогласное осуждение в печати. Булгаков не успевал вырезать и развешивать по стенам, наклеивать в специальный альбом отзывы один ругательней другого.

Как велась эта кампания, видно по материалам лубянского досье. Испытанный прием — побить писателя руками его коллег. Вот закрытая рецензия драматурга Бориса Ромашова, по-видимому заказанная ОГПУ.

У него, как и у Булгакова, только что поставлена (в студии Малого театра) первая пьеса «Федька-есаул», тоже посвященная событиям Гражданской войны на юге России. Кандидатура подобрана умело: вот, мол, такой же молодой драматург и пишет о том же, но какая разница!

И Ромашов старается оправдать доверие:

«Пьеса Булгакова явилась первым опытом старого МХАТа в области современного репертуара. Опыт, должно подчеркнуть, не удался во многих отношениях.

«Дни Турбиных» пытаются дать «эпическое полотно» эпохи гражданской войны... но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов... Сосредоточивая внимание на жизни Турбиных (совершенно из «Трех сестер» Чехова), автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее «героев»... Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой.

И никакой эпохи не может быть за кремовыми шторами, ибо нельзя и смешно пытаться дать эпическое полотно, не поднявшись на те колосники, откуда видны социально-классовые корни и границы революции...

МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины. Система Станиславского возобновляется во всей своей широте (хотя сам создатель системы недавно в своей книге отказался от нее). Получается урок из давнего прошлого. И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику. Большое мастерство и культура несомненно налицо в актерском исполнении. Но тем хуже для спектакля. Как раз этот подход усиливает фальшивость самой пьесы...

Никак нельзя говорить о современности в этом спектакле, совершенно чуждом новому зрителю!..

Новый театр должен противопоставить подобным пьесам действительно здоровую вещь, написанную во всеоружии классового анализа событий без «турбинских» извращений».

«Здоровые вещи», стало быть, пишут такие драматурги, как Ромашов, ушедшие далеко вперед от «чеховщины» (ну и словечко для писателя!).

Доносы на Булгакова в эти дни сыпались как из рога изобилия. Из них делаются выжимки — агентурные сводки и посылаются наверх — начальству.

«От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим... Около Художественного театра стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки...»

Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии имени Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха Московское общество драматических писателей выдало Булгакову колоссальный аванс, который, конечно, не будет возвращен, если даже две остальные пьесы Главрепертком и



запретит к постановке... Шумиха, поднятая в московской печати, способствовала тому, что «Зойкина квартира» в Киеве идет ежедневно при переполненных сборах»...

Сушее бедствие этот Булгаков! Уже и на Украину перекинулся. И вот что хуже всего: меры, принятые против него, дают обратный результат. Получается, что сами чекисты добавляют ему популярности.

Гепеухов, близко стоящий к театру, жалуется: «Начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву... Проведено так организовано, что не подточишь и булавки, а все это — вода на мельницу автора и МХАТа... Пьеса ничего особенного не представляет... Всю шумиху подняли журналисты и взбудоражили обывательскую массу...»

Во всяком случае, «Дни Турбиных» — единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением...»

Но самое интересное в подобных сочинениях, конечно, не оценки и суждения их авторов, а те, выхваченные из летящего времени, мгновенья, в которых проступает сам Булгаков с живым лицом и живой речью.

Вот он в «интимной беседе», на ужине после генеральной репетиции «Дней Турбиных», рассказывает, какую экзекуцию устроили его пьесе:

— Репертному не нравится какая-то фраза, слишком обнаженная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней и последующая становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются, механически. В конце концов целое место становится примитивом, обнаженным до лозунга, — и пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный...

Вот он приходит в театр и, увидев новые цензурные сокращения в пьесе, сокрушенно спрашивает:

— Почему многие места пропущены?

И слышит ответ:

— Они именно не пропущены...

Идет спектакль. В антракте к Булгакову подходит маленький, беспокойный человек и с ходу заявляет:

— Вас за эту пьесу следовало бы расстрелять!

— А вы кто такой? — недоумевающе спрашивает Булгаков.

— Я Карл Радек!

— Простите, но я и вас не знаю и не знаю, кто такой Карл Радек...

Известному партийному деятелю, идеологу и публицисту нечем крыть. Но такое не забывается и не прощается...

8 февраля 1927 года Гендин отправился в Театр Мейерхольда на диспут, посвященный постановкам «Дней Турбиных» и пьесы Тренева «Любовь Яровая», и представил потом в ОГПУ обстоятельный отчет. По существу, вечер этот был общественным судом над Булгаковым, под видом дискуссии при переполненном зале.

Председательствующий — Анатолий Васильевич Луначарский — пробовал защищать «Дни Турбиных»:

— По своему содержанию пьеса не контрреволюционна, и хорошо, что она разрешена к постановке. Нельзя требовать от квалифицированной интеллигенции, чтобы она сдала все свои позиции и сделалась коммунистической. Но из-за поднятого вокруг пьесы шума и больших споров при разрешении постановки она превратилась в запретный плод, возбуждающий всеобщий интерес...

В роли прокурора выступил все тот же Орлинский из Главреперткома — один из самых ярых хулителей Булгакова. Суть его речи — запальчивой и длинной — сводилась к тому, что «Дни Турбиных» плод не запретный, а, к сожалению, не запрещенный.

— Это белая пьеса, кое-где подкрашенная под цвет редиски, но сердцевина-то у нее все-таки белая! И все идет от этой белой сердцевины. Характер-

ный признак пьесы — боязнь массы. В ней нет рабочих, нет даже денщика, прислуги... Там, в этой пьесе, не хватает только хороших генералов, чтобы двинуть в поход белую гвардию...

«Совершенно неожиданно и любопытно было выступление Булгакова, — записывает в отчете Гендин. — Начав с того, что с 5 октября 1926 года критик Орлинский всячески преследует его, он хитро и довольно остроумно стал защищать своих героев».

Что же ответил Булгаков на придирки своего обвинителя?

— Уступая настойчивым требованиям Орлинского, я ввел в свою пьесу следующую фразу: Лена просит Алексея позвать горничную Аннушку, Алексей сообщил, что Аннушка уехала в деревню. Что касается денщика, то его нельзя было достать в Киеве в то время даже на вес золота. А большевиков я не мог показать, во-первых, потому, что нельзя на сцену вывести полк солдат, во-вторых, пьесу надо уложить с таким расчетом, чтобы публика могла поспеть к трамваю, и, в-третьих, большевики надвигались с севера и до Киева еще не дошли...

«Любопытно отметить, — пишет Гендин, — что две трети партера аплодировали Булгакову, между тем как галерка кричала ему, что он неприкрытый враг. В антракте Булгаков собрал вокруг себя большую толпу, где продолжал идеализацию и защиту своей пьесы».

Поведение писателя поразило не только Гендина, но и матерого, выдавшего виды марксиста-полемиста Луначарского. В заключительном слове он отметил, что выступление Булгакова «носило исторический интерес». Он «очень хитро и с большой дерзостью защищал свою пьесу».

Узнал Гендин и о том, как вел себя Булгаков после вечера. Один из гепуховых, несший караул в «Дома Герцена», удачно оказался с ним рядом за ресторанным столиком.

«Булгаков был взволнован диспутом, с которого он удрал, не дождавшись конца. Он выступил на самозащиту, так как какой-то оратор врал на него, приводя несуществующие цитаты из «Дней Турбиных». Когда публика начала кричать, что Булгаков в театре, его попросили на сцену, и он «отругнулся».

В общем, к спору о его пьесе (мы говорили около часу) он равнодушен. Его выводит из себя только одно — запрещение пьесы всюду, кроме Художественного театра. Он мог бы заработать громадные деньги, но... даже «Зойкину квартиру» везде запретили (хотя она и проскочила в Киеве шесть раз). Настроение, в отличие от «эмигрантствующих» писателей, менее агрессивное. Никаких выпадов против власти и никаких «метаний». В голосе, подергивании мускулов лица (едва заметном) чувствуется, правда, какая-то злоба, не совсем от бюджета исходящая. Если враг, то сдержанный и тайный...»

Не расстреляли, как предлагал Радек, но в августе добились своего — пьесу сняли. Ненадолго: сторонники ее уже через месяц перетянули канат на себя, на этот раз кроме Станиславского и Луначарского почему-то подал голос «за» Клим Ворошилов. «Дни Турбиных» шли еще два года, пока их не сняли опять, вместе со всеми другими пьесами Булгакова. «Турбины» вновь вернулись на сцену только через пять лет.

Пьеса пульсировала то затихая, как задушенная, то вновь обретая дыхание.

«На этой пьесе, как на нитке, подвешена теперь вся моя жизнь, — признался в одном из писем Булгаков, — и еженощно я воссылаю моления судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».

*(Окончание следует.)*

---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## ИЗ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА

*«Литературная коллекция»*

**Д**остать Замятина всегда было трудно, и я читал его в разное время, урывками. Поражался всегда: вызывающе краткой яркостью в портретах и его энергичным сжатым синтаксисом. В синтаксисе поставил его себе как бы одним из учителей, хотя практически мало взял у него уроков: не вернёшься разбирать его приёмы в деталях, а жизнь неслась.

По мере того, как узнавал и подробности биографии Замятина, я задумывался над резкой типичностью её для пережитого им времени. Отец — священник, мать — дочь священника, мальчик вырос в провинциальной патриархальности, уже чего-то нового коснулся в последних классах воронежской гимназии, а в Петербургский Политехнический попал в 1902, когда ещё не спал острый пик студенческих волнений, — и даже избранная Замятиным столь основательная специальность кораблестроителя не отвратила его от революционных метаний: в 1905 он — уже большевик, тут же и первый арест и тогдашняя мягкая высылка домой под кров родителей. Запрет жить в Петербурге? — но в том же Петербурге он спокойно кончает свой институт и ещё три года продолжает жить нелегально, работая на кафедре, пока не обнаруживается нелегальность — и надо покинуть столицу, ну впрочем до близкой амнистии. А в германскую войну (хотя, вот, сожжён тираж его повести «На куличках») его посылают в Англию наблюдать за строительством наших ледоколов. Где ж его революционная деятельность? да собственно никакая, но политическая страсть горит в душе, страсть передаётся из общей атмосферы.

В первые же советские годы повидал Замятин завоевания революции — по пронзительной живости ума гениально проник в суть и будущность этого нового строя («Мы»). Да и на себе испытал два чекистских ареста. (В 1922 хотели его выслать за границу, уговорил оставить.) Переходит на критику иносказательную, через католицизм («Огни св. Доминика», 1922), не трудную ему при его антирелигиозности. Но «временно» искажённая, как он думает, советская действительность обкладывает его всё густеющей травлей: теперь его «одной подписи» под произведением «достаточно для разноса». Уже не зная, куда кидаться от этой завоёванной свободы, он бросается писать трагедию «Атилла»<sup>1</sup> («хотел дать героический сюжет классовой борьбы древности») — запрещают и её (1928). В 1929 поднимается на него острая атака (заодно с травлей Пильняка).

И вот — слом (а всё ещё не в революционной вере!): письмо Сталину (1931). Извиняется за «Мы»: «в первые три-четыре года после революции среди написанного мною были вещи, которые могли дать повод для нападок». Но вот — постигла «высшая мера наказания» — нельзя напечатать ни строчки. (О, как мы знаем, что это — ещё не высшая, если тебя не гребут за

---

© А. Солженицын.

<sup>1</sup> В текстах Замятина это имя пишется не так, как принято: «Атилла».

шиворот!) Отпустите за границу, а уж я «хотел бы вернуться назад, как только у нас станет возможным служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям». (Ещё не понял ситуации!) «А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции». За границей «быть в реакционном лагере я не могу, об этом достаточно говорит моё прошлое». Наконец, «исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие обращавшиеся...» (А уж тут мы наслышаны.)

Сталин (по ходатайству Горького) — отпустил его. И за границей протекают ещё 6 лет жизни Замятина — некороткий эпилог 53-летней жизни. Можно было бы многое переосмыслить? высоко подняться духом и мыслью? Но эти 6 лет проходят у Замятина почти в молчании: он начинает переделывать древнего «Аттилу» в прозу, да несколько некрологов, да несколько статей к случаю. Да ведь: печатаясь в эмиграции, куда попадёшь? в «реакционный лагерь»? Думал писать по-английски («это мне немногим трудней, чем по-русски») — а вот, не писал. От душевной подорванности, потерянности? Много лет спустя (1955) изданный вдовой сборник статей «Лица» помогает нам понять.

Связь Замятина с революцией была не случайна, глубоко внутренняя, сильно владела им. «Я был влюблён в революцию» (о 1906 годе). Мелькают фразы: «Революция бесконечна, последней революции нет». И: «ранить революцией — нужно»; «у большинства людей — наследственная сонная болезнь, но им нельзя давать спать, иначе они умрут». Ещё: «Чтобы снова зажечь молодостью планету, надо столкнуть её с плавного шоссе эволюции». (После всего, пережитого нами, это страшно читать.)

В начале 20-х годов, сам же оглушённый новой Системой и уже так пронизав её сущность в «Мы», — он отказывается осмыслить, понять происшедшее со страной. А вот она где, беда: «Неистребимо живуч, бессмертен — мещанин». Он — «как плесень растёт сам». «Одно время казалось, что он долта сожжён революцией, но вот он снова, ухмыляясь, вылезает из-под тёплого ещё пепла — трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий». Ни проблеска сожаления о прежней России («глаза Кустодиева на Россию были куда ласковее и мягче моих»); даже в 1934 одобрительно судит о 1905, когда «заржавевшее тело России сдвинулось с привычной орбиты». И заново порицать старую Россию он не начинает лишь потому, что «лягать издохшего льва — лёгкая победа», а не потому, чтобы переменились его взгляды, появилось бы сожаление об ушедшем — ни тени того. Такова его докопная преданность — революционному вихрю и уничтожению.

Но что же? вот, новая действительность — не так хороша? (И даже всё хуже и хуже...) А вот что: Замятин «видит далёкое завтра» (в 1920). Завтра будут жить «только свободные люди», теперешний «новый класс командует временно». А что за ужас творится в новой советской литературе? — она почему-то вышла «слишком придворна». «Я боюсь, что мы слишком добродушны и что Французская Революция в разрушении всего придворного была беспощадней». И успокаивает себя: «у масс — тонкое чутьё, они разберутся в подделках».

Жди-пожди. Такая сила истребительного потенциала — но упёрлась в стену и ничего не хочет видеть. С сочувствием цитирует Уэллса (1922): «Я не верю в веру коммунистов, мне смешно их Маркс, но я уважаю и ценю их дух, я понимаю его». (На то клонул и Замятин.) И бесстрашно развивает: «человечество отделилось от Земли как на аэроплане, скрываются из глаз царства, законы и веры. Ещё выше — и вдали сверкают купола какого-то удивительного завтра». Верит, верит...

Правда, в некрологе 1934 о Белом уже сильно сдал революционный тон, отчасти и сомнение в своём прошлом? — «взятый [Белым] явно сатирический ракурс был уступкой духу времени, требовавшему развенчания».

Отступая во времени и оглядывая всё творчество Замятина целиком, мы с горечью обнаруживаем, что в нём-то самом — нет сердечности, теплоты

(хотя и призывает: «нам нужен отдых от ненависти, время любви»). От неудовлетворённости душевной — у него большое внимание к «богоисканиям» Уэллса. И Чехова он приписывает к «своим»: дескать, никогда не верил в Бога; с 1902 был неблагонадёжен (выход из Академии Наук), имел смелые социальные мечтания и ещё неведомо, с кем пошёл бы в 1905. В 1924 пишет: «Социальные идеалы его [Чехова] — те самые, какими живёт наша эпоха». И вот, мол, Чехов видел пошлость мирно-благополучной жизни. И прожил всю жизнь одиноким. И: ничего сверхъестественного нет в чеховских рассказах.

Ища (и с большим успехом), как продолжить, развить чеховскую лаконичность, Замятин хотел бы ощутить себя ближе к Чехову и в целом, но — нет: между ними непереходимый разрыв по духу, по мироощущению и, конечно, по темпераменту: образность Чехова — тонкий рисунок, близкий импрессионизму, образность Замятина — вздыбленная, напряжённая, изошрённая.

А с Горьким Замятин пришёл к «одинаковой вере», «человекобожию». И в 1936, ведь уже после соловецкого визита Горького и «если враг не сдаётся...!» — прежняя симпатия к нему. Неискоренимо...

И гордо: «Мир жив только еретиками (Христос, Коперник, Толстой)». Христос тут вовсе не у места, как и все замятинские образы из христианства всегда бесчувственны. «Еретики — единственное лекарство от энтропии человеческой мысли».

Какое же короткое дыхание, на чём же тут жить?

#### Его высказывания о русской литературе и революционизме в ней

«Традиционная болезнь русских беллетристов — пешеходность фантазии, сюжетная анемия, всё ушло в живопись».

Он страстно сочувствует — отмаху от этих традиций. (А вот Тренёв, Никандров, Шишков, А. Яковлев — «всё ещё молятся старым реалистическим бытовым двуперстием».)

«Для сегодняшней литературы плоскость быта — как земля для аэроплана: путь разбега» (лишь).

«Стилистические искания новейшей русской прозы в её борьбе с традициями натурализма, в её попытках перекинуть какой-то мостик на Запад» (задача).

«Сегодня, когда точная наука взорвала самую реальность материи, — у реализма нет корней». (Примитивное инженерство.) — «От быта — к бытию, от физики — к философии, от анализа — к синтезу. Одно голое изображение быта, хотя бы и архисовременного, — под понятие современного искусства уже не подходит».

«Литература движется к синтетизму».

Скажу: плоха та литература, которая от него когда-нибудь отрывалась. Искусственно нагоняет схему: тезис — антитезис — синтез.

«Кубизм, супрематизм, беспредметное искусство были нужны, чтобы увидеть, куда не следует идти». «Ошибки ценнее истин: истина успокаивает, ошибка беспокоит!!» «Вредная литература полезнее полезной: она — антиэнтропийна, средство борьбы со склерозом».

«Сатира привезена в русскую литературу с Запада. Русский писатель, за малыми исключениями, всегда был уж слишком по-русски добродушен и мягкотел».

Вот он и нёс эту сатиру, много превзойдя Щедрина.

«Уверен, что в наше время искусство уже может быть только фантастическим, похожим на сон... Автомобильно-летающая эпоха...» (Разогнался.)

«Сейчас в литературе нужны мачтовые, аэропланые кругозоры».

«Сегодня нужны: автомобили, аэропланы, мелькание, лёт, секунды, точки, пунктиры». (Как они уже не оставляли места для простой жизни — это за 40 лет до компьютеров...)

«Реализм проектирует на координаты реального мира, которых в природе нет». — «Неизмеримо ближе к реальности — проектирование на мчащиеся кривые поверхности»... «Уже нельзя вернуться к Эвклиду». (Можно и нужно.)

«Язык нашей эпохи — быстрый и острый как код».

«Высоковольтность каждого слова».

А ведь кое-что из этого Замятин и осуществил. Или попытался.

«УЕЗДНОЕ» (1912). Заострённая идеологичность портит все художественные добытки. Да они-то — резкие, выпуклые до карикатуры. Вообще, оглядеться: вся конструкция и рисунок повести — грубы.

И, конечно, — сплошной свинский русский быт. Откуда такое зрение? Откуда столько озлобления на жизнь и людей? Отталкивание ото всего окружающего.

Совсем уж неправдоподобная карикатура, как Барыба из подкупного лжесвидетеля становится сразу урядником. И бескрайний перебор в конце: «не разрешаю смеяться!»

Что ни тип, то карикатура. Конечно, вольно отдать перо гротеску (хотя и не большая честь). Но уже пять лет пробыв инженером, неужели Замятин не набрался чего посвежей? не видит множества новых, творящих людей в России? Застлала глаза политическая предвзятость.

А по нагнетанию мрака — как это напоминает бунинскую «Деревню» (да и по времени — вслед за ней, та — 1910), да и портной Тимоша («мозги перешивать») — вроде брата-резонёра из «Деревни». А у Горького сколько подобного? Замятин поддался потоку и пошёл в нём, это было так модно у левых.

В духе потока — какая острая, назойливая атеистичность! всё на ней и вертится, и насильственно вплетает он в сюжет побольше духовных лиц и тем. И экзамен провалил Барыба — конечно, по Закону Божьему; и Чеботариха его дерёт, конечно, за молитвой; и «портного по мозгам» все разговоры только противопоповские, да сомненья в Боге; и запивший монах; и деньги, спрятанные под престолом; и нелепая карикатура, как монахи заманивают мух к себе в стакан (такая игра); и совсем мелко: бумажка, прилипшая к дяконову сапогу заслонила всю службу.

А как всегда удачно, и почти без слов, передаёт силу животной страсти.

«НА КУЛИЧКАХ» (1914). Тотчас вослед «Уездному» — повтор, развитие, нет — разгул всё той же безоглядной сатиры, уже не шарж, не гротеск (которые, пишет, существовал у Гоголя), даже не фарс, а прямое литературное хулиганство. (Гоголь — онемел бы перед такой вереницей харь.) Почти сплошь уроды физические и умственные, такая крайность, когда автор становится несправедлив не к избранному только материалу, но к самой жизни на Земле.

Применено это всё к — якобы! — заброшенному на Дальний Восток малому воинскому гарнизону. Карикатурный генерал поглощён плотоядием и саморучным приготовлением пищи, сам в фартуке у плиты; блаженная дурочка генеральша; капитан Нечёса («борода в крошках, пролаял хрипло»), отдав плодovitую жену в добычу желающим офицерам, с иглой в руках выискивает по дому и прокалывает тараканов; а солдат лечит — по «Скотолечебнику». В офицерском собрании хор пьяных офицеров — до упада поёт нескончаемую «у попа была собака». Генералу подносят к обеденному столу фарфоровую китайскую вазу, чтобы он в неё опорожнился. Все офицеры — мелкие сплетники, развратники, непонятно, на чём держится воинская часть; у одного «болезнь такая — думать... нехорошая болезнь». Всего один офицер — собранный, чёткий Шмит, «слова — трёхлинейные пульки», «глаза как лезвия» — но и он от личного горя доходит до бешенства к солдатам, до «учиться убивать». Не лучше офицеров солдаты — Ломайлов, Непротошнов,

рыбьи глаза; ещё один: лицо — начищенный самовар медный; дураковатый Аржаной, подстреливающий гражданских китайцев. И всем вместе приклеено насмешечно: «ланцепупы». Предельно лобово.

Но всё это так легко подано, неупускаемо изобразительно, весело, такое яркое видение портретов измышленных лиц, великолепная свобода в языке, в диалогах, подвижный, гибкий синтаксис, разрабатываемый с нарастающим мастерством (брызжущий талант, ещё не нашедший себе достойного применения!) — что множество читателей готовы почти верить картине; ну нельзя же такое всё придумать, ну, наверно же, такое где-то и есть, автор списал с натуры. А Замятин — никогда и не видел армейской жизни, и даже за Уралом не был, всё придумано от начала до конца, игра воображения. Мистификация удалась — по крупному замятинскому таланту. При конце же — внезапная фраза серьёзным тоном: «...пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь», — в разгадку и всего названия?

А написано это — на трудоёмких корабельных верфях Николаева, всего за сотенку дней до начала уничтожительной Мировой войны (в повести дважды: «Хоть бы война какая!»), где и поглотило всё лучшее, что было в русской армии. Написано за три года до того, как с нашего обречённого уничтоженного офицерства будут рвать погоны, а самих — прокалывать солдатским штыком. И как же весело, забавно писалось! (Журнальный тираж был уничтожен цензурой, а разнесись он тогда по России — куда б тебе купринский «Поединок».)

В последние годы перед революцией Замятин поспевает всё с подобными же опусами.

«**ДЬЯЧОК**» (1916). Над кем же и смеяться, как не над духовным лицом? Но шутка получилась глупая. Да и кончен ли рассказ? набросок.

«**БОГ**» (1916). Уже просто какой-то маразм: примитивный бытовой сюжет (тоже и не завязанный, и не развязанный) зачем-то сростить с именем Бога. Уже несёт его бездумно.

За своё нелегальное проживание в Петербурге получил Замятин (передграничной командировкой) короткую ссылку в Кемь (ещё не «советско-соловецкую»...). Там — напитался впечатлениями Русского Севера. И когда пришлось барахтаться в пучине изжаданной революции — то куда умолкла сатира? Ещё такой свежий, многообразный, самому себе неизведанный талант Замятина — вдруг обратился не к революции, а к вечной природе и вечной любви.

«**СЕВЕР**» (1918). Многое должно сойтись в писателе, и природных качеств, и настроения, чтобы такое написать.

Как удачно угадан былинный замедленный тон! И солнце, и люди, и предметы то и дело замедляются. И замедленность Марая, в детстве побывавшего на том свете. И медленные беловолосые девки выглядят, как нерпы из моря. Этот былинный тон, да на дивном фоне Севера — сразу поднимает рассказ *над* временем, такое хоть двадцать веков назад. (А какое обобщение мужских характеров в слепом увлечении Марая вздорным фонарём!)

И по контрасту с этой общей медлительностью — как уярчается быстроподвижная Пелька! Какая сила любви! и ни одно движение чувства не названо от автора и тогда, когда она обоих ведёт на самоубийство, вместе умереть. Какая поэма любви — на дивной северной ткани. Очень чувствует Замятин переливы и даёт их — почти неназвано, это большое мастерство. Пелька схвачена — «как от солнца на сосновом стволе пятно» (дважды), и «сёстры ей — зелёно-рыжие сосны», и это сочетание рыжего и зелёного — идёт линией, через венки, через подаренное Картомой роковое платье. *Один раз* за весь рассказ прямое, чёткое зрительное впечатление: «Первые красные лучи солнца — на белом, с голубой сетью жилок, изгибе ноги». Самое прямое о

Марее: «сердце — тук! — тихонько в гнезде повернулось». (И как это точно!)  
 А от Пельки: «Кликай как собаку, буду бегать сзади, бей меня!» Сколькое тут!  
 А всё остывание Марее к Пельке — ни разу не названо.

А какое видение северного пейзажа, всей обстановки. Зорко наблюдал, как не всякий может.

«Стал синий сполох — и ещё глубже, лютее тишь. Будто — на самом дне, а сверху пригнуло непроходимым синим льдом, и сквозь тысячевёрстный синий лёд светит мёрзлое солнце на дно».

«В чёрном небе — всё шире заря малиновой лентой. На дне синих ледяных пещер — алые огни, торопливая работа идёт на дне — куют солнце. Розовеет снег, уходит вглубь мёртвая синева, может быть немного ещё — и улыбнутся розовые губы, медленно поднимутся ресницы — и засияет лето».

«Изо всей мочи по небу кнутом — и кровавет рубец: заря». (Образ — не сам по себе, но от чувств оскорблённой Пельки.)

«Льдины лезут друг на друга, бешеные от любви весенние звери».

«Как не заблудиться в Питере? В лесу-то всё разное».

И как можно было найти в себе размеренность написать такой рассказ в 1918, в холодно-голодном Петрограде? И: кому это было доступно, нужно в 1918? Да так, кажется, и прошло незамеченным в русской литературе, заслонённое неумными штукарствами авангардистов 20-х годов...

А назвать бы рассказ — иначе, привязанной к сюжету. Ну что это — «Север»? Безлико, и сто рассказов может быть с таким названием.

«СПОДРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ» (1918). Вот — своевременный рассказ! — именно же для Восемнадцатого года. Вот и народ-зверь: сельское постановление — ограбить соседний женский монастырь. Зверское убийство ночного сторожа. И ещё молится один об успехе грабежа — чудотворной иконе. И вдруг — бандиты обезоружены трогательной простотой и доверчивостью монашек, именинным угощением. И не могут грабить и убивать. (Чуть переменялся и Замятин к монастырскому, божественному? На что-то пошёл ему революционный год?)

И какая поучительная *сжатость*! Сжаты многие фразы, нигде лишнего глагола, но сжат и весь сюжет — как это сплочено?! Вот урок, вот писать. Какое крепкое мастерство.

От того же 1918 вспоминаю читанный когда-то давно

«ДРАКОН». Трамвай по люто замороженному городу. На площадке — «дракон с винтовкой». Рассказывает: «Веду его, морда интеллигентная, просто глядеть противно. И ещё разговаривает стервь, а?» — «Ну что ж, довёл?» — «Довёл в Царство Небесное. Штычком». И этот же солдат через минуту согревает замёрзшего воробышка.

«ПЕЩЕРА» (1920). Рассказ — потрясающей силы, рвёт сердце. Как всё сгущено! — безвыходность жизни, расплющенность прошлого, и сами чувства и фразы — всё туго сжато, сжато. Да, это надо было испытать. У Ремизова есть об этом же, но неторопливое (хотя и рваное) бытовое повествование, и человечнее, — а здесь всё сбито, так что горло лопается, никаких лишних промежуточных фраз, пояснений. Но и впечатление гнева автора на жизнь, обманувшую столько светлых надежд.

Устойчиво разработан единый образ: ледники, мамонты, скалы, похожие чем-то на дома. И пещеры с огоньками. Охватывает.

Маша прежняя — если запрокинуть голову в мысленное небо, и Маша сегодняшняя больная, ножом по стеклу.

И борьба за право умереть первому (флакончик с ядом). И облегчение умирающей.



«Завтра — непонятно в пещере, только через века будут знать „завтра“».

«В тот вечер была сотворена вселенная» (объяснение в любви).

«Я, говорит, Зиновьев, — на колени!» (Петроградская обстановочка! — и ещё можно такое печатать!)

«МАМАЙ» (1920). Читаешь сразу после «Пещеры» — кажется: ну вот, опять сравнение дсмов, но уже с кораблями, это и не совсем ново и послабей. Но сомнение быстро снимается сверкающим, щедрым юмором, затем — и уплотнённой лаконичностью: и в авторских фразах, и в репликах, и в ярких наружностях. Рассыпает юмор, как жемчуг. А какая верная обстановка первой-второй революционной зимы: нависающие обыски, страхи, нелепости и ночные дежурства.

Трагикомический конец (мышь сгрызла спрятанные под половицу деньги) вдруг возвышается — и от него застывает весь живучий, подвижный юмор рассказа.

А почему фамилия тихого книжного фанатика — «Мамай» и к чему сравнение с историческим Мамаем? Это ловкий ход: тогда можно вынести «Мамай» в заголовок, и он сам будет кричать, что Мамай — нынешняя власть!

И какие недоговоренные реплики при вести о ночном обыске:

— Как? И бумажные деньги?

— А если в карманы? Ведь не будут же...

А измученную грузом кариатиду, пожалуй, подхватил от Белого.

После жестокого опыта 1918-1920 в Замятине созрело его знаменитое «МЫ». (Роман написан в 1920-21, ходил по рукам. В 1924 появился в США по-английски — и что они там поняли? Потом на чешском, французском. А Замятина стали лупить только в 1929, когда время подошло.)

Художественно — ярко до ослепительности.

Социально — провидчески. Но понимал ли он, что высмеял идеал всей своей жизни? По всему поведению Замятина в 20-х годах — нет, ещё не понимал, просто художественная интуиция повлекла. Вероятно он думал, что предупреждает от опасных крайностей? Его социальные предвидения выписывать можно многими десятками.

— Единое Государство; Государственная газета; Благодетель; Материнская Норма; Личные Часы; Часовая Скрижаль; Бюро Хранителей; Институт Государственных Поэтов и Писателей; день Единогласия;

— наш долг — заставить их быть счастливыми;

— произошла великая 200-летняя война между городом и деревней.

Выжила только 1/5 населения;

— дико то, что человеческие головы ещё непрозрачны;

— так приятно, успокоительно чувствовать за собой зоркий глаз;

— поэзия стала государственной службой и полезностью;

— плохо ваше дело; по-видимому у вас образовалась душа;

— крылья — чтобы летать, а нам уже некуда — мы прилетели;

— никто из нумеров не может отказаться от своего права — понести кару от Единого Государства. В последний момент я набожно и благодарно лобызнул карающую руку Благодетеля. (Благодетель — оказался «сократовски-лысый человек», прямо Ленин.);

— образ: грамм «Я» и тонна «Мы» не могут же уравновеситься. Нелепо допускать, что у «Я» есть какие-то права по отношению к Государству. Надо забыть, что ты — грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны;

— как прекрасен усовершенствованный электрический кнут;

— я снова свободен, то есть заключён в стройные ряды;

- личное сознание — это болезнь. Чувствует себя отдельно только нарывающий палец, а здорового — будто и нет;
- враги счастья, которые тем самым лишили себя права стать кирпичами Единого Государства;
- революции не может быть: наша революция последняя;
- жалость — безрассудная сердечная компрессия;
- самая трудная и высокая любовь — это жестокость;
- любить нужно беспощадно, да, беспощадно (Ю, предательница).

А само собой: Сексуальный Табель. — Всякий из номеров имеет право на любой номер. В Сексуальном Бюро вас исследуют, дают талонную розовую книжку. Так не стало поводов для зависти.

Но это вовсе не только политический памфлет. Люди (номера) настолько живые, что просто волнуешься за них, трудно дочитать книгу, не заглядывая вперёд. — I, O, Ю (женщины), R (поэт), S (Хранитель, сторонник мятежников) и сам герой Д-503. Обстановка будущего передана так живо, что вполне вливаешься в неё, с ужасом ощущаешь себя в этом быте.

Но «Мы» — куда там печатать?..

И — что же осталось Замятину в этом неожиданном советском мире?

Да хотя бы испытанная и никогда его не покидавшая противорелигиозность.

**«О ТОМ, КАК ИСЦЕЛЁН БЫЛ ИНОК ЕРАЗМ»** (1920). С основанием включается в «Нечестивые рассказы», это даже — жемчужина их. Нечестивость и есть пронзающий вектор этого рассказа. Но как это сделано! Какая выдержанная стилизация под торжественный, почти церковный язык. И все образы (яркие) искусно подчинены этому неистовому нечестию. И какая же сила страсти у самого автора (впрочем, явленная не раз и в других рассказах).

Смеётся надо всем святым? — и торжество искусства. Загадка.

— Глаза человека — колодцы, проникающие в тот мир, где души.

— Залитые восковыми слезами листы древней книги.

И — вся сверкающая цепь эротики. Блистательный рассказ.

**«О ЧУДЕ, ПРОИСШЕДШЕМ В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ»** (1924). Уже запредельное зубоскальство, хотя весьма остроумно поданное (каноник рождает ребёнка от архиепископа). Но какой настойчивый атеистический и антицерковный импульс заставляет Замятина разыгрывать все такие шутки на церковном материале?

Или вот — **«РУСЬ»** (1922). Уже когда знаешь происхождение рассказа (над рисунками Кустодиева) — понимаешь, что это он, обзорно, разворачивает оттуда. И Марфа — ну прямо по Кустодиеву. Но и — большое же знание русского провинциального быта нужно, чтоб это вытянуть.

Однако: для названия «Русь» — примитивен сюжет, избитый и в бытовом, и в уголовном смысле. Вот это — всего лишь, что он имеет сказать о Руси? Зачем небольшой рассказ назван с таким замахом?

Но какое величественное вступление о кондовом боре, сожжённом грозой!

Своя пословица? или бытует? — «к такому делу ум, как к балыку сахар».

И ещё же оставался у Замятина запас, одна из творческих целей его: «синтез фантазии и реальности».

**«РАССКАЗ О САМОМ ГЛАВНОМ»** (1923). Острога атеиста, вот его потянуло к мистике или к какой-то высшей философии — о Вселенной, однако без Творца. Но когда миростроение с дуплом — трудно сочинить философию, очень напряжённо.

Эта напряжённость, трудность, заумность, усложнённость — во всём построении рассказа, от самого начала трёхобъективного: червь — люди на

Земле — дальняя Тёмная планета. Идея: одноприродность всего и всех во Вселенной, всеобщее сцепление существ и событий. Да, собственно — вот и всё. Ещё — непрекращаемость жизни: от столкновения Тёмной планеты с Землёй зачатие новой, третьей, жизни. Прямо от Куковерова: «И понимает: смерти — нет». (А она-то — есть.) Ещё — вечность страстей, даже перешагивающая через родство: мать изводится, как сын берёт её дочь.

Пейзажи и сцены на Тёмной планете — выше всяких похвал, какая фантазия, и притом же инженерная, это — жанр Замятина. (Проглаиваем, что при отсутствии воздуха они ходят без масок и разговаривают без воздушной среды.) И всё — очень киносценично, прямо — уже кино. (А вот — никто не снял.)

Эти всеобщие единства и связь существ и событий — проводятся многократно. На Земле: голубые ставни — и в городе и в Келбуе; уголок губ у Тали и у застреленного; шмель — и у солдата «жёлтая со шмелиным волосом грудь»; и Куковеров угождает в ту же ложбину меж талиных колен, куда упал вчера червь (и так же — накануне своей смерти); и Звезда видна на небе из Келбуя; и Мать, глядящая прощально на сына, — и там, и здесь; и одни и те же позы умерших, убитых — что на Тёмной планете, что на Земле; переводом стрелок взрывают на Звезде — и тут же стрелки в голове Куковерова.

Философская концовка, на Звезде о Земле: «там — воздух, там дышат день и ночь, там *не надо убивать*» (здесь и ниже курсив мой. — А. С.). (Замятин, отблевший революцией.)

Снова несравненная *сжатость* повествования! то, что и называют в физике «ядерной упаковкой». Эта сжатость прямо и определяется, и обыгрывается в рассказе: «чтобы в часы втиснуть годы, чтобы всё успеть» — из любимых мыслей Замятина о XX веке. Через сжатость времени (и даже веков) уравнивает прошлое с настоящим. Всё крестьянское восстание показано несколькими обрывистыми мелькающими картинками — а совершенно цельное впечатление!

И какой сжатый синтаксис! (Его примеры пишу отдельно.) И как сжата прямая речь, сколько — на обрывах, паузах, недоговорённостях — мастерство! Нарисовано по одному бойцу с каждой стороны: «голова на шесте» и «красная рябая улыбка» — и оба они живы, и отряды как будто воплощены целиком.

Но и спросишь себя: а может быть эта предельная сбивчивость, неоконченность *всего* говоримого (правда, больше в минуты волнения) — уже и искусственна? А это повторение и повторение одних и тех же коротких примет — уже через меру экспрессивно? уже и до примитивности?

Ещё специальный приём: Замятин не раз смело меняет местоимение персонажа на «я» — в том числе и между воюющими, чтобы выпуклей братоубийство, — этим отождествляет и себя (и читателя) с персонажем, или даёт тому отчётливее выразиться.

Отличная мужская речь. А как ярко: келбуйцы отказались сдаться, рябой перед смертью сморкается в свой картуз (!): «Зря вы, ребята, всё-таки православные».

И какая фигура наглого бедняка Филимонова, ставшего ненавистным председателем, — реальное советское.

Но бывших революционеров не мог не вздуть в благородство: Дорда (чех? так нет, орловец, но характерно, что подхвачено чужестранное) предлагает приговорённому Куковерову: его, Дорду, убить, а самому остаться живым. И как пафосно они когда-то в камере благородничали с папиросой: нет того, чтоб выкурить пополам, — неподделенную цельную папиросу «прибили гвоздём к стенке». (А откуда в камере гвоздь? чужь, или в царском бывало?)

Между воюющими автор нейтрален. Да он же и занят космическими вопросами, как он может принять тут, на Земле, сторону? Не угождает цензуре, что, мол, за красных. Но и не потакает нам, что за восставших мужиков. Всё же:

«Сломать тех — прочь с земли — чтоб не мешали счастью!»  
 Это — мы узнаём...

Частные примеры (другие — ниже, в Синтаксисе, Наружностях, Пейзаже):

сердце — как звон часов в бессонницу (и повторяется);  
 сердце настезь; настезь глаза (и «душа настезь» — повторяет);  
 закутанный голос;  
 тёмный голос, из-под наваленного вороха;  
 голос с весёлым ознобом;  
 мохнатый гул, мохнатый крик;  
 наваленная камнями тишина;  
 неслышный оглушительный рёв;  
 тугое дыхание, будто сразу весь воздух затвердел кусками;  
 смех — кусками, комьями — совершенно сухими, тотчас же рассыпающимися в пыль;  
 капли о камень, огромные в тишине;  
 спутанные соскочившие слова.

Отличное звукоподражание полёту пули: «фиееаау».

Но ведь и этих всех изобразительных возможностей тоже не так много? не угонишь на них одних литературу?

Через обрывистость речи — как глубоки и выпуклы чувства, особенно Тали. (Хотя и так: готова отдать девственность Дорде, чтоб только пустил её к Куковерову. Мотив женской расплаты уже был у него и в «Куличках».)

Рассказ — своеобразен, ни на что не похож, очень яркое, очень значительное, а всё-таки: «о самом ли Главном»?

Читаешь, восхищаешься, но всё больше чувствуешь: а чего, чего тут не хватает? А вот чего: простой сердечности, живого открытого, нескованного движения авторского чувства.

«ИКС» (1926). И юмора — Замятин тоже большой мастер, юмора густого, но и раскатистого, до шалости, озорства и уже переборов:

- вся Роза Люксембург (улица);
- звучно революционно целовались;
- для ближнего она готова была снять с себя последнюю рубашку;
- нахлестывал лошадь, будто это классовый враг;
- учреждение, которое носило тогда гораздо более чеканное имя (о ЧК).

И, озоруя, в разбеге:

- на могильном памятнике доктора: «приём от 10 до 2»;
- «выдали!» (не о доносе, а: хлеб выдали по купону).

Всё же это — на богатом материале 1919 года:

- угол Блинной и Розы Люксембург;
- духовные лица подметают улицу;
- за неимением брюк — на работу «непромокаемо шуршит крашеными кальсонами»;
- куртка, сшитая из купальной простыни;
- вместо хлеба выдали гражданам сурик на олифе;
- чтоб утишить народное волнение — по купону спичек;
- балетная студия для милиционеров;
- прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого;
- котлеты, рагу и сладкое — всё из селёдок.

И, среди весёлого, незаметно:

- (в ЧК) прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина;
- начальник ЧК — грек Папалачи со страшными усами;
- оптом закапывали умирающих в тот год;
- звёзды равнодушно смотрят вниз на Россию как иностранцы.

Верен истине о времени. Богат образами до избыточности. Но для центрального осмеяния выбрана самая безопасная по 20-м годам мишень: дьякон. (В предшествование Ильфу-Петрову?)

«**НАВОДНЕНИЕ**» (1929). Но и какой же Замятин разнообразный, как непохожи его рассказы один на другой! Если не следить за сжатостью и летучими мгновенными образами, можно подумать, что вот — рассказы разных писателей.

Здесь — синтаксис ненапряжённый, по видимости «простой», а хорошо рассчитан: от самого начала вводится в рассказ какой-то угрожающий звук. И как всегда — лаконично и быстро автор вводит нас в действие, в расстановку лиц.

На этот раз — бытовая драма, вневременной сюжет, почти никаких признаков советского времени. (А вероятно: уже бит и бит нападчиками — хочет написать «проходимый» рассказ. Как это знакомо!)

Тяжко читать — на себе несёшь всю эту тяжесть вместе с Софьей. Не выписываю всех поворотов психики — в таком малом объёме их много, много, и каждый верен. (О многолетнем бесплодии Софьи: будто каждый месяц её судили, она ждала приговора. Да сотня таких.) И как это сделано умело: что мы — сострадаем убийце. Но *русский* сюжет не мог кончиться на успешном убийстве, даже вознаграждённом рождением ребёнка, — в родильной горячке она сознаётся и именно через признание переходит от смерти к выздоровлению.

И внешнее наводнение (для Петербурга столь не новое и, вот, было в 1924) — с новой свежестью подано как помрачение в разум. От начала угрожающие признаки: то вмазалась в свою кровь, то невзначай вступают ещё безвинные «удары топора», колющего щепки. И сюжет как будто почти избытый — а нет, совсем ново решён.

Всё же приметы эпохи чуть впущены, и их вполне достаточно: дети играют «в колчака» и с пением (!) расстреливают из палок арестованного. Живоцерковец-поп — рыжий верзила в куцей рясе, будто переодетый солдат. Дерётся со старым верным священником, а тем временем сектант захватывает прихожан.

Частности:

- губы дёргались как пенка на молоке, уже совсем застывая (это употреблено дважды, и многое в этом рассказе — дважды, что создаёт нагнёт);
- ветер туго обернул её как полотном;
- ветер обхлёстывал ноги холодными тугими полотенцами;
- вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли (ждёт ночного приближения охладившего мужа);
- окно вздрогнуло, будто снаружи в него тукнуло сердце, это была пушка;
- у неё ничего не было, ни рук, ни ног, только одно сердце, и оно, кувыркаясь птицей, падало, падало.

Замечаю (из рассказа в рассказ), что злоупотребляет словом «настежь» (тут: «слёзы катились настезь» — нет, неудачно).

«**ЛЕВ**» (1935). Это уж и прямо — на безрыбьи, когда ничего нельзя напечатать, пишут такие рассказы. Почти половина его — на уровне среднесоветского, чуть ли газетного рассказа. Но всё же — находчивый конец (лев крестится перед падением). Краски неба в белые ночи, хорошо. И:

- балерины оправляют юбочки тем жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья.

«**ВСТРЕЧА**» (тоже 1935). Хоть коснуться своего прежнего славного революционного прошлого? Подхватил какой-то сюжет из парижской жизни — постановка фильма из дореволюционного русского быта, от себя, конечно,

нафантазировал. Но какая жалкая шутка, вырождение. И ничего не осталось от прежнего Замятина — ни языка, ни синтаксиса, ни сжатости — только образность. Кризис.

Итак, манера его. Отрывистая, броская; энергичное изложение, нет длинных описаний. Как только ситуация, характер намечены — он лишнего слова не скажет, даже настолько недоговорено, что и не всякий читатель скумекает. Можно сказать: ни одной лишней черты, детали, которая бы не работала. У него жажда — освежить всю манеру русской прозы.

Сам пишет так: «Тонкое и трудное искусство — к одной формуле привести и твёрдое и газообразное состояние литературного материала».

Ещё: «Случайный образ — от неумения сосредоточиться, по-настоящему увидеть, поверить. Если я верю в образ твёрдо — он неминуемо родит целую систему производных образов, он прорастёт корнями через абзацы, страницы».

А едва ль не большинство его образов — в эротической системе.

Манера настолько раскованная, при которой можно разрешить себе всё что угодно: дерзкое сравнение, словосочетание, синтаксис. (Повторяясь из рассказа в рассказ, есть опасность и утомить.)

«Все сложности, через которые я шёл, оказывается были для того, чтобы прийти к простоте». Ну, это — вечный, всеобщий урок.

### Пейзажи

#### Небо:

- опустошённое ветром румяное холодное небо;
- на фаянсово-синем небе — пятилапая туча;
- багровое небо покачивалось, готовое рухнуть;
- солнце, огненный пёс, пыхало пылом;
- закатное солнце — как отрубленная голова на остриях стены;
- (от зашедшего солнца) остался только распущенный по небу хвост красных перьев;
- на небе легли длинные красные полосы как от удара кнутом;
- заря — как скирды в сухмень, ровным огнём;
- облака, розовеющие как летнее девичье платье;
- жестяные облака (в городе);
- краснощёкое небо;
- городские каменные облака;
- литая туча с девичьей розовой оторочкой;
- железная громыхающая занавесь туч;
- небо вспыхивает красным (от луны), как девушка, которая в первый раз увидела...
- небо проколола одинокая тоскливая звезда.

Но перебор: «с длинным птичьим криком кружась падает солнце».

#### О луне:

- вылез красный запыхавшийся месяц;
- красное, косматое, рябое, жестокое, весёлое, равнодушное, любопытное лицо (луна встаёт);
- удивительно мудрая морда луны;
- месяц посинелый, тоненький, будто на одном снятом молоке рос (народность образа!);
- в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц.

#### Всякое, на земле:

- зелёные души (деревья, цветы, травы);
- восковые свечки в корявых зелёных руках (ветви сосны);
- страшно деревьям шевельнуться: не поцарапать бы голою веткой призрачное небо;

- голубой снеговой мех (о пышном инее);
- дома с белыми седыми бровями над окнами;
- весенний дождь летучими косыми парусами;
- ласточки бьются грудью в тучи;
- летучие мыши накрест перешвыриваются над улицей;
- (при луне) почти черны железные листья сирени;
- переулки, набитые чёрной ватой.

### Наружности персонажей

Чаще всего наружность даётся через меткое сравнение — с предметом, с животным:

- потёр косые свои глаза кулачками быстро, по-заячьи;
- досчатая девица;
- арбуз морщил лоб;
- глаза у ней как у птицы: может быть сейчас клюнет крошку из рук, может быть встрепыхнётся — и в окно;
- глаза не то изумлённые, не то бессовестные — очень велики;
- хватается глазами;
- посмотрел на отца зубами;
- узел из хорошей верёвки (Урванка);
- один жадный рот — красная мокрая дыра;
- улыбнулся — зажгёт тёплую лампадку на остром лице;
- как нутро вынута: запали навсегда щёки, запала грудь;
- голова в плечи закопана, выглядывает, как мышь из норы;
- одна голова из бездонных сапог (мальчишка);
- (генерал) голая пучеглазая лягушачья голова. И весь разлётый, растопыренный, лягва огромная — может под платьем и пузо пёстрое, бело-зелёными пятнами;
- брюхо побежало впереди, будто катил его генерал перед собой на тачке;
- лицо — заросший рыжим, насквозь пропылённый бурьяном пустырь (давно не брит);
- меж жёлтых каменных зубов — ящеричный хвостик улыбки;
- болтался в пиджачной скорлупе как орех в погремушке (похудел так);
- пингвиньи крылышки (руки);
- многогрудно, буддоподобно кормила человечка созданным ею супом;
- бровь плёткой (гнев);
- лешачьего сосенного росту;
- коричневые губы (старухи) шевелятся берестой на огне;
- натягивает глаза, как возжи;
- губы сжаты, вход замурован, стена;
- нет губ, нет розовой полосы — нет и не будет никогда слов;
- выдубленные солнцем голенища шеи;
- статуя из кожаного металла (Дорда);
- намёт ресниц;
- шуба на лице; меховое лицо (и у Маркса);
- женщина (беременная), похожая на паука: огромный живот, кругом остальное — ноги, руки, голова;
- сустав за суставом раздвигал себя, как складной аршин;
- руки мужичьи из сосновой коры;
- бороды калачом, сосулькой, пасьмом льняным, козьим хвостиком;
- букет кулаков;
- рогатая улыбка;
- лбяной навес;
- крылоухий; негрогубый.

В русской литературе — у кого было сравнимое богатство?

Ещё у него приём: многократное повторение лишь немногих чёрточек образа («цыганский угольный глаз», «две морщинки у губ») — и весь человек тут, хотя не знаем и имени.

Конечно утрировка наружности — всегда начало карикатуры. Но и как же видна, запоминается.

**Образность у него широко разлита и по всяким поводам:**

- скачут и играют слова, как весенний дождь;
- нежно татакал пулемёт, призывая самку;
- сердце пошло ровно, как лошадь;
- алое, как сердце, пасхальное яйцо;
- у революционной девицы разноцветные глаза: один зелёный, партийный, другой голубенький, беспартийный;
- тусменным светом мазали по лицам свечи;
- ручник за половым, как дым за паровозом;
- белые трупики выкуренных папирос;
- глядеть гаведно, а мы пять фунтов приели;
- ленивый запах;
- поцелуйно чмокала мокрая земля;
- ослик просыпал копыта по камню, потом закричал так, будто вспомнил, что загублена вся его жизнь;
- будто одет он в мыльный пузырь, и тронь по плечу — всё лопнет;
- шёпот сухой, как песок;
- по шёпоту слышно: брови насуплены;
- голос ровный, покрытый толстым слоем пепла;
- огромный голос (врача для больного, приходящего в сознание);
- круглый голос;
- розовый голос;
- напряжённая стеклянная секунда;
- вошла в паузу, как в открытую дверь, не постучавшись;
- нет спасения, женщины раскрывались как раковины.

### Синтаксис

Но больше всего меня притягивал его сжатый синтаксис. Он очень сознательно над ним работал. Так и писал: в наступивший XX век «синтаксис становится (то есть ещё надо, чтобы стал. — А. С.) эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов разбросаны по камням самостоятельных предложений».

Ещё не сразу и не полностью так, ещё сохраняют право и длинные периоды, и сжатость не может быть сплошь, это невыносимо, какой бы ни был век, а человек-то не столь изменился. Но направление поисков Замятина — исключительно верное.

Тут много у него приёмов. Можно их попытаться классифицировать, хотя это не будет строго, они и пересекаются всё время.

**Без глаголов:**

- и шляпу — под стол, золотую косу — через плечо, вниз по ступенькам, через две, через три;
- взвилась Белка — Сикидина в руку (пропущено: укусила).

**Даже только одни существительные (но это — и у Белого):**

- крик, кулаки, зубы, бороды, мат — залпом;
- пароходы, облака, месяцы, дни, птицы — мимо;
- другой, в глиняной рубахе, — тысячный, муравей, винтовка.

**От этого всего — усиленное использование тире:**

- не спеша — навзничь и головой вниз;
- и сундучник — на нос очки и, глядя поверх очков — внушительно;



- всю свою силу собрала к губам — а не может, вот — не может;
- да, это она: вальс — и убейте, воротничок — и не жить;
- настезь, вслух обо всём — глаза.

**И внезапные переходы через двоеточия:**

- ярмарка: на ярмарку с Марфой;
- так: будто бы если Дорда только чуть двинется.

**Сочетание разных приёмов в общей сжатости:**

- глаза: навстречу — её глаза... Нельзя — когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье;
- молча, глазами. Слова:
- кричит глазами: «Это же я, это же я!» — мчатся;
- мужчина и женщина — тесно: двое — одно;
- это и есть последнее, через край — больше нет сил. Глотая воздух кусками, Куковеров берёт в свои ладони её лицо — мир тихонько блаженно кружится.

**Недоговорки (в них — особая прелесть, а смысл в тексте всегда понятен):**

- и пришёл-то ведь затем, чтобы...
- а знаете, теперь я уже больше не...
- да неужели ж она меня...
- ты ведь это хочешь — не так, не просто как...
- уголок губ — там, как сквозь лупу, вся она, всё её девичье, женское — то самое, что...
- и есть ли что слаще, как не...
- тени между... (подразумевая желобок между грудями);
- две острые точки, сквозь тонкую ткань тлеющие розовым, два угла сквозь пепел (и не раз у него: «кольнула двумя остриями сосков»);
- о том, чтобы это — скорее, чтобы это — никогда...
- я их буду слышать всегда — всю свою — споткнулся (утром он будет расстрелян);
- и это немыслимо, невероятно — и что-то надо, что-то надо скорее...

**Тут — и нагнётное использование повторов.**

**Наконец — рассогласовка частей предложения (очень усиляет динамику):**

- хочется крикнуть — всю себя — что-то самое невозможное, самое трудное;
- люди, машины, немые толпы книг, где-то на стенах изображения — лица, золото, красное — тысячелетия с неслышным оглушительным рёвом мчатся сквозь меня;
- думалось словами викария, смотрела в окно, неслись быстро облака, бежать за ними.

**Разговорная речь (в частности — фонетическая запись, точное звучание):**

- н-т-ц-а, вот что! (восхищение красивой женщиной);
- ды блажа-ат, ды блажа-ат;
- за тобой разве напритираисси?
- сейчас чтобы смеялась! смеись, ну!
- новину вздрать, вот бы!
- по-ихнему, и-и пошёл... Ну чего, грю, тебе, чудачо-ок?.. Накося, по-дуравьи язык ломает;
- кэ-эк это он зачал мне, знычьть...

Замятину доводилось ездить в общих вагонах, немало наслушался народных слов. В молодости густо употреблял их, а также фонетические искажения.

**И — богатейшая лексика.** Немало слов от него я уже включил в Словарь языкового расширения. А можно бы ещё много приводить примеров.

заиндючился	разжение	верешок неба	пересмягли губы
насмелился	хлебарь	завёженные очи	перемогнитесь
затрюкалось	сумерный	скробыхалы (обувь)	необрядимое горе

кулемэсить	окайшка	бык брухучий	лешебойник
побелэсеть	трожды	перекосоурил	взгбйчился
чем же я опризорилась?		уж больно ты мнимый	об себе человек

И — свои придумки:

квадратно был уверен	лицо ещё мумийней	двадцатипятилетне	влюблён
красноробе (наречие)	солнцевое вино	пятилетне смеялись	
	пёрли		

на одну самую песчинную секундочку

Эмиграция не только не рассвободила Замятина, но вогнала его в зажатое одиночество. Да ведь были же в Париже и революционные демократы, эсеры и их печатные органы? Нет. Он был *не их*. Как бы — оставался большевиком? советским? Что-то около этого.

И за что же взялся? Прежнюю свою, отвергнутую советской сценой пьесу «Аттила» теперь переделывал и расширял в исторический роман.

«БИЧ БОЖИЙ» (1928-35). Уйти от современности?

Начал. Не кончил.

А как невероятно трудно автору — это всё *увидеть*. Невольно обречён на условную манеру, иногда на самые общие, расплывчатые черты. Многие сцены лишены осязаемой достоверности. Но в других — прозрение автора побеждает, и мы видим ярко. Иногда автор облегчает себе тем, что, например, двор императора Гонория он видит отчуждёнными, непонимающими глазами Аттилы — и это освобождает от достоверной, подробной детальности.

Хорошо передана общая *сила* дикарей тех лет, и особенно — первобытность Аттилы, его последовательное родство с волком.

От главы к главе Замятин меняет героя. Интереснее (и понятнее ему и нам) получился у него византийский историк Тарквиний Приск.

Вступление («перед концом света», землетрясение) как раз не ново, подобное бывало. И вообще: оно лишнее, по масштабу остальных событий.

Язык — естественно самый общий, тут сочности не может быть.

Пейзаж — и тут сильный. Да ведь это — то, что видно и сквозь века.

Так игриво начатая и сверкательно продолженная литературная жизнь Замятина кончилась шестилетним заглоханием в эмиграции.

Восхищает он! А — не испытываю такого тёплого, родного чувства, как к Булгакову.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

\*

## ПОЭТ — ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Евгений Евтушенко написал письмо Борису Ельцину. Открытое. А также Черномырдину, Чубайсу и другим не последним лицам в российском правительстве<sup>1</sup>. Во первых строках он одобрил («я поддерживаю это решение») те посмертные почести, которыми руководство страны поспешило почтить память Булата Окуджавы.

Далее поэт посоветовал правительству не останавливаться на достигнутом и вкратце обрисовал литературную ситуацию:

«Большинство наших писателей — это честные, бескорыстные люди и отнюдь не ностальгируют по отвратительному (! — А. В.) для нас статусу «придворности» и не принадлежат к тем, кто за личные побрякки готов закрывать глаза на безответственность, ошибки или прямую коррупцию власти».

Да, картинка... Так и вижу, как испуганная «власть» заманивает честных писателей «личными побрякками» (какими, интересно?) для того, чтобы честные писатели согласились закрыть глаза на «безответственность, ошибки» и проч. А то вдруг эти страшные бескорыстные писатели не согласятся закрыть глаза и как скажут... Представляете, какой ужас для власти?

«Власть нуждается в тех писателях, которые говорят правду, ибо иначе любая система превращается или в диктатуру как таковую, или в диктатуру хаоса».

Интересно, что по этому поводу думает сама власть: нуждается она или не нуждается? Именно *думает*, поскольку вслух все равно не признается. Не те это люди, раз дошли до самого верха, чтобы все вслух говорить.

«Такие (честные. — А. В.) писатели против политической цензуры, которая искорежила, а подчас и сломала талантливых людей. Но они, и вместе с ними я, против той коммерческой цензуры — цензуры равнодушием, которой подвергается сейчас современная российская литература, почти изгнанная с экранов телевидения разнузданной «попсой», отравляющей вкус нашей молодежи позорными для страны Пушкина неандертальскими текстами песен. Нельзя, чтобы зарубежная и не уступающая ей в бездарности отечественная сексуально-полицейская пошлость... погрела под собой на книжных прилавках серьезную литературу, без коей страна духовно обречена».

Пропустим эту мелодекламацию, и не рассчитанную на серьезное обсуждение. Далее автор письма переходит к практическим предложениям, излагая

---

<sup>1</sup> «Открытое письмо поэта Евгения Евтушенко президенту РФ Б. Ельцину, премьер-министру РФ В. Черномырдину, мэру Москвы Ю. Лужкову, первому вице-премьеру РФ А. Чубайсу, первому вице-премьеру РФ Б. Немцову, вице-премьеру РФ О. Сысуеву». — «Литературная газета», 1997, № 27, 2 июля.

много *дельного* о мемориальных досках, писательских вдовах, налоговых льготах, федеральных программах и проч.

Но тут прервемся, сделаем некоторое отступление. Одновременно с июльской «Литературкой» в столице (с опозданием) появился февральский номер екатеринбургского «Урала».

Там напечатан в разделе «Панорама» материал о прошедших Днях Вячеслава Курицына в Екатеринбурге (январь 1997-го)<sup>2</sup>, в рамках которых состоялись научные Курицынские чтения, — отныне они будут устраиваться регулярно, раз в три года.

В связи с этим знаменательным событием в журнале «Урал» приведены три эмоциональных отклика — Валентина Лукьянина, Ольги Славниковой и Валерия Исхакова. Мне в данном случае показалось небезынтересным мнение Ольги Славниковой, причем не столько ее непосредственные впечатления от Курицынских дней, сколько попутные размышления о статусе писателя в современной России. А именно, что «писатели вообще больше не нужны».

Цитирую (тираж «Урала» всего 1550 экземпляров):

«Однако прошедшие „чтения“ все-таки не сводятся к простому междусобойчику, поскольку несут по меньшей мере две смысловые нагрузки. Первая связана с тем, что вокруг всюду идет процесс девальвации всевозможных „членств“, „почетных званий“ и прочих высоких статусов. Помню, как году в девяносто втором торговка мясом на Шарташском рынке рекламировала свой товар. „Директорский кусок!“ — выкликнула она, предьявляя пласт сахарно-розовой говядины загибнутизированному инженеру в очках и зеленой шляпе. Так рынок начал размывать статус руководителя... Можно организовать самочинный творческий союз (пример — наш Союз Писателей Пионерского Поселка<sup>3</sup>). Можно зарегистрировать какое-нибудь АО „Академия Глобальных наук“, а себя назначить, согласно штатному расписанию, ее Президентом. Именно это, между прочим, и будет записано в трудовой книжке... Хотя „директорские куски“ стали теперь куда весомей, государство таки утратило монопольный контроль над статусом (курсив мой. — А. В.)...»

Второй смысл заключается в том, что писатели вообще больше не нужны. Я не к тому, что государство и общество обрекло творческую интеллигенцию на нищенское существование. Эта проблема — болезненная, но до известной степени частная и в принципе решаемая налоговой реформой. Я говорю об общекультурной ситуации, когда на полках средне-статистического гражданина уже вполне достаточно книг. Говорят, сейчас на планете живет столько же людей, сколько их было всего за историю человечества, — и некий генетически обусловленный процент пишет романы и стихи. Если прибавить к новой продукции то, что было создано поколениями предшественников, то окажется, что у нормального человека, к тому же напрягаемого рыночной экономикой, просто не может возникнуть проблемы: что бы такое почитать. Ему, наоборот, не хватит жизни, чтобы освоить достойное прочтения, — а поскольку преклонение перед классикой весьма устойчиво, то человек уверен, что выше Толстого и Достоевского ничего не может быть (при этом читать их он и не собирается, вернее, собирается, но никак руки не доходят. — А. В.). Что до литературного процесса как такового, то он умозрителен и поэтому неплатежеспособен. Реальному, физически конкретному читателю, вообще говоря, плевать на процесс. Как говорят американцы, „он этого не покупает“».

И далее:

«Что же может сегодня реабилитировать автора, «присвоить звание», сделать его «настоящим писателем» в глазах читающей публики? Очевид-

<sup>2</sup> «Не Славы ради...». — «Урал», 1997, № 2.

<sup>3</sup> Что это такое, трудно сказать. Не знаю. Это какие-то их екатеринбургские дела.

но, это смерть и видимое бессмертие, представленное книгами, которые как-никак никуда не делись из частных и публичных библиотек. Формула «хороший писатель — мертвый писатель» для обывателя более чем естественна. И не естественно ли будет желание пишущих людей, в свою очередь, крикнуть: «Мы живы, живы, вот они мы!» — и призвать в свидетели телевидение? Можно продемонстрировать телекамерам голую задницу; можно полаять и посидеть в собачьей будке; можно устроить «чтения» и дать «информационный повод» программе новостей...»

Этот обширный фрагмент О. Славниковой я позволю себе оставить без комментариев. Хотя бы как напоминание, что далеко не всем российским литераторам свойствен истерический надрызг. Что Евтушенко в своем открытом письме выражает все-таки свое частное мнение, хотя и пытается ненавязчиво представить его как общее.

А теперь вернемся к его письму о необходимости государственной поддержки «серьезной» литературы. Он пишет:

«Если бы шведское правительство не помогало финансировать проекты Бергмана, вряд ли бы такой великий режиссер выжил».

Очень хорошо, что шведское правительство помогало Бергману. Страна небольшая, богатая, общество стабильное (о задержках с выплатами зарплат и пенсий там, вероятно, и не слыхивали), да и не так много в Швеции *всемирно известных* деятелей искусства, чтоб разбрасываться.

Впрочем, помнится, у Бергмана со шведским правительством не все было гладко, какая-то история с налогами, режиссер даже был вынужден покинуть страну...

А главное, театр и кинематограф требуют (в отличие от литературы) значительных предварительных затрат. Повторю еще раз: значительных и предварительных.

Не то чтобы писателю ничего не было нужно, писателю (как и любому творческому человеку, как и вообще любому человеку) много нужно. Но для того, чтобы издать роман, нужно его сначала написать, а чтобы написать роман, не обязательно заранее искать богатого и заинтересованного *продюсера*.

Осмелюсь даже предположить, что никакие предварительные денежные вложения в литературу урожая принести не могут. Садись и пиши, если, конечно, хочешь и можешь.

Удобно писать на компьютере, но если нет компьютера, можно и на пишущей машинке; нет машинки, можно от руки, на худой конец, ручкой-вставочкой, обмакивая перышко в чернильницу.

О поэтах и говорить нечего; Мандельштам гордился тем, что работает «с голоса».

Теперь о книгоиздании. Книги, как известно, бывают прибыльные, рентабельные и убыточные.

Любую книгу, которая действительно может принести прибыль, издатели с руками оторвут. С книгой, не обещающей чистой прибыли, но могущей хотя бы окупить расходы, сложнее, но и тут ситуация не безнадежна. С заведомо убыточными книгами вопрос прост: кто должен оплатить убытки?

Сказать «общество» — это, простите за плоскую шутку, слишком *общо*. Нет, кто конкретно? Какой фонд? Какой меценат?<sup>4</sup> Министерство печати? Культуры? То есть — налогоплательщик? Лишних денег ни у кого нет. Правительство с военными никак не рассчитается.

«Думается, что следует рекомендовать Министерству образования разработать программу „Писатели в университетах”», —

учит Евтушенко.

<sup>4</sup> Хотелось бы видеть много хороших и разных негосударственных литературных премий, и не только для писателей, но и для издателей. Но только за настоящие (а не будущие) свершения. А коль скоро таких меценатов не найдется, то... значит, так тому и быть.

Должность «писатель при университете» действительно существует в некоторых американских университетах. Но неужели все эти места оплачивает *федеральное* правительство США?

По радио «Эхо Москвы» уже звучал риторический вопрос Николая Александрова<sup>5</sup> по адресу Евтушенко: знает ли он, сколько получает у нас обычный вузовский преподаватель? Или Евтушенко считает, что писатели «при университете» должны получать особый оклад за то, что они Писатели?

Вообще, романтическая или элитарная концепция Писателя как позитивной антитезы бездуховному обывателю себя давно изжила; подобные поползновения сегодня или смешны, или жалки. А в основе письма Евтушенко правительству лежит подспудная и непроговариваемая вслух предпосылка, что ПИСАТЕЛЬ есть **СОВСЕМ ОСОБЕННЫЙ** человек, не чета всем остальным человекам.

Вот перл:

«Знают ли наш президент и правительство, что писатели принадлежат к тем париям, которым в случае болезни не выписывается бюллетень?»

Но спокойно... давайте рассудим, что тут имеется в виду.

В столице, где сосредоточено большинство литераторов России, если у человека есть медицинский страховой полис (а почему бы ему не быть?), поликлиника по месту жительства выпишет ему бюллетень, то есть документ о том, что человек действительно был болен, кем бы больной по роду занятий ни был.

Если писатель где-то работает, как работают большинство литераторов во всем мире, больничный лист оплачивается по месту работы (за то, что — «работник», а не за то, что — «писатель»).

Если тяжело заболевшему писателю нужна материальная помощь, то это дело многочисленных ныне творческих союзов, фондов — НЕ государственных, между прочим, и хорошо, что не государственных, и не дай Бог, чтобы они сели на казенное финансирование. Бесплатный сыр, сами знаете...

Впрочем, Евтушенко ратует как раз за бесплатный сыр:

«Нормальное здравомыслящее общество, понимающее необходимость духовности даже для прагматической экономики, должно поддерживать свою литературу, в то же время не требуя взамен лакейской преданности, не вмешиваясь в святая святых — творчество».

Так «общество» или «государство»? Если «общество», то почему Евтушенко пишет письмо правительству?

Поддерживать «свою литературу»? А оно, общество, и поддерживает: в лице платежеспособных граждан — покупая интересные и нужные книги, в лице негосударственных организаций — присуждая всякие негосударственные «Анти» и просто «Букеры», «Триумфы» или Шолоховские премии...

Да и как можно было бы при всем желании выказать «лакейскую преданность» — обществу? Государству, главе государства, политической партии, тайной организации, мафиозной группировке, артистической тусовке, непосредственному начальнику, супруге, наконец, — да, это возможно. Но всему обществу в целом? Загадка.

«Надо восстановить структуру, занимающуюся организацией встреч писателей с читателями».

Что, и этим должен заниматься президент? Счас... он даст распоряжение первому вице-премьеру Немцову... Или вице-премьеру Сысуеву?

«Данное обращение не есть новая попытка иждивенчества писателей за счет государства.

Это отстаивание права на уважение к литературе как к профессии».

<sup>5</sup> См. также: Александров Николай. Жалобы поэта. — «Итоги», 1997, № 29, 22 июля, стр. 24.

Но мужество, честь и свобода писателя состоят в том, что литература есть область *добровольного риска*, что ему как *писателю* никто и ничего не должен (кроме гонорара за опубликованное сочинение, но и в этом он ничем не отличается от любого другого работающего профессионала).

А как же, скажут, корпоративный интерес? Разве ты (то есть я) сам не литератор? Вроде бы верно. Но я, пишущий эти строки, помню, что кроме почтенной литературной корпорации принадлежу к еще двум «корпорациям» не менее почтенным.

Первая — это корпорация российских читателей, и как российский читатель я знаю: никогда еще (по крайней мере на моей памяти) в книжных магазинах не было столько хорошей и разнообразной литературы. Евтушенко видит только «сексуально-полицейскую пошлость»<sup>6</sup>, а я вижу еще и обилие классики, мемуаров, книг по истории, философии, религии, психологии — и все это тоже раскупается.

Во-вторых, я принадлежу к корпорации российских налогоплательщиков и как российский налогоплательщик обеими руками против того, чтобы казенные, бюджетные деньги тратились на поддержку того, что кто-то (неизвестно еще кто) сочтет «серьезной» литературой.

А впрочем...

Вспомнил вдруг, как однажды веселый журнал «Столица» послал своих сотрудников на улицу... просить милостыню. Результаты отважной экспедиции были (с фотографиями) опубликованы. Наиболее эффективным средством изъятия рублей у сурового населения оказалась картонка с надписью: «Дайте денег». Без объяснения причин. Просто: дайте... И давали.

Так что дайте писателям немного денег. *Поможите*, не требуя взамен «лакейской преданности» (кому она нужна, их преданность)... Просто так дайте.

**От редакции.** С нашим коллегой мы согласны — но с одной оговоркой.

Писательство действительно предприятие рискованное, по определению, и не может осуществляться «под государственную гарантию». (Даже денежное воспомоществование Николая I Пушкину и Гоголю, во-первых, адресовано было уже состоявшимся, громко заявившим о себе талантам, а во-вторых, представляло собой не государственную акцию, а личную монаршую милость.)

Однако другой стороне — читателю — не худо бы и подсобить. Особенно нашему поиздержавшемуся читателю, скромному интеллигенту, рассчитывающему не на расширение личной библиотеки, а на пользование библиотеками общественными. Между тем в провинциальные библиотеки с их нищенскими бюджетами и центральная периодика, и серьезные, но дорогостоящие книги давно уже поступают в микроскопических дозах. Поэтому целевые заказы на какую-то часть тиражей этих и подобных изданий с последующим комплектованием ими библиотек, равно как и льготы, предоставляемые издателям образовательной, учебно-просветительной литературы, — дело святое, естественным образом ожидаемое от «цивилизованного», как теперь любят выражаться, государства (впрочем — от частных и общественных фондов тоже).

Конечно, тут же встает роковой вопрос об экспертах — о тех, кто будет составлять список дотируемых изданий, фактически распоряжаясь, как о том справедливо напоминает Андрей Василевский, деньгами налогоплательщиков. Но если в стране невозможно наладить экспертизу, хоть сколько-нибудь пользующуюся общественным доверием, значит, страна вконец одичала. Надеемся, что это не совсем так.

<sup>6</sup> О массовых жанрах я уже писал в рубрике «По ходу текста» («Новый мир», 1997, № 6).

---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## ДАР УЕДИНЕНИЯ

Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. М. «Самиздат». 1997. 697 стр.  
Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Исходный текст. — «Континент», № 81.

**К**нигу, состоящую из «1000 страниц» рукописи, 949 примечаний, заполняющих эту «1000 страниц» (так как «исходный текст» вынесен за пределы книги), и вышедшую тиражом 500 экземпляров, рецензировать непросто. Во-первых, из-за качества самой книги: дело в том, что читатель, находящийся на 10-й, 40-й, 46-й, 481-й и, скажем, 635-й ее странице, будет испытывать совершенно разные эмоции по поводу книги и ее автора, что не станет следствием «простого увеличения объема информации». Сам «угол восприятия» текста меняется от страницы к странице. Во-вторых, из-за того, что небольшой тираж и специфический способ распространения грозят превратить рецензию в нечто вроде личного письма автору. Письма гораздо более непонятного тем, кто читал публиковавшиеся отрывки из книги, чем тем, кто вовсе ничего из текстов Галковского не читал. Да и к тому же личное письмо — это другой жанр. И отправлять его надо по почте. Хотя автор все равно напечатает. Он для этого отвел целую рубрику в собственном журнале, названном «в пандан» «Бесконечному тупику», «Разбитым компасом». Так что пусть уж лучше «Новый мир».

А вообще Галковский вынуждает писать к себе именно письма. Дело в том, что в «Бесконечном тупике» все отрефлексировано до такой степени, что другой просто вынужден замолчать. Если не сподобится сказать то, что и вправду может сказать только другой. Например: «Я люблю тебя, Одинокое». Может быть, вся огромная книга — это такое вымогательство со специальным заведением в тупик любого другого высказывания. Попытка наложить запрет на говорение о себе — с тем, чтобы добиться наконец говорения к себе. Впрочем, формально Галковский тут ни при чем. Это все Одинокое, его лирический герой, на удивление обособившийся от автора (может быть — вопреки воле последнего). О нем дальше и пойдет речь.

То, что речь пойдет именно об Одинокое, нужно подчеркнуть, потому что книга вызывает растерянность, сомнения — по какому разряду ее считать. Приходится слышать: «Дмитрий Галковский все-таки скорее мыслитель, а хотелось бы поговорить о современной художественной литературе». Может быть, Одинокое был бы доволен таким определением. В свое время Г. Гачев и В. Кожин создали головокружительную теорию «содержательной формы». Суть описываемого ею процесса заключалась в «отвердении» содержания и превращении его в форму при становлении жанра. Когда все это впервые происходит на твоих глазах, осознаешь головокружительность и теории, и происходящего, так что растерянность при чтении этой книги уместна и оправданна. Но нужно все же отдавать себе отчет в том, что, хотя Дмитрий Галковский, безусловно, мыслитель, перед нами художественное произведение.

Если бы к автору «Бесконечного тупика» пришел искренний и восторженный почитатель и сказал: «Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, когда вы говорите о том-то и о том-то», — автор, скорее всего, отчаянно расхохотался бы ему в лицо. И совсем не потому (или не только потому), что он высказал «то-то» и «то-то» в виде шутки, «наколки» или провокации. Просто никакое самое серьезное «авторское» мнение в этой книге не предполагает той степени самодостаточности, когда о нем можно всерьез говорить и спорить. Серьезное отношение требует не к мнениям, а к личности «автора». Суть каждого высказывания заключается не в том, чтобы подтвердить собственную истинность, но в том, чтобы подтвердить «авторскую» гениальность.

Само по себе сколь угодно ценное и интересное содержание «авторских» высказываний является на самом деле не более чем формой проявления «авторской»



личности. Можно заменить все высказывания «Бесконечного тупика», и содержание книги не претерпит никакого изменения именно потому, что ее содержанием является личность «автора». Причем эта личность принципиально не складываема ни из каких черт и признаков, свойств и качеств. То есть неопределима. Тысячестраничный «Бесконечный тупик» есть попытка изображения личности в состоянии непроницаемого одиночества. Такое «количество места» потребовалось автору именно для уничтожения всякой возможности положительного (и уж тем более окончательного) определения. Форма бесконечного ассоциативного говорения оказалась единственно возможной для создания книги молчания.

Бесконечное непроницаемое пространство «Бесконечного тупика» создается за счет договаривания. «Договоренность» мысли лишает собеседника пространства, на котором он мог бы существовать, с которого он мог бы вести диалог. «Договоренность» «авторских» самоопределений лишает читателя возможности понимания, которое ведь в некотором смысле — по-имание, поимка. Критерий понимания — возможность продолжить и дополнить самоопределение высказывающегося, договорить за него вещи, неясные ему самому, или по крайней мере вещи, которые он не хотел бы прояснять для собеседника. Если же говорящий доводит каждое собственное определение до «каменной стены», делает все выводы, которые из него можно сделать, это определение перестает служить основой для понимания. Высказанное до конца определение — все равно что отсутствие всякого определения, потому что собеседник, лишаясь возможности додумывания, лишается и возможности удостоверения его истинности. Сказанное можно только в молчании выслушать — даже кивок головой будет неуместен и неоправдан.

Сочетание прерывности текста («примечания») и конечной договоренности каждой мысли создает идеальную бесконечную ловушку для читателя. Каждое отдельное примечание возбуждает волну встречного энтузиазма, сочувствия, соговора. Я здесь, конечно, имею в виду сочувствующего читателя, которого жаждет всякий текст. Ведь любой текст, имеющий хоть какое-то отношение к действительности, рассчитан на сочувствующего. Доверие должно быть априорно, как личностная установка читающего. Без встречной любви любой может быть подвергнут оплеванию, осмеянию и заушению. Ибо текст — это всегда самообнажение. А самообнажение в отсутствие априорной (до него) любви — лишь повод для отвращения и насмешки, заглушающих даже грязное любопытство и зверскую похоть. Кстате, «умный текст» умеет защитить себя и никому другому просто не открыться. Даже если волк запоем козлиным голосом...

Так вот, сочувствующий читатель радостно бросается со-мыслить, договаривать за автора, возникает сладостное чувство вхождения в текст, понимания. Но каждое новое примечание этой ветви теснит читателя с только что, казалось бы, предоставленной ему территории, домысленное им упрямо договаривается «автором», и в конце концов «автор» и читатель оказываются на прежнем месте: перед каменной стеной, по разные ее стороны. «Авторское» пространство может расширяться как угодно, в сущности не ущемляя пространства читательского, единственное, что сохраняется в неприкосновенности, — каменная стена, их разделяющая. Бесконечный тупик.

До сих пор нам были знакомы тексты, обладающие большей или меньшей порождающей способностью. В данном случае перед нами текст, обладающий чудовищной поглощающей способностью, втягивающий в себя, как гигантская воронка, практически любой текст, оказавшийся в сфере его притяжения. Вместимость же «Бесконечного тупика» бесконечна, причем он вовсе не становится хоть сколько-нибудь «наполненнее». Происходит лишь разбухание личностного пространства, каждый новый текст — не более чем способ расширения «я».

Сами «кирпичики» примечаний, из которых Одинокое складывает свою бесконечную стену, отделяющую его от потенциального читателя, — вещь захватывающе противоречивая. С одной стороны, «примечания» — это жанр высочайшего смирения мысли, развивающейся как комментарий, пояснение, расшифровка чужой мысли; смирения и перед чужой мыслью, которую необходимо представить как она есть, не искажая комментаторской самостью (я имею в виду идеальные примечания), и перед читателем, по отношению к которому комментатор

должен выступать «мальчиком на побегушках», ненавязчиво подавая нужный намек, нужную справку в нужный момент. С другой стороны, мы ведь имеем дело с примечаниями к своему собственному тексту, с примечаниями к примечаниям (то есть с примечаниями второго и третьего порядка). Да и сам текст, к которому вроде бы писались примечания, оказывается за пределами книги примечаний — за ненадобностью!

Смирением здесь уже и не пахнет. Самая смиренная вещь оборачивается вещью самой горделивой и самодостаточной (и это — при заложенной в самую основу ее фундаментальной недостаточности, недостаточности по происхождению)! Смирение оборачивается небрежностью и пренебрежением. Ветвящийся текст с корнем, скрытым от глаз читателя, с ветвями, каждая из которых в своем бесконечном ветвлении заканчивается тупиком, — это текст, написанный *sub specie* вешалки, места бесконечного унижения Одинокова, все же почувствованного в процессе медленного ветвления сознания как место одинокого пресходства. Пожалуй, тема «вешалки» могла бы служить «стволом» текста, во всяком случае, без нее все остальные темы его остаются незакрепленными, не просто «люфтующими», но — оборачиваемыми.

«И вот со смертью отца связано мое пробуждение как личности.

Произошло это незадолго до нашего прощания. Я был в школе. Это время я очень плохо помню. Даже времена года для меня слились в серую монотонную мглу. «Мрак и туман». Большая перемена. В ушах все время гул, вообще оглушенность во всем теле, ощущение замедления времени и неестественности бытия. Похоже на гриппозную хандру. Тягучая истома и оцепенение, а внешний мир кажется нарисованным аляповатой и бездарной кистью. И вот в этот день одноклассники в шутку повесили меня за шиворот пиджака на вешалку и стали ее раскачивать. И настолько это все было нереально, что я даже почти не сопротивлялся, когда вешали, а когда повесили, я вообще висел просто и смотрел на них, в сторону. И совершенно ничего не слышал. И мне даже казалось, что я сплю. Во мне не было никакой злобы, стыда, а просто абсолютное неприятие происходящего. Я помню только, что там — а это было внизу, в раздевалке, конечно, — там внизу на лавочке сидела маленькая девочка, второклашка наверно, и она смотрела, как все эти здоровые парни и девки гоготали, и ей было не смешно, а страшно. Ну, не страшно, а «испуганно» как-то. Она почему-то испугалась. И я ей с вешалки улыбнулся. А она как-то оцепенело, разинув рот, смотрела на меня. А потом... Потом я не помню ничего».

Читая все остальное, в «Бесконечном тупике» нельзя же не принимать во внимание, что это — самое большое сочувствие, самое глубокое сострадание, которое было даровано «автору» (или — замечено «автором») за всю жизнь.

Вешалка — зерно «Бесконечного тупика», момент рождения абсолютно одинокого Одинокова. «История с вешалкой мучительна. У меня горе, трагедия, а всем наплевать. Неинтересно это. Эта история и комична. Действительно, смешно: повесили и раскачивают. Мало того, что моя трагедия оставила всех равнодушными, в реальном мире она нашла свое разрешение в форме грубого фарса:

— Это Одинок.

— Какой Одинок? У которого отец умирает?

— Нет, которого за шиворот повесили.

Это сочетание порождает нелепость ситуации. Нелепо это. И вот смерть отца, ее ужас, комизм и нелепость и воплотились навсегда в образе «вешалки»: я, нелепо раскачивающийся посреди толпы школьников.

Здесь произошла идентификация с отцом. Я как бы вобрал в себя его предсмертный опыт. И тем самым выломился, выпал из этого мира. Я понял, что в этом мире я всегда буду никчемным дураком, и все у меня будет из рук валиться, и меня всю жизнь будут раскачивать на вешалке, как раскачивали моего отца».

Из дальнейшего развития темы видно, что это не Голгофа. Это сочетание двух точек, равно удаленных от «Голгофы» и в своем сочетании ее вовсе не составляющих: это оплевание у Ирода и искушение сатаной на высочайшей горе, откуда видны все царства земные. В отсутствии «Голгофы», то есть точки истинного взгляда, это ситуации величайшего унижения и величайшего превознесения. В от-

сутствии «Голгофы» и то и другое ведет лишь к бесконечному и окончательному одиночеству, замкнутому собственной гордыней.

«Примечания» становятся способом разговора с самим собой, чем-то вроде шахматной игры, ведущейся по правилам, которые известны одному лишь Одинокovu и в которой уже поэтому любой потенциальный собеседник-«противник» падает плашмя на третьем ходу. (Кстати, в шахматы «автор» играть не умеет и, следовательно, не любит.)

Можно, однако, на все взглянуть несколько иначе и увидеть весь процесс написания книги (отдельные «примечания» которой ведь «публиковались» по мере занесения их на бумагу) как процесс возрастающего изумления автора перед собственной не востребованностью. Как ни странно, любой человек, несущий новое слово, новый взгляд, новое свежее чувство мира (что не так уж и редко бывает), ожидает, что его встретят с распростертыми объятиями. Интересно, что эти ожидания ни разу не оправдались. (С распростертыми объятиями встречают совсем других людей, тех, которые выговаривают нечто такое, что уже просилось на язык многих. В тех же, кто действительно приходит сказать хоть что-то новое, ощущают прежде всего угрозу и реагируют быстро и адекватно.) Тем не менее каждый проходящий с упорством, достойным лучшего применения, наступает на те же грабли. Вот и наш автор перед лицом озверевшей прессы испытал чувство недоумения и растерянности. Он-то ведь знал, что его ждут. Отсюда рефреном, усиливающимся, учащающимся к концу книги: «Значит, не нужен...» Горечь и упорство одинокого путника, одинокого вестника. Все это тем более печально из-за того, что он нес людям не идею, ради которой можно претерпеть заушение и оплевание, а себя, и в этом случае заушение и оплевание могут представляться гораздо более окончательным результатом.

Конкретные высказывания в этой книге действительно могли бы быть заменены на другие. Ее предполагаемый результат как некоторого «мыслительства» был не тот, что все прочитают и скажут: «Да, так все и есть», — но тот, что все прочитают и скажут: «Да, есть такой Одинокov, если чего, спрашивайте у него». Поэтому надежда автора на признание потомков несет на себе печать грустной безнадежности.

Одинокov не просто одинок. Он отъединен безнадежно. Различие между двумя состояниями можно показать как разницу между тем, как первоначально воспринимается его декларация собственной гениальности, и тем, как он ее впоследствии расшифровывает.

«Я — гений», — заявляет «автор». И сочувствующий читатель ему радостно верит. Верит, потому что знает — для большинства «интеллектуалов» процесс мышления представляет собой стесняющее, ранящее, неприятное плавание на мелкой воде. В этой ситуации человек, просто и с наслаждением выплывающий сразу на глубокую воду, радующийся открывшемуся простору, неведомым и головокружительным глубинам, которые его завораживают до восторга, — так вот, такой человек должен вызывать раздражение, отвращение и злобу. И это будет удостоверением его гениальности, то есть в данном случае всего-навсего интеллектуальной состоятельности. Истоком возбуждаемых им эмоций является, очевидно, страх. Следствием — полицейские кордоны, отлавливающие всех, пытающихся выплыть за пределы безопасной для большинства кусочка «воды».

Но вот сам «автор» начинает описывать состояние гениальности: «Человек крысой трусит по лабиринту общенародного государства за 60-рублевой приманкой и испытывает при этом чувство законной гордости и глубокой благодарности. И вот вдруг крысу начинают загонять в окровавленный угол. Загоняют криками, палкой, электрическим током, специальными пружинами. И вот она уже забилась в тупике, и ее сейчас разmozжат, размажут по стене. И вдруг она (крыса) полетела. Сначала испуганно, как фатальный предсмертный прыжок — истерический, смешной, — а потом, уже в воздухе, все более и более РАДОСТНО; даже с элементом игры и, наконец, доводки, языка в сторону мучителей, которые как-то вдруг стали ей видны и, сверху, жалки даже. И вот, плавно покачиваясь, она подлетает к форточке лаборатории и, напоследок этак нагло, с вывертом крутанув хвостом, взмывает вверх, в небо, и исчезает в голубом, так сказать, просторе».

«Это одна такая крыса на миллион», — пишет далее «автор». И вот здесь он, пожалуй, не прав. Это вообще о д н а такая крыса. Потому что другая гениальная крыса если и объявится, то уже не полетит, а, скажем, уйдет под воду и проживет там много лет, тоже «изменив САМ ПЛАН СВОЕГО МИРА», но иным образом. Потому что если бы вторая гениальная крыса тоже должна была полететь, она не была бы уже с в о б о д н а, что и есть, по Одинокovu, гениальность.

В первом примере гений не одинок безнадежно. Он всего лишь огражден (более или менее) своею способностью от интеллектуальных трусов и лентяев, потому что там — дело в желании и отваге. Плавать может каждый человек. Во втором примере разделение абсолютно и непереступимо — крысы не умеют летать. Причем, как выяснилось, и гениальность не будет обеспечивать им возможность общности.

После сказанного об отъединенности «автора» особенно парадоксально и забавно выглядят многочисленные обиды на него, индивидуальные и групповые, доходящие прямо-таки «до кровомщения». Ведь все, кого он ненавидит, — это он сам. И ненавидит их не как внешнее, а как можно ненавидеть лишь нечто внутри себя. Достаточно посмотреть на то, с каким ожесточением этот русскоязычный философ доказывает невозможность, нелепость и бессмысленность русскоязычной философии. Или прочитать строки о том, что монголоидность в русском лице — признак деградации, в свете «расклеенных» в книге фотографий автора. Или — во втором номере «Разбитого компаса» — посмотреть опять-таки на фотографию автора, на основании которой он мог бы претендовать на российский престол в том случае, если бы столь нелюбимый им «Николай Ленин» догадался ввести в СССР наследственное правление.

Но даже если бы не было столь очевидных указаний, как можно обижаться на человека, добровольно размазавшего себя по всем стенкам, ради того чтобы иметь возможность п р я м о говорить с другими и о других? Однако это никого не устраивает. Непризнанный юродивый. Самобичуйся сколько влезет, но если твой бич заденет прохожих, тебя живо ограничат. Но ведь это как-то не по-русски: вместо того, чтобы покаянно принимать поругание, звать на помощь милиционера.

«Бесконечный тупик» — попытка «поджарить яичницу». Возлюбленный «автором» Розанов так об этом говорит: «Правда, я писал одновременно «черные» статьи с эсерными. И в обеих был убежден. Разве нет 1/100 истины в революции? и 1/100 истины в черносотенстве?.. Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их «на о д н у сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» — на том фоне, который по существу своему ложен и п р о т и в е н... И сделал это с восклицанием:

— Со мною Бог».

Предприятие Одинокова тем отчаяннее, что последней фразы он не может произнести.

И вот здесь самое время поговорить о «прототексте», первоначально носившем название «Бесконечный тупик» и послужившем основой всей громады «примечаний». И сам автор, и некоторые рецензенты сожалели об этой публикации, считая ее ничего не добавляющей к «основному корпусу» книги и написанной «не на уровне». Последнее верно буквально — «прототекст» написан на другом уровне и р о н и ч н о с т и. И этот перепад уровней многое позволяет яснее увидеть в книге. Например, позволяет понять всю боль ее п о с в я щ е н и я. Ну и, конечно, серьезность и искренность автора удостоверяются наличием «прототекста». Если бы не эта свертка «Бесконечного тупика», написанная прямыми словами, вполне можно было бы себе представить эдакого красавца Галковского, всеобщего любимца и, скажем, масона и сотрудника спецслужб «коммунистического интернационала», изящно надругавшегося над дурашлом Одинокovým.

Рельефнее благодаря этому сопоставлению выступает и «преемственность» автора. Сам автор заявляет о своей «преемственности» по «линии переселения душ», утверждая: «Розанов — это я». «Когда я впервые познакомился с книгами Розанова, то с ужасом увидел или, точнее, почувствовал чисто интуитивно, по незначи-

тельными черточкам свою даже физиологическую похожесть на автора. Конечно, розановская карусель любого задевает, и каждый в тысячелик его юродствованиях найдет и свой лик или личину. Но я почувствовал не это сходство, а сходство с самой сутью его мира». И еще: «Я похож на Розанова, и он мне близок. Но что общего между мной и Набоковым? Казалось бы, ничего».

Между тем после прочтения «прототекста» не оставляет ощущение, что тут что-то не так, что скорее он — «Набоков», рядящийся «Розановым». Автор, впрочем, и сам признается: «Набоков мне ближе, а Розанов милее». Набоков же (о чем не преминул сообщить дотошный автор) писал свои тексты на карточках, фразы которых складывались потом в безукоризненное «полотно» целостного текста. Карточки Набокова, притворяющиеся «листьями» Розанова, — вот что такое «примечания» Галковского. Он боится Набокова — как себя боится. Именно, хорошо зная себя, знает, как бы Набоков с ним обошелся. А Розанов что? Он бы и Набокова вытерпел, не то что Галковского. Розанов не обидит человека. Он в человеке задевает только «не-человека», надстройку над человеком.

По общему объему иронии Розанов, вполне возможно, многократно превосходит Галковского. Но розановская ирония не задевает «жизненных центров», наоборот — она их отстаивает, она «на службе», «при деле». А у Галковского «таковых не имеется». Поэтому ирония, обращаясь на все, все и опустошает, растворяет, образуя, по удачному выражению одного читателя, «омут русской философии». Но в «прототексте» это еще не так, там ирония не обратилась на личность (только подобралась), там молодой серьез и к себе, и к тому, чем себя поверяет автор (Розанов, Набоков).

Когда Галковский пишет о Розанове — это только о себе. Когда о Набокове — еще и о Набокове. Можно себя сделать инструментом познания писателя (так «произошло» с Розановым у Венедикта Ерофеева). Но это Галковского не устраивает. Это, по его мнению, случай подавления исследователя. И он смело делает писателя инструментом познания себя. И сознается в этом — и себе, и читателю. С Набоковым больше сходства — поэтому индивидуально ярче ощущаются отличия и дистанция. Розанов приглубил — и кажется, что «я — это он».

Розанов, будучи «летающей крысой», мало ценил собственно полет. То есть и его тоже ценил, конечно. Но главным для него было другое: «Лучшее в моей литературной деятельности — что десять человек кормились около нее. Это определенное и твердое.

А мысли?..

Что же такое мысли...

Мысли бывают разные».

Отличие Розанова от Одинокова не в том даже, что у Розанова был «друг» (так он называл свою вторую жену), но в том, что Одинокоев, появившись рядом с ним такая, пожалуй, и не заметил бы ее в своем одиноком страдании.

Галковский, кажется, «формально» решив следовать за «Уединенным», более всего походит на героя набоковского «Дара». «С самого начала образ задуманной книги, — пишет о своем Федоре Константиновиче Набоков, — представлялся ему необыкновенно отчетливым по тону и очертанию, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано место и что самая работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий ответ на рыболовную лодку, и как она сама отражается в воде вместе с отсветом. „Понимаешь, — объяснял он Зине, — я хочу все это держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти idiotские „биографии романсэ“, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы? А чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа”». Здесь отражено примечательное единство, «локомотивно» поступательный ход текста, внешне раздробленного в «бессвязность». Розанов собирал свои «листья» в короб. Галковский рассыпал свою книгу на «примечания». Внешне — очень похоже, по сути — противоположно, «наоборот». (Понятно и почему — по возрасту, по «этапу». «Бесконечный тупик» — это типологически, автобиографически розановское

«О понимании». А претендует быть «Уединенным». Одержимость «поступательным» познанием, стремление к созданию «единой и целостной картины мира» — это начало. «Подбирать» мысли — это гораздо позже, гораздо мудрее.)

То же относится к сочетанию пародии и «серьеза». Тут форма то, что у Розанова сущность. Но форма, становясь сущностью, приобретает другое качество. На самом деле у Розанова не гибрид пародии и «серьеза», а «домашность» истины, когда та не на котурнах, а в тапочках без задников. Здесь исчезает не «серьез», а возвышенность. Сочетание же пародии и «серьеза» — не что иное, как попытка оберечь личность автора: «серьез» оберегает от бессодержательности, пародия выводит из-под любой критики, не позволяя идентифицировать автора с высказыванием. Таким образом, это — от страха, который совершенно чужд Розанову. Он серьезно относится к вещи в ее малости. Он ироничен по отношению к заносающейся вещи. Он просто знает их истинный размер и спокойно говорит ему «да», не балансируя между восхищением и насмешкой. Для него весь мир — быт, и быт — наиболее адекватная форма существования истины. Для Галковского этот процесс пока еще болезнен: «Истина по-русски — это потеря достоинства».

Сама возможность этой «потери достоинства», чего ведь нет ни у Розанова (сколько бы ни пытался), ни у Набокова, заключена в горьком сиротстве Одинокова. Вся громада «Бесконечного тупика» посвящается Отцу. Посвящается одиноким мальчиком, потерявшим отца земного и так и не обретшим Отца Небесного. Безрезультатные поиски Отца и Отечества, бесконечный тупик. Достоинство Розанова в том, что он сын Божий («сосок Вселенной») и милующая дума Божества о нем, вечно им ощущаемые). Достоинство Набокова в том, что он сын человеческий (боготворимый отец и «гениальное детство»). У Галковского нет достоинства. Лишь особость «летающей крысы» с особым изгибом-изломом хвоста — на прощанье тюремщикам и экспериментаторам. Галковский «случился» (по замечательному выражению Андрея Василевского) потому, что «у нас нет совсем мечты своей родины» (Розанов). Что из этого выйдет — Бог весть. Но есть надежда в том, что это — «книга молчания». Как утверждал Розанов, «чувство Родины должно быть великим горячим молчанием».

Я совсем не уверена, что текст «Бесконечного тупика» не способен адаптировать и включить в свой состав и эту рецензию. Это, безусловно, было бы неудачей рецензента. И очередной «удачей» автора, от которой должен был прийти в отчаяние Одинокоев — ибо эта «удача» несла бы ему очередное подтверждение невозможности контакта, неисполнимости простого счастья: быть услышанным и слышать.

Дар уединения, крест отъединенности, и такая тоска — по кому-нибудь...

Татьяна КАСАТКИНА.

\*

## ПЕРЕД СУДОМ

Уильям Голдинг. Избранное. Свободное падение. Халута Мартин. Романы. Бог-Скорпион. Притча. Перевод с английского. М. «Тerra». 1996. 464 стр.

**В**опрос о целях и назначении искусства — один из тех вечных вопросов, которые каждый художник решает (если решает) для себя сам. И сам выбирает себе роль — пророка, учителя, «поэта-гражданина» либо же просто художника, занимающегося искусством для искусства; впрочем, возможно, что это роли выбирают подходящих исполнителей. Как бы ни было, если мы возьмемся перечислять писателей, по-настоящему, до глубины души уверенных, что им известна некая общезначимая истина, которую другие не знают или не хотят знать, то Уильям Голдинг (1911 — 1993) займет в этом списке одно из первых мест.

По собственным его словам, к писательству его обратила война, перевернувшая все представления о мире. И первым романом, продемонстрировавшим это миропонимание, стал «Повелитель мух» (1954), мгновенно прославивший автора; однако здесь уместно уточнение. Фактический дебют Голдинга состоялся двадцатью

годами ранее: подобно многим юношам, он выпустил сборник стихов, как и многие, оставшийся незамеченным; столь же безуспешны были опыты в драматургии и режиссуре, так что в 1939-м ему пришлось бросить художественные затеи и пойти работать в школу. Об этих неудачах не стоило бы вспоминать, если бы они не были своего рода доказательством от противного: Голдинг стал настоящим писателем, когда почувствовал — ему есть что сказать. Когда увидел: «человечество поражено болезнью», симптомы которой он находил всюду, во всей цивилизации и «в себе самом», — причем болезнь эта является «частью нашей общей человеческой натуры». И открывшееся знание тем настоятельней требовало огласки, что, помимо прочего, человек «страдает от чудовищного неведения собственной природы», которую необходимо понять — чтобы научиться «держаться под контролем». Вот для этого-то Голдинг и писал — «со всей страстностью, на какую только способен».

Конечно, строгая логика сочтет его творческий посыл противоречивым: зная человеческую природу, можно ли надеяться исправить ее с помощью книг? Уж сколько раз твердили миру, что он погибнет, коли не образумится! сколько раз усиливались «глаголом жечь сердца людей»!.. Но ощущение пророческого знания сильнее логики, и Голдинг, похоже, впрямь рассчитывал на действенность своего «message'a». «„Повелитель мух“ — это... книга, которую я счел разумным написать после войны, когда все вокруг благодарили Бога за то, что они — не нацисты. А я достаточно к тому времени повидал и достаточно передумал, чтобы понимать: буквально каждый мог бы стать нацистом... И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: „Смотрите. Все это могло случиться и с вами“». «Смотрите, смотрите, смотрите: вот какова она... природа самого опасного из всех животных — человека». «То, что творили нацисты, они творили потому, что какие-то определенные... возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными...»

Предостережение казалось тем более актуальным, что атомная бомба сделала это «животное» еще опасней, предоставив возможность устроить конец света собственными руками. Бомба в тексте помянута: именно от нее подальше вез детей потерпевший крушение самолет. Это сюжетное обоснование робинзонады полно горчайшей иронии: ведь пока самые по-человечески устойчивые — Ральф, Саймон, Хрюша — с тоской вспоминают о «разумном» мире взрослых («Уж они бы не стали ругаться... они бы остров не подпалили»), взрослые разводят костер на всю планету, и пожар в маленьком коралловом раю предстает отражением глобального пожара; впрочем, тропические острова не раз уже использовались в литературе как площадка для эксперимента. Результаты обычно обуславливались взглядами экспериментатора: так, Даниель Дефо стремился доказать, что человек способен оставаться человеком в любых, даже самых «обесчеловечивающих», обстоятельствах, а Джонатан Свифт в ответ продемонстрировал одичалых йеху. Стремительно дичающие «английские мальчики» — законные наследники той звериной стаи. Но Свифт, хоть и был священником, кажется, брал в расчет лишь земную, физическую сторону дела, тогда как «Повелитель мух» являет собою притчу с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя», то есть дьявола — недаром роман называется одним из его имен. Да и во всех вообще сюжетах Голдинга (даже если сюжетная ситуация вроде бы не выходит за рамки реальности) просматривается этот второй — мистический, метафизический — план, на самом деле являющийся первым.

Его постоянная, открыто манифестируемая тема — «человек перед взором небес»; поразительно, что именно XX век снова вывел на первый план литературы эту иерархическую позицию. Вот «философия отчаяния» — законное его порождение: после двух мировых войн и небывалых тираний легко поверить в абсурд экзистенции; верить Богу значительно труднее. Но —

«Credo, quia absurdum», — сказано не сегодня. Конечно, сегодня данное кредо приобретает особую актуальность: смысл общечеловеческой «пограничной ситуации» заключается не только в том, что мы стоим на самой границе пропасти и «нет преград меж ей и нами», — но и в том, что последнее отчаяние граничит с последней надеждой. Когда полностью разрушен порядок вещей, утрачены все иллюзии и разбиты все земные идола, человек обнаруживает вдруг, что никто уже не

может защитить его и спасти, кроме Бога... Как бы то ни было, искусство соблюдает пропорцию: чем страшней и масштабнее абсурд бытия, тем решительней противостоит ему абсурд веры, и доктринам, разработанным «бездны мрачной на краю», отвечает религиозный ренессанс, упорно отстаивая христианскую надежду в мире, стремящемся избавиться от надежной иерархической вертикали... Однако вернемся к Голдингу, чье место — как бы между двумя противоборствующими полюсами.

Его мрачная, почти безнадежная логика близка «философии отчаяния», которая заведомо отвергает любой спасительный исход, оставляя человечеству лишь неизбежную экзистенциальную «тошноту». Но взгляд экзистенциалиста прикован к земным горизонтам (то есть к горизонтали), а «пророк из Солсбери» привычно вписывает человека в крестообразную структуру... впрочем, не вполне: верхняя часть вертикали у него, похоже, обрезана и герой поставлен не «перед взором небес», а скорей перед лицом сатанинского соблазна. Акценты предельно отчетливы: писатель никогда не забывает (и не дает забыть читателю), что предмет его исследований — «падшее существо», чья природа «греховна», а «положение чревата опасностями». Конечно, в христианской картине мира именно грехопадение предстает началом собственно земной, «физической» истории, которая с метафизической точки зрения является развернутым во времени продолжением предвечной битвы между Господом и Сатаной. Но для традиционного христианского воззрения в человеке главное — то, что он создан по образу и подобию Божию и природа его грехопадением не извращена, а лишь «пленена», тогда как у Голдинга «темнота сердца человеческого» едва ли не беспроглядна. И пусть взрослый, «цивилизованный» индивидум, в отличие от маленьких дикарей, не декларирует свою зверообразность, но скрывает ее под разными масками, пусть не осознает собственной сути, пусть даже мнит себя носителем света — все равно придет час, когда Повелитель мух, ухмыляясь, скажет: «Ты же знал, правда? Что я — часть тебя самого? Неотделимая часть»...

Но если в большинстве текстов мистические видения можно списать на счет персонажей-визионеров, то «Хапуга Мартин» (1956) — произведение откровенно мистическое (либо, если угодно, символическое). Правда, выявляется это лишь в самом финале, а вплоть до последних страниц сюжет вроде бы остается в пределах реальности. Кристофер Хедли Мартин, офицер, смытый за борт торпедированного корабля, избежав мгновенной смерти, доплывает до маленького необитаемого островка — чтобы там умирать долго и мучительно, теряя рассудок и превращаясь в сгусток страдающей, оголодавшей, обезумевшей плоти. Приемы письма соответствуют описываемому материалу: поначалу реалистическое, логически-последовательное повествование словно сходит с ума вместе с героем — становится все более сбивчивым, лихорадочно-скачущим, перемешивает действительность с галлюцинациями. Безумный «поток сознания» четко отражает клиническую картину происходящего — но интересует автора отнюдь не умирание Мартина, а его жизнь. Точнее, душа, которая должна осмыслить жизненный путь, познать себя и совершить последний, решающий выбор.

Один из основных принципов христианства — вера в спасительность предсмертного покаяния даже на самом пороге вечной гибели; по идее, Голдинг строит роман именно на этой основе. Но на самом деле герой заведомо обречен: писатель стремится не спасти, а показать невозможность спасения этой пустой, себялюбивой души. Конечный итог заявлен уже в названии: Мартин — «хапуга», нацеленный единственно на удовлетворение своих низменных потребностей. Больше того: в его лице нам предъявлено воплощение Алчности — почти в таком же смысле, какой подразумевали средневековые моралите, представлявшие зрителю аллегории смертных грехов. «Он родился на свет с раззявленным ртом, распахнутой ширинкой и с растопыренными руками — чтобы легче хапать. Космический тип мерзавца, который всегда умудрится и грош сэкономить, и чужой куличик сожрать». Точности ради отметим, что эта характеристика принадлежит персонажу, имеющему свой счет к «хапуге», — но она, очевидно, выражает и авторскую позицию, которая нам (то есть лично мне) представляется сомнительной. Конечно, Мартин жаден и эгоистичен — однако он слишком мелок, чтобы по праву назы-



ваться «космическим мерзавцем». Скорее ему подходит роль обычного грешника — того, про которого сочувственно сказано: «человек грешен»; и здесь надобно снова обратиться к первоисточнику.

Христианское отношение к греху парадоксально. Христос предъявляет личности столь жесткие, практически невыполнимые требования, что у потрясенных учеников невольно возникает вопрос: «Кому же тогда возможно спастись?»; ответом на него становится обетование чуда — Божьего милосердия: «Человеку сие невозможно, Господу же возможно все»... В отличие от Господа, Голдинг учитывает лишь первую часть полярного двуединства — а при таком подходе действительно всякий грешник может предстать воплощением хоть всех семи смертных грехов и на спасение рассчитывать не приходится; правда, Мартин и не желает спасения. Вернее, слово «спастись» для него имеет один смысл — спасти свою земную жизнь, выжить, и к этому он стремится исступленно и отчаянно, делая все от него зависящее, чтоб сохранить рассудок, с незаурядной изобретательностью используя любые подручные средства, чтобы привлечь к себе внимание возможных спасителей. А жизнь вечная для него не существует, и он даже не способен понять, что всплывающие в памяти картинки прошлого суть не просто воспоминания, но открытая демонстрация собственной его мерзости, которую должно подвергнуть собственному же суду прежде, чем в дело вступит высший Судья. И лишь перед самым концом он выходит за рамки своих «горизонтальных» представлений и обращается к Богу — но только затем, чтобы отвергнуть Его: «Ты проекция моего же сознания... Я сам тебя создал, и небеса создал тоже я!.. Я предпочитаю боль и всю эту жизнь... У меня есть право жить, пока есть хоть малейшая возможность!.. С...ть я хотел на твоё небо!» В ответ небо раскалывает «черная молния», несущая смерть богохульнику: логика и стилистика миракля решительно вмешиваются в реальный сюжет; впрочем, и тут прямое включение сверхъестественного может быть воспринято как «проекция» предсмертного бреда — Голдинг вообще склонен к двойным мотивировкам, при которых почти любой мистический элемент получает свое объяснение в рамках реальности. Но... За гибелью следует неожиданный эпилог, вступающий в загадочное противоречие со всем рассказанным прежде, — тело, вынесенное на берег, подбирает похоронная бригада, и командир удостоверяет со знанием дела: Мартин умер мгновенно, «у него не было даже времени снять сапоги».

Разгадка дается в авторских комментариях — статьях, интервью: скала посреди моря была чистилищем, в которое Мартин не верил и потому даже после смерти не смог воспринять «в привычных теологических измерениях. Жадность к жизни — главная движущая пружина его натуры — заставила его отвергнуть бескорыстную акцию смерти. И он продолжал пребывать в мире, наполненном только его собственной убийственной сущностью». Но ведь сущность персонажа — дело рук его создателя; таким образом, получается, что Голдинг не просто обрекает свое создание гибели, но еще и обманывает заведомо несбыточной надеждой. Другие писатели, остающиеся «в привычных теологических измерениях», обращаются к персонажам и честнее, и милосерднее.

Милосердное понимание человека и сострадательная к нему любовь вообще предстают основой основ литературы «христианского ренессанса»: вспомним «Клубок змей» Франсуа Мориака, где путь восхождения начинается воистину «*de profundis*» — из пропитанной ядом душевной бездны; вспомним его же «Агнца», упорно ведущего к раскаянию безнадежных, казалось, грешников; вспомним Честертоновы рассказы про отца Брауна, сыщика и «ловца человеков», стремящегося уловить именно душу преступника; вспомним «Силу и славу» Грэма Грина, чей герой — «недостойный» священник: горький пьяница, нарушитель обетов — поднимается до высот мученичества, оставаясь слабым и жалким... Отличие Голдинга от них всех — не только индивидуальное, но и отчасти конфессиональное: в его отношении к человеку явственно ощутим мрачный дух протестантизма, противопоставившего свою неколебимую суровость сочувственному милосердию церкви святого Петра. А в последней тяжбе Мартина с Богом слышится даже отзвук пуританских идей об абсолютной предопределенности, при которой свобода воли — всего лишь иллюзия, поскольку человек «выбирает» то, для чего создан, и идет по

пути, намеченному свыше: «Ты сам... всю мою жизнь скрупулезно вел меня к этим страданиям... Что бы я в жизни ни делал, в конце концов я все равно оказался бы на том же самом мостике в то же самое время». Правда, это говорит «хапуга», обвиняющий Господа в несправедливости, а для автора его утверждение принимает скорее форму вопроса — недаром следующий роман, «Свободное падение» (1959), почти целиком посвящен проблеме выбора.

Эта вещь — пожалуй, самая оптимистическая в творчестве Голдинга; во всяком случае, сквозь ее мрак пробивается луч света. Сюжет здесь обходится без мистификаций — это строго реалистический, психологический текст, написанный от первого лица и сразу же формулирующий собственную задачу: духовный самоанализ героя. «Земную жизнь пройдя до половины», Сэм Маунтджой осознал внезапно свою «тьму» — и теперь мучительно пытается понять, почему «мальчонка, ясный, как ключевые воды», стал «человеком, смердящим, как застойная лужа». Когда, в какой момент он сбился с пути — а значит, утратил свою свободу. Ибо, по логике повествователя, вначале личность обладает всей полнотой свободного выбора между добром и злом, но сделанный однажды неверный шаг детерминирует все дальнейшее: начинается «свободное падение»; таким образом, на примере одного человека как бы прослеживается путь всего человечества — от начала начал, грехопадения, и до... История падения героя иллюстративна почти как лубочные картинки, рисованные со специально назидательной целью. Правда, романист смягчает назидательную последовательность греховного пути непоследовательностью повествования, чей ход определяется метаниями рыскающей в прошлом памяти, — но если выстроить события по порядку, то получится, что все началось с неосознанного детского выбора. Симпатия к доброму и благородному учителю-естественнику заставила мальчика предпочесть предлагаемое им «бездушное мироздание» — и отвергнуть религию, потому что ее влекущий «мир чудес» компрометировали злоба и ханжество ее служителей. Позже отсюда последовал безупречный теоретический вывод: если «нет духа, нет абсолюта» и разницу между добром и злом устанавливают люди — «какая сила препятствует Сэмми самому определять, что ему во благо?». Теория обусловила практику: повзрослевший Сэмми превыше всех благ поставил удовлетворение плотской жажды — необоримой страсти к чистой девушке, которую соблазнил, а затем без сожалений покинул; кроме прочего, от моральной ответственности освободила начавшаяся война. «С какой стати терзать себя из-за одной растоптанной девицы, когда их взрывают тысячами». А отсюда уже прямой путь на дно: оказавшись в лагере для военнопленных, Маунтджой готов — из страха — стать предателем. От фактического предательства его спасает лишь то, что он просто не знает, кто из пленных замыслил побег, — но если б знал, так сказал бы, а значит, в душе уже предал. Поскольку же Голдинга интересует именно жизнь души, то внутренняя готовность к поступку оказывается равна самому поступку...

Однако мы сказали, что сюжет романа не выходит за рамки реальности; может быть, это не совсем справедливо: ведь избавление Маунтджой очень похоже на чудо. Запертый в одиночке, обезумевший от страха, он начинает звать на помощь — без всякой веры в помощь: «Мой крик... был криком крысы в зубах терьера... Я кричал, не надеясь, что меня услышат, кричал, уже примирившись с запертой дверью, застенком, отнятым небом. Но сам крик меняет кричащего... Если уж узник дошел до крика, он волей-неволей ищет то место, откуда может прийти помощь»... И происходит необъяснимое: Сэма вдруг выпускают, ничего от него не требуя; но душа его уже обрела опору, и он выходит из темницы «возрожденным к жизни». Отсюда должен начаться «эксперимент на восхождение» — которого герой не может избежать, «не зная, как откупиться».

К чему он приведет, неизвестно: нам показан лишь самый первый шаг, то есть попытка покаянного осмысления собственной жизни. И разница между Маунтджоем и Мартином — как раз в том, что один увидел всю темноту своего сердца, а другой видеть ее отказывается. Но чем это обусловлено? Отнюдь не логикой развития характеров и тем более не глубиной падения: если судить «по делам их», то Маунтджой виновнее, его измена привела к безумию Беатрис; даже лицо его отмечено уже печатью порока, по которой эсэсовец-психолог сразу определяет — этот способен на предательство... Однако логика повествования переламаывается волей

создателя: Хапугу он обрек проклятию и потому не склоняет слуха к его крикам, а Сэма предопределил к спасению — и для того именно заключает в чистилище тюрьмы. Знаменательно, что и сюжет здесь куда милосердней к герою: его обретенная душевная сила не испытывается физической пыткой, вполне вероятной в нацистском лагере, — может быть, Голдинг смягчился? Или просто устал от своего мрачного знания? От безнадежной логики, утверждающей: «Если нас брать такими, какие мы есть, небеса станут собственным отрицанием... Чем-то вроде черной молнии, которая уничтожает все, что мы называем жизнью?»

Усталость действительно чувствовалась: промежутки между книгами становились больше. Первые три выходили одна за другой; «Свободное падение» появилось по прошествии трех лет, «Шпиль» — уже через пять. И этот роман стал неким предварительным итогом, концом большого творческого этапа — заодно показав, что суровость Голдинга осталась при нем, а «послабление» имело свою идеологическую задачу. Пять книг выстроились в стройный ряд: «Повелитель мух» демонстрировал, с какой легкостью человек теряет облик человеческий, «Наследники» обращались к началу начал — грехопадению как таковому, «Хапуга Мартин» являл собой предостережение всякому грешнику, а «Свободное падение» предъявляло ему позитивный пример — впрочем, не слишком утешительный. Общий контекст прояснял, почему «эксперимент на восхождение» не пошел дальше первой ступени — той, где царят покаянные угрызения, — потому, очевидно, что Голдинг не признает за человеком права на чистую, благодатную радость. В его мире радость либо бездумна и порождена отсутствием опыта — как в «Повелителе мух», начинающемся детскими восторгами в коралловом раю, — либо (чаще) греховна, но в любом случае самонадеянна и неизбежно влечет за собой расплату.

Именно об этом предупреждает «Шпиль» — роман о светлой радости возвышенного служения, оборачивающейся грехом гордыни. Отметим сразу, что Голдинг вовсе не ставит под сомнение искренность своего героя — нет, Джослин действительно полон самой истовой веры и готов на любое самоотречение ради славы Божией. А гордыня, по авторской мысли, состоит именно в том, что человек — падшее существо, принадлежащее тьме, — в принципе смеет претендовать на чистоту помыслов, безупречность свершений и поддержку небес, озаботившихся приставить к нему крылатого хранителя. Но читатель с самого начала догадывается, какова истинная природа этой «охраны», — и ждет момента, когда мнимый ангел, злорадствуя, предъявит гордецу «свои раздвоенные копыта». И тогда низвергнутый в бездну Джослин поймет, что даже обращать глаза к небу — излишняя самонадеянность. Ибо «ничто не совершается без греха» и «лишь Богу ведомо, где Бог»... Но дьявол — как было ведомо Голдингу — повсюду. Прежде всего — в нас самих. И надо научиться узнавать его под всеми личинами: чтобы «держат под контролем».

...Трудно сказать, насколько серьезно сам писатель верил в возможность влияния литературы на человечество. Сборник статей «Горячие врата», выпущенный после «Шпиля» (в 1965-м) и четко формулирующий задачи его прозы, свидетельствует по меньшей мере о том, что ему важно быть правильно понятым, а значит, и о некоторых надеждах на понимание, но, с другой стороны, говорит о разочарованности: «Быть сочинителем притч — неблагодарная задача... По самой природе своего ремесла создатель притч дидактичен, хочет преподавать моральный урок. Люди не любят моральных уроков»... Разочарование оказалось, пожалуй, сильнее надежды; как бы ни было, с этого момента начались поиски новой стилистики и нового жанра. В 1967 году появился социально-нравописательный (и вполне неудачный) роман «Пирамида», а в 1971-м вышел сборник повестей «Бог-Скорпион», в которых разные времена и народы (древние римляне, первобытные африканцы, египтяне), соседствуя, демонстрировали свою одинаково беспросветную глупость. Эти острые и желчные, но притом вполне забавные гротески лучше прежних страстных проповедей показали, что писатель впрямь очень не любит человечество: ведь пока он призывал громы и молнии небесные, в его проклятиях слышалось не только отчаяние, а еще и какая-то удержу не знающая вера — на то он и был пророком. И разрушительная беспощадность иронии не смогла заменить пророческого пыла, который являлся для Голдинга воистину необходимым условием творчества: вместе с его утратой утратилась и потребность писать.

Молчание продолжалось восемь лет; затем произошел мощнейший творческий всплеск: за последнее десятилетие своей жизни писатель выпустил пять романов — очень мрачных и очень сильных. У нас они пока не переведены (надо полагать, по финансовым соображениям: за книги, вышедшие после 1971 года, требуется платить). И вообще, этот поздний период — отдельная большая тема. Поэтому отметим только одно, самое, на наш взгляд, главное — новый вектор вновь обретенной пророческой силы. Голдинг уже не надеялся образумить человечество — и просто предсказывал ему скорую гибель. Но его Страшный Суд обходится без Бога — Бог оставил наш мир, кажется, уже окончательно, — этот Страшный Суд правит Дьявол: судия, которого люди выбрали сами...

Алена ЗЛОБИНА.



### «В БЛАЖЕННОМ КРАЮ, ПРОЗАИЧЕСКОМ И СТИХОТВОРНОМ»

Алексей Пурин. Воспоминания о Евтерпе. «Urbis». Литературный альманах. Выпуск девятый. СПб. АОЗТ «Журнал „Звезда“». 1996. 256 стр.

«**О**, глядишь, трогаешь, гладишь — и не можешь нарадоваться: какая же это крепкая, живая, сосредоточенная и великолепная штука — русская силлаботоническая поэзия!..» Между тем поэзия, вероятно, самое замкнутое, самое закрытое искусство. Ее материал — речь, инструмент общения; стихотворные строки состоят из предложений (фраз), то есть из сообщений. И читатели, довольствующиеся лишь сообщениями, даже не подозревают, чего они лишены. Поэтический слух, так же как музыкальный, дарован не всем. Тут нет основания для упрека. Не каждый носитель языка чувствителен к такому вспомогательному по отношению к мысли явлению, как речевая интонация.

В сущности, с точки зрения неглупого любознательного человека, живущего на свете не один десяток лет и прочитавшего не один десяток книг, мысли поэтов не представляют особой ценности; по правде говоря, до чего они бывают банальны; не банальные же, сколько бы мы ни пытались, пересказать — невозможно. Манделштам говорит: «...там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала».

Поэзию привычно связывают с ритмом: приятно произносить метрически оформленные фразы постукивая, пританцовывая. И в конце концов некоторые тем самым врезаются в память навечно, хоть плачь. «Ты еще жива, моя старушка?» Строчки превращаются в поговорки. Что общего между этими литературными поговорками и поэзией?

Поэзия — таинственный предмет. «Душа — таинственный предмет», — сказано в одних стихах. В некотором смысле поэзия и душа — синонимы. Поэзия — это тип сознания, это мышление иной этиологии, не логическое. И писать о стихах — Тынянов это заметил — так же трудно, как писать стихи; в разговоре о поэзии так же важна передача лирической энергии.

...«Воспоминания о Евтерпе», на первый взгляд, — сборник статей о литературе. Статьи и эссе, как сказано на обложке. Они разнообразны тематически и различны по объему. Одна статья посвящена романтическому сознанию и полемике с Виктором Ерофеевым, другая инспирирована книгой Карабчиевского о Маяковском, третья отдана набоковским романам «Дар» и «Лолита», далее следуют небольшие тексты о Кузмине, о Блоке, о Цветаевой... Говоря: «о Цветаевой», я чувствую некоторую натяжку: большую часть этой статьи занимает Анненский. Это, конечно, «эссе», а не «статья», как, впрочем, и многие другие. И названия — «Тот Август», «Такая Цветаева», «Краткий курс лирической энтомологии», «Потешные полки», «В тени урны» и т. д. — это скорее названия глав в художественном произведении, чем названия статей. В них обозначен повод разговора, он-то и организует сюжет.

«Воспоминания о Евтерпе» — это именно книга, и главы-эссе, ее составляющие, объединены единством героя и персонажей: Набоков, Анненский, Кузмин...

Набоков самым естественным образом появляется в разговоре о Маяковском, и кажется, нет такого текста, где бы ни фигурировал Анненский. В конце главы под названием «Набоков и Евтерпа» автор совершенно слагает с себя обязательства перед логикой повествования и приводит в связи с разбираемым романом Набокова стихи Мандельштама «Есть женщины, сырой земле родные...», не имеющие к сюжету «Лолиты» никакого отношения; он сам задается вопросом: «Почему эти такие далекие от «Лолиты» стихи приходят на ум? Что общего между мандельштамовским стихотворением и набоковской прозой?» И отвечает: «Только поэзия».

Это книга — воспользуюсь словами автора о набоковском «Даре», — «о поэте, с точки зрения поэта и — добавим, немного смутясь... для поэта. Впрочем, — уточняет Пурин, — под словом *поэт* мы здесь понимаем заинтересованного друга-читателя». Мотивировку этого уточнения читатель уже нашел в предыдущем абзаце: «Для прочтения, так же как и для написания, — там сказано, — нужен дар».

Итак, книга о поэтическом даре. Так же как логическое мышление описывает себя с помощью логики, поэтическое улавливается сачком поэзии. «Усвоение материала» здесь похоже на сладкий «узнавание миг» (Мандельштам), «толчок страстного узнавания» (Набоков), которое является само собой, вдруг, без видимой причины — непонятно, необъяснимо, остроумно, точно, смешно, радостно, верно, прекрасно... как-то так, в подбор, без промежуточного звена. Между «все перепуталось и некому сказать» и «все перепуталось и сладко повторять», как в мандельштамовских стихах, нет мостика, одно непосредственно следует за другим. Пуринский текст обладает сверхпроводимостью поэзии: присущие поэтическому сознанию черты впитываются читателем с молоком цитат.

В чем прелесть стихов? Чем мы в них наслаждаемся? Эти ненаучные, несолидные вопросы представляются сейчас самыми насущными и волнующими. Пурин пишет о самом важном — о том, что ангажированная критика и законопослушная наука обходили стороной. О подлинном и мнимом в искусстве, о даре и бездарности, о живом и мертвом, о смысле и бессмыслице (зауми), о гармонии и музыкальности как ипостасях гуманизма, о будущем искусства (оно экстраполируется из прошлого), о постмодернизме (безвыходности), о выходе из тупика (он в синтезе, а не в коллаже), о причинах хорошего самочувствия русской силлаботоники (она очень молода), о поэте как функции стиля, о стилизации, о прекрасной ясности, о розы завоях, о военных астрах, о зеркальных стеклах «роллс-ройсов», о Савоие, о винограде, что созрел, об изваяниях, которые синели, о небесах, опирающихся на снежные плечи отчизны, об отчизне, о мирных пейзажах на фоне катастроф, о катастрофах, о Большой Морской, об Эвридике, похищенной для русских снегов...

Хочется аукнуться с читателем, не потерялся ли он. Если не потерялся, можно бы и продолжить, но стоит ли, ведь уже ясно, что нам предложена концентрация опыта, который дарит поэзия. О, как он богат! — «как Божий мир».

Живое, шумящее, ветвистое дерево поэзии предстает перед нами. И в нем, оказывается, есть порядок, система. Кто есть кто? — на этот вопрос находится определенный, хотя, возможно, для кого-то и неожиданный ответ. По жанровым и стилевым признакам «Воспоминания о Евтерпе» представляют собой что-то вроде антиучебника; при обсуждении таких маргинальных сочинений рецензенты говорят о субъективности авторского взгляда, пристрастности и предвзятости. «Кое-что представляется спорным»... Не тут-то было. Не соглашаясь с автором хотя бы в отношении одного из его героев, придется не согласиться с ним буквально во всем. Стоит только поставить на место Анненского (на то место, которое отводит ему Пурин) его бледную тень, обычно привлекаемую лишь мимоходом, как расстановка сил совершенно изменится. Пример нерасторжимой естественно-биологической целостности ветвистой стилевой системы («сосредоточенной» — см. начало этих заметок) содержится в главе о Цветаевой и Анненском — поэтах как будто совсем далеких. Вслед за Кушнером, писавшим об этом в связи с ее стихотворением «Дортуар весной», показано их изначальное родство, от которого затем так далеко ушла Цветаева. «Поэта далеко заводит речь», хотя в данном случае речь менее всего виновата в том, что «в поэзии Цветаевой модерн Анненского усыхает в конструктивизм».

Стиль — предмет самого пристального внимания автора. С одной стороны, проникновение (как в игольное ушко) в едва ощутимые коннотации слов, а с другой — все тексты поэта, спрессованные и преобразенные в живой образ — не облик, не личность с биографией, не голос даже, а мартин-буберовское «Настоящее», из вещи, объекта (ведь тексты — «всего *лишь* кусок мертвой материи», напоминает Пурин) становящееся полнотой воплощенного образа. Так возникает, например, явление под именем «Блок», увиденное глазами нашего современника. Приведу один абзац: «Переводчик, спускающийся с Синая с чужими скрижалями, — вот кто такой Блок. Но в нем — Моисеева мощь. Он, кажется, единственный русский поэт, которому по плечу невероятный груз лирического героя. Всех прочих раздавило в лепешку; остались какие-то смешные и страшные бледные ноги, хочу одежду, ананасы в шампанском, какие-то гвозди из людей, изысканные жирафы, розовая вода и в усах капуста... Все эти поэты в итоге — Бенедиктовы и капитаны Лебядкины, силающиеся натянуть на лицо Тряпичкина каучуковую морду лорда Байрона. А вот Блок — Байрон подлинный».

Что касается построчного анализа, то, чтобы не быть голословной, придется выписать для начала стихотворение Хлебникова «Кузнечик»:

Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил,  
Кузнечик в кузов пуза уложил  
Прибрежных много трав и вер.  
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.  
О, лебедиво!  
О, озари!

«Стихотворение... кажется наполовину написанным — до союза «и» в четвертой строке, с крепким началом и слабым концом. Оно растет из придуманного «крылышка», и, пока энергии этой выдумки и напряжения этой неожиданности хватает, оно держится, а затем... падает. Оно тратит энергию, а не набирает ее. ...Стихотворение не взлетает, как наполненный теплым воздухом монгольфьер, а прыгает с колокольни, куда оно до опыта помещено внеположным неологизмом... И все же две начальные строки вполне хороши, а третья просто великолепна... До слова «вер» петля все же входит в петлю, звено — в звено. Но вот «вер» — уже колечко, лежащее совершенно отдельно от предыдущего смысла. Здесь происходит разрыв, распад связи. Практически ненаходимое в словарях слово, которое употребляет здесь Хлебников, подсовывая нам свой обиходный омоним и пренебрегая нашим ожиданием рифмы, воспринимается как чисто звуковой довесок к строке, как заполнение ритмической пустоты... Здесь мы спотыкаемся на бегу. Здесь от нашего велосипеда отваливается колесо». Пропуская две страницы пуринаского текста, относящиеся к «Кузнечик», прошу читателя открыть книгу и дочитать разбор стихотворения до конца. Любопытно было бы знать, найдутся ли что-нибудь возразить поклонники Хлебникова — люди, по меткому подозрению Пурина, «испытывающие не тягу к эстетическому переживанию, а склонность к интеллектуальной игре, к логическому удовольствию — вроде разгадывания ребусов и крестословиц».

Слово и чувство связаны коррелятивной связью. В сравнительном анализе двух «насекомых» стихотворений — хлебниковского «Кузнечика» и мандельштамовского «О, бабочка, о, мусульманка...» — читатель с помощью автора за образом бабочки-мусульманки (метабола — учат теоретики постмодернизма) видит «психологическое состояние говорящего человеческого „я“», тогда как в стихотворении Хлебникова он видит: есть метабола, но «вообще нет... человеческого голоса». Пурин очень близко подходит к чисто лингвистическому объяснению феномена художественного воздействия: звук голоса, возникающий в молчаливом тексте. Звук голоса самым тесным образом связан с движениями души, он их выразитель и возбудитель.

Даже музыкальный звук (абстрактная эмоция) не теряет этой исконной связи. Когда Ростроповича спросили: «Почему виолончель считают инструментом великой нравственной силы?» — он сказал: «Потому что ее регистр — это регистр человеческого голоса. Несмотря на всю красоту скрипки, ее тесситура начинается с

верхнего регистра, где-то в районе сопрано. Виолончель же начинается с баса — потом идет тенор, потом сопрано, то есть в ней присутствует вся гамма человеческого голоса. Порой я чувствую, что внутри звука заложены слова».

Если сравнить Анненского с его символистским окружением — с Вячеславом Ивановым, например, — можно увидеть в их стихах одни и те же слова и символы, однако услышать мелодию устной речи можно только у Анненского. Его «недоумелая» тоска звучит в разных стихах, написанных разными размерами, ее не спутаешь ни с чем. Это и есть голос поэта, его профессиональное орудие.

...Как и в поэзии, мы не находим ранжира среди предметов, привлекаемых Пуриным для сравнений, образов и метафор. Наблюдательность стилистическая связана с наблюдательностью чисто житейского свойства: «Взгляните... на паркет музейного зала. Его состояние неодинаково в разных точках: есть участки сильно истертые, слабо истертые и участки девственной нетронутости». Ничтожный, казалось бы, факт находит свое применение в описании профессиональной походки Бродского и Хлебникова. «Новизна Хлебникова — это стояние в нефункциональном месте... выставочного зала... скажем, за шторой или вплотную к пустой стене».

В сущности, нельзя даже сказать, что Пурин прибегает к лирическим отступлениям: вся книга — сплошное лирическое отступление. Только взгляните, как авторский текст вшит в цитируемый набоковский — ни одного шва! «Меня удивляет и восхищает божественная самоуверенность и спартанская выдержка прозаика. Как это он может надуть на десятой странице резиновый шарик вымысла, который лопнет со страшной силой на шестьсот второй? Такие штуки, кажется, можно вытворять, лишь твердо уверовав в тутошнее, физическое бессмертие, но и тогда неясно: как этот скрываемый под рубашкой лисенок не раздерет пузо, пока проедешь с бдительным и строгим читателем все пятьсот девяносто два поворота? Как вообще можно двигаться в этой аморфной и недискретной среде?.. Отчего светится слово в прозе?.. Как вообще делается проза?»

Это поэзия. Читатель уже понял, что нет оппозиции: проза — поэзия. Только: проза — стихи (с точки зрения речевой конструкции). Такую стихоподобную прозу неудачно называют «лирическая» или говорят о «прозе поэта». Набоков, кстати, назвал поэтом Гоголя, а Мережковский — Чехова, не любившего стихи и сделавшего себе мишень из расхожего понятия поэтичности. Пуринскую прозу я бы назвала акмеистической. Но не стоит подыскивать невольные опрошающие определения. По затронутому вопросу жанра Пурин говорит следующее: «Нас привлекает квазиэпистолярная, квазифилософская, как бы выполняющая не свои функции художественная проза — например, проза Лидии Гинзбург... Эта несводимость к философской плоскости, как и к любой другой, это существование в объеме, на нескольких плоскостях культуры сразу, а равно и некая лирическая сверхзадача такой прозы нами отчетливо ощутимы, потому мы и говорим: «квази». Здесь слово «лирическая» не имеет ничего общего ни с «лирическим доктором», ни с той паточностью, которую считает лирической прозой обыденное сознание, а означает лишь новый для прозы «механизм» провоцирования эстетической реакции».

И далее: «Пафос поэзии и, добавим, набоковской прозы, может быть, и состоит в том, что они дают шанс осмыслить жизнь, то есть буквально — ощутить наличие в ней смысла без привнесения извне вымышленных, внеположных схем и конструкций». Тут уместно заметить, что пуринская мысль, выражаясь его же словами, — «не голая, умозрительная, но — образная, лирическая, основанная на трепетной подробности и неразрывности мира, а потому готовая к переключке, которая и есть отражение живой недискретности». Этим объясняется и то, что на каждой странице свистят цикады цитат, и то, что о тексте книги так легко говорится словами ее автора.

Наши межцитатные мостики становятся все уже и уже — боже мой, кажется, опять цитата: «...словно мы едем на велосипеде сквозь жарко-холодную теневую вязь, и можно прикрыть веки, взволнованно следя на их тыльной стороне за перемежением фиолетовых и лиловых полос, — такое удивительное соседство разнонагретых слоев... в душистом воздухе, заполняющем полости, промежутки цветущего текстового боярышника...» Это о «Лолите», и как кстати: описание само льнет к характеристике пуринской книги.

Случается, что автор заигрывается, увлекается обилием ассоциативных путей и в стремлении не упустить ни одного из них пускается в замысловатую тяжеловесность наподобие двоюродных бабушек у Пруста, говоривших сплошными намеками, которые невозможно было понять. Но если б не весь этот «цветущий боярышник текста» — велосипед, поезд, туннель, море, узорная тень; если б не осы, пчелы, бабочки, орел, лисенок под одеждой у прозаика, муха-концепция... — если б не все это неожиданное вещественное наполнение филологической, культурологической книги, — разве мы поверили бы так охотно тем установкам, которые вносил автор и которые, как всякая гуманитарная мысль, недоказуемы: например, что искусство не может «зайти в метафизическую «реальность», если таковая действительно есть, не перестав быть искусством»? Что «новизна всегда достигается внутренними силами искусства» и «подлинная поэзия «конвенциона» в силу своего жизнеподобия»? Или вот: «...надежда на вечную жизнь, тоска по бессмертию — это поиски смысла, то есть нечто далекое, если не противоположное полому мистицизму».

...Атмосфера последней серьезности окружает эту книгу, несмотря на всю легкость и игровые моменты. Неслучайный читатель Пурина, конечно, заметит, сколь не похожа манера его письма на распространившийся, как корь, говорок критиков-журналистов, густым горчичным соусом иронии поливающих все подряд, словно зазевавшийся повар. Более того, открыв «Воспоминания о Евтерпе», он в любую минуту может укрыться от скуки и пошлости — подруг беспредметной иронии — «в блаженном краю, прозаическом и стихотворном», сопровождаемый веселым и знающим местность вожатым.

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.

С.-Петербург.



## ВЗЫВАЮЩИЙ К РАЗУМУ И СОВЕСТИ

А. Д. Сахаров. Воспоминания. В двух томах. М. «Права человека». 1996. Т. 1 — 910 стр.; т. 2 — 862 стр.

**С**оздание «Воспоминаний» уже само по себе без всяких преувеличений есть подвиг А. Д. Сахарова. Дело в том, что кагэбэшники, опекавшие «диссидента № 1», трижды похищали рукопись. В первый раз — еще до горьковской ссылки, в Москве, 29 ноября 1978 года. Вломившись в квартиру в отсутствие хозяев, они украли 68 страниц машинописного текста и 170 рукописных страниц.

Второе похищение случилось уже в Горьком 13 марта 1981 года. Из круглосточно охраняемой милицией квартиры среди прочего были украдены, как писал Сахаров, «три толстых альбома большого формата — рукописи моей автобиографии».

Наконец, третье похищение представляло собой уже целую операцию, какую можно увидеть разве что в кино. Все произошло днем 11 октября 1982 года на площади возле речного вокзала в центре Горького. Супруга Сахарова Е. Г. Боннэр пошла покупать билет на поезд, а сам академик, ожидая ее, сидел в машине на переднем сиденье. Какой-то человек, заглянув в окно, задал ему какой-то вопрос. Сахаров ответил. После чего, по его словам, в памяти его произошел провал. По-видимому, внутрь машины брызнули из баллончика. Было разбито стекло задней двери и вытащена сумка с документами и рукописями. Когда через несколько минут Сахаров пришел в себя и выбрался из машины, он обнаружил возле нее трех женщин, у одной из которых был баульчик, похожий на медицинский. Надо полагать, это были специально приглашенные врачи, в задачу которых входило при необходимости оказать Сахарову помощь. В данном случае КГБ не ставил перед собой цель отправлять ученого на тот свет. В этот раз, опять-таки среди прочего, было украдено, по словам Сахарова, «около 900 страниц не перепечатанной рукописи... воспоминаний, охватывающих 60 лет жизни, около 500 страниц машинописного текста воспоминаний, 6 тетрадей личных дневников».



Всякий раз Андрей Дмитриевич скрупулезно восстанавливал похищенное. Восстанавливал «из головы»: ни вторых экземпляров, ни черновиков, ни каких-то опорных документов, справочников у него не было. Впервые обо всем этом я услышал 3 января 1987 года, когда мы с Ю. Ростом брали у Сахарова первое после его возвращения из горьковской ссылки интервью. Признаться, ни тогда, ни сейчас это не укладывалось и не укладывается у меня в голове: как это так — заново писать один и тот же текст, причем в последний раз объемом в 900 (!) страниц, — с сотнями фактов, деталей, имен, цитируемых по памяти документов... Писать, не имея никаких гарантий, что этот текст снова не будет похищен...

Впрочем, как сказала мне недавно Елена Георгиевна, первый вариант «Воспоминаний» «был гораздо интереснее, полней и живей... В стилистическом, художественном отношении книга несколько потеряла». Так что хотя бы частично своих целей КГБ, можно сказать, все-таки добился. Хотя читателю, у которого нет возможности сравнивать разные варианты, такая потеря вряд ли помешает ощутить исключительную ценность сахаровских «Воспоминаний».

«Я считаю мемуарную литературу важной частью общечеловеческой памяти. Это одна из причин, заставивших меня взяться за эту книгу...» Таково кредо автора. Вклад в копилку человеческой памяти внесен неопределимый. Книга о жизни, о борьбе одного из величайших людей, живших в XX веке, написанная им самим, — это, без сомнения, книга для всех грядущих поколений.

Однако наряду с «вечной» компонентой у таких книг есть еще одна составляющая — та, что нацелена не на вечность, а на сегодняшний день. С этой составляющей дело обстоит сложнее. Выход книги задержался. Как обычно сегодня — по финансовым причинам. Она должна была появиться лет шесть-семь назад (Андрей Дмитриевич начал ее писать летом 1978-го, а закончил в августе 1989 года). «Во-время», в 1990 году, «Воспоминания» вышли на Западе — в Нью-Йорке. У нас же они печатались лишь в журнальном варианте. И только теперь вышли полностью, в двух томах.

Надо ли говорить, что сегодня мы живем совершенно в другой стране, чем та, в которой жили в 1989 — 1990-м. Мир вокруг нас оказался в какой-то степени более сложным, чем мы ожидали его увидеть. А потому для многих из нас книга Сахарова, возможно, уже не станет универсальным учебником практической жизни, хотя еще шесть-семь лет назад она вполне могла бы им стать. Такова цена опоздания. Но этот понесенный ею ущерб, повторяю, не касается фундаментальной, «вечной» ее компоненты.

Всякого, кто принимается читать «Воспоминания», в числе первых занимает вопрос: как и когда Сахаров стал тем Сахаровым, каким мы его знали и каким он остался в нашей памяти? Каким образом обласканный властями ученый (академик, лауреат разнообразных премий, трижды Герой Соцтруда) превратился в непреклонного противника этих властей (по крайней мере в том, что касается прав человека) и, соответственно, в «отщепенца», по отношению к которому хороши все средства воздействия, включая пытки (именно пытками было так называемое принудительное кормление во время горьковских голодовок Сахарова).

Разумеется, какой-то одной конкретной даты не было, а был процесс созревания, превращения, в общем-то, обыкновенного по своему мировосприятию человека «советской эпохи», к тому же, как уже сказано, обласканного этой эпохой, вознесенного на олимп, в ее непримиримого критика, борца. В главного диссидента.

Проследить этот процесс тем легче, что и сам автор с явным интересом отслеживает его, аккуратно сообщая, каких взглядов он придерживался в ту или иную пору своей жизни.

Первое (и довольно отважное) проявление инакомыслия — еще в конце 1948-го, в совсем глухие времена. Некий высокопоставленный гэбэшник предложил двадцатисемилетнему Сахарову вступить в партию. Гэбэшники уже тогда поняли, что перед ними человек совершенно исключительного научного дарования. Задача была — «оприходовать» его, сделать частью коммунистического, как теперь говорят, истеблишмента, в качестве «чистопородного русского гения» (вот удача-то так удача!) противопоставить евреям, обильно представленным в кругу ученых-ядерщиков (в

букете всевозможных достоинств коммунистической власти антисемитизм, как известно, уже занимал почетное место). Однако Сахаров сильно разочаровал тут начальство, отказался от вступления в партию, заявил, что сделает все, что в его силах, для успеха работы, оставаясь беспартийным. (Второй раз — уже от имени Брежнева — Сахарову было предложено вступить в КПСС семнадцать лет спустя, в 1965 году. С таким же результатом.)

Следующая вежа — середина 1950-го. Приехавшая на «объект» комиссия проверяет благонадежность сотрудников. Среди прочего — задает провокационный вопрос-тест: как относитесь к хромосомной теории наследственности (тогда это была «буржуазная лженаука»)? Сахаров мог бы ответить: никак не отношусь, не моя это область. Он отвечает: считаю эту теорию научно правильной. Реакцией должно было бы стать немедленное увольнение. Именно к увольнению представили за такой же ответ другого сотрудника. Но с Сахаровым так поступить, конечно, нельзя. Остается кусать локти...

В защиту генетики, против маразма лысенковщины ученый не раз выступал и позже. Причем — все более решительно и громогласно.

Вообще год от года инакомыслие Сахарова обозначается все четче. И при всем при том еще в 1953-м по поводу кончины «вождя всех народов» Андрей Дмитриевич пишет жене: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». Впрочем, уже очень скоро он начинает вспоминать эти слова «с краской на щеках».

Самый большой вклад в становление сахаровского диссидентства внесли, разумеется, ядерные испытания. Сахаров напряженно размышляет, как уменьшить их вредоносность (по его расчетам, каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит десять тысяч человеческих жизней), как не допустить ненужные, избыточные... Сначала довольно робко, потом все напористее и жестче принимается перечить начальству, озабоченному только одним — созданием самого мощного, самого эффективного и устрашающего ядерного оружия.

Точкой отсчета, пунктом, где Сахаров — по крайней мере внутренне — стал на свой главный путь, наверное, можно считать 1955 год. После удачного испытания ядерной бомбы маршал Неделин организовал у себя на КП нечто вроде банкета для избранных. Право произнести первый тост предоставил Сахарову как главному виновнику торжества. Андрей Дмитриевич предложил выпить за то, чтобы такие бомбы (он сказал, как было принято, «изделия») так же успешно, как сегодня, взрывались над полигонами и никогда — над городами. Не понравилось. В ответ военачальник рассказал солдатский анекдот: «Старик перед иконой с лампадкой, в одной рубахе, молится: „Направь и укрепи, направь и укрепи“. А старуха лежит на печке и подает оттуда голос: „Ты, старый, молись только об укреплении, направить я и сама сумею!“» После чего маршал предложил: «Давайте выпьем за укрепление».

Смысл притчи был ясен: вы — изобретатели, инженеры, ученые — создавайте и усовершенствуйте новые виды апокалиптического оружия, а уж как его использовать — не ваша забота. Эта мысль, ни для кого не новая, но высказанная столь обнаженно и цинично, потрясла Сахарова. Именно с этого момента внутренняя работа по пересмотру всех его жизненных позиций пошла в нем ускоренно и неостановимо.

Впрочем, несмотря на возрастающий пацифизм Сахарова, время от времени им овладевал азарт, знакомый многим изобретателям, в том числе изобретателям оружия. Из-за этого моральные соображения отходили на второй план. Так, еще в 1961 году ученый выдвигал идею создания большой торпеды, запускаемой с подводной лодки и выскакивающей затем на поверхность моря. Торпеда должна была нести сверхмощный ядерный заряд (100 мегатонн) и предназначалась для уничтожения портов противника с расстояния в несколько сот километров. Человеческие жертвы при этом были бы огромными. Даже военные назвали этот проект «людоедским». После чего от него отказался и сам изобретатель. «Я устыдился, — пишет Сахаров, — и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

Вершина официального признания Сахарова: в феврале или марте 1962 года по случаю очередных успешных ядерных испытаний он награждается третьей Зо-

лотой Звездой Героя Соцтруда. На банкете его сажают на самое почетное место — между Хрущевым и Брежневым. Но в этом же году его постигает и тяжелейшая трагедия. Вот как описывает Сахаров свои переживания в связи с тем, что он не смог предотвратить новые бессмысленные ядерные испытания: «Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал».

Даже если ничего другого не знать о Сахарове, прочтя эти слова, я думаю, надо встать и низко ему поклониться. К тому же, если уж без сантиментов, не забудем: Сахаров сыграл решающую роль в заключении Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договора, значительно смягчившего тогдашнюю международную обстановку и, главное, спасшего несчетные сотни тысяч жизней.

Переломными стали для Сахарова 1965 — 1968 годы. В 1968-м за рубежом — сначала в Голландии, а потом в США — вышла знаменитая статья Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Автор был немедленно удален с «объекта», а вскоре вообще отстранен от секретной работы.

Ключевая идея статьи — конвергенция (сближение) социалистической и капиталистической систем. «В результате экономической, социальной и идеологической конвергенции, — писал автор, — должно возникнуть научно управляемое демократическое плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, проникнутое заботой о людях и будущем Земли и человечества, соединяющее в себе положительные черты обеих систем».

На примере сахаровских «Размышлений» хорошо видно, какой фантастический, невообразимый скачок совершила наша страна за последние двенадцать лет, если считать с апрельского Пленума 1985 года. Выдвинутая Сахаровым идея конвергенции казалась — в том числе, по-видимому, и самому автору — пределом, на который только может посягнуть воображение. Это была неслыханная крамола. Слово «конвергенция» тут же оказалось под запретом. Оно изгонялось отовсюду. Его можно было произносить разве что шепотом на кухне. Однако реальная жизнь пошла гораздо дальше. Произошло нечто совсем уж, казалось бы, невысказанное — вместо конвергенции социалистическая система просто-напросто безоговорочно капитулировала перед капиталистической.

Впрочем, Сахаров не дожид до этого момента. К идее конвергенции он возвращался и в самом конце своей жизни, в 1989 году, более чем двадцать лет спустя после выхода «Размышлений», хотя упоминал о ней главным образом в связи с необходимостью решения так называемых глобальных проблем. «Я убежден, — писал он, — что их решение требует конвергенции — уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества (у нас это — перестройка). Непосредственная цель — создать систему эффективную (что означает рынок и конкуренцию) и социально справедливую, экологически ответственную».

От такого понимания, я думаю, не должны отказываться и мы. В конце концов, действительно не только социализм оказался плох, но и капитализм, конечно, далеко не совершенен. В более или менее отдаленной перспективе, чтобы выжить, человечество должно будет озаботиться устройством какого-то нового общественного миропорядка — в первую очередь именно «экологически ответственного». Хотя я не уверен, что слово «конвергенция» для такого процесса окажется самым подходящим.

В связи с «Размышлениями» в «Воспоминаниях» Сахарова проявилось характерное для него весьма самокритичное отношение к себе, ко всему, что он делает. Так, по поводу литературной формы статьи он чистосердечно признается: «У меня тогда не было никакого опыта литературной работы, не с кем было посоветоваться, и, кроме того, мне явно в ряде мест не хватило вкуса». Недовольство автора собой встречается в книге сплошь и рядом. Подчас он упрекает себя в непростительной «замкнутости на себя, на свои дела», не позволяющей ему чаще общаться с людьми. Или вот такой упрек: «Я, к сожалению, в личной жизни (и в отношениях с Клавой и потом — с детьми, после ее смерти) часто уходил от трудных и острых

вопросов, в разрешении которых я психологически чувствовал себя бессильным, как бы оберегал себя от этого, выбирал линию наименьшего сопротивления... Потом мучился, чувствовал себя виноватым и делал новые ошибки уже из-за этого». Такие самоупреки — и по частным поводам, и в виде обобщений — это, конечно, еще один признак недужной, масштабной личности. Человек не крупный не станет этим заниматься, а тем паче выносить свои недостатки — подлинные или мнимые — на всеобщий обзор.

После «Размышлений» и отстранения от работы над ядерным оружием у Сахарова начинается «совсем другая жизнь» — восемнадцать лет, наполненных отчаянной и неравной борьбой с бесчеловечным режимом. В том числе семь лет горьковской ссылки, из которой, в принципе, если бы события в стране пошли как-то иначе, он мог бы и не вернуться (его здоровье к концу тамошней жизни было настолько подорвано, что он сам запросил у Горбачева пощады).

О Сахарове этой поры можно сказать точно так же, как сказал о себе Солженицын: «бодался теленок с дубом».

Впрочем, сам Андрей Дмитриевич первым своим выступлением в защиту инакомыслящих считал письмо Брежневу по поводу преследований Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского, которое он послал еще в феврале 1967 года. Позже таких выступлений — и эпистолярных, и иных — было великое множество. Достаточно пробежать глазами по аннотациям глав «Воспоминаний»: «Дело Григоренко», «Спасая Жореса», «Дело Пименова и Вайля», «Самолетное дело», «Дело Файнберга и Борисова», «Крымские татары», «Обыск у Чалидзе», «Суд над Красновым-Левитиным», «Дело Лупыноса», «Суд над Буковским» и т. д. и т. п. Это, наверное, самая весомая, если иметь в виду уровень героизма и драматизма, часть жизни Сахарова и, соответственно, самая весомая часть его книги.

Конечно, оглядываясь сегодня на эту героическую эпопею и на то, что произошло в стране в последние десять — двенадцать лет, ясно видишь: роль правозащитного движения в свержении коммунистического режима не была решающей. Наверное, и сам Сахаров это понимал — он был трезвым мыслителем. Как часто бывает в истории, на первый план тут вышло случайное стечение обстоятельств. Если бы в 1985-м Генсеком выбрали не Горбачева, а, допустим, Гришина или Романова (что было вполне возможно), мы и сейчас продолжали бы жить в том же самом Советском Союзе.

Исторически коммунистическая власть с ее неэффективной, мертвой экономикой была, разумеется, обречена, но срок ее кончины вполне мог быть отодвинут и на одно, и на два, и на три десятилетия.

Главная историческая заслуга правозащитного движения оказалась в другом: во-первых, оно расшатало режим, во-вторых, сформировало негативное отношение к нему за рубежом и, наконец, в-третьих, подготовило наше общество, прежде всего интеллигенцию, к адекватному восприятию горбачевских, а затем ельцинских реформ. Без такого восприятия и мощной поддержки со стороны общества эти реформы просто не состоялись бы, они были бы в самом начале задушены могучими контрреформистскими силами. Можно сказать, что правозащитное движение советских времен послужило одним из главных детонаторов для взрывообразного рождения демократического движения времен перестройки.

Недаром же и Сахаров стал одним из лидеров этого нового демократического движения.

Драматический перелом, регресс произошел в 1993 — 1996 годы. Демократическое движение стало затухать и ныне пребывает в жалком состоянии...

Интересно, как бы повел себя Сахаров перед лицом этого спада? Каково было бы его отношение к либеральным экономическим реформам?

У меня нет ни малейшего сомнения, что правозащитному движению Сахаров зачухнуть не дал бы. Ведь это только так кажется, что сейчас меньше поводов для отстаивания прав человека. Лишь недавно закончилась кровавая чеченская бойня... Повсеместно идет издевательство над беженцами и переселенцами, над заключенными в лагерях и тюрьмах... Над пенсионерами, врачами, учителями, шахтерами, военными, которым по многу месяцев не платят зарплату и пенсию, в том числе и тогда, когда деньги на это есть...

Да и вообще отстаивание прав человека означало для Сахарова нечто большее, чем просто локальное, там и сям, восстановление попорченной справедливости. «Я убежден, — пишет он в «Воспоминаниях», — что идеология защиты прав человека — это та единственная основа, которая может объединить людей вне зависимости от их национальности, политических убеждений, религии, положения в обществе...»

Что касается отношения Сахарова к либеральным реформам — это более сложный вопрос. Фактически в своих раздумьях и выступлениях он подошел вплотную к программе таких реформ, обозначил их цели. В своем проекте Конституции он писал, например: «Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции». Или насчет земельной собственности: «Земля может быть продана в собственность частному лицу и трудовому коллективу». (Впрочем, при этом он допускал возможность ограничений перепродажи.)

Другое дело — как достичь этих целей. То обстоятельство, что реальные реформы принесло многим людям бесчисленные страдания и невзгоды, должно было бы его... нет, пожалуй, не оттолкнуть, но насторожить. Без сомнения, со страданиями людей он не смирился бы.

Мы знаем, что самые близкие сподвижники Сахарова сегодня занимают здесь разные позиции. Так, С. А. Ковалев — один из лидеров гайдаровского «Демвыбора России», то есть активный сторонник реформ. А Е. Г. Боннэр, напротив, симпатизирует Явлинскому, у которого отношение к реформам сложное...

Я думаю, Сахаров, будучи глубоким аналитиком, человеком строгого, научного склада ума, в принципе, принял бы эти реформы, но не уставал бы подвергать жесткой критике бездарность их осуществления.

И, наконец, последнее. «Воспоминания» написаны как бы для разных категорий читателей. Одни пропустят страницы, на которых довольно подробно рассказывается об изобретательской и научной работе автора, сконцентрируют свое внимание на тех местах, где говорится «о жизни». Другие, напротив, с удовольствием прочтут как раз те места, где из первых рук, от самого автора, можно узнать, каков его вклад в военную инженерию и фундаментальную физику. Как бы заранее отводя возможные упреки по поводу неоднородности повествования, Сахаров сам предупреждает читателя: «Книга получилась пестрой, многоплановой. Кому-то из моих читателей что-то покажется интересным, а что-то скучным и лишним... Пусть каждый выберет себе то, что его затрагивает!»

Еще более существенно замечание автора о том, что читателю вовсе не обязательно во всем с ним, автором, соглашаться: «Свои выступления по общим вопросам я считаю дискуссионными, склонен подвергать многие мысли и мнения сомнению и уточнению».

Так что, повторяю, у читателя — полная свобода в выборе для чтения тех или иных глав «Воспоминаний» и такая же свобода в оценке тех или иных суждений великого гуманиста XX века, предоставленная им самим.

Олег МОРОЗ.



## «РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ» И СВОБОДА

С. Л. Франк. Русское мировоззрение. СПб. «Наука». 1996. 740 стр.

**П**роходят годы — и по мере освоения наследия наших мыслителей XX века философское творчество Семена Людвиговича Франка (1877 — 1950) приобретает все большую актуальность, тогда как иные, еще совсем недавно несравненно более популярные творческие миры ступеньваются как слишком привязанные ко времени<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Одна из первых публикаций Франка в СССР была осуществлена в «Новом мире» (1990, № 4).

Отчасти это происходит и потому, что мышление Франка — в соответствии с отечественной традицией оно у него не отвлеченное, «чистое», а всегда на явственном стыке с религией, социологией и культурой, хотя философ и возражал против превращения философии из науки в эмоциональное творчество, — в лучшем смысле этого слова срединное, лишнее крайностей и типичных русских заскоков. Умеренный, всегда здравый, глубочайший философский склад Франка позволяет утверждать Истину и истинное без тех перехлестов, что иногда — даже и в своей малости и периферийности — компрометируют самое верное и благородное рассуждение.

Франк разом и твердо религиозен и — «по-светски» диалектичен, суть вещей он видит во всей их амбивалентности, старается усмотреть момент истины в любой данности, порыве и положении, однако никогда не допускает ни двусмысленности, ни — во что бы то ни стало утверждаясь в истинном — догматизма. Это свободный религиозный мыслитель, еще в молодости преодолевший все, повторяю, крайности отечественных идеологий, взяв от них лучшее и не поскользнувшись на их традиционных темпераментных перегибах. Франк — не славянофил, не западник, не марионетка освободительной идеологии, не квасной патриот, не абсолютист, ни, тем более, ангажированный социалистической идеологией фанатик. Но он — и не «человек над схваткой». Характеризуя своего близкого друга и практически единомышленника Петра Бернгардовича Струве, Франк пишет: «То, чему было подлинно посвящено его служение, было не каким-либо отвлеченным началом, а живой реальностью: это была родина и ее благо». В значительной степени это относится и к самому Франку; просто в силу более широкого философского склада и меньшей публицистической горячности его социальное мышление обнимало не одну Россию: он формулировал «духовные основы общества» в целом (в книге с одноименным названием, написанной вскоре после высылки мыслителя из России, национальная общественная специфика нарочито размыта). В отличие, например, от Ивана Ильина, он мыслил Россию и ее будущее целокупно с остальным человечеством — поверх геополитических, конфессиональных и идеологических враждований; он чувствовал необходимость в грядущем объединительного начала — поверх традиционных исторических распрей. И не за счет смикширования национальных традиций — но их содружества, основанного на полноценном суверенитете. Человек, человечество и их благо — вот чему посвящено служение Франка. А служение именно России было для него органичной частью общей задачи.

Конкретно определить социальное мировоззрение Франка можно двумя словами — так, как сам он определяет мировоззрение любимых им политических мыслителей, Пушкина и Струве, — либеральный консерватизм. То есть свобода, основанная на традиции и политическом здравомыслии.

Но при этом — действительно разница темпераментов: там, где Струве, как говорится, выкладывался и горячился, занимаясь политикой, Франк «смотрел со звезды». То же и такие разные мыслители, как Бердяев и Иван Ильин: сама их интонация — наступательная, тогда как у Франка преобладает разъясняюще-увещательная тональность. Никакой агрессии, «ощетиненности», его мысль пластична и прогибается, но — только до онтологического стержня, не глубже.

...Объемный том статей и эссе философа (включивший и чрезвычайно важные письма его Вяч. Иванову и Г. П. Федотову) подобрал многие работы, у нас до того малоизвестные, неизвестные вовсе, а отчасти и переведенные с немецкого языка (само название тома — заголовок статьи, написанный по-немецки в 1925 году: «Die russische Weltanschauung»). Ради тематического упорядочивания материала книга поделена на разделы: «Философия и жизнь», «Сущность и ведущие мотивы русского мировоззрения», «XIX век», «Современники».

То есть композиция тома выстроена не хронологически, но тематически, и в этом есть свой психологический шарм: в каждом из отделов мы как бы заново прослеживаем мировоззренческую эволюцию мыслителя.

Причем хронология составителями весьма артистично сбита: том открывает «эссе» «Предсмертное» — опыт духовной автобиографии, сублимированной 12 марта 1950 года — за несколько месяцев до смерти — в записной книжке Фран-

ка: «Бог есть для меня лично-подобное, схожее со мной существо и начало — глубочайшая, вечная, совершенная сущность личности — и, вместе с тем, глубочайшая первооснова всяческого бытия. И религиозная вера для меня — доверие к бытию».

Франк глубокую беду видел в противостоянии религии и — гуманизма, в их с Ренессанса начавшейся конфронтации. Если бы христианскому гуманизму (наиболее полное воплощение которого Франк усматривает в богословско-философской системе Николая Кузанского) «суждено было восторжествовать, человечество было бы избавлено от многих роковых заблуждений — и от безрелигиозного просветительского гуманизма, и от нищенского и марксистского богоборчества. Этому не суждено было быть, и теперь человечество безнадежно расколото на христиан-традиционалистов и безбожников, уповающих на осуществление царства Божия силами человека, как простого потомка обезьяны (и эта последняя вера практически властвует над миром)», — так писал Франк Вяч. Иванову 17 июня 1947 года.

По существу, Франк всю жизнь оставался вольным философом-экуменистом, конфессионально укорененным все-таки именно в православии как основополагающей части того духовно-культурного ареала, к которому принадлежал по судьбе («Надо сочетать совершенную независимость религиозной и философской мысли с детски-смирненным молитвенным соучастием в традиционно-церковной религиозной жизни»).

Как мыслитель на первых порах он вырастал в значительной степени и из Владимира Соловьева, с самого начала беря от него именно, так сказать, «вселенскость» и сразу отстранив в сторону сомнительную «софийность». В полемике с В. Ф. Эрном (1910 год) он с явным педалированием цитирует соловьевский пассаж о «национальном мистицизме», свойственном, «впрочем, не исключительно русским, а и другим полудиким народам Востока». Публицистический темперамент Соловьева в полемике с «византийским» национализмом леонтьевско-данилевского типа не раз заставлял философа, как говорится, перегибать палку, и вышеприведенный пассаж — яркий тому пример. Ранний Франк поддерживает этот сиюминутный соловьевский пафос один к одному; впоследствии Франк стал равновесней, почвеннее и — *pendant* своему другу Струве — патриотичней. И ежели б зрелому Франку кто-нибудь определил русский народ как «полудикий» — то получил бы от него достойную и умную отповедь. Впрочем, патриотизм Франка никогда не приобрел характер прельщения. В отличие от Н. А. Бердяева, он сразу оценил послевоенный советский режим как «новый фашизм... грозящий теперь миру».

В революции мыслитель различает большевистскую (анархически-уравнительную, бунтарскую) стихию и основную — коммунистическую идеологию, стихией воспользовавшуюся и намертво ее оседлавшую, что и составляет суть нашей исторической революционной трагедии<sup>2</sup>.

«Одно из могущественных государств Европы, — пишет Франк по-немецки в 1925 году, объясняя европейцам, что такое «русская революция» (и нашим современникам, очевидно, это тоже следует объяснять), — было использовано как испытательный полигон, и 120 миллионов русских безжалостно и последовательно были превращены в подопытных кроликов... С точки зрения всемирно-исторического процесса духовного развития русская революция — это последнее выражение той тенденции к автономии и секуляризации культуры, которая возникает на Западе в эпоху ренессанса и реформации, а в России началась с реформ Петра Великого». Таким образом, Франк был одним из первых мудрецов, понявших катаклизм Семнадцатого года не как локальный, то есть «народный», — но напрямую связанный с общемировыми проблемами наступавшей новейшей цивилизации. «Как таковой, коммунизм фактически не имеет никаких национально-исторических корней в русской народной жизни и в русском миропонимании. Он импор-

<sup>2</sup> Вот почему, когда в предисловии к тому его составитель А. А. Ермичев пишет: «Возрождение России на ренессансных путях не состоялось. Вместо ренессанса произошла народная большевистская революция», — это режет слух как архаичная историческая неточность, к тому же противоречащая тому сущностному, что писал о революции Франк. Здесь налицо явное огрубление его мысли.

тирован с Запада и может быть рассмотрен как ублюдочное порождение западного безверия, обезбоживания общественной и государственной жизни».

Россия, жившая еще во многом «средневековыми» представлениями о благородстве, не могла противостоять ни новейшим идеологиям, ни технологиям их внедрения. Те новые мышцы, которые стала накачивать русская социальная и экономическая жизнь со времен Столыпина, не «постальтели» еще настолько, чтобы справиться с революционной заразой.

...В замечательных статьях своих о Пушкине<sup>3</sup>, Тютчеве, Гоголе, Льве Толстом Франк тонко анализирует их национальные, культурные, мировоззренческие и политические искания.

В глубоком эссе 30-х годов «Пушкин как политический мыслитель» действительно впервые в пушкинистике анализируются политические убеждения Пушкина (которого традиция и до сих пор рисует как эдакого «декабриста без декабря»).

«Если в политической мысли XIX века (и, в общем, вплоть до нашего времени), — пишет Франк, — господствовали два комплекса признаков: „монархия — сословное государство — деспотизм” и „демократия — равенство — свобода”, которые противостояли (и противостоят) друг другу, как „правое” и „левое” мирозерцание, то Пушкин отвергает эту господствующую схему — по крайней мере, в отношении России — и заменяет ее совсем иной группировкой признаков. „Монархия — сословное государство — свобода — консерватизм” выступают у него как единство, стоящее в резкой противоположности к комплексу „демократия — радикализм („якобинство”) — цезаристский деспотизм”».

Пушкин — по Франку — был одним из тех умов, кто, подобно Токвилю, графу Жозефу де Местру, Шатобриану, остро чувствовал накат новой эпохи и разом здраво и интуитивно страшился ее. Хотя и вряд ли знал потрясающее пророчество де Местра в записке графу Н. П. Румянцеву от декабря 1811(!) года о России: «По мере освобождения люди окажутся между более чем подозрительными учителями и духовенством, лишенным силы и уважения. Вследствие внезапности подобного превращения они, несомненно, сразу перейдут от суеверия к атеизму и от нерассуждающего повиновения к необузданной самостоятельности... И ежели при таком расположении умов явится какой-нибудь университетский Пугачев... и присовокупятся к сему безразличие, неспособность или амбиции некоторых дворян, бесчестие чужеземцев и происки некоей отвратительной секты, постоянно ныне бодрствующей, и т. д. и т. д., тогда государство в соответствии со всеми законами вероятия буквально переломится, подобно слишком длинному бревну, которое опирается лишь на свои концы».

Не «декабристом без декабря», а — «монархистом без монархии», точней, при эмпирической монархии, глубоко оскорблявшей его своею опекой и предпочитавшей ему других, менее независимых, идеологов, был Пушкин.

...О Толстом Франк писал неоднократно — и еще в России, и в зарубежье. Две его работы конца 20-х — начала 30-х годов впервые переведены с немецкого. Историческая и культурологическая публицистика Франка не провоцирует на полемику, но обволакивает, убеждает и приглашает с ней согласиться. «Если бы толстовская концепция жизни действительно осуществилась, то господствующий в ней моральный деспотизм был бы намного гибельнее и непереносимее материалистически ориентированного деспотизма социалистического регулирования жизни». По Франку, «нравственная норма» деспотичнее государственно-социалистической, то есть более внешней по отношению к человеку. Но как раз тут-то и хочется уточнить мысль философа. То, что толстовство — в своем пределе — есть деспотия, — несомненно. Но разве и социализм не претендует именно на душу и мысль человеческую, разве это внешний режим, а не идеологическое — в первую очередь — порабощение? Здесь сказалось, очевидно, то обстоятельство, что Франк

<sup>3</sup> К сожалению, глубокие мысли Франка о Пушкине не были, очевидно, известны у нас на родине даже профессионалам. «Теперь уже очевидно, — открывает свою монографию «Пушкин в 1833 году» (1994) Стелла Абрамович, — что нравственный опыт пушкинской жизни оказался необычайно значимым для нас. *Первым* об этом сказал Давид Самойлов (курсив мой. — Ю. К.). Не Вл. Соловьев, не Франк — Самойлов.



рано покинул советскую Россию и всех рычагов советского принуждения не испытал на себе. Не надо топить толстовство за счет «социалистического регулирования» — оно и само тонет.

... На чужбине ближе других сверстников-современников Франку оказался, повторяю, Петр Бернгардович Струве. Вот почему после его кончины в 1944 году Франк о Струве много, горячо и ярко писал. Это было не просто выполнение дружественного долга, но формулировало мировоззрение, которое Франк считал для нашей родины наиболее плодотворным. Под живым пером Франка фигура Струве, несколько неотчетливая, ибо Струве не оставил после себя твердых системных работ, становится живою и близкой. «Уже в 1905 году он, — быть может, первый в либерально-оппозиционной среде, — отчетливо осознал, — в противовес пресловутой формуле Милюкова: „у нас нет врагов слева“, — что главная опасность русской свободе и культуре грозит не справа, а слева, и в этом смысле стал тогда же „консерватором“».

Струве одним из самых первых крупных русских интеллигентов преодолел схемы освободительной идеологии и понял ценность русского государства. При этом — лишенный даже грана партийного милюковского доктринерства — он смотрел на отечественную историю органично: без привычного критицизма, но и без славянофильского утопизма. «Он следовал завету Гёте: «Познавать постижимое и тихо почитать неисповедимое». ...Проповедя то, что он считал насущно необходимой в данный момент политической истиной, он никогда не считался с тем, как это отразится на его популярности, часто подрывая тем и материальную основу своего существования. Бросая вызовы русскому общественному мнению, он так же легко, во имя своих убеждений, бросал вызовы и мнению влиятельных кругов тех стран, где он проживал, не считаясь с тем, как это отразится на его личной судьбе».

Надо самому пожить в эмиграции, чтобы понять, какая драгоценная редкость — этот безоглядный нонконформизм, присущий Струве, о котором говорит Франк. Одно дело не кривить душою на родине (что, впрочем, тоже совсем не просто), другое — на чужбине, где ты в руках «влиятельных кругов» находишься полностью.

Я уже упоминал, что Франку особо дороги идеалы «либерального консерватизма», которому был привержен и Струве.

Франк определяет их так: «Основная идея этого мировоззрения состоит в том, что гарантия свободы есть право, закон, и что закон сам имеет свою основу в преданности исторической традиции, тогда как всякий разрыв традиции, всякая насильственная революция ведет к деспотизму. Эту мысль английский консерватор Дизраэли выразил в классической формуле: «народы управляются только двумя способами — либо традицией, либо насильем». И можно сказать, что Струве в истории русской политической мысли представляет редкий, совершенно оригинальный образец либерала-консерватора английского типа». Будучи при этом — не забывает упомянуть Франк — воцерковленным православным.

«Редкий, совершенно оригинальный образец» — тогда, уже не встречающийся — теперь. Окажись несколько человек такого мировоззренческого склада у властных государственных рычагов во времена перестройки — Россию можно было вывести из тоталитаризма достойно. Увы, не нашлось людей ни таких умственных, ни таких мировоззренческих, ни таких моральных качеств, как у Струве. И все пошло под откос: из коммунистического тупика — в криминальную олигархию.

Закрывая том эссе и статей Франка, еще раз мысленно обращаешься к его заголовку. *Русское мировоззрение* — что же это такое? «Исчерпать его каким-либо понятийным описанием, — говорит Франк, — невозможно» (впрочем, как и любое другое национальное мировоззрение).

... Не так давно меня интервьюировал московский корреспондент радио «Свобода»: «Русская идея существует? Назовите ее». Я стал говорить. «Нет-нет, коротко, в двух словах». И явно облегченно вздохнул, когда у меня «в двух словах» не вышло. Да ведь и все основополагающие понятия: Бог, красота, совесть — в двух словах тоже не сформулируешь. И тем не менее — они существуют. Прочитав

Франка — когда перед твоим умственным взором еще стоят столь замечательно интерпретированные им Пушкин, Гоголь, Тютчев, многие наши светочи, — лишней раз убеждаешься: русское мировоззрение есть. Хотя и кажется порою, что его закопали, да еще и могилку с землей сровняли<sup>4</sup>. И вовсе не одни «приверженцы общечеловеческих ценностей», на деле обернувшихся богомерзкими коммерческими поделками. А и «патриоты», осовдепившиеся настолько, что национализировали и сталинизм, и советчину...

В этом году увидела свет еще одна — совсем «новая», то есть не публиковавшаяся прежде в России, — работа Франка, написанная незадолго до смерти<sup>5</sup>. Так же, как и в других своих книгах, изданных после войны («С нами Бог», «Свет во тьме»), Франк дает здесь стройную и глубокую религиозно-жизненную систему, где ортодоксия и свобода находятся в уникальном синтезе. Эту систему, варьируя и уточняя, он в 40-е годы переносит из книги в книгу, стремясь к максимальной сфокусированности и лапидарности изложения.

...Духовный мир Франка — плодотворное сочетание русского с европейским, религиозного с культурным — с адекватной полнотой отражен в его творчестве. Творчество это — светлое, оно не слепит, но греет, в нем вольно существовать.

**Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.**

---

<sup>4</sup> В перестройку, еще в эмиграции, в Мюнхене я ходил к одному знакомцу смотреть видеозаписи наиболее примечательных передач первого канала ТВ. Помню такую: по Кремлю расхаживает Кшиштоф Занусси, с аппетитом декламируя маркиза Кюстина, долго расхаживает — несколько серий (сбылась «мечта поляка»). Я тогда поразился: да неужели в Москве нет своих «ребят», да почему опрастывающиеся от коммунизма мозги непременно надобно заполнять Кюстином? Ну, читали бы — раз уж стали снимать в Кремле — Ивана Забелина: и колоритно, и патриотично. Стало не по себе: в такой кульминационный момент в чьих же руках на ТВ идейная режиссура?

<sup>5</sup> Франк С. Л. Реальность и человек. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. СПб. 1997.

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ОБМАНУВШИЙСЯ И ОБМАНУТЫЙ

Нередко образ отвечает мало  
Тому, что мастер в нем желал найти, —  
Затем, что вещество на отклик вяло.

*Данте.*

**Г**еннадий Айги — один из самых знаменитых на Западе современных русских поэтов. Его сравнивают с Бродским: пишут, что Айги, не уступая Бродскому масштабом, находится на противоположном — «иррациональном» — краю поэтического спектра. Его не раз выдвигали на Нобелевскую премию. Он переведен на множество языков. Большая энциклопедия издательства Кирилла и Мефодия (1996) отмечает, что Айги испытал «воздействие французской поэтической культуры, философии экзистенциализма и русской религиозной мысли», что в его стихах «раскрывается связь, подчас мучительная, с иррациональными глубинами бытия». Немецкий «Энциклопедический словарь русской литературы» Вольфганга Казака говорит, что Айги прибегает к элементам «метапоэтики и метаграмматики» (то есть, следовательно, осуществляет переход к другой грамматике и другой поэтике); что его стихи — «феномен крайнего нонконформизма»; что творчество Айги знаменует собою «духовный протест во имя подлинной человечности». Западные источники сходятся на том, что Айги сложен, его метафоры с трудом расшифровываются и не всегда поддаются интерпретации. Лондонское издательство «Angel Books» выпустило двуязычную книгу его избранных стихов, а журнал «Time Out», оповещающий о культурных событиях Лондона, поместил портрет Айги, приехавшего для представления книги, и называет его «великим поэтом», а также (со ссылкой на французского поэта Жака Рубо) — обладателем «одного из самых необычайных поэтических голосов на земле».

Казалось бы, невозможно сомневаться: перед нами культурное явление — грандиозное или по меньшей мере значительное. И вот Айги приехал и выступил в Лондонском университете. Что же мы услышали?

### О ДА: РОДИНА

была как лужайка страна  
мир — как лужайка  
там были березы-цветы  
и сердце-дитя

а как те березы-цветы ветром этого мира сдувались

и розы-снега  
окружали как ангелов-нищенок вздох  
сельских безмолвных!.. — и с их Свето-Жалостью  
вместе  
светили

(здесь — место молчанью  
такому же долговому  
как бесконечная жизнь)

мы назывались — *Сияния этого* многие  
каждый скрепляя  
свеченье живое  
вторично в страданьи

(та же  
и здесь  
тишина)

и слушали-были: что чистота скажет Словом единым?

не прерываясь  
лучилось:

*мир-чистота*

Картины родной природы в соединении с духовным восприятием родины вызывают у автора ощущение возвышенной чистоты: вот и все, что мы извлечем из этих строк, преодолев их намеренную затемненность. Переживание это старо как мир, известно поэтам всех времен и народов, пропето всюду — от аравийских песков до лапландских снегов. Оно всюду традиционно — что, само по себе, очень хорошо: ведь поэт не придумывает чувств, а только находит для них слова. (О м ы с л я х в обычном значении этого слова и говорить не приходится. Поэзия, подсылающая нам действительно новую мысль, может случайно оказаться хорошей философией, но наверняка будет плохой поэзией.) Прописи гласят: новое в лирической поэзии достигается органическим слиянием «вечных» человеческих переживаний (ибо мы, ей-богу, мало изменились за последние столетия), одушевленных приметам места и времени, с выразительной словесной формой, скрепленной ритмом и звуком и замешенной на своеобразии сочинителя. (Сомневающиеся могут заглянуть хоть в «Разговоры с Гёте» Эккермана.) В приведенных строках Айги форма незначительна, если не вовсе ничтожна. Ритм изгнан почти полностью, звук беден до крайности. Тропы — либо проходные («сердце-дитя», «бесконечная жизнь», «свеченье живое» и т. п.), либо заимствованные («розы-снега»; как тут не вспомнить Мандельштама, Блока и Пушкина?), либо нелепые и ложно многозначительные («Свето-Жалость», да еще с прописных букв). Графическое оформление стихов в книге — еще одна нелепость, которую нам выдают за новаторство, хотя ей сто лет в обед. Отказом от знаков препинания, помнится, баловался еще Аполлинер: эпатировал буржуев. Той же незамысловатой природы и отказ от прописных букв, и размещение на строке возможно меньшего числа слов. Все это было, да прошло — потому что не работает. Иначе говоря, в приведенном тексте нет ни новизны, ни метафизических глубин, ни сложного или загадочного содержания, а все «иррациональное» и «метаграмматическое» наводит на мысль об отказе от нормативной русской речи.

Спросят: откуда же взялась репутация Айги? Ведь что-то должно стоять за всеми теми учеными словами, с помощью которых нам объясняют значение его музыки? Этот вопрос напрашивается, и ответить на него можно по-разному. Например, так:

Горные вершины  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листы...  
Подожди немного,  
Отдохнешь и ты.

Эти стихи, в сущности, о том же: о переживании природы (мира) как чистоты, — но с одним важным отличием: в них нечего объяснить. Не в том смысле, что тут нет метафизических глубин или иррационального (как раз наоборот: глубины здесь разрезаются космические, стихи же — всякие стихи — иррациональны по самой своей природе, недаром в платоновом «Государстве» для поэтов места нет), а в том смысле, что здесь не нужен посредник между поэтом и читателем. Любой человек, если только он не глух к поэзии, тотчас увидит и признает, что перед ним — чудо, та самая «статуя», которая, по Готье, «переживет народ», — но как только это признано, ученый-литературовед становится не нужен. Особенно западный, русским языком овладевший (иной раз на удивление хорошо), а русской просодии не чувствующий.

Литературоведение — наука молодая и с неустойчивой репутацией. Особенностью ее является то, что она не может определить свой предмет. Определение литературы отсутствует. И уж подавно литературовед не располагает весами, позволяющими отличить хорошее от плохого. На вопрос, что замечательно, а что — дурно, в прежние времена (когда литературоведов не было) отвечали критика и читате-

ли, то есть общество в целом. Но для исследователя литературы посредственное художественное произведение может оказаться не менее интересным, чем шедевр. «И не менее полезным», — добавляют литературоведы, утверждая тем самым свою независимость. Химику, добавляют они, все равно, что думает обыватель о кислороде или сернистой кислоте, — так почему же ученый, занимающийся словесностью, должен брать в расчет мнение обывателя о романе или поэме? Что материя обходится без человека, а литература без него обойтись не может — этого они не вспоминают.

С другой стороны, обыватель присматривается к тому, что делается в университетах, — в особенности если сам он к словесности равнодушен и своего мнения не имеет. За интересами обывателя внимательно следит журналист. Так возникает цепная реакция «эпидемических внушений», о которой Лев Толстой писал: «Важность события, как снежный ком, вырастая все больше и больше, получает совершенно несвойственную своему значению оценку, и эта-то преувеличенная, часто до безумия, оценка удерживается до тех пор, пока мировоззрение руководителей прессы и публики остается то же самое...»

Первая жертва «эпидемических внушений» — сам автор, теряющий голову от успеха, перестающий понимать, на каком он свете. Айги — типичнейшая из таких жертв. Перед нами человек обманувшийся и обманутый. В начале 60-х он оказался в немилолюбивой среде кремлевского начальства и был взашей вытолкан в полуподполье и самиздат. Настродался он, кажется, по-настоящему. Весу в глазах критического общественного мнения прибавило ему еще и то, что родом он из деревенской глуши, из недр далеко не благополучного и тоже пострадавшего чувашского народа. В России ведь до сих пор поощряют «выходцев из народа» — как если бы все прочие вышли из какого-то другого места. И вот диссидент, к тому же и пишущий свободным стихом (а кто тогда не бредил свободой?), был выхвачен лучом прожектора. Его стали печатать за границей (там всегда находятся ценители русского слова) — а к загранице в России отношение особое; да и вообще «нет пророка в своем отечестве». И — снежный ком покатился...

Осталось утверждение, что Айги — неконформист. Неконформистом он, пожалуй, и был — в затхлые советские времена, когда не только семантический пуантилизм, а и самые обычные, со времен Фета (или, уж во всяком случае, Блока) бытующие у нас, повествовательные верлибры казались властям непозволительной дерзостью. Но уже со времен сталинской оттепели общественный вкус все более склонялся в сторону всяческого словесного экспериментаторства — и по той же самой причине: в пику советскому академизму. К началу 70-х левая эстетика настолько утвердилась если не в печати, то в умах, что следование ей утратило последние признаки бунтарства. Представление о норме рухнуло, приспособляемость или не приспособляемость стало не к чему. О послеперестроечном времени и говорить не приходится. Академизм и авангард советской поры попросту поменялись местами. Теперь неконформист в поэзии — тот, кто не отвергает с порога сокровищ традиционного стиха.

Утверждение Вольфганга Казака, что стихи Айги — «духовный протест во имя подлинной человечности», тоже несостоятельно. В приведенном стихотворении (а оно характерно) не видно ни особой духовности, ни протеста; по форме это самый расхожий не о к о н ф о р м и з м — приспособленчество к запросам западных университетских славистов и испорченному вкусу российской околословесной публики. Нет здесь и «человечности». Отказ от грамматической нормы делает текст механистичным — в духе стихов, писать которые давно уже научены компьютеры-роботы, — то есть именно бесчеловечным.

Нельзя не чувствовать симпатии к чувашскому народу, полузадушенному в объятиях «первого среди равных». Невозможно не испытывать сочувствия и к Геннадию Айги, обаятельному и располагающему к себе человеку, но было бы ошибкой распространять эти чувства на его сочинения, — во всяком случае, если любовь к родной культуре — не пустой звук для нас. «Платон друг, но истина дороже». Конечно, Геннадий Айги — не мошенник и не откровенный спекулянт, каковых в литературе немало. На счет своего робкого литературного дара он обольщается честно, да и подкрепление черпает в словах и делах людей, которых

прямыми жуликами не назовешь. При всем том продуктом содружества Айги и его университетских покровителей является обман. Тексты, не лишённые расхожей поэтичности, — это еще не стихи.

Юрий КОЛКЕР.

Лондон.

## НЕЧТО НИЧТО, ИЛИ СНОВА О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ

**У** стали придумывать термины с корневыми основами, остались лишь корни, кое-где уже подгнившие, суффиксы, бессменные измы, — все спасение нынешней «культуры» в приставках. Так появились постструктурализм, постмодернизм, даже посткультура. И если мы действительно ощущаем себя внутри этой прокламируемой посткультуры, то и жизнь наша — уже что-то совсем загробное, как жизнь после жизни.

Писать о постмодернизме зачастую столь же безрадостное дело, как и читать его манифестации, особенно относящиеся к постсоветскому литературному пространству. Тем более само это литературное стечение обстоятельств не принимает обычного анализа, ибо, по определению, не содержит в себе иерархий, а значит, и системы ценностей, подлежащих рассмотрению. Постмодернизм — разновидность модной болезни, и если ходят слухи, будто СПИД выработан в пробирках вирусологов, то постмодернизм выработан в пробирках культурологов. Писать о постмодернизме следует лишь в неопределенном жанре «эссе», как, например, Юрий Буйда в «Независимой газете»: «„Нечто ничто“ Владимира Сорокина» (1994, 5 апреля).

Как иначе? Подойти к этому событию с точки зрения вкуса — вкус отвергается; с точки зрения разума — но разум вовсе здесь не в обиходе; с моральным критерием — но этика отрицается так же, как и эстетика. Пафос как стремление что-то кому-то доказать, утвердить, просто-напросто выразить риторически, — пафос отвергается тоже. Об этих сочинениях нельзя ничего сказать, чтобы не прослыть устаревшим и несовременным, «им нельзя вынести окончательный приговор, применяя к ним общеизвестные критерии оценки», как заявляет мэтр Лиотар (цит. по кн.: Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, модернизм. М. 1996, стр. 215).

Между тем интерес к постмодернизму не иссякает, точнее — искусственно насаждается, как некогда к соцреализму. Такова книга «Постмодернисты о посткультуре, интервью с современными писателями и критиками» (М., 1996, серия «Классики XXI века»). Составитель, автор предисловия и редактор — Серафима Ролл, профессор русской литературы в одном из университетов Монреала (Канада).

Есть у этого сборника еще предисловие: «От альтернативной прозы к культуре альтернативного сознания». Следуя логике исследовательницы, можно заключить, что такова в основном культура сексуальных меньшинств, которым предстоит процветать в Российском государстве, став, видимо, большинством; это и будет «посткультурой», на чем всякие исследования закончатся, кроме, возможно, палеонтологических, ибо гомосексуальные культуры не редуцируются, то есть биологически не воспроизводятся.

Хотя профессор Серафима Ролл не претендует на построение некоторой объективной картины «развития новых форм мышления», но она живо интересуется всем новым и «новым», новизна является наиболее желанным фактором, и не важно какая. В культурологии и филологии новизна содержания и соответственной ему формы обыкновенно соотносится с историческими традициями, с определенным кодом, каноном, то есть новое есть и приращение к старому. Но это не для постмодернизма. И исследовательница серьезно вопрошает писателя Яркевича: «А интерес к телу, его экскрементам связан с выработкой нового языка?» И специа-

лист по экскрементам столь же серьезно отвечает профессору: «Я не думаю. Я думаю, что это связано с расширением сознания, с тем, что многие вещи стали просто очевидными». Одним из открытий нашего постмодернизма в области содержания является неожиданный факт, что человек время от времени испражняется, а в области формы — как он это делает.

На вопрос канадского профессора о роли литературы в современном обществе писатель Яркевич отвечает: «Для России сегодня литература — это невразумительный либеральный словесный понос. Все, что не укладывается в эти рамки, становится нелитературой, становится чем-то непонятным, нарушающим рамки общественного спокойствия». То есть, видимо, постмодернизм выходит за рамки «поноса», и напрашивается исходя из этого еще одна возможность хоть как-то определить русский постмодернизм — как «запор»? Это хорошо увязывается с концом литературы.

Впервые некоторые произведения будущих постмодернистов, точнее, тогдашних концептуалистов были обнародованы в ФРГ.

В рассказе Владимира Сорокина «Русская бабушка» два плана: на одном «русская бабушка» одиноко живет в своей деревне, она горюет по своим детям, видимо, погибшим на войне. Этот план немецкие филологи относят к социалистическому реализму, который пародируется Сорокиным при помощи второго плана. А на втором плане бабушка выкрикивает матерные частушки вроде детских прибауток в рифму, когда дети издеваются друг над другом. Надо заметить, что русский мат при посредственном знании русского языка воспринимается иностранцами не как оскорбление для самого языка, а опять-таки как нечто «новое», в переводе же эффект «мата» вообще смазывается: нет адекватных выражений! И здесь вдобавок дистанция по отношению к другим, чужим, — вполне языческая, как между племенными культурами. Когда Сорокин пишет для немцев: «У меня у жопе Бог» — и т. п., то немецких язычников это не оскорбляет, это же «русский» Бог, там ему и место... Я на одном симпозиуме спросил немецких славистов: а если бы это была не русская, а немецкая бабушка, был бы восторг столь же почтительным? Ответа я не получил, ибо это только по Бахтину литература и жизнь диалогичны, а сейчас каждый при разговоре предъявляет единственно свой монолог.

Сам Сорокин признается в том, что получает удовольствие, «когда литература становится телесной и нелитературной. Именно это проявление телесности в литературе тяжело воспринимается культурой. Толстой не описывал, как пахли подмышки или прыщи Болконского, например, потому, что это разорвало бы всю ткань его текстов, а я этим занимаюсь. Для меня взаимодействие этих двух абсолютно противоположных начал — текста и тела — и есть главная проблематика творчества». Можно, конечно, подивиться самой оппозиции «текст — тело», можно подивиться и другому: почему тело обязательно должно быть прыщавым, вонючим и гнилым. «Проблематику творчества» лучше всего понимаешь — в смысле Сорокина, — когда вспоминаешь «Анатомию человеческой деструктивности» Эриха Фромма, где говорится о «некрофилии», о страсти ко всему разлагающемуся, к испражнениям, к ругани и т. п., хотя Фромм иллюстрирует эту страсть на примере известного политика, а не писателя. Вот и для Сорокина: «Литература вообще — мертвый мир, как некое клише...» И именно от этого он испытывает «удовольствие».

Если Сорокин, по уверению Ю. Буйды, «пишет лучше, чем дышит», то В. Нарбикова вроде бы проще: «Я живу так, как я пишу, и пишу, как живу». Но и сложнее: если для Сорокина «тело» и «текст» противопоставлены, то для Нарбиковой «моя жизнь и литература — это одно и то же тело». Это заявлено в ответ на вопрос профессора С. Ролл, которую «очень привлекает факт, что ваши тексты подрывают однозначность смысла, логическое сцепление понятий и абсолютность концепций», — из ответа же следует, что у Нарбиковой вообще нет никаких концепций; как достойный выпускник Литинститута, она вправе сказать: «Чем больше я живу, тем меньше я понимаю, что такое литература вообще. И мне кажется, что, когда я окончательно перестану понимать, что это такое, тогда и создастся мой самый важный текст». Что же ее роднит с более самоуверенным Сорокиным? Отношение к слову, как к мертвому, и незачем напоминать Гумилева: «Дурно пахнут мертвые слова». «Слова, — говорит она, — это только шум. Слова — это физиологическая потребность. Слова — это несостоятельность мысли. Слово пренебрегает

словом, слову мало слова... В слове слишком много букв». Все это забавная игра «слов», не жаждущая быть осмысленной, но выдающая одаренность автора к подобной игре; забавна и реакция профессора из Монреаля: «Такое отношение к слову безусловно наполнено глубокой философией...»

Иногда я не улавливаю, иронизирует ли профессор над своими собеседниками, или собеседники лихо дурачат профессора. Хорошо, когда один из собеседников открывает для себя что-то «новое» в процессе разговора. Нарбиковой «чрезвычайно интересно, был ли такой период, когда литературный язык совпадал с живым языком». Не надеясь на подсказку профессора из Монреаля, которая из интервью с современными критиками выводит представление «об отмирании филологического подхода и зарождении культурологического анализа, рассматривающего культуру в контексте ее производства, потребления...», Нарбикова сама находит ответ: «Мне кажется, этого не было никогда». Это говорит лишь о том, что отмирающий «филологический подход» прошел-таки мимо Нарбиковой. Соотношение литературного и живого языков просматривается в разные времена — в письменном ли, в печатном ли — по-разному: по отношению к литературной норме языка люди делятся на грамотных и неграмотных, на малообразованных и высокообразованных, — но вот «культурологический анализ», представленный в рассматриваемой книжке сквозь призму «производства — потребления», на этот счет молчит.

Профессор в предисловии не без удовлетворения пишет: «Именно против возрождения чисто филологического исследования культуры выступает... Вячеслав Курицын. Курицын считает современное увлечение филологией в искусстве и критике одним из способов уйти от обсуждения насущных вопросов, которые ставит перед критиком история». История поставила перед Курицыным вопрос, как освободиться от «традиционных форм мышления». Новые же формы мышления должны прийти благодаря «новым методам распространения информации», преимуществу коих в «мобильности» и «самокупаемости», следовательно, в независимости «от старой идеологии». Профессор Ролл находит эти идеи Курицына «оптимистичными».

С Курицыным спешит согласиться Виктор Ерофеев: «Для меня постмодерн — это полный разрыв с традиционной литературой». Любопытно, как бы выглядела словесность в средствах массовой информации, если бы они оказались наконец завоеванными постмодернистами. Пока типичными для этих средств являются излияния какого-нибудь Бари Алибасова, который на вопрос, почему во многих массовых звучаниях как бы нуль содержания, отвечает: «Пипл хавает». При том понимании постмодерна, с коим мы сталкиваемся в этом сборнике, — типично постмодернистское высказывание.

Еще от Вик. Ерофеева: «Возникает уничтожение автора, крайне необходимое уничтожение, потому что автор в литературе просто устал. Само понятие автора — это уже устарелое понятие, и надо от него избавляться». Но не придется ли тогда избавляться и от авторских гонораров? Вик. Ерофеев в одном из интервью немецкому еженедельнику «Шпигель» определяет себя как самого богатого в России писателя. Вообще, занятное положение: автор «умер», «устарел», «исчез» — и в то же время упорно и остервенело добивается показа по телевидению, звучания по радио, хочет выпускать книги, давать интервью, ездить по приглашению славистов по белу свету.

Много наговорено о свободе читателя, при этом он якобы может «свободно интерпретировать» (Вик. Ерофеев) любимого автора, хотя многие другие (Сорокин) о читателе вообще не думают. Для Вик. Ерофеева тот читатель, кто сознает, что «с ним просто валяют дурака».

Много наговорено и о противопоставлении постмодернистской пародии пародируемому соцреализму. Но постмодернизм, сообщается тут же, возник как отталкивание от модернизма — якобы с долей оптимизма, отсутствующего у модернистов (Кафки, например). В России что-то не сходится. Во времена соцреализма было еще явление — глум, глумление «читателя»-чиновника над писателем, пишущим инако. Русский постмодерн в тоске по читающему чиновнику глумится над читателем нечиновным, как бы в отместку за невнимание к себе. Вик. Ерофеев:



«Русский постмодерн — это настоящее проявление свободы, поскольку здесь ни критик, ни читатель еще до этой свободы не дошел. Здесь постмодерн — это и скандалы, и сплетни, и обиды...» Старо как мир.

Те же лица сетуют на недостаток интереса со стороны академической науки. Конечно, нашим постмодернистам хочется, чтобы их канонизировали, стали преподавать не только на кафедрах славистики за рубежом, но и в российских школах. Но если пока не получается, то хотя бы изъять пресловутый девятнадцатый век с его поисками духовности, двадцатый — с его символизмами и акмеизмами, оставить лишь ковыряние в только что вышедших из первобытного хаоса «телах». Курицын: «Рефлексии по поводу тела сегодня органичны и естественны... это ведь своего рода борьба с «глубиной», с «духовностью»... Это попытка свести все трансцендентное, все, что существует «там», в «здесь» и в «сейчас»!»

Тем же озабочен Яркевич: «Вообще в этой стране было два мифа — это миф о коммунизме и миф о русской духовности. Все русские люди безумно духовные и очень талантливые, им просто не дают спеть, сплясать, выставить картину, сделать табуретку. Сейчас, когда рухнул миф о коммунизме... выясняется, что русская культура просто не талантлива, не талантлива за счет своей духовности. Мне кажется, что все поиски в русской литературе идут сейчас в основном по пути освобождения от этой самой духовности». Далее Яркевич разъясняет любопытной славистке, что такое эта ненавистная ему «духовность»: «Это, во-первых, пафос постижения мира, пафос Достоевского, Пушкина, пафос приоритета духовных поисков над поисками физиологическими».

Странные, однако, казусы: вместо того чтобы стать ветеринарами или санитарами в морге, люди стремятся в литературу, ненавидя ее духовную основу, которая вовсе не чисто русский курьез, но свойство любой культуры. Не хочется стрелять из пушки по воробьям, но приходится констатировать, что вся философия проходит мимо наших постмодернистов, даже М. Бахтин с его скрупулезным интересом к семиотике тела и «телесного низа». Яркевич, будучи автором книги «Как я занимался онанизмом» (1994), в своем интервью заверяет: «Онанизм — это все, это метафора дикого кошмарного человеческого одиночества в конце двадцатого века». Эпохальное заявление, но канадский профессор спешит заузить его до чисто русского «состояния». Серафима Ролл: «Вы испытываете это состояние в контексте русской ситуации?» И теоретизирующий Яркевич поучает профессора: «Онанизм... это метафора свободы, уверенности в своей собственной самодостаточности».

И все-таки — из пушки по воробьям: как пишет М. Бахтин, «биологическая ценность здорового тела пуста и несамостоятельна и не может породить из себя ничего творчески продуктивного и культурно значимого, она может лишь отражать иного рода ценность, главным образом эстетическую, сама она „докультурна”» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1979, стр. 49). Сделаем поправку: у наших постмодернистов само «тело» зачастую «нездорово» (некрофилия!), а если здорово физически, то нездорово социально. Искомая посткультура и есть «докультурность». Потому как бы от имени животного вещает Егор Радов: «Психология и культура — это чисто человеческие проблемы. Как только ты понимаешь, что все это разрушаемо, разложимо, что все это полностью подвержено распаду, то все эти проблемы легко распадаются...»

Наши передовики постмодернизма все время апеллируют к культурологии, понимая ее как руководство по купле-продаже. «Введение в культуроведение» Ю. В. Рождественского вышло в свет недавно, в 1996 году, когда передовики в основном уже перестали читать и повернулись к телевидению. Обратим внимание на третий пункт в определении в а н д а л и з м а, как оно дается в этом учебнике: «Падение образования или недостаточно современный уровень образования. Этот тип вандализма уничтожает запросы культуропользователей, делает культуру *невостребованной* и потому постепенно разрушающейся» (стр. 25; курсив мой. — В. К.). Боюсь, что наш постмодернизм вполне проходит по ведомству вандализма, вступая в противоречие с законом бытования любой культуры, а именно: «Всякий новый факт культуры... не может уничтожить фактов культуры того же или другого класса, уже введенного в культуру» (там же, стр. 20).

И в этом, и в других смыслах наши передовики не могут быть ни по таланту, ни по уровню культуры сопоставимы с такими авторами, как Гарсиа Маркес, Ум-

берто Эко или Милорад Павич. Это явно иной уровень «постмодернизма». Михаил Берг вводит политический критерий: «Присоединение России к мировому сообществу связано безусловно с вступлением России в постмодернистское пространство конца века» (вынесено на обложку). Звучит грандиозно и так же неотвратимо, как продвижение НАТО на восток. Но даже в западной культуре постмодернизм, что бы под ним ни понимать, занимает отнюдь не ведущее место. А такое «вступление в пространство», какое мыслится здесь, возможно лишь как избавление от национальной культуры. И наш «постмодерн» не задержится в национальном культурном пространстве, как и любой замаскированный под «посткультуру» вандализм. Он уже вошел в сферу преподавания во многих зарубежных университетах как знак — желанного? — «конца русской культуры»; ведь преподавать это гораздо занятнее, чем культуру как таковую.

«Посткультура» носит не этический, а явно этологический характер, то есть описывает поведение человека как животного в животном же коллективе. Во многом это явление постсоветское, настоящее на советском атеизме и аморализме. О подобном состоянии нашего общества прекрасно сказал Мераб Мамардашвили. Напоминая кантовский постулат о бессмертии души как основе морали, «постулаты общения, социальной и нравственной жизни, благодаря которым последняя выражается в исторических судьбах культур, народов, стран и т. д.», он констатирует: «...в нашей стране эти постулаты сегодня фактически разрушены. То есть люди не способны вступать в общение, на основе которого они воспроизводили бы себя в качестве людей. Как когда-то распалась связь общения, которая делала греков греками, и они исчезли, затопленные варварами. Разумеется, это зависело от того, что произошло с их способами организации нравственной и духовной жизни».

Получается, что искомая и предлагаемая нам постмодернистами и славистами «альтернативная культура» претендует всего лишь на разрушение бытующих еще, хотя и «фактически разрушенных» советским тоталитаризмом, «способов организации нравственной и духовной жизни» народа. Но в древнюю Грецию варвары проникли извне, а наши вандалы созрели на нашей же, постсоветской, культурной почве. Единственно, что нас спасает и еще как-то сохраняет в качестве народа, — это отсутствие массового читателя у постмодерна, «смерть автора» и малая степень ангажированности в средствах массовой коммуникации его отечественных теоретиков, поскольку Бари Алибасов делает его дело гораздо эффективнее.

**Вячеслав КУПРИЯНОВ.**



---

---

# ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

## О ЗАМЯТИНЕ, ТЕРМОДИНАМИКЕ И ЭНТРОПИИ

RAINER GOLDT. Termodinamik als Textem. Der Entropiesatz als poetologische Chiffre bei E. I. Zamjatin. Mainz. 1995. 736 S.

РАЙНЕР ГОЛЬДТ. Термодинамика как текст. Энтропия как поэтологический шифр у Е. И. Замятина.

Р. ГОЛЬДТ (Майнц). Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы «Атилла». — «Russian Studies». Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб. Т. 2. 1996, № 2, стр. 322 — 350.

С начала 80-х годов и по сей день в западноевропейском литературоведении наблюдается подъем интереса к русскому модернизму, в частности и к Евгению Замятину. Об этом свидетельствуют посвященные писателю монографии немецких ученых Н. Франца и Л. Шефлер. Что же прибавляют работы Гольдта к уже имеющимся?

Исследование термодинамики в связи с творчеством Замятина — результат упорного труда, о чем можно судить, в частности, по тем источникам, которые привлек славист из Майнца. Если автор посвященной жизни и творчеству Замятина капитальной монографии Алекс Шейн<sup>1</sup> не смог воспользоваться рядом материалов из российских архивов, то Гольдту повезло гораздо больше — видимо, и благодаря изменившимся к лучшему отношениям между Россией и Германией. Его труд обнаруживает знакомство с ценнейшими рукописями произведений и письмами писателя, хранящимися в архивах России, Франции, США.

Исследование Гольдта ведется в наименее изученных направлениях. Это обусловленные биографией писателя особенности его мировоззрения, а также связь творчества Замятина с философией. Следуя традиции зарубежного замятиноведения, немецкий литературовед анализирует произведения писателя в контексте мировой философии. Интересны и правомерны суждения о воздействии на Замятина идей П. Я. Чаадаева, интуитивиста А. Бергсона, культурфилософа Я. Буркхардта, а также особенно сильно повлиявшего на писателя сторонника монистического энергетизма В. Оствальда. Наблюдения эти близки к выводам швейцарского исследователя Л. М. Геллера<sup>2</sup>. Основная цель Гольдта — показать, как на замятинское понимание энтропии повлияло второе начало термодинамики. Замятин — автор биографии «отца» термодинамики Ю. Р. Майера — в статье «О литературе, революции и энтропии» (первое название, 1924 года, — «О литературе, революции, энтропии и о прочем») писал о двух космических универсальных законах — сохранения энергии и ее «вырождения» (энтропии), считая, что «догматизация в науке, религии, социальной жизни, в искусстве — это энтропия мысли»<sup>3</sup>. Второе начало термодинамики изложено Гольдтом с трогательной добросовестностью, пожалуй, излишней для литературоведа... И все же подобный подход в целом плодотворен, так как соответствует замятинской идее синтеза науки и искусства.

Центральная задача Гольдта — на основании опубликованных и архивных источников проанализировать зарождение самой темы и «поэтологические шифры» энтропийных процессов, изображенных в некоторых произведениях Замятина.

---

<sup>1</sup> Shane A. M. The Life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkley. Los Angeles. 1968.

<sup>2</sup> Геллер Л. Скиф из Нью-Кастля. Очерк творчества Евгения Замятина. — В его кн.: «Слово мера мира. Статьи о русской литературе XX века». М. 1994, стр. 68.

<sup>3</sup> Замятин Е. И. Избранные произведения. В 2-х томах, т. 2. М. 1990, стр. 387, 388.

Модель энтропии, по мысли Гольдта, укоренена в биографии писателя — в его конфликте с отцом-священником из-за атеизма, зародившегося у Замятина в юности и укрепившегося во время его участия в революционной деятельности. Выход из партии большевиков, которой Замятин многим жертвовал, был болезненным расставанием с политической утопией, но это не вернуло писателя к Богу. Поэтому, считает Гольдт, в период жизни Замятина в Париже между ним и русскими эмигрантами не возникло точек соприкосновения: эмигрантов отталкивала неприязнь Замятина к Русской Православной Церкви. Это утверждение исследователя хочется развить. В произведениях послеоктябрьского периода — «Нечестивых рассказах» и примыкающем к ним «Житии Блохи», рассказе «Икс» и пьесе «Африканский гость» — Замятин продолжал показывать духовенство в неприглядном виде. Но при этом он руководствовался своей совершенно независимой от партийного официоза концепцией энтропии, хотя невольно и действовал в русле государственной идеологии. Это частично признает и Гольдт, утверждая, что отношение писателя к религии было, «по сути, менее однозначным, чем казалось на первый взгляд». Кстати, в журнальной статье Гольдта есть пример, подтверждающий это суждение. Речь идет об образе епископа Анниана в первых вариантах и окончательном тексте «Атиллы»: «Сложное отношение самого Замятина к христианству, его скептицизм и подчеркнутая роль «безбожника» не мешали художнику создать правдоподобный образ великой исторической личности, карикатурный образ которой в дошедшей до нас пьесе исключительно — плод давления со стороны».

Биографический метод находит свое применение и при анализе романа «Мы». Вполне оправданно, что Гольдт обратился к этому произведению, в котором замятинские представления о двух универсальных закономерностях бытия — сохранении энергии, с одной стороны, и процессах энтропии, с другой, — выразились с большой глубиной и художественной силой. Согласно Гольдту, конфликт Замятина с отцом, став фактом литературного самоанализа писателя, отражен в отношениях Д-503, строителя космического корабля, с Благодетелем: «Благодетель... воплощает религиозность, являющуюся антитезой атеизму страдающего сына священника». Отношения писателя с его невестой Л. Н. Усовой (впоследствии женой Замятина), бывшей для него своего рода материнской фигурой (по Фрейдю), воссозданы в любви Д-503 к революционерке I-330. Вслед за своими предшественниками Гольдт раскрывает связи романа «Мы» с произведениями Ф. М. Достоевского. Благодетель напоминает Великого инквизитора, а I-330, в образе которой стилизован тип роковой женщины, — Настасью Филипповну из романа «Идиот». Основная особенность мировоззрения Замятина — бытийная оппозиция «энтропия — энергия» — находит соответствие в поэтике замятинских произведений; в них представлены различные виды конфликта между динамикой и застоєм. Например, в романе «Мы» кристальный единый мир Благодетеля противопоставлен раздражающей «мшистой» сущности «мефи» — революционеров, взявших себе имя Мефистофеля. Интересны и новые подробности «дела» Замятина — автора еретического в политическом отношении романа «Мы», а также суждения исследователя об антиутопии. Бесспорна его мысль о том, что изображение энтропийного мира лежит в основе этого нового литературного жанра.

Среди произведений, анализируемых Гольдтом, — две в свое время снятые со сцены пьесы: «Огни св. Доминика» и «Блоха», первая из которых интерпретируется немецким исследователем как трагическая инсценировка мифа о еретике, вторая — как гротескная антитеза этому мифу. «Еретик Замятина — фермент вечно повторяющегося мифического рождения... Связанный с этим отказ от линейного исторического процесса должен вызывать критику со стороны всех приверженцев любых форм теологического учения», — читаем в его монографии. Не лишен интереса анализ «Блохи» в статье Гольдта об этом произведении<sup>4</sup>. «Блоха», написанная по мотивам лесковского «Левши», правомерно рассматривается в русле литературного мифотворчества. Однако интерпретация этой замятинской пьесы-«игры»

<sup>4</sup> Гольдт Р. Условные и творческие аспекты знака в «Блохе» Е. И. Замятина. — В кн.: «Поиски в инаком. Фантастика и русская литература XX века». Труды международного симпозиума (Лозанна, 5 — 7 ноября 1992). М. 1994, стр. 85 — 100.

как фантастической сети интриг нечистых сил дает не слишком много, так как на первом месте в «Блохе» — проблема национального своеобразия России, русского характера, драматизма русской истории. Образы же нечистой силы и адского пекла в пьесе лишены метафизического содержания. Они указывают на скрыто-метафорическое изображение технократической Англии как ада. И все же предпринятое Гольдтом исследование замятинских пьес привлекательно, так как его предшественники, как правило, обходили эти произведения.

Драматургии Замятина посвящена и русскоязычная статья Гольдта 1996 года, в которой трагедия «Атилла» интерпретируется как историческая притча о Сталине. На основании анализа пяти вариантов текста пьесы о нашествии гуннов на Рим и связанных с историей ее несуществующей постановки писем и документов Гольдт показал, как из-за грубого вмешательства в работу писателя советской цензуры предводитель гуннов Атилла, амбивалентный тиран-освободитель в первых вариантах пьесы, в последнем превратился в «демократичного» вождя, из-за чего пострадало художественное качество произведения. Такая точка зрения убедительно аргументирована. Нельзя лишь согласиться с выводом о том, что все творчество Замятина, подобно неоконченному «Бичу Божию», тематически связанному с «Атиллой», якобы «остается фрагментом, недосказанным словом». И это говорится об одном из крупнейших писателей нашего века!

В числе достоинств книги Гольдта и обширнейшая библиография. Она в значительной мере дополняет не менее репрезентативный для своего времени список литературы из монографии Шейна. Остается только пожелать, чтобы какое-нибудь российское издательство опубликовало перевод книги слависта из Майнца.

**Юрий АЗАРОВ, Татьяна ДАВЫДОВА.**



---

---

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Г. Айги.** Тетрадь Вероники. Первое полугодие дочери. М. «Гилея». 1997. 112 стр. 1000 экз.

**М. Астафьева-Корякина.** Земная память и печаль. Красноярск. «Енисейский благовест». 1996. 126 стр. 1000 экз.

**Нина Берберова.** Чайковский. СПб. «Лимбус Пресс». 1997. 256 стр. 5000 экз.

Биография Чайковского, впервые вышедшая в Париже в 1937 году, с авторским предисловием, написанным в 1987 году для второго французского издания. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

**Зинаида Гиппиус.** Избранное. Чертова кукла. Роман. Повесть и рассказы. Составитель Т. Прокопов. М. «Тerra». 1997. 896 стр. 10 000 экз.

**Гулрухсор.** Солнце без Моне. 1989 — 1996. Стихи с акцентом. Под редакцией, с предисловием Т. Бек. М. «ACADEMIA». 1997. 126 стр. 1000 экз.

Новая книга известной таджикской поэтессы, ныне живущей в Москве, — стихи в переводах Татьяны Бек и новые стихи, написанные по-русски («стихи с акцентом»). Подробнее о поэтессе — в публикации «Союз нерушимый, или На развалах империи» («Новый мир», 1995, № 11).

**Алексей Дидуров.** Имена на стене. Книга физиологических поэм, песен и очерков. М. ТОО «Древо жизни». 160 стр. 1997. 500 экз.

Поэмы «Детские фотографии», «К самому себе», «Дальний перегон», «Граффити», цикл стихов «Мои новые песни» и собрание «московских» очерков поэта.

**Ландскрона.** Петербургские авторы конца тысячелетия. СПб. «Издательство Буковского». 1996. 382 стр. 1000 экз.

Сборник подготовлен творческим объединением «Домик драматурга» и представляет творчество современных петербургских драматургов — пьесы Наталии Бортко «Варвара», Игоря Шприца «На доньшке», Станислава Шуляка «Книга Иова», Сергея Носова «Берендей», Андрея Зинчука «31 декабря», Александра Образцова «Магнитные поля»; повесть Олега Эрнева «Плата за перевоз».

**В. Микушевич.** Сонеты к Пречистой Деве. М. «Ключ». 1997. 32 стр. 1000 экз.

**Евгений Рейн.** Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы. СПб. «Лимбус Пресс». 1997. 296 стр. 5000 экз.

Поэмы и рассказы поэта о жизни своего поколения; среди которых — рассказы о Бродском, Довлатове, Кушнере, Бобышеве, Евтушенко, воспоминания о встречах с Ахматовой, Пастернаком, Шкловским.

**Триумф непостоянства.** Сборник стихов. М. «Букмэн». 1997. 304 стр. 4000 экз.

Коллективный сборник членов литературного объединения «Орден кургузных маньеристов».



**Е. А. Андреева-Бальмонт.** Воспоминания. Подготовка текста, предисловие Л. Ю. Шульман. Примечания А. Л. Паниной и Л. Ю. Шульман. М. Издательство имени Сабашниковых. 1997. 560 стр. 5100 экз.

Первое издание воспоминаний жены поэта Екатерины Александровны Андреевой-Бальмонт (1867 — 1950): «Семья Андреевых», «Князь Александр Иванович Урусов», «Мои воспоминания о Бальмонте». В приложении — письма К. Д. Бальмонта к Е. А. Андреевой-Бальмонт.

**Андрей Балдин.** Москва. Портрет города в пословицах и поговорках. М. «Радуга». 1997. 48 стр. 10 000 экз.

Произведение художника Балдина — рисованный альбом для взрослых и детей. Изображены пословицы и поговорки из собрания Владимира Даля, а также из сборников И. Сахарова, А. Афанасьева, Номиса и других. Кроме того, масса полезных, неожиданных, талантливо и остроумно поданных сведений об истории города (рисованные карты города в разные века), о его политической жизни, культурной, бытовой (скажем, иллюстрированные таблицы стоимости продуктов и товаров за 1581, 1611, 1720, 1885, 1917 и другие годы); о проектах, к счастью неосуществленных, перестройки Москвы. И о многом другом.

**Якоб Буркхардт.** Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. Перевод с немецкого Н. И. Балашова, И. И. Маханькова. М. «Юрист». 1996. 591 стр. 5000 экз.

Классическое сочинение швейцарского историка культуры Якоба Буркхардта (1818 — 1897).

**Егор Гайдар.** Аномалии экономического роста. М. «Евразия». 1997. 214 стр.

Из авторского предисловия: «Автор не ставил перед собой задачу предложить исчерпывающее... объяснение движущих механизмов социализма и постсоциалистического кризиса... предпринята лишь попытка сформулировать и обосновать ряд гипотез о закономерностях динамики социалистической экономической системы...»

**Духовная среда России.** Певческие книги и иконы XVII — начала XX века. М. 1996. 176 стр. 4000 экз.

Журнал намерен отрецензировать издание.

**В. С. Елистратов.** Язык старой Москвы. Лингвээнциклопедический словарь. М. «Русские словари». 1997. 704 стр. 3000 экз.

Около 4000 словарных статей. Описание старомосковского языка и быта (период с начала XIX века по 20-е годы XX века). По замыслу составителя, является второй частью «лексикографической дилогии», первую часть которой составляет «Словарь московского арго», представляющий московский разговорный язык 80-х — начала 90-х годов (М. «Русские словари». 1994. 704 стр. 10 000 экз).

**В. Ильин.** Эссе о русской культуре. Вступительная статья, составление А. П. Козырева. СПб. «Акрополь». 1997. 464 стр. 3000 экз.

Впервые в России сборник работ известного русского философа-эмигранта Владимира Николаевича Ильина (1890 — 1974).

**Д. Мережковский, З. Гиппиус.** Избранное. Составитель В. М. Рошаль. СПб. «Диамант». 1997. 446 стр. 10 000 экз.

**Вейо Мери.** Маннергейм — маршал Финляндии. Перевод со шведского А. Афиногеновой. М. «Новое литературное обозрение». 1997. 208 стр.

Первая в России биография военачальника и государственного деятеля Финляндии Карла Густава Маннергейма (1867 — 1951).

**П. Милоков.** Живой Пушкин. Историко-биографический очерк. Составитель, автор вступительной статьи и комментариев М. Д. Филин. М. «Эллис Лак». 1997. 416 стр. 15 000 экз.

Переиздание книги известного историка Павла Николаевича Милокова (1859 — 1943), впервые вышедшей в Париже и имевшей затем несколько переизданий за рубежом. В приложении — отклики на книгу Георгия Адамовича и Н. Кульмана, а также другие работы П. Милокова: «Историческая роль Пушкина», «Пушкин и Чаадаев»...

**Хосе Ортега-и-Гассет.** Избранные труды. Составление, предисловие и общая редакция А. М. Руткевича. М. «Весь мир». 1997. 704 стр. 500 экз.

В сборник вошли: «Восстание масс», «Размышления о технике», «Вокруг Галилея», «Идеи и верования», «История как система», «Человек и люди».

**А. Саакянц.** Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М. «Эллис Лак». 1997. 816 стр. 15 000 экз.

**Оскар Уайльд.** Письма. Составители А. Г. Образцова, Ю. Г. Фридрихштейн. Перевод В. В. Воронина, Л. Ю. Мотылева, Ю. А. Рознатовской, Р. Я. Райт-Ковалевой, М. Н. Ковалевой. М. «Аграф». 1997. 416 стр. 7000 экз.

Впервые на русском языке наиболее полный свод писем Уайльда с 1875 по 1900 год.

**А. Ухтомский.** Интуиция совести. СПб. «Петербургский писатель». 1996. 528 стр. 2000 экз.

Эпистолярное и мемуарное наследие физиолога, академика Алексея Алексеевича Ухтомского (1875 — 1942).

**Зигмунд Фрейд.** Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб. «Университетская книга». АСТ. 1997. 320 стр. 10 000 экз.

**Вадим Чубинский.** Бисмарк. Биография. СПб. «Образование-Культура». 1997. 528 стр. 4000 экз.

Первая в России полная биография Отто фон Бисмарка (1815 — 1898).

**Дмитрий Шостакович.** «Леди Макбет Мценского уезда». Возрождение шедевра. М. Российское государственное театральное агентство. 1996. 144 стр. 1100 экз.

Альбом, изданный к 90-летию композитора, содержащий воспоминания Шостаковича «О моей опере», историю постановки оперы (раздел «Триумф») и травли композитора в печати, начавшейся после посещения театра Сталиным. В разделе «Катастрофа» помещена статья 1935 года «Сумбур вместо музыки» из газеты «Правда» и соответствующие отклики из других газет того времени. В разделе «Возрождение шедевра» опубликованы воспоминания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской о начавшемся в 60-е годы возрождении оперы в концертных исполнениях. Публикуется текст либретто оперы по рукописной партитуре, сохранившейся в архиве Шостаковича. Альбом содержит богатый иллюстративный материал. Концепция издания, составление и общая редакция Манашира Якубова.

**К. Г. Юнг.** Психология и алхимия. Перевод С. Л. Удовик. М. «Рефл-бук»; Киев. «Ваклер». 1997. 588 стр. 5000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



*«Автограф», «Вопросы литературы», «День литературы», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Москва», «Независимая газета», «Новая Европа», «Общая газета», «Театральная жизнь»*

**Елена Айзенштейн.** После «Вершины великого треугольника» Иосифа Бродского. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 5.

Имеется в виду известное эссе Бродского о Цветаевой, Пастернаке и Рильке. Тут же печатается статья шведского русиста и переводчика произведений Бродского Бенгта Янгфельдта «Комнаты Иосифа Бродского» (перевод на русский язык Б. Янгфельдта и В. Азбеля).

**Андрей Арьев.** Нескучные песни земли. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 5.

К 60-летию Бориса Парамонова, постоянного автора «Звезды». В первом же абзаце юбиляр сравнивается с Чубайсом.

**Сергей Антоненко.** Чтение для души. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 5.

Доброжелательный отклик на роман Антона Уткина «Хоровод» («Новый мир», 1996, № 9, 10, 11). Цитата: «Благородный дух и открытость к жизни/смерти людей прежних веков служат предметом не ерничества, а любования».

**Павел Басинский.** Новейшие беллетристы. Виктор Пелевин и Алексей Варламов: не правда ли, крайности сходятся? — «Литературная газета», 1997, № 22, 4 июня.

Виктор Пелевин и Алексей Варламов как литературные лидеры «своей доли российского читательского пирога».



**Андрей Битов.** ГУЛАГ как цивилизация. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 5.

Фрагменты сборника литературных эссе «Новый Гулливер», который выходит в издательстве «Эрмитаж» (США). Некоторые эссе из этого цикла предварительно печатались в «Литературной газете» (1997, № 21, 28 мая). В этом же номере «Звезды» печатается эссе Соломона Волкова «Азбука Битова», где каждый абзац начинается с очередной буквы русского алфавита.

**Г. О. Винокур.** Доклад о Ломоносове. Вступительная заметка и публикация Т. Г. Винокур. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Публикация представляет собой последний по времени текст, подготовленный выдающимся филологом Г. О. Винокуром (1896 — 1947) для доклада о Ломоносове в МГУ 27 марта 1945 года.

**«Вселенная писателя не должна ничего исключать».** Камю о литературе и о себе как о писателе. Вступительная статья и перевод Д. Бабица. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Выдержки из статей, лекций, интервью, предисловий Альбера Камю 1939 — 1955 годов. Все переводы сделаны по изданиям первой публикации. Цитата: «Сегодняшние писатели говорят только о том, что случилось именно с ними... Во всяком случае, очень немногие из наших писателей наделены той невинностью, которая позволяет им наделять вымышленных персонажей жизнью и абстрагироваться от этих персонажей настолько, чтобы искренне полюбить их, заставив других людей сделать то же самое... Сегодня мы не идем дальше изложения, документа, «среза жизни», как называли его по невежеству натуралисты. Минимум приготовлений, несколько кусочков бекона, два или три цветочка из фольги — и блюдо подается на стол сырым. В результате возникает дефицит поваров, теряется или по крайней мере забывается определенный рецепт, и в конце концов лучшее, что мы можем сделать, — это принять себя такими, какие мы есть. Но это не должно затемнять наш взгляд и затруднять наше понимание того, что этот новый вкус к сырому мясу ведет к потере чего-то важного, что всегда составляло силу, и, я бы даже сказал, порой взрывную силу нашей литературы» (из статьи 1947 года).

**М. Я. Геллер.** Из книги «История Российской империи». — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 11.

Отрывки из главы «Думская монархия» о столыпинской реформе. Книга недавно скончавшегося историка выходит в московском издательстве «МИК».

**Александр Генис.** Бродский в Нью-Йорке. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 5.

Эссе А. Гениса и фотографии Марианны Волковой взяты из книги: Brodsky Joseph. Portrait of the Poet. 1978 — 1996. New York. 1997.

**Александр Генис.** Пейзаж зазеркалья. Андрей Битов. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 5.

Четвертая из цикла бесед о «новой словесности».

**Виктор Горчаковский (США).** Цена сенсации. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 11.

Полемика со статьей Бориса Парамонова «Солдатка» о взаимоотношениях Марины Цветаевой с сыном Муром (Георгием). Статья Б. Парамонова была напечатана в американской русскоязычной газете «Новое русское слово» (1996, 13 — 14 июля), озвучена им по радио «Свобода» и включена в его книгу «Три эссе» (Нью-Йорк, 1996). Она же вызвала гневную отповедь Иры Кудровой в «Литературной газете» (1997, 19 февраля). Уже после выхода в свет № 11 «Новой Европы» статья Б. Парамонова «Солдатка» была перепечатана в петербургском журнале «Звезда» (1997, № 6).

**Ю. Н. Давыдов.** «К злату проклятая страсть». Шикарная жизнь и творческая способность. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 5.

Философ Ю. Н. Давыдов продолжает тему, заявленную им в статье «О роли революционного насилия в либеральной экономике» («Москва», 1996, № 10).

**Сергей Залыгин.** Толстые и тонкие. — «Общая газета», 1997, № 22, 5 — 11 июня.

Главный редактор «Нового мира» — о «Новом мире» и о толстых литературных журналах вообще.

**Алексей Зверев.** Черепаха Квази. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Продолжение обсуждения проблем постмодернизма, начатого статьями Д. Затонского «Постмодернизм в историческом интерьере» («Вопросы литературы», 1996, № 3) и Н. Анастасьева «У слов долгое эхо» (там же, 1996, № 4).

**Ирина (Айрины) Зохраб.** Достоевский и Артур Стэнли. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 11.

О редакторской деятельности Ф. М. Достоевского в журнале «Гражданин» кн. В. П. Мещерского и о религиозно-нравственном контексте «Братьев Карамазовых». Автор — профессор Университета им. Виктории (Веллингтон, Новая Зеландия). Открытие Ирины Зохраб, убедительно ею аргументированное, состоит в том, что одним из важнейших источников суждений старца Зосимы послужили проповеди англиканского священника, а именно декана Вестминстерского аббатства епископа Артура П. Стэнли (1815 — 1881), приезжавшего в Россию в 1874 году. Журнал «Гражданин» полностью напечатал цикл проповедей, прочитанных деканом Стэнли, обзор его книги о Восточной Церкви, а также подробные отчеты о произнесенных им речах и о его деятельности. Исследовательница выявила целый ряд соответствий между этими текстами и романом «Братья Карамазовы». Работа печатается в сокращенном варианте.

**Роберт Зубрин.** Границы Марса — возрождение духа Америки. Перевел с английского Александр Семенов. — «Знание — сила». Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи. 1997, № 5.

О том, что западная цивилизация родилась благодаря экспансии и потому возможность такой экспансии (с сопутствующими ей понятиями «границы», «переднего края») есть вопрос выживания Запада. Экспедиция на Марс и последующая его колонизация как способ возродить дух Америки и избежать технологического зстоя («...цель должна быть за пределами современных способов и методов существования»). Два сценария судеб человечества в XXI веке — с Марсом и без него. Автор — член Совета директоров Национального космического общества США. В качестве противовеса тут же печатается отрывок из книги Владимира Буковского «Московский процесс» (М., 1996), интервью с политологом Александром Панариным «Вовсе не на Марсе решаются судьбы Запада» и мнение Константина Феоктистова «Новые границы у нас под ногами». Дискуссия завершается ответами Роберта Зубрина на вопросы журнала «Знание — сила».

**Владимир Иваницкий.** Уловка 666. — «Независимая газета», 1997, № 96, 27 мая.

О том, как в третьем томе «Войны и мира» (часть первая, глава XIX) Пьер Безухов занимался каббалистическими вычислениями, как он оконфузился с «числом зверя» и зачем это было нужно Льву Толстому.

**Алексей Иванов.** О буржуазности нашей литературы. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 1997, книга вторая (март — апрель).

Диалог с Шарлем-Огюстеном Сент-Бёвом (1804 — 1869) как автором статьи «Меркантилизм в литературе». А. Иванов дебютировал как прозаик на страницах «Нового мира» (1995, № 12).

**Юрий Каграманов.** Осмысливаем тоталитаризм. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 11.

К выходу в свет на русском языке книги Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма». Тут же печатается еще один материал о Х. Арендт — статья Санта Молетта «Тоталитарная демократия» (сокращенный перевод с итальянского). См. также обстоятельную рецензию Елены Ознобкиной в «Новом мире» (1997, № 5).

**Василий Казанцев.** Байки о писателях. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 1997, книга вторая (март — апрель).

Выдуманные истории о писателях (Дельвиге, Катенине, Пушкине, Цветаевой, Пастернаке и т. д.): то, чего не было, но, по мнению В. Казанцева, могло быть. Автор допускает, что им создан новый жанр: «диалоги я придумал, сами факты, которыми наполнены эти диалоги, я взял из писем писателей, из их автобиографий, из воспоминаний современников».

**Анатолий Ким.** Первый день ностальгии. Рассказ художника. — «День литературы». Специальный выпуск газеты «Завтра». Ведущий редактор спецвыпуска Владимир Бондаренко. 1997, № 1, май.

Художник-кореец, родившийся на Сахалине и большую часть жизни проживший в Ленинграде, хочет остаться навсегда в Южной Корее.

**Вадим Кожин.** Нобелевский миф. — «День литературы». Специальный выпуск газеты «Завтра». 1997, № 1, май.

О том, что «всемирная авторитетность» Нобелевской премии — не более чем пропагандистский миф.

**В. Н. Козлов.** Провокация. (Тайная операция ЦК РКП(б) — издание сменовеховской газеты. 1922 — 1924 гг.). — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 5.

Сменовеховская газета «Накануне» как большевистская провокация.

**Сергей Кузнецов.** Распадающаяся амальгама. О поэтике Иосифа Бродского. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

В статье анализируется фрагмент из прозаических заметок И. Бродского, написанных им после посещения конгресса ПЕН-клуба в Бразилии в 1978 году и опубликованных в 1980 году под заглавием «Посвящается позвоночнику». Автор статьи считает, что «здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда именно в прозаическом тексте происходит концентрация мотивов, разрабатывавшихся в стихах». Мотивы эти — зеркало, рыбы, озеро.

**Валентин Курбатов.** Три раздумья. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 5.

О творчестве оренбургского прозаика Петра Краснова.

**Александр Кушнер.** «Буржуазный привкус красоты...». — «Литературная газета», 1997, № 22, 4 июня.

Эссе о поэтах и буржуазном комфорте.

**Александр Кушнер.** Стихи для меня — образ жизни. Беседу вела Инга Кузнецова. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

К 60-летию поэта. Из обширной и содержательной беседы почему-то запомнилось, что на актуальный вопрос интервьюера, как поэт справляется с депрессиями, следует ответ: «Депрессий я не знаю, не было ни одной за всю жизнь». Прозаические ответы А. Кушнера продолжает подборка его стихов. См. также его эссе «Дельфтский мастер» («Новый мир», 1997, № 8).

**Л. Левицкий.** Евгений Шварц: тогда и потом. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Евгений Шварц в 40 — 50-е годы. Тут же о Стениче и Зоценко.

**Владимир Марочкин.** Охота на Пушкина. — «День литературы». Специальный выпуск газеты «Завтра». 1997, № 1, май.

Глава из книги «Истинная биография Пушкина». Сомнительная во всех отношениях «Гавриилиада» (Марочкин пишет ее через одно «и». — А. В.) как провокация против поэта: «Это — совершенно мафиозная история...» Карамзин и Николай I в роли мудрых педагогов.

**Валерий Мильдон.** «Ты — Царь...». Пушкин и культура. — Газ. «Автограф». Совместный выпуск Фонда 200-летия А. С. Пушкина, «Клуба независимых писателей», журнала «Культура и свобода». При участии ВОПД «Духовное наследие» и писательских организаций России и Москвы. 1997, № 40, 22 мая — 6 июня.

Скитский устав Нила Сорского и духовный опыт Пушкина. Тут же печатается конспирологическое эссе Алексея Лациса «Восстановление десятой главы» и многие другие материалы пушкинской тематики.

**В. Мильдон.** Тринадцатая категория рассудка. Из наблюдений над образами смерти в русской литературе 20 — 30-х годов XX века. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Образы смерти в творчестве Заболоцкого, Маяковского и С. Кржижановского. В связи с поэтическим откликом Маяковского на смерть Ленина автор статьи отмечает, что некогда Д. Мережковский, рассматривая архаические ритуалы, цитировал молитву Додонских жриц под деревом жизни: «Зевс был, Зевс есть, Зевс будет...»

**Федор Морохов.** «И все-таки Есенина убили». Записал Н. Леонтьев. — «День литературы». Специальный выпуск газеты «Завтра». 1997, № 1, май.

Ученый-патофизиолог, профессор Санкт-Петербургского университета, доктор медицинских наук, автор очерка-расследования «Трагедия Есенина — Поэта-Пророка» Ф. А. Морохов утверждает: «...Есенину был нанесен сильный удар в область перенося твердым прямоугольным предметом, а потом, после наступления смерти, коченеющее тело, согнутой в локтевом суставе рукой и с «захватом кистью» трубы отопления, было привязано веревкой «за шею с правой стороны»...»

**Павел Муратов.** Ловля сирен. Публикация Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1997, № 101, 4 июня.

П. П. Муратов (1881 — 1950) — автор знаменитых трехтомных «Образов Италии». Публикуемый впервые фантастический рассказ датирован 1922 годом, посвящен другу автора — писателю Б. К. Зайцеву. Хранится в РГАЛИ, в архивном фонде писателя В. Я. Ирецкого.

**Владимир Набоков.** Сестры Вейн. Рассказ. Перевод с английского, примечания и послесловие Г. Барабтарло. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 5.

С точки зрения переводчика, самый трудный из рассказов Набокова, поскольку последний абзац рассказа представляет собой акростих — «ключ к совершенно иному плану рассказа».

**Владимир Новиков.** Призрак без признаков. Существует ли русский постмодернизм? — Книжное обозрение «Ex libris НГ». 1997, № 8, июнь. Приложение к «Независимой газете», 1997, № 102, 5 июня.

Обширная — на газетную полосу — статья. Попытка разобраться в терминах и в существе дела. «Нынешней русской литературе все еще недостает смелости».

**Борис Пантелеймонов.** Рассказы. Публикация Ст. Никоненко. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 1997, книга вторая (март — апрель).

Впервые публикуемые в России рассказы эмигрантского писателя Б. Пантелеймонова «Ванда» и «Вальс» печатаются по книге «Звериный знак» (Париж, 1948), а эссе «И сотворил мир», «И устроил землю» — по «Последней книге» (Нью-Йорк, 1952). Публикация сопровождается предисловием Ст. Никоненко «Таинственный Борис Пантелеймонов», а также воспоминаниями Алексея Ремизова «Рассказ о Пантелеймонове» (из книги «Мышкина дудочка». Париж, 1953).

**Борис Парамонов.** Русскую жизнь изуродовали хорошие книги. Беседу провела Лиля Панн. — «Литературная газета», 1997, № 21, 28 мая.

Беседа с сотрудником радио «Свобода» (передача «Русские вопросы») и постоянным автором питерской «Звезды» (рубрика «Философский комментарий»). Цитата: «Возьмите Достоевского. Гений из гениев. Но сейчас смешно считать его учителем жизни. Не потому что большевизм кончился и проблема бесов снялась, а потому что мы вообще поняли, что здесь не может быть учительства... Его самая острая психологическая и философская проблематика снята уже другими культурными достижениями — например, философией экзистенциализма и психоанализом. Разумеется, он — один из отцов и того и другого, но вся эта проблематика разработана более детально и профессионально».

**Ирина Роднянская.** Три юго-западных парадокса. — «Театральная жизнь». Литературно-художественный журнал. 1997, № 3.

Номер посвящен двадцатилетию Театра на Юго-Западе. Тут же печатается интервью с главным режиссером Валерием Беляковичем и статьи Натальи Старосельской, Алексея Зверева и других.

**С. Розанова.** Лев Толстой и графиня Ина. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Лев Толстой в работе над «Войной и миром».

**Бенедикт Сарнов.** Опрокинутая купель. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

В защиту А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и других — от А. Жолковского, М. Синельникова, М. Гаспарова и других.

**Натали Саррот.** Флобер — наш предшественник. Вступительная статья Н. Аносовой. Перевод с французского Н. Аносовой и В. Волковой. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 3 (май — июнь).

Статья 1965 года, объявляющая Флобера предшественником французского «нового романа».

**Луи-Фердинанд Селин.** Война, ненависть, нищета. Перевод с французского Татьяны Кондратович и Вячеслава Кондратовича. — «Независимая газета», 1997, № 98, 30 мая.

Фрагменты романа «Из замка в замок» (1957), являющегося первой частью автобиографической трилогии Луи-Фердинанда Селина (1894 — 1961), автора известных романов «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит».

**Владимир Славецкий.** Между «надписью» и поэмой. Поэтические жанры 90-х. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 1997, книга первая (январь — февраль).

О современной поэзии, в которой наблюдается «или инерционная пафосность, или инерционная ироничность, или характерное умолкание (тоже инерционное), затухание лиризма как пафоса».

**Никита Струве.** Об изгнании и послании. Беседу вела Евгения Иванова. — «Независимая газета», 1997, № 101, 4 июня.

О русской эмиграции, издательстве «ИМКА-Пресс», журнале «Вестник РХД» и о многом другом. Цитата: «Я сам часто спорю с Солженицыным, спорил с ним по поводу Гарвардской речи, например. Но для меня его значение не сводится к публицистике. Для меня он прежде всего литературно-духовное явление, и здесь он совершенно неуязвим».

**Олег Федотов.** Зеркало и поэт. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 1997, книга первая (январь — февраль).

Поэт и критик Н. В. Недоброво (автор известной статьи об Ахматовой в «Русской мысли», 1915, № 7) как, цитирую, «зеркало поэтического будущего Ахматовой».

**Умберто Эко.** Внутренние рецензии. Перевод с итальянского Елены Костюкович. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 5.

Цикл пародий из сборника «Diario minimo» (1992) — «внутренние рецензии» на «Одиссею», «Божественную комедию», «Критику чистого разума», «Поминки по Финнегану» и др.

**Е. Эткнд.** «Эту песню не задушишь, не убьешь». О законе сохранения интеллектуальной энергии. — «Литературная газета», 1997, № 22, 4 июня.

О бытовании российской культуры советского периода.

Составитель **Андрей Василевский.**

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Октябрь*

5 лет назад — в № 10 за 1992 год началась публикация книги первой романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

35 лет назад — в № 10 за 1962 год напечатана повесть В. Каверина «Косой дождь».

45 лет назад — в № 10 за 1952 год началась публикация романа Константина Симонова «Товарищи по оружию».

Издательству  
**«Молодая гвардия»**  
**75**  
 лет

Многие его книги можно без всякого преувеличения отнести к золотому фонду отечественного книгоиздания.

В этом юбилейном году издатели порадуют своих читателей очередными новинками серии «Жизнь замечательных людей».



ВЫШЛИ В СВЕТ:

А. Н. Боханов  
 «НИКОЛАЙ II»

А. Ю. Карпов  
 «ВЛАДИМИР  
 СВЯТОЙ»

А. А. Тахо-Годи  
 «ЛОСЕВ»

А. Труайя  
 «АЛЕКСАНДР I»

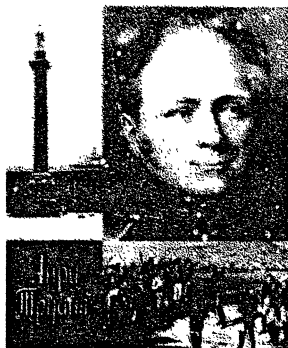
Ст. Куняев,  
 С. Куняев  
 «СЕРГЕЙ  
 ЕСЕНИН»

**НИКОЛАЙ II**



ГОТОВЯТСЯ  
 К ПЕЧАТИ:

**АЛЕКСАНДР I**



А. В. Тыркова-  
 Вильямс  
 «ЖИЗНЬ  
 ПУШКИНА»

А. Моруа  
 «БАЙРОН»

А. Моруа  
 «ШЕЛЛИ»

Р. Пенроуз  
 «ПИКАССО»

А. Кастело  
 «КОРОЛЕВА  
 МАРГО»

**ЛОСЕВ**



Одно из старейших изданий в России.  
Основана в феврале 1921 года.  
Распространяется во всех регионах России и странах СНГ.  
Ежедневная

# ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

По данным социологов, каждый номер читают в среднем 4 человека.

# ТРУД

ИМЕЕТ САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ КОРПУС СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

Трибуна  
политической элиты,  
ведущих экономистов,  
бизнесменов,  
ученых,  
деятелей культуры

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ,  
СВОБОДНАЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЙ

Подписной индекс газеты:

**50130**  
**32068**

(ежедневный выпуск, включая пятничный)  
(только пятничный выпуск)

Наш адрес:  
РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА, К-6,  
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.  
Телефоны:  
(095) 299-3906 - для справок,  
(095) 200-0338 - отдел рекламы,  
Факс:  
(095) 200-0523, 299-4740.

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

---

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

---

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*



## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yevgeny Karasev, Elmira Kolyar and Anna Saed-Shakh.

We are publishing the «Tiny Pieces» by A. Solzhenitsyn, the novel «B. B. and others» by Anatoly Naiman, the «Pages from the Northern Notebook» by Yan Goltsman and the «Cloistral Sketches» by Vladimir Yanitsky.

The section «Philosophy. History. Politics» is presented by the article «The World South Throws Down the Gauntlet» by Yuri Kagramanov.

In the section «Far Nearness» we are publishing the memoirs «Dubrovlag under Khrushchev» by Leonid Sitko.

The section «Publications and Reports» presents the documentary essay «The Master in View of the Chief Political Administration» by Vitaly Shentalinsky about Mikhail Bulgakov's life.

In the section «Writer's Diary» A. Solzhenitsyn writes about Yevgeny Zamyatin, another person in his «Literary Collection».

In the section «Literary Criticism» we are publishing the polemical notes «The Poet to the Government» by Andrei Vasilevsky.

In the section «Editor's Mail» Yuri Kolker writes about the poetry by Gennady Aigi and Vyacheslav Kupriyanov writes about post-modernism.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Foreign Books about Russia» and «Bibliography».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

---

**Главный редактор С. П. Зальгин**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: nmir@deol.ru

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Сдано в набор 20.06.97 г. Подписано к печати 25.08.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

---

Тираж 15.070 экз. Зак. 5775. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
 Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
 Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1997 ГОДА  
И В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Облдрамтеатр (повесть);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);  
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;  
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма;  
 ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ. Пудель Артамон (повесть);  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);  
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Золотуха по прозвищу Одышка (маленькая повесть);  
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);  
 Ф. НИЦШЕ. Письма (перевод с немецкого);  
 АЛЕКСАНДР ПАНИКИН. Записки русского фабриканта;  
 ЛЕО ПЕРУЦ. Иуда «Тайной вечера» (роман, перевод с немецкого);  
 ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Разновразие (повествование);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 СЛАВА СЕРГЕЕВ. Зимний досуг, или Путешествие за три моря (повесть);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;  
 ФРЕД СОЛЯНОВ. Повесть о бесовском самокипе;  
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);  
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);  
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также романы, повести, рассказы ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮРИЯ БУЙДЫ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**